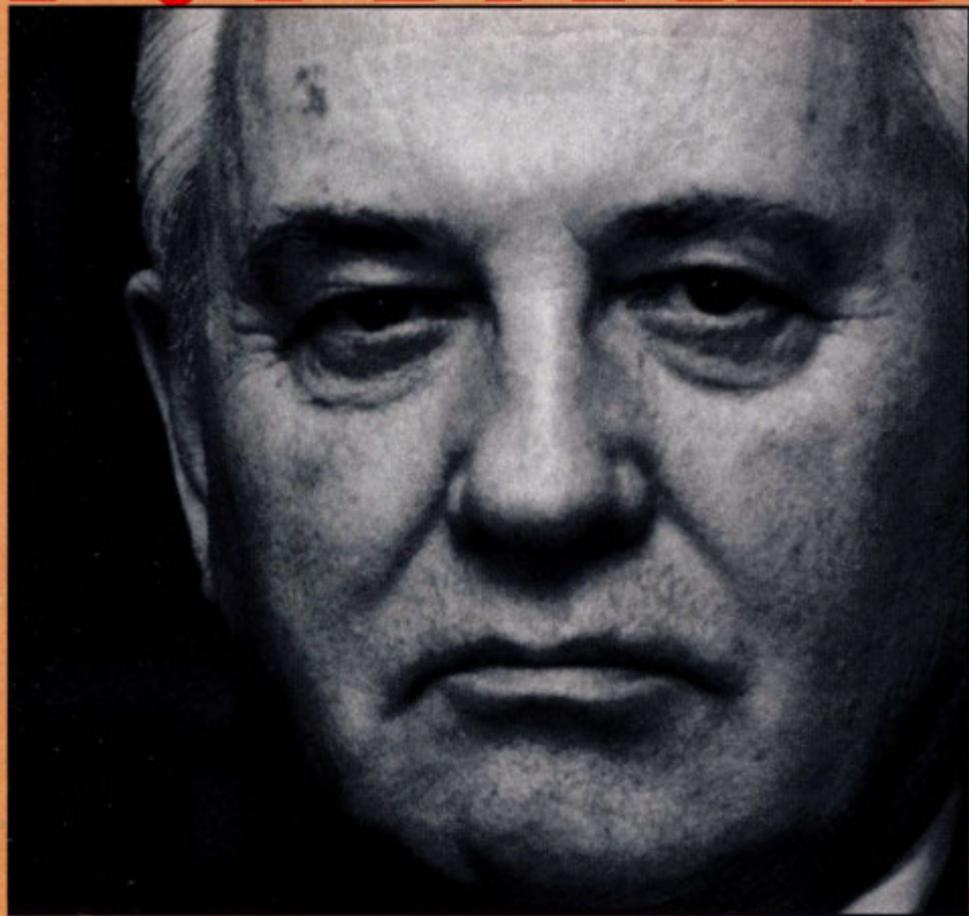


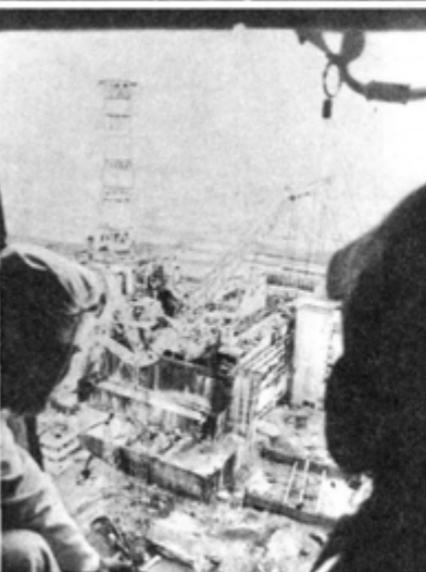
ГОРБАЧЕВ



АНДРЕЙ ГРАЧЕВ







А Н Д Р Е Й Г Р А Ч Е В

ГОРБАЧЕВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО • ВАГРИУС •
МОСКВА

В книге использованы фотографии ИТАР ТАСС, РИА «Новости», а также из архива семьи Горбачевых.

Автор выражает признательность Колледжу Сент-Атони (Оксфорд) и Фонду Liverhulme Trust за оказанное содействие при работе над этой книгой.

Советник, пресс-секретарь Президента СССР, основываясь на многолетних впечатлениях и ранее не публиковавшихся документальных материалах, создает психологический портрет Михаила Горбачева — человека, политика, лидера, — которому суждено было изменить ход мировых событий. Почему именно ему судьба уготовала роль вершителя истории? Был ли его жизненный путь отмечен особыми знаками, или все решал случай? Что отличало его от других ключевых фигур у власти в СССР? К чему он стремился? Какие средства использовал для достижения своих целей? Что свело и на всю жизнь соединило его и Раису? А.Грачев предлагает читателям свою версию тайны Президента СССР...

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

ISBN 5-264-00573-7

- © А.Грачев, автор, 2001
- © Издательство «ВАГРИУС», 2001
- © Издательство «ВАГРИУС», оформление, 2001
- © А.Жилин, дизайн серии, 2001

Вере и Алене

«Я пойду медленно,
как пойдет скот и как пойдут дети...»
(Иаков. Бытие гл. 33.14)

Оглавление

Пролог

-9-

ГЛАВА 1. ПОЧВА И СУДЬБА

Ставропольский Давид

-12-

От Стромынки до Моховой

-21-

Две половинки яблока

-25-

«Постоянно неугомонный»

-33-

В гвардии Брежнева

-40-

ГЛАВА 2. «ТОПОР ПОД ЛАВКОЙ»

«Подлесок»

-55-

«Не торопи события, Миша»

-69-

От второго «второго» до Генерального

-79-

Ночь перед торжеством

-85-

-5-

ГЛАВА 3. ОБЫЧНЫЙ «ЛУДИЛЬЩИК»?

Свита короля

-93-

«Мы хотим перемен!»

-113-

Главное — начать!

-125-

ГЛАВА 4. ПЕРЕСТРОЙКА... ЧЕГО?

«Заварили кашу»

-135-

«Я пойду очень далеко»

-146-

Реформа? Революция? «Революция»?

-162-

«Где сидишь, там и перестраивайся»

-169-

ГЛАВА 5. ГЕНСЕК ЗЕМНОГО ШАРА

Лишь бы не было войны

-176-

«У нас с Маргарет...»

-182-

Расплата по долгам

-196-

«Русские пришли!»

-204-

ГЛАВА 6. «ПАРТИЯ — ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО МНЕ НЕ ИЗМЕНИТ»

Пройдет ли верблюд через игольное ушко?

-212-

«Давай их всех объединять»

-217-

Побег на волю

-235-

-6-

Пришпорить «тигра»?

-243-

ГЛАВА 7. СОХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАСПУСТИТЬ!

В старой квартире

-255-

Кавказский роковой круг

-263-

Скованный «балтийской цепью»

-271-

Русская карта

-278-

Побег из «Кремлага»

-290-

«Игра» в Союз

-298-

ГЛАВА 8. «ОН ЖЕ БОГ, А Я ОБЫЧНЫЙ...»

Рубанок Творца

-306-

«Что вы читаете, принц?

— Слова, слова, слова...»

-318-

Команда, с которой мне не жить...

-324-

ГЛАВА 9. 1991: ХРОНИКА ОБЪЯВЛЕННОЙ КАТАСТРОФЫ-1

Торможение в небесах

-338-

Январь. Вильнюс: «Знал, не знал?»

-346-

Горбачев и пустота

-355-

Август. «Форосская клетка»

-366-

-7-

ГЛАВА 10. 1991: ХРОНИКА ОБЪЯВЛЕННОЙ
КАТАСТРОФЫ-2
«Другой» Горбачев
-383-

Декабрь. Москва. Уход
-403-

ГЛАВА 11. В ТЕНИ СОБСТВЕННОЙ СТАТУИ
Остывающий реактор
-422-

Генсек и «генсек»
-428-

«У него была мания ее величия»
-432-

ШАНС ГОРБАЧЕВА
(Вместо эпилога)
-438-

Пролог

«Нет истории, есть биографии», — процитировал Ралфа Эмерсона президент Рейган, когда впервые принимал Михаила Горбачева в Белом Доме в декабре 1987 года. Что имел в виду американский философ? Что историю надо изучать по именам и свершениям великих деятелей или что у истории нет иного инструмента самовыражения, кроме человека и его поступков?

Нет ничего проще, чем поделить прошлое на эпохи по именам царей, королей, президентов или генсеков. Проблема лишь в том, что у историй своя табель о рангах, не совпадающая с должностями и чинами правителей. Места в ее Пантеоне заранее не бронируются и не продаются. И если одно из них, безусловно, зарезервировано за Михаилом Горбачевым, то вовсе не потому, что он шесть с половиной лет правил Советским Союзом — сначала как генсек компартии, а затем как его Президент, — а потому, как распорядился оказавшейся в руках неограниченной властью.

Его будут вспоминать и поминать — одни восхваляя, другие проклиная, — не только за то, что он сделал и на что отважился, но и за то, на что не решился и от чего удержался. Конец XX века останется эпохой Горбачева уже потому, что именно он подвел черту под главным конфликтом столетия и, перевернув страницу истории, дал возможность писать ее дальше с чистого листа.

Как обычные люди становятся историческими личностями? Что выделяет их из общего ряда? То, что отличает от остальных, — исключительные способности, энергия, честолюбие,

жажда власти, приверженность идеалу, моральный ригоризм, или, напротив, безоглядный цинизм, беспринципность, или то, что с ними связывает, — знание жизни, умение уловить и выразить настроения и надежды народной массы? Очевидно, все это вместе для каждого — в своей пропорции, в смеси, состав которой можно определить лишь по интуиции, а удостовериться, что желаемое блюдо получилось, — по результатам.

Наверняка Горбачев уже в молодости обладал набором большинства упомянутых качеств. Но не в такой степени, чтобы в нем можно было угадать будущего лидера национального или тем более мирового масштаба. Интрига истории разворачивалась по ей одной известным сценарию и календарю, и даже ее главный герой не был до поры до времени посвящен в смысл своей миссии. А уготовано ему было нешуточное: сокрушить систему, царившую почти на половине земного шара, которая претендовала на мировое господство и не подавала никаких, по крайней мере внешних, признаков истощения. Скорее наоборот, по мере того как режим, основанный, по словам русского философа Ивана Ильина, «на сочетании интернационального авантюризма с исторической мечтательностью», увядал, умирал внутри, все чаще отправляя на кремлевский погост своих руководителей, его претензии на сверхдержавность становились еще безудержнее и безрассуднее. В конце концов и афганская авантюра, и новые ракеты, нацеленные на Запад и на Восток, должны были не столько устрашать реальных или воображаемых врагов Советского Союза, сколько маскировать, компенсировать растущую слабость дряхлеющей системы.

Поэтому те, кто знал или догадывался о необратимом процессе ее разложения, имел все основания опасаться, что при крушении режима, остававшегося, по словам Горбачева, «крепким орешком», высвободится гигантская энергия разрушения и накопленного в обществе насилия. «Если крах советской системы произойдет без третьей мировой войны, — отмечал наш великий соотечественник физик Лев Ландау, — это будет чудом». Чудо произошло.

Государство, казавшееся несокрушимым, распалось, а тоталитарный режим, уткнувшийся в исторический тупик, совершил политическое самоубийство на глазах у изумленного мира.

В том, что сконструированное большевиками по принципу классовой борьбы и диктатуры пролетариата взрывное устройство, занимавшее одну шестую часть суши, удалось разрядить относительно благополучно, что распад советской империи не превратился во вселенский Чернобыль, главную роль сыграл тот, кто пришел к власти в Москве в марте 1985 года совсем с другими намерениями, — последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.

«Без тактической ловкости Горбачева, без его дара «ваньки-встаньки» снова и снова оказываться на гребне бушующих вокруг него стремнин и направлять их в нужное русло разве прошел бы относительно мирно развал советской империи?» — писал обозреватель газеты «Ди Цайт» Кристоф Бертрам. Благодаря Горбачеву XX век революций, мировых катаклизмов и войн, эпоха классового антагонизма, «железного занавеса», разделявшая Европу, и страха перед ядерным Апокалипсисом, окончился на 10 лет раньше календарного срока. Этого ли хотел, к этому ли стремился Горбачев, или история записала его в списки своих Великих Реформаторов, не спросив его самого?

Глава I

ПОЧВА И СУДЬБА

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ДАВИД

Почему именно ставропольский Давид был избран судьбой для сокрушения тоталитарного Голиафа? Почему почти идеальный, образцовый продукт коммунистической системы, ее убежденный сторонник оказался для нее более опасным внутренним врагом, чем все внешние противники, вместе взятые? И почему режим, так успешно противостоявший иностранному военному нажиму и попыткам разложения со стороны идейного противника, оказался безоружным и уязвимым перед проектом реформаторов, стремившихся его «всего лишь» улучшить, а точнее говоря, спасти?

Ответы содержатся в самих вопросах. Систему, вооруженную до зубов «единственно правильным учением» и оцетинившуюся против всего мира, могла поразить только внутренняя коррозия, идейная ересь. Не агрессия извне, а «восстание ангелов». И возглавить его без страха мог, разумеется, только тот, кто сам был без упрека. Только истинно верующий мог стать еретиком. Тот, кто был бы всем обязан советской власти и при этом ничего не должен никому, кроме самого себя. Кто бы не страдал даже от подсознательных комплексов неполноценности, традиционно присущих интеллигентам, желающим освободить и осчастливить свой народ. Кто не был бы частью «прослойки», а сам происходил из народной гущи и потому не боял-

ся в нее вновь окунуться. Кто, как не пролетарий, которому нечего терять, не страшился бы разжалования и, в точном соответствии с предсказанием авторов «Коммунистического Манифеста», наилучшим образом подходил на роль могильщика строя, порожденного им самим. Классики в принципе оказались правы. Они ошиблись лишь на одну историческую октаву — вместо того чтобы хоронить капитализм, сотворенный системой «новый класс» взялся за похороны социализма. И успешно довел дело до конца.

Чего все-таки оказалось больше в ставропольском парне — типичного для его среды, друзей, всего поколения или необычного, предназначавшего его для еще неведомой ему исторической роли? Должны же были быть заложены в его характере, в генах, в натуре какие-то уникальные качества! Ведь не каждый удостоивается при жизни титула одного из великих политических деятелей своего века. И не придется ли, чтобы объяснить сотворенное им, опять кланяться марксистским догмам и «Краткому курсу», утверждающим, что в истории нет выдающихся личностей, есть лишь «сыновья своего класса».

Ведь даже те, кому вроде бы на роду написано историческое призвание, далеко не всегда его оправдывают. История, как известно, — гигантская лотерея, и многих возносит на свой гребень лишь по своей прихоти. И потому только задним числом, роясь в генеалогии, в чертах характера и воспоминаниях друзей, историки находят у ее избранников безусловные приметы величия...

У Миши Горбачева в момент его рождения 2 марта 1931 года таких примет, судя по всему, не было. И хотя он появился на свет в условиях, библейских по неприхотливости, в крестьянском доме на окраине села Привольное, над его изголовьем не стояла Вифлеемская звезда. К единственному знаменанию, возвещавшим его особое призвание, можно, пожалуй, отнести известное родимое пятно, явственно проступившее на лбу, уже когда он основательно полысел, да тот труднообъяснимый факт, что его дед, Андрей Горбачев, крестивший внука в церкви села Летницкого, сменил имя Виктор, данное мальчику при рождении, на Михаила, неосторожно, может быть, поменяв ему судь-

бу: лишив шансов стать «Победителем», обрек его на одинокую гордыню «Подобного Богу».

Других знаков свыше подано не было. Зато было другое: любознательность и неуемная энергия, буквально распиравшие сельского парнишку, с детства мечтавшего, по его собственному признанию, «что-то сделать. Удивить отца и мать, и своих сверстников». Добавим к этому смешанную русско-украинскую кровь двух семей переселенцев, осевших и породнившихся в Привольном: Горбачевых из Воронежа и Гопкало с Черниговщины. Смесь не только кровей, достаточно характерную для юга России, но и политических темпераментов его дедов.

Отец матери — Пантелей Гопкало — с пылом окупился в послереволюционную жизнь, вступил в партию, активно занимался коллективизацией, «продразверсткой» и воплощал новую власть, работая вначале уполномоченным по заготовке зерна, что в ту эпоху означало наделение чрезвычайными полномочиями, а потом председателем созданного им самим колхоза.

Дед со стороны отца, Андрей Горбачев, — его антипод, как бы специально для контраста введенный в семейную сагу. Убежденный единоличник, изо всех сил сопротивлявшийся коллективизации вплоть до того, что не захотел делиться нажитым добром и выращенным урожаем не только с советской властью, но и с собственным сыном Сергеем, когда тот подался в колхозники. Горбачев в красках описывает в своих мемуарах типичную для той поры драматичную сцену классово-партийной борьбы, чуть не дошедшей до драки между отцом и сыном из-за зерна, спрятанного дедом Андреем на чердаке. Позже, уже во время войны, когда в Привольное на несколько месяцев заявили немцы, именно беспартийный Андрей выручил своего партийного сына, спрятав на свиноферме на окраине села уже не урожай, а своего двенадцатилетнего внука Михаила, после того как пронесся слух, что оккупанты решили перед отступлением разделиться с семьями коммунистов.

Пренебрегая политическими расхождениями, советская власть подстригла дедов Михаила под одну гребенку машиной репрессий. При этом Пантелею Ефимовичу, убежденному ее стороннику, в сценарии 37-го года досталось амплу «активного члена контрреволюционной правотроцкистской организации»,

тогда как Андрею Моисеевичу выпала за невыполнение плана посева зерновых более скромная роль «саботажника». Соответственно разнились и вынесенные обоим приговоры. П.Е.Гопкало, чудом избежавший расстрельной статьи, получил срок за «должностное преступление» и был вскоре освобожден; А.М. Горбачев отработал несколько лет на лесоповале в Сибири.

Трагичнее сложилась судьба деда тогда еще не известной Михаилу его будущей жены — Раисы Титаренко — Петра Степановича Парады. Все в том же 37-м постановлением «тройки» он был расстрелян на Алтае. Но хотя оба типа репрессий сталинского режима — и политических, направленных на устрашение партийных и хозяйственных кадров, и экономических, служивших формированию армии даровой рабочей силы, — не обошли стороной семьи родителей Горбачева, ни тот ни другой дед не считали ответственным за них самого Сталина. Виновными в их глазах были, разумеется, слишком усердные местные исполнители, а то и «вредители». Порочный круг взаимных подозрений и обоюдных обвинений, таким образом, замыкался, и запущенный вождем механизм общенационального террора, подпитываясь «общенародной поддержкой», функционировал безотказно. Позднее, размышляя над его роковыми последствиями для советского общества, будущий «калининский» стипендиат (до «сталинского» он не дотянул) Михаил Горбачев скажет: «Сталинизм развратил не только палачей, но и их жертвы. Предательство стало распространенной болезнью»*.

Не только от полярных по политическим темпераментам дедов, но и во внутрисемейном укладе получал он первые уроки идеологического плюрализма и терпимости, называя ее «деликатностью»: в доме у Пантелея Ефимовича в одном углу на столе стояли портреты Ленина и Сталина, в другом — привезенные бабушкой из Печёрской лавры иконы.

Заплатив свою подать государственному террору, исполнили свой долг Горбачевы и на войне. На обелиске павшим в центре Привольного — столбец из семи имен с этой фамилией. Михаил с матерью пережили и прощание с уходившим на фронт от-

* Здесь и далее цитаты из выступлений и мемуаров М.С.Горбачева, документов Секретариата и Политбюро ЦК КПСС, бесед автора с ним, его помощниками, членами его окружения и бывшего советского руководства. (Прим. авт.)

цом (сыну Сергей Андреевич в этот день купил мороженое и, возможно, на память — балалайку), и тревожное ожидание писем, и даже похоронку, которую, к счастью, вскоре опровергло письмо от отца с фронта. У самого Михаила от детских предвоенных и военных лет остались впечатления, неотличимые от воспоминаний миллионов крестьянских детей той эпохи. Сад, корова, глиняный пол в хате, теленок зимой в доме, чтобы не замерз, «тут же гусыня на яйцах», голод. Вечный круговорот в сущности крепостной жизни, за пределы которой Мише уже с ранних лет хотелось вырваться.

Осознанно или нет, но он нащупал дорогу, ведущую в другую, тогда совсем неизвестный ему мир — учебу. По этой дороге, включая вполне конкретный многокилометровый ее участок, отделявший Привольное от районной средней школы в селе Красногвардейском, Миша Горбачев двинулся к знаниям. Ребенком он был непоседливым, но, главное, уже тогда любопытным и упорным. Читал «все, что попадалось на глаза». Рассказывает, что почти на три дня пропал из дома, переполошив мать, когда скрылся от всех на сеновале с книжкой Майн Рида «Всадник без головы».

Когда чего-то не понимал, откладывал, потом перечитывал заново. Знания впитывал жадно, интересовался сразу всем — физикой, математикой, литературой. Открыл для себя поэзию, заучил большие куски произведений Пушкина, Лермонтова, Маяковского, которые под настроение и с охотой декламирует и сейчас. Увлёкся Белинским и так зачитывался книгой его статей из сельской библиотеки, что получил ее в подарок от односельчан, когда первым из жителей Привольного поступил в МГУ.

Влюбился, как и положено, в одноклассницу, с которой вместе играл в школьном театре в «Снегурочке» Островского. Миша с накладными усами был Мизгирем. Вообще сцену он обожал. Из других ролей обычно вспоминает князя Звездича в лермонтовском «Маскараде». Трудно сказать, что его притягивало больше: возможность перевоплощения, смены масок, лицедейства или внимание публики, устремленные на него глаза, аплодисменты. Во всяком случае какое-то время он всерьез подумывал об актерской карьере. Наблюдавшие его много позже со-

всем в другом амплуа такие разные люди, как А.Н.Яковлев и Е.К.Лигачев, с редким для обоих единодушием утверждают, что из Горбачева, безусловно, получился бы выдающийся актер. Что ж, может быть, он и получился, только в особом, политическом театре.

Впервые примерил он на себя в школьные годы еще одну роль — принципиального комсомольского лидера. Одни помнят, как строго Михаил выговаривал за опоздания на собрания, в том числе своей «Снегурочке»; другие — что он принес в школу из своего деревенского, во многом патриархального быта уважительное отношение к старшим, приветливость и благожелательность в общении с одноклассниками. Событием, резко выделившим его из школьной среды, стал, конечно, полученный им в возрасте 17 лет орден Трудового Красного Знамени, которым он был награжден за работу с отцом на комбайне. Помогать отцу-механизатору на комбайне он начал уже в 14 лет — для деревенского мальчишки это было естественным продолжением обычных домашних обязанностей. На равных со взрослыми — и под дождем, и в 35-градусную жару — участвовал в ежегодных «битвах за урожай».

Видимо, в этом изнурительном «крепостном» труде, как потом скажет сам Горбачев, развилась и укрепилась между отцом и сыном тесная мужская и одновременно трогательно нежная связь. Отца Михаил обожал. Подлинной нежностью пропитаны строки воспоминаний о нем. Фотография отца в солдатской гимнастерке стояла на рабочем столе генсека на даче. От отца Михаил Сергеевич унаследовал не часто встречающееся в крестьянской среде подчеркнуто «рыцарское отношение к женщине», которое наблюдала у своего деда горбачевская дочь Ирина.

Сложнее складывались отношения с матерью, Марией Пантелеевной. В своих воспоминаниях Горбачев упоминает о ней вскользь, как бы нехотя, подчеркивая всякий раз, что она была «решиительной женщиной». Односельчане считали ее грубоватой по сравнению с более мягким по характеру, «интеллигентным» по манерам Сергеем Андреевичем. Как-то в разговоре, рассуждая о своих «вечных сомнениях», Горбачев обронил: «Вот у моей матери никаких сомнений никогда не было. Она никогда не училась, и ей всегда все было ясно». Оставшись пос-

ле смерти мужа одна, эта действительно энергичная женщина продолжала по заведенному раз и навсегда жизненному принципу вести дом и хозяйство, трудиться на огороде и напрочь отказывалась обсуждать варианты переезда с обжитого места.

Сына тем временем жизнь все дальше относил от нее. Не сложились близкие отношения у матери и с невесткой. Вспоминая о том, как он привез молодую жену в родительский дом в Привольное, Горбачев пишет, что отец сразу принял Раису очень сердечно. Про мать не упоминает. Женщины они были во всех отношениях совершенно разные, а мужчина, на чье внимание претендовали обе, был один — Михаил. В такой достаточно банальной ситуации чаще всего приоритет остается за женой. И хотя все необходимые и обязательные для патриархальной сельской среды поклоны в сторону матери были отвешены, чем дальше, тем труднее они понимали друг друга, тем меньше поводов находилось для общения.

«Бабушка была обыкновенной, очень простой деревенской женщиной, — вспоминает Ирина, — и ей, конечно, многое было непонятно в поведении отца с матерью. Ну, например, почему в выходной день, вместо того чтобы, как положено в деревне, «отдохнуть», то есть хорошенько посидеть за столом, выпить, закусить, попеть, сходить в гости к соседям, они тратили время на свои обязательные долгие пешие прогулки, нескончаемое чтение и обсуждение прочитанного». Впрочем спеть под настроение да еще в хорошей компании «душевную» песню или чувствительный романс Горбачев всегда любил и от предложений, как правило, не отказывался. Среди его любимых романсов Раиса Максимовна называла тургеневское «Утро туманное, утро седое...».

Отец, по словам Ирины, хотя внешне и был копией матери, внутренне гораздо ближе был к деду — Сергею Андреевичу. Тот, будучи ненамного образованнее жены — окончил всего 4 класса — до самой смерти жадно интересовался любыми новостями, читал газеты, смотрел телевизор, готов был все услышанное обсуждать с сыном.

После того как Михаил с Раисой перебрались в Москву, за его матерью приглядывали крайком и сельская власть. Когда Горбачев стал генсеком, ее дом отремонтировали, проложили

асфальтированную дорожку, провели телефон, а по соседству обосновалась охрана. Но видеться и разговаривать с сыном Марии Пантелеевне выдавалось все реже. Связующим мостиком между ними оставалась Ириша, которая еще при жизни деда часто гостила летом в Привольном и регулярно позванивала бабушке.

В 1991 году, когда случилась флорская история, несколько нескончаемо долгих дней о судьбе президента ничего не знала и его мать. Когда же связь восстановили, он в горячке драматических событий ей из Крыма не позвонил: «Не получилось. До сих пор переживаю», — напишет он потом в книге «Августовский путч».

Может быть, на их отношения повлияло то, что мать, как это нередко бывает, больше привечала и холила младшего сына Сашу, последыша, родившегося через 16 лет после Михаила. Своему младшему брату поручал он заботиться о матери и когда ушел в отставку. Охрану, естественно, с ее дома тут же сняли, прекратилась опека со стороны местных властей. Продав свой дом односельчанину Андрею Разину, лидеру группы «Ласковый май», приобретшему к этому времени общероссийскую славу, Мария Пантелеевна тем не менее уезжать из него не торопилась, а сыновья ее вспоминали нечасто. И только в 1992 году, впервые после отставки приехав в родные края, Михаил Сергеевич убедил мать покинуть село, где прошла вся ее жизнь, и переехать в Москву. После переезда она прожила недолго. Похоронили ее рядом с мужем в Привольном.

Задолго до этого, в 1950 году, заканчивая школу, 19-летний (из-за двухгодичного перерыва, связанного с войной) Михаил попросил родительского благословения на продолжение учебы. Этот серьезный сюжет обсуждался, по понятным причинам, прежде всего с отцом. Тот напутствовал сына лаконично: «Поступишь, будем помогать, чем сможем. Не поступишь, возвращайся на комбайн, будем дальше работать вместе». Известный американский журналист Хедрик Смит, долго работавший в Москве и написавший книгу о Горбачеве, уже в самом факте поступления деревенского парня из далекого ставропольского села в престижнейший университет усматривает чуть ли не божий промысел: «Это все равно, что негритянскому подростку из

Гарлема добиться зачисления в Гарвардский университет», — объясняет он американским читателям.

Михаил Сергеевич свое поступление на юрфак МГУ комментирует куда прозаичнее: «После войны, выбившей миллионы молодых людей, в стране был такой голод на квалифицированные кадры, что для поступления в вуз достаточно было только желания. У нас из школы даже те, кто учился много слабее меня, почти все поступили». И тут же, чтобы совсем не принизить значения своего первого гераклова подвига, как бы в шутку добавляет: «У нас ведь никогда не переводились Ломоносовы».

Тем не менее для зачисления без экзаменов, как это произошло с ним, надо было быть медалистом. Михаил закончил школу с серебряной медалью («четверку схватил по немецкому»). Жажда учиться и стремление вырваться в большой мир были столь сильны, что он готов был подать заявления сразу в пять вузов, — ему все казалось в равной степени интересным. Начал было приглядываться к Ростовскому институту железнодорожного транспорта, потом нацелился на карьеру дипломата, а в конце концов отправил документы на юрфак МГУ.

После долгого ожидания и даже напоминания о себе, — потеряв терпение, отправил в МГУ телеграмму — получил ответ о «зачислении с общежитием» даже без собеседования. Помимо медали на решение приемной комиссии вполне могли повлиять его нетипичные анкетные данные: проходя по категории «школьников», а не фронтовиков, он тем не менее отличался от большинства своим рабоче-крестьянским происхождением, и в особенности главным козырем — орденом. К тому же в свои девятнадцать успел еще в школе стать кандидатом в члены партии.

В сентябре 1950 года с чемоданом, собранным матерью, в своем единственном костюме Михаил сел на поезд, отправлявшийся в Москву. Он впервые покидал Ставрополье и уносился — на этот раз уже не в мечтах — в другой, неизвестный ему и уже поэтому притягательный мир. Обрывал связь с родительским домом, деревенским бытом и целым укладом жизни — всем, что отныне останется в нем не столько частью природы, сколько воспоминанием. И хотя пять лет спустя он вернется на работу в Ставрополь и проведет в родном крае еще 23 года, но это будет уже совсем другой человек.

В тогдашних условиях его отъезд был равнозначен первой поездке за рубеж, поскольку и вправду выводил его за границу единственного известного ему и привычного мира. Путь в полторы тысячи километров, который ему предстояло за последовавшие годы не раз проделать на поезде, провел его через Ростов, Сталинград, Харьков, Орел, Курск и Воронеж. Только покинув Ставрополь, который, как и его собственную деревню, в общем-то пощадила война, ставропольский «Ломоносов» начал открывать для себя подлинную драматическую реальность лежавшей еще в руинах и пока малоизвестной ему страны, которую через тридцать пять лет ему предстояло возглавить.

ОТ СТРОМЫНКИ ДО МОХОВОЙ

Уже после отставки, когда пришла пора оглянуться назад и когда времени впервые стало вдоволь, Горбачев вернулся в мемуарах к собственным истокам: «Чтобы решиться на реформы, нужно было прожить ту жизнь, которую я прожил, и увидеть то, что я видел. Выйти из семьи, пережившей драму коллективизации и репрессий 37-го года. Пройти Московский университет — его надо выделить жирным шрифтом».

Даже в 50-е годы МГУ, размещавшийся тогда на Моховой, был окном в мир подлинных знаний и оазисом культуры в пустыне идеологического конформизма. Среди преподавателей юрфака сохранились дореволюционные профессора. Наряду с обязательными классиками марксизма-ленинизма студенты штудировали римское право и латынь, историю политических учений, изучали конституции крупнейших буржуазных государств, начиная с американской, учились ораторскому искусству. За годы учебы на факультете, как подсчитал однокурсник Горбачева Рудольф Колчанов, им пришлось сдать 53 экзамена, не считая зачетов.

Даже изучение классиков марксизма, не сводившееся только к сталинскому «Краткому курсу ВКП(б)», а предполагавшее знакомство с первоисточниками, было серьезной гимнастикой для молодых умов. А обязанность изучать всех идейных противников (классиков), которых те ниспровергали и с кем спорили (спорили же они почти со всеми сколько-нибудь выдающи-

мися интеллектуальными фигурами своего времени), выводила юрфаковцев за флажки официальной доктрины, на просторы неортодоксальных и даже запрещенных идей. «У нас в общежитии, — а в одной комнате на первых курсах жило по 15—20 человек, — круглые сутки шли яростные теоретические споры, — вспоминает Р.Колчанов. — Мы без конца делились на идейные течения и фракции. Кто-то цитировал Троцкого, кто-то мог критиковать Ленина за Брестский мир или даже самого Сталина, скажем, за примитивный стиль изложения философских идей. Я лично был поклонником Струве... Конечно, мы были глупыми, сумасшедшими мальчишками и могли здорово за это поплатиться. Несколько человек со старшего курса за такие дебаты получили по 10 лет. Но нам повезло, никто не донес».

Прямо со ставропольского поезда Миша Горбачев окунулся в эту разгоряченную интеллектуальную среду. «Университет возбудил во мне такие внутренние силы. Привел в движение мыслительные процессы. Страсть и любопытство переросли в устойчивый интерес к философии, к политике, к теории. Это и сейчас у меня остается, хотя я себя не считаю теоретиком. Все-таки я политик, политик», — повторяет Горбачев и дважды, как бы в подтверждение этого, взмахивает рукой, сжатой в кулак.

Курс был пестрый, большинство составляли только что отвоевавшие фронтовики, школьников было мало, среди них практически все — медалисты. Михаил со своей серебряной медалью, полученной в сельской школе, хотя и был по знаниям чуть выше фронтовиков, но, особенно поначалу, сильно проигрывал городским сверстникам. Выручали чуть более солидный возраст — 19 лет и, разумеется, упоминавшиеся уже знаки отличия. Но это только в первый год, а дальше — никаких снисхождений — все были на равных.

Это испытание Горбачев выдержал — целеустремленный парень приехал в столицу с твердым намерением отучиться пять лет «без амуров». «Там, где нам приходилось заниматься 1—2 часа, — рассказывают его однокурсники, — он сидел 3—4. Учился неистово, страстно, на пределе сил. Жажда знаний у него была поразительная». Нельзя сказать, что этим он сильно отличался от других студентов. Для поколения, пережившего

войну, стремившегося наверстать упущенное, приблизить нормальную мирную жизнь, истовая, азартная учеба была естественным выбором. В общежитии на Стромынке в единственном читальном зале мест на всех не хватало, и студенты занимались там посменно круглые сутки. Явившийся в 2 или 3 часа ночи сокурсник вполне мог застать там сидящего за книгами Горбачева.

Впрочем, тогда особыми успехами он не выделялся, на курсе были и более яркие, самобытные личности. Не будучи штатным заводилой и «душой общества», он пользовался у сокурсников безусловным авторитетом. Его выбрали комсоргом, потом секретарем факультетского бюро. В 1952 году из кандидатов он был принят в члены партии. Хотя в то время никто из сверстников не мог угадать в нем будущего выдающегося лидера, но перст особой судьбы все-таки указывал на него: на случайной, ежегодно публикуемой в «Комсомольской правде» ритуальной фотографии очередного набора студентов МГУ в 1950 году Михаил был запечатлен в самом центре большой группы первокурсников.

В достаточно пестрой среде юрфаковцев он, как отмечают многие, если и выделялся, то прежде всего своим открытым, «теплым», общительным характером. И еще страстной тягой ко всему новому, неизвестному, желанием узнать, впитать все, что могла ему дать столичная жизнь, преодолеть отрыв в знаниях и впечатлениях от своих сверстников. При этом, по словам его самого близкого университетского друга Зденека Млынаржа, Михаил никогда не комплексовал, не стеснялся своей провинциальности, всегда мог спросить: «А что это такое?» «Так однажды он поинтересовался у меня насчет балета и потребовал взять с собой в Большой театр». В другой раз это мог быть футбольный матч или военно-воздушный праздник.

Интерес к жизни, естественно, перерастал в интерес к людям, особенно ярким, необычным. «Поэтому-то у него и было всегда много друзей», — говорит Рудольф Колчанов. Видимо, и Млынарж был для него невиданным явлением, окном в другой, еще неизвестный мир. Иностранец, пусть и из братской социалистической Чехословакии, широко образованный, выходец из состоятельной семьи и при этом убежденный коммунист. Млы-

наржа, скорее всего, привлекало в сокурснике то, чего не доставало ему самому, — открытость, спонтанность, стихийный демократизм. Его русский друг стал для него как бы живым воплощением того абстрактного, описанного в книгах пролетария, представителя трудящихся, служению которым Зденек собирался посвятить свою жизнь. Все университетские годы они были неразлучны.

Подкупало его в «Мишке» и то, что, в отличие от большинства остальных ребят по курсу, он был классическим, «незамутненным» провинциалом, приехавшим в Москву с южной окраины России. Поэтому преодоленная им дистанция — от родного дома на окраине Привольного до престижного факультета главного советского вуза — была по-своему живым подтверждением и реального демократизма существующей системы, и, разумеется, незаурядности личных достоинств тех, кого она сформировала.

Многоцветное, многоголосое сообщество послевоенной молодежи спланивало, соединяло в единый организм общежитие на Стромьнке, заменявшее немосквичам родной дом. Эта советская бурса размещалась в здании бывшей казармы, построенной еще в петровские времена, и казарменный дух, сквозивший в ее архитектуре и внутренней планировке, так из нее и не выветрился. До тех пор пока студенты не перебрались в роскошные для той поры «хоромы» в высотном здании МГУ на Ленинских горах, они жили по многу человек в одной комнате, где не было другой мебели, кроме кроватей, под которыми в чемоданах хранились личные вещи. Внутри всего желтого здания тянулся длинный коридор, и те, кому надоедало торчать в накуренной комнате, выходили на прогулку по нему, как на главный проспект этого постоянно гудевшего и почти не спавшего студенческого города.

Еще одним местом коллективного времяпрепровождения был... туалет. Лишенный по причине послевоенной разрухи кабинок и дверей и состоявший из шеренги унитазов, он использовался не только для сугубо утилитарных целей. Там нередко продолжались политические и теоретические дебаты, и можно было обнаружить какого-нибудь студента, погруженного в чтение философского трактата с карандашом в руке или просто за-

думавшегося, как роденовский Мыслитель, только в менее эстетичной позе.

Жесткий коммунальный быт, разумеется, сразу высвечивал индивидуальные черты характера каждого. Михаил — в этом, видимо, проявлялось его патриархальное деревенское воспитание — естественно вписался в этот студенческий «колхоз»: продукты и гостинцы, получаемые им время от времени из дома, тут же делились на всю комнату, которая вскоре, после того как он был избран ее старостой, завоевала звание образцовой в общежитии. Привитая родителями отзывчивость могла поднять его среди ночи зимой, чтобы отдать свое теплое пальто приятелю, спешившему на вокзал встречать иностранную делегацию. «Тогда ведь всем, что у кого было, делились. Гардероб у студента личным никогда не был», — рассказывал Михаил Сергеевич про свою жизнь на Стромынке много лет спустя.

Из общежития в Университет на Моховой ездили со станции «Сокольники», куда, как правило, без билета добирались на трамвае — по утрам его подножки и даже сцепки между вагонами бывали облеплены студентами. Девушек всегда галантно заталкивали в вагон. Зато на обратном пути, когда торопиться было некуда, юрфаковцы группками возвращались пешком на Стромынку, а когда заводились деньги, заглядывали в одну из расположенных по пути забегаловок: брали по порции винегрета и бутылку вина на 3—4 человек, а чаще водку. Горбачев регулярно участвовал в этих непритязательных застольях.

Все или почти все изменилось в укладе его студенческой жизни с появлением Раисы.

ДВЕ ПОЛОВИНКИ ЯБЛОКА

Увлечения или даже романы у 19-летнего южанина, открывавшего для себя Москву, разумеется, были и до появления на его горизонте Раисы. Сокурсники рассказывают, по крайней мере, о двух девушках с юрфака, которые привлекали его внимание и сами не остались равнодушны к черноглазому и тогда еще пышноволосому ставропольцу. Одна из Мишиных подруг, утонченная барышня из профессорской семьи, охотно «обтесывала» его — приобщала к московской жизни, водила по театрам, кон-

цертам и выставкам. Горбачев, как утверждают, был по-настоящему увлечен и сильно переживал, когда эти отношения обрвались: то ли самой москвичке, то ли ее семье Михаил, симпатичный, но совсем «из другого круга», показался простоватым. Второй раз он влюбился в одну из самых красивых девушек на факультете, явно выделявшую его в толпе своих поклонников. Роман завязался и мог иметь продолжение, если бы в этот момент Михаил не встретил Раису. У них обоих осталось впечатление, что каждый нашел недостававшую и идеально подходившую ему «половинку яблока» (по выражению Горбачева).

Рая, хотя и была на год моложе Михаила, — она поступила в МГУ в 17 лет, окончив школу с золотой медалью, училась на курс старше на философском факультете. В общежитии на Стромынке философы и юристы размещались по соседству, и специфика каждого факультета накладывала на их студентов заметный отпечаток. Среди юристов, которым по окончании учебы предстояло работать в органах прокуратуры, судах, а также в МВД и милиции (об адвокатской практике в те, еще сталинские, 50-е годы вряд ли кто мог задумываться всерьез), было довольно много фронтовиков, людей служивых или собиравшихся ими стать. В философы, у которых в перспективе было в лучшем случае преподавание диамата и истмата в техникумах и вузах, шла молодежь особого склада, «чуть-чуть сдвинутые», как считает Рудольф Колчанов, ежедневно наблюдавший своих коллег-мыслителей в общежитии. Для того чтобы оказаться среди них, девушка, да еще из глубокой провинции, как Раиса, несмотря на ее золотую медаль, должна была быть, безусловно, неординарной личностью. Раиса тогда такого впечатления не производила.

Очень худенькая, очень сосредоточенная — такой она запомнилась однокурсникам, среди которых оказались будущие звезды философии и социологии Мераб Мамардашвили и Юрий Левада. В те годы она, даже будучи очень привлекательной, не выглядела эффектной и уж точно не была кокетливой. Производить яркое впечатление в те, еще достаточно голодные годы ей не позволяла и тогдашняя бедность. Раиса выросла в семье с более чем скромным достатком, и ее матери и отцу, железнодорожнику, растившим троих детей, ради того чтобы «поднять» их и дать образование, приходилось отказываться от многого. Рая

не могла позволить себе не только лишнее платье, но и теплую одежду для зимы, и, как она рассказывала дочери, видимо, заработала ревматизм, когда бегала по морозу в тонких чулках и легких туфлях. Но стесненность в средствах ее тогда ничуть не угнетала — может быть, и она принадлежала к породе «чуть-чуть сдвинутых», во всяком случае, увлеченных своим необычным предметом — и к жизненным трудностям студента относилась философски. Даже естественное для юной привлекательной девушки внимание к своей внешности и производимому на окружающих впечатлению было просто не в ее характере. Красить губы, по словам супруга, она впервые начала в 30 лет.

Что свело и так прочно соединило на всю жизнь Раису и Михаила? Ведь все, кто наблюдал их, могли убедиться, что это был действительно редкий, гармоничный союз, брак из разряда тех, что «заключаются на небесах». Юрий Лизунов, фотограф из ТАССа, часто сопровождавший Горбачевых в поездках, опытный физиономист, как все люди его профессии, говорил, что, когда они вместе, «у них совсем по-другому светились глаза». Чем они оказались так близки друг другу? Если отвлечься от того, что составляет таинство любовного союза, у них обнаруживается удивительно много общего. «Они ведь даже похожи были», — считает их дочка.

Начать с того, что оба — полурусские, полуукраинцы, только у Михаила украинкой была мать, у Раисы — отец, Максим Титаренко. Оба из простых, трудовых семей, не балованные ни достатком, ни исключительной заботой родителей. Оба обученные труду с детства и воспринимавшие учебу как единственное продолжение этого труда. Используя современную терминологию, Ирина называет их обоих «самообучающимися системами». Наконец, оба — чужаки в Москве, провинциалы, с жадностью впитывавшие все, что могла им предоставить столица, но при этом так и не ставшие столичными жителями, своими в этом, принадлежащем сразу всем, но только для немногих родном, городе.

Найдя друг друга в шумной суете московской жизни, они, по-видимому, почувствовали себя на отдельном, только им принадлежащем островке посреди бушующего и чужого им моря.

Во всяком случае, с тех пор как они познакомились в 1951 году, сразу сузился круг их внешнего общения. «Они никого не оттолкнули, ни с кем не порвали, наоборот, будучи оба отзывчивыми и открытыми людьми, сохранили все дружеские связи, просто было видно, что у них образовался свой собственный внутренний мир, в который они никого не пускали», — рассказывает Р.Колчанов.

Привычки, отношение к жизни, к учебе у них и раньше были схожими, теперь же, даже не замечая этого, они начали подстраиваться друг к другу. Выяснилось, что оба обожают пешие прогулки, и эта привычка стала священным ритуалом, соблюдавшимся независимо от того, когда Михаил Сергеевич, ставропольский секретарь, а потом общесоюзный генсек и президент возвращался домой с работы. (После смерти матери традицию ежевечерних прогулок с отцом продолжила дочь Ирина.) Оба были, как считает Горбачев, «максималистами», и уточняет: «Раиса Максимовна такой и осталась, а вот мне из-за специфики моих занятий и многообразных проблем пришлось превратиться в «человека компромиссов».

По твердости характера, методичности, организованности, граничившей с педантичностью, Раиса во многом превосходила мужа. Возможно, эти черты у нее развились или даже гипертрофировались за годы ее социологических занятий, систематизации многочисленных опросов и преподавательской работы. Книжки в домашней библиотеке расставлены ее рукой строго по алфавиту. В студенческие годы она могла посреди концерта или спектакля встать и уйти, если у нее была недочитана к зачету какая-то книга или не закончен конспект. Точно так же в Ставрополе, принимая гостя из Москвы, она извинялась и отправлялась на кухню готовиться к завтрашней лекции.

К первым зарубежным поездкам она готовилась, как к семинарам, «начитывая» литературу, в музеи приходила с путеводителем и покидала с исписанным блокнотиком. Когда выезды за рубеж Горбачевых стали регулярными, она отмечала на карте мира страны и города, в которых побывала. Вернувшись же в столицу в 1978 году, Горбачевы более основательно знакомились с Москвой по плану, разработанному Раисой: по воскресеньям обходили московские памятники по эпохам, начиная с ос-

нования города. Можно усмотреть во всем этом проявление так и не выветрившихся комплексов девушки из провинции, которая самоотверженным трудом, предельной организованностью и внутренней дисциплиной заставляла себя наверстывать нехватку знаний и «универсальной культуры», которую ей не смогли своевременно дать семья и среда. Но в этом же проявлялась и безусловная сила ее характера, целеустремленность и тот самый, уже упоминавшийся максимализм, нежелание удовлетворяться полумерами, суррогатами, «приблизительными знаниями», округлыми общими фразами и словами. Недаром Михаил Сергеевич в шутку называл свою Раису секретарем семейной партийной ячейки.

Еще в университете она считала недопустимым для себя готовиться к экзаменам только по учебным пособиям или конспектам, а не по первоисточникам — по работам Гегеля, Канта, Фихте и других. Чиновник британского МИДа, сопровождавший чету Горбачевых во время их первого визита в Великобританию в декабре 1984 года, буквально опешил, когда Раиса Максимовна высокопрофессионально оценила философские работы Гоббса — ему трудно было поверить, что ее ремарка не была заранее специально припасена для поездки. Но точно так же в Ставрополе, куда был направлен на работу после МГУ Михаил Сергеевич, вовсе не предполагая, что станет «первой леди» советской супердержавы, она готовилась к лекциям в сельскохозяйственном институте, вчитывалась в переводы «закрытых» философских книг, издававшихся «штучным тиражом» для рассылки высшей партийной номенклатуре. Выросшая в окружении этих книг, в атмосфере постоянных семейных политических споров и философских диспутов, Ирина подтверждает, что имена Сартра, Хайдеггера и Маркузе с детских лет были у нее на слуху.

При этом, даже став преподавателем и доцентом вуза — одно время ей даже предлагали пост заведующего кафедрой, — Раиса Максимовна не превратилась в «синий чулок». Увлеченность «тяжеловесными» и даже схоластическими талмудами старых и новых философов не мешала ей держать не только интеллектуальную и профессиональную форму, но и оставаться привлекательной современной женщиной. С одинаковой заинтересован-

ностью она следила за тенденциями зарубежной политической мысли и за веяниями моды: была в курсе моделей и фасонов сезона, модных цветов и длины юбок.

Этим, надо думать, объясняется то, что западная пресса, открывшая для себя жену Горбачева вместе с перестройкой, назвала все эти перемены «феноменом Раисы». Прожив 23 года в провинциальном Ставрополе, лишь от случая к случаю навещаясь в Москву и редко бывая за границей, она яркой бабочкой выпорхнула из кокона безликой и обезличивающей системы — элегантной, независимой и уверенной в себе современной женщиной, которая стала советской «первой леди» едва ли не раньше, чем ее муж бесспорным национальным лидером.

Но в начале 50-х Михаил, разумеется, не знал обо всех этих неординарных качествах своей будущей жены. Ему, как, впрочем, и ей самой, их предстояло еще открыть и развить. Однако рядом с этой достаточно необычной девушкой он вовсе не был «ведомым». Хотя Раиса была на курс старше, он, студент-юрфаковец, со своим богатым трудовым и жизненным опытом, партийным стажем и начинавшейся комсомольской карьерой, выглядел вполне самостоятельным и взрослым мужчиной. Сделав Михаила после некоторых колебаний своим избранником (Горбачев в мемуарах и в устных рассказах не без удовольствия припоминал поклонников, которые роем вились вокруг нее: «физика», аспиранта из Литвы и еще одного «югослава, то ли серба, то ли хорвата», которым она в конце концов предпочла его), Раиса, как это было принято в тех семьях и той среде, откуда оба вышли, подчинила свою дальнейшую жизнь планам мужа.

После двухгодичной «дружбы» они наконец поженились в 1953 году, отпраздновав в общежитии студенческую свадьбу, — деньги на свадебные наряды он заработал на летних каникулах в своей родной МТС. Первую брачную ночь провели в комнате, которую им галантно уступили друзья Михаила, разбредшиеся кто куда. Но уже со следующего дня молодоженам пришлось вновь разойтись по мужской и женской «половинам» стромыньских казарм, и даже официальное свидетельство о браке, служившее Михаилу пропуском в комнату Раисы, где ее соседкой была будущая жена Зденека Млынаржа, не позволяло ему задерживаться у жены позднее 23 часов.

Подлинный медовый месяц наступил много позже, когда они смогли перебраться в аспирантское общежитие МГУ на Ленинских горах, где были «семейные» комнаты с невиданным по тем временам комфортом — душем и туалетом на каждые две семьи. Раиса, окончившая к этому времени университет, получила предложение остаться в аспирантуре, что лишний раз подтверждает серьезность ее отношения к избранной стезе, и поджидала завершения учебы и распределения мужа. Ни о какой необычной карьере, ни тем более о политике молодые супруги в то время не помышляли.

Как миллионы советских людей, они, конечно же, были потрясены смертью Сталина и, как их чешский друг Млынарж, задавали себе в растерянности вопрос: «Что же теперь с нами будет?» Но Михаил, по свидетельству друзей, в те годы не был замечен ни в экзальтированном поклонении вождю, ни в хотя бы робком антисталинизме. Попереживал вместе со всеми и переключился на другие, более актуальные сюжеты в начинавшейся самостоятельной жизни. Его стихийный антисталинизм, который оказался основательнее, чем официальная анафема культу личности, прозвучавшая три года спустя, начал проявляться много позднее в нетерпимой реакции на происходившие вокруг него события. Но уже летом 53-го в письмах Раисе стажер ставропольской прокуратуры, будущий генсек пишет, как сильно он чувствует «отвратительность окружающего... Особенно быта районной верхушки». Но на более высокий уровень, тем более на оценку режима или поведения умершего вождя, его критика тогда не распространялась.

«Мы были не диссидентами, а ревизионистами», — написал он в книге диалогов с японским политическим и религиозным деятелем Д.Икэдой. Даже общая для их троих (вместе с Раисиным) дедов несчастная доля жертв репрессий 37-го не сказала тогда на почитании им вождя. «Впервые в прямую связь историю своей семьи с последствиями сталинизма я поставил, находясь уже в Ставрополе и узнав о докладе Хрущева». Только с этой поры, а не с московских университетских лет, можно, наверное, зачислять Горбачева, как это он делает сам, в поколение «шестидесятников» — «детей войны и XX съезда»...

С распределением Михаила, несмотря на защищенный на «отлично» диплом, вышла заминка. Остаться, как и Раиса, в аспирантуре у него не получилось: хотел пойти на «серьезную» кафедру — теории государства и права, а ему как бывшему селянину предлагали колхозное право. Поначалу «забрезживший» вариант распределения в центральный аппарат союзной прокуратуры сорвался. Новоиспеченный юрист стал своеобразной жертвой процесса десталинизации: в стране началось восстановление «социалистической законности» и закрытое постановление правительства запрещало брать на работу в центральные органы правосудия «незрелую» молодежь из юридических вузов, представители которой в прежние годы так ретиво обслуживали сталинские репрессии.

Горбачеву предложили на выбор работу в прокурорских органах Томска, Благовещенска, в Таджикистане или в подмосковном Ступино, что давало бы возможность «зацепиться» в столице, а Раисе продолжать учебу в аспирантуре. Но, видимо, и здесь сыграли свою роль его тогдашний максимализм и нежелание жертвовать специальностью ради Москвы. Нелепо подозревать его и Раису, бросившую аспирантуру и последовавшую за мужем в провинциальный Ставрополь, в том, что могли просчитать на двадцать лет вперед шансы сделать там головокружительную партийную карьеру. Их не ждали ни гарантированная работа, ни жилье, ни какие-то местные покровители, которые обещали бы Михаилу быстрое служебное продвижение. Рассуждать так задним числом, как делают некоторые российские или зарубежные комментаторы биографии Горбачева, — значит упускать из виду, что оба они не так уж держались за Москву, продолжая чувствовать себя в ней чужими, забывать о том времени и о том поколении, полном надежд и желания самоутвердиться, в конце концов, о том, что они были молоды, уверены в себе и друг в друге и потому счастливы. Все остальное казалось и, видимо на самом деле, было вторичным.

Отправив багажом главные накопленные в Москве ценности — книги, Михаил и Раиса, обогатившие столичными впечатлениями, обремененные знаниями, он — римского права и начатков латыни, она — мировой философии — в 1955 году отправились в Ставрополь, почти как «разночинцы» или «народ-

ники» прошлого века. Они и в самом деле были «советскими разночинцами» — представителями нового сословия, вышедшего из народной среды, получившего добротное образование и мечтавшего применить его для улучшения участи своего народа. Главным для обоих была возможность начать вдвоем самостоятельную жизнь, их вовсе не смущало, что начинать ее приходилось с чистого листа.

«ПОСТОЯННО НЕУГОМОННЫЙ»

«Хождение в народ», по правилам советской эпохи, начиналось с обхода кабинетов кадровиков. Прибывший из Москвы молодой специалист быстро убедился, что в ставропольской прокуратуре его не ждали с распростертыми объятиями. Диплом и значок выпускника МГУ не произвели впечатления на местное юридическое сословие, скорее наоборот: чужак, даже будучи земляком, раздражал, грозил нарушить размеренный, привычный уклад местной жизни. «Лишнее» образование здесь только мешало.

Ставрополь, в переводе с греческого «город креста», построенный при Екатерине для обороны от турецких нашествий, в середине 50-х годов выглядел «даже чересчур провинциальным», как дипломатично охарактеризовала его Раиса. В нем, правда, имелись свой проспект Карла Маркса и неизбежный кинотеатр «Гигант», но отсутствовали центральный водопровод и канализация. По свидетельству Владимира Максимова — будущего диссидента, издателя журнала «Континент», работавшего в те годы журналистом в ставропольской молодежной газете, это был типичный провинциальный городок, растянувшийся вдоль одной главной улицы. Здесь практически не было общественного, а тем более личного транспорта — в официальные учреждения, в магазины и в гости жители в основном ходили пешком. И если после родного села Ставрополь казался Горбачеву символом городской современной жизни, то после Москвы он выглядел совсем иначе.

Холодный душ, каким его окатили в местной прокуратуре, где он не так давно проходил практику и откуда слал Раисе письма, обличавшие «чиновничью наглость, косность и консер-

ватизм», побудил темпераментного Михаила самому взяться за устройство своего будущего, тем более что «сманил» сюда из Москвы свою «Райчонку». Он специально загодя выехал в Ставрополь, чтобы приготовить все необходимое к ее приезду. Михаил помнил, как хмуро встретили родители Раисы, которых они навестили после окончания учебы, сообщение о том, что муж срывает ее с аспирантуры и тащит за собой в глухую провинцию.

Надо было немедленно трудоустроиться, и Горбачев, обсудив ситуацию с приятелями, отправился в крайком комсомола. Там он выложил свои козыри: партийность, работа в селе комбайнером, полученный за это орден, университетский диплом, комсомольская работа на курсе и факультете. Напористый парень произвел хорошее впечатление на первого секретаря крайкома комсомола В.Мироненко и по уговору с прокурором края, решившим не держаться за спущенного ему по разрядке нового сотрудника, Горбачева откомандировали к нему. Так, не успев потрудиться по своей специальности, которой посвятил пять университетских лет, Михаил приступил к работе, где требовались не столько специальные знания, сколько особые качества: энергия, исполнительность, «моторность», умение находить подход к людям. Мироненко так аргументировал назначение его заместителем заведующего отделом пропаганды крайкома комсомола: «Соображает, знает деревню, язык подвешен. Что еще надо?»

«Постоянная неутомимость» помогла Михаилу быстро включиться в круговерть, которую представляла собой жизнь партийно-комсомольского аппарата во все советские времена, и особенно в хрущевскую эпоху. Кампании, почины, местные инициативы и директивные указания Центра заставляли спицы аппаратного колеса вертеться круглосуточно. Готовым надо было быть ежедневно ко всему: от разъяснений пагубных последствий культа личности до направления молодежи на стройки «большой химии» и пропаганды кукурузы. После того как Никита Сергеевич открыл для себя несравненные питательные качества утиного мяса, крайком комсомола по примеру старших товарищей переквалифицировался в «утководов». Краевая молодежная газета на первых страницах грозно вопрошала: «Ком-

сомолец, что за сутки сделал ты для утки?» Расплодившиеся птицы заполнили все водоемы, создавая очередную экологическую проблему, и, поскольку для их переработки не хватало мощностей, утки в конце концов были под шумок изведены — благо из столицы подоспела какая-то новая инициатива.

Кипучая деятельность Горбачева создавала у всех вовлеченных в ее орбиту ощущение того, что каждодневно вершатся какие-то большие государственные дела, а главное, все время что-то происходит. Он на свой лад откликнулся на дуновение хрущевской «оттепели», повеявшей из Москвы, попробовав в 1956 году организовать в Ставрополе первые комсомольские дискуссионные клубы под крамольным девизом «О вкусах спорят». После того как дебаты с вопросов о моде перекинулись на политику, клубы, как и утиный почин, пришлось прикрывать.

Не только усердие, но явные организаторские и ораторские таланты, способность складно и без шпаргалки выступать почти на любую актуальную тему, выделявшие Михаила среди ставропольских комсомольских функционеров, привлекли к нему внимание партийного начальства: он резво двинулся по ступеням аппаратной лестницы, нередко перешагивая по две сразу. Уже в апреле 58-го становится вторым секретарем крайкома комсомола, а в марте (счастливый месяц для Горбачева) 61-го избирается первым секретарем и автоматически входит в «верхушку» краевой номенклатуры.

Между тем у Раисы дела поначалу складывались далеко не так успешно. Ей больше, чем ему, пришлось пострадать от слишком высокой квалификации: «красный диплом» выпускницы философского факультета МГУ на многих действовал, как красная тряпка на быка. Целых четыре года она практически не имела постоянной работы, перебиваясь эпизодической подработкой. Несколько раз ее, не успев зачислить, увольняли при сокращении штатов. Наконец она начала работать преподавателем сначала в медицинском, затем в сельскохозяйственном институте, на экономический факультет которого заочником поступил и ее муж.

Условия их жизни неспешно менялись к лучшему — по мере служебного продвижения Горбачева. Начинали с 11-метровой комнаты с дровяной печкой и удобствами во дворе, которую

снимали у пенсионеров. Вскоре стало в ней тесно: в январе 57-го родилась дочь Ирина. Через пару лет семья перебралась в коммуналку, где они занимали уже две комнаты. Первую отдельную квартиру получили уже после того, как Михаил стал первым секретарем крайкома комсомола.

Этот статус открывал перед ним совсем другие горизонты. В новом качестве он становился не только постоянным участником регулярных заседаний и неформальных встреч краевой «элиты», но и многочисленных общесоюзных совещаний, слетов, пленумов ЦК комсомола. Чаще бывал в Москве, где общался с коллегами из других областей и республик. На одном совещании впервые встретился со своим грузинским «соседом» — комсомольским вожаком республики Эдуардом Шеварднадзе.

Подающую надежды молодежь регулярно приглашали на «взрослые» мероприятия. В составе ставропольской делегации на XXII съезде КПСС Горбачев оказался среди тех, кто в октябре 1961 года проголосовал за вынос из Мавзолея тела Сталина. «А как же, и я поднимал руку», — вспоминал Михаил Сергеевич, рассказывая такой эпизод. После окончания затянувшегося заседания он торопился выйти из Спасских ворот, чтобы выполнить какое-то срочное поручение своего тогдашнего партийного шефа Ф. Д. Кулакова. В проходной группу делегатов попросили задержаться. Ожидание затянулось. Когда как обычно нетерпеливый Горбачев попробовал выяснить, в чем дело, один из часовых, преграждавших им путь, сказал: «А вот, выполняем ваше решение насчет Сталина». И действительно, вокруг оцепленного Мавзолея суетились военные и рабочие, занятые захоронением мумии вождя.

Заметно выделявшийся на общем провинциальном фоне, Михаил быстро попал в поле зрения нового краевого партийного руководителя Ф. Д. Кулакова, назначенного в Ставрополье в 1960 году. Именно он, содействовавший избранию Горбачева первым секретарем крайкома комсомола, уже через год перевел его на работу парторгом крайкома партии, а еще год спустя, в январе 63-го, поставил во главе ключевого орготдела. «Кулаков был мужик резкий, крутой, требовательный, типичный представитель «нажимной» административной школы, — вспоминает

Михаил Сергеевич. — Он, конечно, мог и разнос устроить, и выматерить, как водится в России. Но работал с душой, за дело болел и при этом никогда не поручал мне что-то сомнительное, хотя я знаю, что от других мог потребовать, что в голову придет и чего душа пожелает».

Видимо, смолоду были заметны в этом ретивом комсомольском активисте и энергичном партийном секретаре такие неординарные в этой среде качества, как искренняя убежденность, личное достоинство и внутренняя цельность, которые оберегали его от сомнительных поручений начальников и распушенности аппаратной «кухни». По той же причине, по которой его коллеги по партийным застольям научились уважать его привычки и не приставали с требованиями выпить до дна лишней стакан, начальство не решалось вести себя с ним развязно, «по-свойски», как с остальными порученцами. Казалось, они оберегали его, как заботливо пестуемого отпрыска, от зрелища изнанки жизни.

Почему столь непохожие люди, как Кулаков и Андропов, да и другие достаточно типичные советские руководители на разных этапах его карьеры благоволили к нему, поддерживали и, чуть ли не передавая с рук на руки, продвигали все выше? В этом списке покровителей, точнее заботливых «поводырей» будущего разрушителя устоев того порядка, сохранению которого они посвятили свою жизнь, окажутся и М.А.Суслов, и А.Н.Косыгин, и Д.Ф.Устинов, и А.А.Громыко, и сам Л.И.Брежнев. Одно из расхожих объяснений сводится к Горбачева карьерному таланту, умению подыграть, вовремя поддакнуть и понравиться любому начальнику. В общем, к тому, что он «всех обвел вокруг пальца». Однако такая версия слишком проста для всех этих, в общем-то, весьма искушенных и отнюдь не наивных политиков, прошедших уникальную сталинскую школу.

Намного вероятнее другое: не приспособленчество Горбачева — в этом как раз он мог походить на тысячи других партфункционеров, на знаменитые сталинские «винтики» системы, а то, что выделяло его из общей массы, заставляло обратить внимание. Одних — «стариков» — при виде молодого, горячего, наминавшего им самих себя в молодые годы, но только более

образованного, чем они, ставропольского «самородка», могла прошибить слеза умиления. Общаясь с ним, они вполне могли считать, что перед ними подрастающая надежная смена, «подлесок», как выражался Андропов — молодая поросль энергичных и компетентных руководящих кадров, о которой они не могли не мечтать. Другие — к ним скорее всего относился и Кулаков — видели в нем возможную опору уже на ближайшую перспективу, когда должна произойти неизбежная смена поколений в руководстве партии. Вот почему даже после того, как в награду за проявленную лояльность при смещении Хрущева Кулаков был переведен Брежневым в Москву, он продолжал опекать своего питомца. И добился сначала его избрания первым секретарем горкома партии, а два года спустя — вторым секретарем Ставропольского крайкома, что выводило 37-летнего Горбачева на финишную прямую — дорогу к креслу полномочного «хозяина края» — первого секретаря крайкома.

Нельзя сказать, что на этом стремительно пройденном этапе партийной карьеры у него не было сбоев или что своим восхождением он обязан исключительно личному высокому покровительству. Горбачев, не жалея сил, исправно «пахал» на разных участках, куда направлял его крайком. Месил сапогами грязь в районах, объявлял ударные фронты, обеспечивал шефство то над овцеводством, то над «царицей полей» кукурузой, боролся за чистоту партийных рядов, «снимая стружку» с проштрафившихся. Словом, добросовестно и лояльно нес аппаратную службу и, как уверяет, не строил в тот момент для себя излишне амбициозных планов.

Ставрополь в бытность его секретарем горкома партии заметно преобразился: появились централизованные сети водоснабжения и канализации, оживилось жилищное строительство, открылось несколько вузов и техникумов. Был пущен троллейбус, построены плавательный бассейн и Дом книги. Вопреки действовавшим тогда нормам, расставлявшим города по определенному ранжиру в зависимости от числа жителей и общесоюзной значимости, он пробил строительство цирка на проспекте Карла Маркса, хотя Ставрополю его иметь не полагалось.

Следует заметить, что несколько раз из-за размолвок с начальством, особенно после отъезда Ф.Кулакова, прямая линия его партийной карьеры могла вильнуть в сторону.

Была пора, когда он «заскучал» в трясине аппаратной те-кучки и, вспомнив об университетских годах и нереализованных мечтах, решил было оставить партийную карьеру и перейти на научную работу. Засел за книжки, сдал кандидатский минимум, собрался писать диссертацию. Увлекла, видимо, мужа своим примером Раиса. К этому времени, проехав и пройдя пешком по сельским дорогам не одну сотню километров и обработав более 3 тысяч опросных листов и социологических анкет, она защитила кандидатскую, посвященную особенностям быта крестьянской семьи. Систематизировать собранный материал ей помогала вся семья, которая, по воспоминаниям Ирины, в плане труда «всегда была очень организованна». Опросные листы, бумажные «простыни» и таблицы были разложены на полу по всей квартире, и не только отец, но и она, восьмилетняя девчонка, ползала по полу, сортируя ответы по графам соответствующих таблиц.

Научным мечтаниям Горбачева сбыться не довелось. Став вторым секретарем крайкома, он вплотную приблизился к тому, что вполне можно назвать уже политической должностью. Впереди открывались горизонты членства в ЦК, а крепкая рука Федора Давыдовича Кулакова, к тому времени уже члена Политбюро, наряду с явным благоволением таких могущественных земляков, как Суслов и Андропов (с Юрием Владимировичем он познакомился во время его приезда в Минводы в 1969 году), прибавляли ему уверенности. Через год в Москве, не без нажима все того же Кулакова, решили, что перспективный второй секретарь созрел для самостоятельной работы. Преемник Кулакова Л.Ефремов был отозван в Москву, и Михаил Сергеевич, пройдя через смотрины в нескольких кабинетах ЦК, в апреле 1970 года перед окончательным утверждением переступил порог кабинета Генерального секретаря, еще не подозревая, что пятнадцать лет спустя станет его хозяином.

В ГВАРДИИ БРЕЖНЕВА

Став в 39 лет одним из самых молодых руководителей крупнейшего, стратегического с точки зрения вклада в экономику страны региона — по площади Ставропольский край равняется Бельгии, Швейцарии и трем Люксембургам, вместе взятым, — Горбачев оказался в совершенно новой для себя ситуации. Степень самостоятельности, суверенности таких, как он, партийных «баронов», несмотря на теоретически сохранявшийся «присмотр» из Москвы, была весьма велика. Конечно, за первыми секретарями обкомов и крайкомов в большей степени, чем за руководителями союзных республик, правивших просто, как удельные князья, приглядывало недреманное око Отдела оргпартрботы и «карающий меч» ЦК — Комитет партийного контроля. Тем не менее функционеры, достигшие уровня первого секретаря в регионе, знали, что отныне они в касте «неприкасаемых» и что тронуть их пальцем не позволено ни прокуратуре, ни даже КГБ, а кропотливо накапливаемый на каждого из них в недрах КПК компромат может быть пущен в ход только по личному распоряжению генсека. Отсюда следовал логичный вывод: демонстрируй беззаветную личную преданность высшему начальнику и будешь иметь полную свободу рук на отданной тебе в управление территории.

В то время, когда в эту касту партийных наместников попал Горбачев, отношения Брежнева с первыми секретарями еще не были сведены к одним лишь демонстративным проявлениям раболепия с их стороны — до хора славословий в адрес автора «Малой земли», «Возрождения» и выдающегося военачальника оставался десяток лет, и отношения строились на принципах почти взаимной выгоды. Понятно, что расположение генсека было жизненно необходимо не просто для благополучия каждого секретаря, но и для его области. Однако и сам Леонид Ильич, который в начале 70-х годов, как напоминает Горбачев, еще «не был похож на карикатуру», нуждался в поддержке преданных ему лично членов ЦК в маневренной борьбе по оттеснению на второй план премьера А.Косыгина — после отстранения В.Подгорного тот оставался неуместным напоминанием о «тройке», сместившей Н.Хрущева под девизом «коллективного руководства».

Горбачева ему явно рекомендовал Кулаков — и не только как перспективного руководителя края, но и, безусловно, как гарантированное ценное пополнение отряда «брежневцев» в ЦК, на кого генсек мог спокойно положиться. Этим в значительной степени объясняется внимание Брежнева к молодому выдвиженцу, которому он уделил несколько часов неспешного разговора в кабинете на Старой площади, и доверительный тон, и явное стремление завоевать расположение собеседника, с которым он готов был, почти как с равным, обсудить все — проблемы экономики, кадровые вопросы и даже внешнюю политику. После деликатной обкатки у генсека операцию «вербовки» новичка в личную гвардию Брежнева завершил ритуал его введения в привилегированный круг первых секретарей, членов ЦК, составлявших замыкавшуюся на Кулакове «группу быстрого реагирования», которые по его сигналу должны были в случае необходимости своими выступлениями на Пленуме и критикой правительства Косыгина подкрепить позиции Брежнева. (Позднее Горбачев уже в содружестве с Лигачевым воссоздаст эту проверенную в деле формулу, когда вопрос о его собственном избрании на пост генсека будет во многом зависеть от поддержки большинства членов ЦК.) И хотя церемонию посвящения в члены этой ни для кого не секретной «группы поддержки» Михаил скомкал, отказавшись выпить залпом полный фужер водки, чем вызвал общую настороженность, он снял возникшие политические подозрения на свой счет, рассказав о доверительном разговоре с генсеком.

И все же, оказавшись на вершине карьеры, невысказанной по крайней мере в те годы для партийного функционера его возраста, Горбачев чувствовал себя неуютно. В отличие от принявших его в свой клан коллег-секретарей, он оставался человеком им в значительной степени посторонним. И не только потому, что принадлежал к другому поколению, будучи самым молодым и недостаточно солидным, хотя уже начал потихоньку лысеть и округляться, а потому, что был заражен, «отравлен» университетом и его атмосферой, затронувшей его московской «оттепелью», — всем, что потом стало называться «шестидесятничеством». Не только воспоминания о студенческой вольнице на Стромьнке, о факультетском братстве и полузабытом римском

праве тянули его в сторону от суеты партийной работы к книгам и мечтам о диссертации, но и все прочитанное, ночные споры об истинном социализме, беседы с сокровенным дружкой З.Млынаржем, домашние диспуты с Раисой о Плеханове и Канте.

Еще до того, как стал первым человеком в крае, он, разъезжая по районам, видел, насколько примитивны условия жизни занятых изнурительным трудом людей. В его голове рождались «бунтарские мысли». Но, как признается сам Михаил Сергеевич, «серьезно размышлять над всем этим было недосуг — задала текучка». Кроме того, пока он добросовестно и, надо полагать, увлеченно трудился на различных участках, всякий раз сталкиваясь с чем-то, что вызывало непонимание или протест, он делился своими чувствами в письмах Раисе (а писал он ей их регулярно, в том числе и из поездок по краю), с молодым пылом обличал «чванливость и косность безграмотной бюрократии». Но чем выше поднимался по служебным ступеням, тем больше ощущал себя одним из представителей этого «ордена начальников», и, стало быть, нерастраченное негодование следовало обращать прежде всего на себя.

Что же мог он сделать, как вести себя, не изменяя студенческому прошлому, общим с Раисой взглядам, позициям и надеждам, как не поддаться всей этой рутине, не распусться, подобно провинциальным «вождям», и не ассимилироваться, при этом никому себя не противопоставляя и не самоизолируясь? Да и можно ли было остаться «шестидесятником» не в Москве, а в провинции, да еще если служишь власти, являешься в глазах людей ее частью и, стало быть, разделяешь с ней ответственность за то, что творится вокруг?

Неизвестно, обсуждали ли это между собой Михаил и Раиса. Известно лишь, как отзывался Михаил Сергеевич о «шестидесятниках»: «эти люди были нацелены на перемены, на реформы, но долго не имели возможности проявить себя в деле». В свою очередь, о феномене Горбачева и его поколении Андрей Синявский в интервью французской газете «Либерасьон» заметил следующее: «Он отличался от других тем, что попытался осуществить то, о чем они говорили и о чем мечтали». Не в этой ли его попытке воплотить в жизнь мечтания полити-

ческих романтиков 60-х годов, оказавшиеся в значительной степени мифами, объяснение ревности и недоверия, которые демонстрировали по отношению к перестройке некоторые диссиденты?

Горбачев не был обречен, как московские интеллектуалы 60—70-х годов, среди которых были и его однокурсники, давать выход эмоциям на кухнях, накрывать телефон подушкой, бесильно проклинать КГБ и жаловаться на цензуру. В ранге первого лица в крае он уже мог многое сделать. Выше него были только генсек и Господь Бог, да еще, пожалуй, Система, в те годы еще более неприкосновенная, чем сам Господь. Мог ли что-то реально предпринять, не касаясь Системы, даже самый первый секретарь? Оказалось, мог, и немало. Для начала постараться не менять уже давно сложившийся уклад жизни, вести себя вне зависимости от занимаемой должности. Для семьи Горбачевых это было несложно. За годы совместной жизни выработались привычки, которыми они дорожили и которыми не стали бы жертвовать ни при каких служебных переменах, в том числе традиционный разбор событий дня и обсуждение прочитанного.

Имея служебную машину, он продолжал ходить на работу пешком. И жители города привычно подкарауливали его по дороге, чтобы обратиться напрямую с той или иной просьбой, — это была его уличная приемная. Раиса большую часть из 23 лет, прожитых в Ставрополе, избегала обкомовский «распределитель», предпочитая ходить в обычные магазины. Дочку Ирину по решению семейного совета принципиально определили не в единственную в городе английскую спецшколу, где учились все дети начальства, а в самую рядовую. Вопрос — подвозить ее в школу или нет на служебном автомобиле — даже не обсуждался: это считалось неприличным.

Конечно, на фоне утвердившихся привычек партийной знати в эпоху позднего брежневизма, это, в общем-то, естественное, по меркам семьи Горбачева, поведение многими воспринималось как вызов, проявление демонстративной гордыни, а может, и на самом деле было вызовом. Формой сопротивления узаконенному партийному барству, способом выделиться из остальной номенклатуры, сохранить свое собственное лицо.

По словам Ирины, мама и в Ставрополе, и в Москве принципиально не посещала ни спецмагазины, ни ателье, в связи с чем ответственность за обновление ее гардероба приходилось разделять с ней много разъезжавшему отцу, вкусу которого Раиса доверяла.

Щепетильность Раисы в материальных вопросах, помноженная на педантизм, не позволяла ей с молодых лет иметь даже самый незначительный долг, и она хранила в личном архиве квитанции за оплату всех продовольственных «заказов» из обкомовской столовой. В Москве супруга генсека-президента с такой же тщательностью следила за сдачей в Гохран подарков, вручавшихся Горбачевым во время официальных визитов за границу, а после отставки мужа добивалась, чтобы ей отдали на руки расписки за них. К этому ее, надо думать, подтолкнули намеки Ельцина после путча на то, что Горбачеву следовало бы самому покаяться в прегрешениях, и ее опасения, что их обоих могут заподозрить в присвоении какого-то государственного имущества.

Но если за стилем и образом поведения семьи, как, впрочем, и за обликом мужа, который был обязан, по ее убеждению, выглядеть всегда подтянутым и модно одетым, следила Раиса, то другую, главную часть их общих представлений о том, как хоть в чем-то изменить окружавший их провинциальный мир, приходилось, естественно, реализовать Горбачеву. Трудно предположить, что в течение 15 лет секретарствования в Ставрополе его главным побудительным мотивом было лишь стремление показать себя в общесоюзном масштабе, привлечь к себе внимание и подняться на более высокую карьерную орбиту.

Москва была за горами, Брежнев и его окружение еще не одряхлели и казались вечными, а неумная энергия Горбачева требовала немедленного выхода. Стратегия стайера, рассчитывающего свои силы и график бега на длинную дистанцию, тогда еще ему была чуждой. «Будет день, будет и пища» для размышлений и повод для принятия решений, — таким, по крайней мере, в те годы было его жизненное кредо. Особенность его официального положения добавляла к ней только одно — в статусе комсомольского вожака и функционера среднего партийного звена он почти ежедневно получал от руководства «утреннее

задание», а теперь должен был придумывать и раздавать их сам. Благо поставленная перед ним задача определялась аграрной спецификой Ставрополя и его неустойчивыми климатическими условиями. К этому времени практика спускаемых из Центра директив миновала, и Горбачеву предстояло «выводить край в передовые», опираясь на собственные силы и фантазию.

За дело он взялся энергично, ведь еще Ф. Кулаков отмечал в нем «способность проламываться через стену». Занялся мелиорацией земель, добился строительства Большого ставропольского канала, зачисленного в том числе благодаря напору секретаря в разряд ударных комсомольскихстроек. Развернул газификацию, объявил свою первую «большую перестройку» — так патетически называлась программа интенсивного развития овцеводства на Ставрополье. Увлёкся сам и увлек других «ипатовским методом» подрядной уборки урожая, основанным на прямой материальной заинтересованности колхозников в конечном результате труда.

Попала в поле зрения Горбачева и такая прибыльная для края отрасль, как виноделие, — по решению крайкома началось расширение посадок виноградников и увеличение производства не только столового винограда, но и марочных вин. Мог ли он предполагать, что через десяток лет, согласно другому партийному решению и тоже по его инициативе, эти виноградники будут вырубаться, а ставропольское виноделие угодит под каток антиалкогольной кампании? Оставайся он к тому моменту на посту секретаря крайкома и послушайся — выговор, а то и освобождение от работы за отклонение от генеральной линии партии были бы обеспечены.

«Пробивать различные стены» приходилось каждодневно. При этом главными рычагами воздействия на экономику для него, как и для любого областного секретаря, служили партийное администрирование на местах и борьба за получение дополнительных субсидий из Центра. Этим инструментарием ставропольский секретарь научился пользоваться мастерски: так, чтобы добиться выплаты повышенных премиальных, заработанных «ипатовцами», приходилось принимать специальные решения крайкома партии. В засушливый год, когда поголовье скота оказалось под угрозой из-за нехватки кормов, на их заго-

товку мобилизовались горожане. Здесь были и школьники, часто удавалось подключить и отдыхающих из многочисленных санаториев и домов отдыха Ставрополя. Надо сказать, что эти нескончаемые битвы «за урожай», «за поголовье скота», за «птицепром» велись, по сути, не против неблагоприятных климатических условий, а против всепогодной Системы, и Горбачеву на своем участке фронта нередко удавалось осуществлять прорывы.

Вообще он был «везунчиком», недаром изумил Дж.Буша, когда в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, никогда, разумеется, не тренировавшись в этом излюбленном развлечении американского президента, с первого раза метнув подкову, насадил ее на штырь. Иногда помогала его энергия, иногда выручал Господь Бог — в тот самый засушливый год в конце концов пошли спасительные дожди. Чаше выручали налаженные связи с московским начальством. От прямых контактов с ним, от «вхожести» в цеховские и правительственные кабинеты зависели, естественно, все местные партийные руководители — каждый пользовался доступным ему способом, чтобы зазвать, заманить к себе кого-нибудь из членов Политбюро, а если повезет, то и генсека, и добиться поддержки. В ход шли земляческие связи, круглые даты основания городов, другие юбилеи, церемонии награждения республик и областей орденами и переходящими Красными знаменами.

Горбачеву, как и другому его коллеге из «курортных» секретарей, эта козырная для советской системы карта сама шла в руки. К нему в Ставрополь на курорты Минвод и в горный Домбай начальство ездило куда чаще, чем, скажем, к Лигачеву в Томск или к Ельцину в Свердловск, не говоря уже о Богом забытых вятичах или норильчанах. Конкурентами Горбачева по приему и обслуживанию отдыхающих руководителей были крымчане, и в особенности его главный сосед-соперник, секретарь Краснодарского крайкома С.Медунов, на чьей территории располагались здравницы Сочи. Политической «рентой», которую ему приносило Черноморское побережье, он пользовался сполна. Через его застолья, банкеты, бани проходила регулярно значительная часть высшего партийного и государственного аппарата (с семьями), покидавшая Краснодарский край с щедрыми

подарками, создавая гостеприимному секретарю, хозяйствовавшему в нем, как на своем подворье, прочный защитный слой, оберегавший его от партийных расследований и уголовных дел.

Контингент, гостивший у Горбачева, был другим — на Минводы люди ехали не для загулов, а для лечения, и, по мере того как члены Политбюро старели, они, их свита и разномастные министры все чаще оказывались на его территории. И если благодаря своим разнообразным починам и экономическим экспериментам Горбачев вошел в число перспективных местных руководителей, то личным контактом с такими ключевыми фигурами тогдашней политической иерархии, как М.Суслов, А.Косыгин, Д.Устинов, Ю.Андропов, Н.Байбаков, он во многом обязан Минеральным Водам и Домбаю (где любил отдыхать Председатель Совета Министров А.Косыгин).

На отдыхе, освобождаясь от своих кабинетов, приемных, «ЗИЛов» и неприступных секретарей, эти люди буквально и психологически «переодевались» в цивильное платье, становились доступнее и охотно выходили за рамки протокольного общения. Возможность неофициальных и даже задушевных бесед с начальством облегчало и то, что слабеющие и в разной степени больные люди не ждали от него, как гости краснодарского коллеги, разгульных попок и банных утех с ласковыми комсомольскими активистками, а стремились отвлечься от будней, надоевших им за долгую государственную жизнь, и порассуждать об отвлеченном. И сам Михаил, и Раиса в этом плане были для них идеальными собеседниками. И хотя Раиса Максимовна в мемуарах вспоминает о приеме московских начальников в Ставрополе как об обременительной повинности, замечая, что для семьи оказывать это гостеприимство «было накладно», именно с той поры Горбачевы со многими крупными деятелями позднебрежневского режима были знакомы и даже «дружны семьями».

В присутствии молодой образованной четы эти люди, в сущности лишенные большую часть своей жизни нормального человеческого общения, «снимали галстуки», «мягчели», открываясь давно забытыми либо попросту неизвестными окружающим сторонами своей натуры. Так Горбачевы узнали, что Юрий Владимирович Андропов не только пишет стихи, но и помнит ог-

ромное количество казачьих песен, которые любит петь сам, а «сухарь» Косыгин даже в пожилом возрасте прекрасно танцует фокстрот и танго. Во время одной из бесед Алексей Николаевич «со слезами на глазах» рассказал Михаилу: он не может простить себе, что для того, чтобы показаться вместе с остальным советским руководством 7 ноября на трибуне Мавзолея, отлучился от тяжелобольной жены, лежавшей в больнице. Жена умерла в его отсутствие.

Если для «московских руководителей», позволявших себе расслабиться перед молодым секретарем, это общение было душевным отдыхом, то для Горбачева, разумеется, оно оставалось работой. «Византийство в те годы, — вспоминает А. Яковлев, — утвердилось как способ даже не вершить политику, а просто выживать в номенклатуре». Жесткие рамки партийной карьеры, в которые он был отныне заключен, требовали от него не только развлекать старших товарищей и выслушивать их откровения, но и бить на публике ритуальные поклоны и перед партийным руководством в целом, и перед его конкретными представителями. Нетрудно, конечно, процитировать образцы его тогдашних славословий и в адрес М. Суслова, приехавшего в Ставрополь вручать городу орден по случаю 200-летия, и «дорогого Леонида Ильича» в эпоху безудержного восхваления его литературных шедевров. Перечитывая эти тексты сегодня, отметим ради справедливости, в этой, обязательной тогда, вдохновенной лести Горбачев хотя бы не стремился превзойти остальных своих коллег, в частности из Закавказских республик.

И хотя, надо полагать, Горбачев не придавал этой словесной трескотне серьезного значения, воспринимая ее как досадную, но и неизбежную повинность, в глубине души у него, как у нормального человека, накапливалось раздражение, а то и злость из-за того, что, в отличие от большинства, обреченного всего лишь слушать заведомый вздор, должен был сам активно разыгрывать этот дурной спектакль. Учитывая настроения в его собственной семье — по свидетельству Ирины, «дома царил дух неприятия всей этой затхлости и понимания абсурда сложившегося порядка», — участие в этом «лицедействе» даже для такого прирожденного актера, как Горбачев, становилось все более тягостным.

Между тем какой-либо реальной перспективы выхода в нормальный мир, «на свежий воздух» тогда еще не предвиделось. «Реальный социализм», казалось, ввел в действие собственные законы природы и стал государственной религией со своими обязательными ритуалами. Как и у любой религии, они предполагали не только молитвы и восхваления Господа (Системы и ее заместителей на земле), но и обличение (и разоблачение) еретиков. Михаил Сергеевич не боится вспоминать, что вскоре после «Пражской весны» 1968 года, когда в стране началось закручивание гаек, он, будучи еще вторым секретарем крайкома, принял участие в экзекуции одного из ставропольских «диссидентов» — доцента Ф. Садыкова, осмелившегося по примеру чехословацких «ревизионистов» (тогда он, надо думать, себя к ревизионистам не причислял) выступить со своими «рецептами» усовершенствования режима. «Мы его тогда разделали под орех», — говорит Горбачев, признавая, что впоследствии при воспоминании о бедном Садыкове, который озвучил многие идеи будущей перестройки, его «мучила совесть».

Не эта ли «больная совесть» стала в конечном счете главным внутренним изъяном образцового во всех остальных отношениях первого секретаря крайкома, тем сбоем в его генетическом коде, который развился позднее в неизлечимую болезнь ереси? Но в ставропольские годы если ее вирус и присутствовал в организме Горбачева, то еще дремал, не давая о себе знать. Требовались особые дополнительные условия, чтобы он пробудился. К таковым можно отнести первые зарубежные поездки Михаила и Раисы.

Открытие внешнего — не советского мира, существование иной, внесталинской вселенной для него, как и для многих его сверстников, произошло в год проведения в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Летом 1957-го Михаил, как и сотни комсомольских активистов со всей страны, был мобилизован для шефства над съехавшимися в столицу представителями «прогрессивной молодежи планеты». На его долю выпала непростая обязанность обеспечивать участие в программе фестиваля разномастной, буйной и беспорядочной итальянской делегации, имевшей весьма специфическое представление о

регламенте, дисциплине и времени вообще. Горбачеву, привыкшему со школы прилюдно отчитывать несознательных комсомольцев за опоздания на мероприятия, итальянцы преподали, наверное, первый урок политического плюрализма.

В свои собственные зарубежные экспедиции он отправился, уже став комсомольским функционером. Первые поездки, как тогда было заведено, состоялись в соцлагерь: ГДР, Болгарию. Эти выезды в «братские государства», где советских товарищей принимали как «старших братьев», вряд ли внесли что-то существенное в его «политическое развитие». Программы многих таких вояжей с обязательным посещением предприятий и пыльными тостами за дружбу напоминали сцены из «Кубанских казаков» — сам ставропольский казак Горбачев еще в университетские годы разъяснял своему другу Зденеку Млынаржу всю фальшь этого кинофильма.

Зато первые выезды в составе партийных делегаций на Запад — во Францию, Италию, Бельгию, ФРГ — стали для Михаила и сопровождавшей его «на отдых и лечение» Раисы настоящим выходом в открытый зарубежный космос. Горбачеву предстояло сделать как минимум два принципиальных открытия. Первое: как выяснилось, советские люди жили далеко не в самом лучшем из миров, в чем их усердно уверяла партийная пропаганда. Не только эксплуататоры, наживавшиеся, как им и положено, за счет трудящихся, но и сами эксплуатируемые, радушно принимавшие посланцев Родины социализма, жили и трудились в таких условиях, о которых классу-гегемону в СССР приходилось только мечтать. Вторым, не менее важным открытием стало то, что империалистическое окружение, вынуждавшее наших людей отказывать себе в самом необходимом ради обеспечения безопасности державы, при ближайшем рассмотрении оказалось не только не слишком враждебным, но подчас и весьма дружественным. Во всяком случае, получив возможность благодаря гостеприимству французских коммунистов проехать на предоставленном им «Рено» несколько сот километров от Парижа до Марселя, Горбачевы смогли оценить не только красоты Франции, но и обращенную к ним доброжелательность людей и непривычную для выходцев из суровой советской реальности непринужденно-раскованную атмосферу.

Впервые столкнулся тогда Горбачев и с «германским вопросом», в окончательное решение которого ему предстояло годы спустя внести решающий вклад. Он любит рассказывать, как владелец одной из бензоколонок в Западной Германии завел с ним разговор о своей разделенной стране. Политически подготовленный Михаил убедительно объяснил немцу, что ответственность за раскол лежит на германском фашизме, затеявшем войну, и к месту напомнил, что не столько Сталин, сколько главы союзных государств так «любили» Германию, что предпочли, чтобы их было как минимум две. Но даже после этой вполне достойной отповеди в сознании, по его словам, застрял вопрос немца: «А как бы вы сами жили, если бы вашу страну и столицу перерезали пополам?»

Раиса из своих первых зарубежных поездок вернулась не только с исписанными в музеях блокнотиками, зафиксировавшими восторженные впечатления от Парижа и Рима, но и с воспоминанием о поразившем ее «двойном» памятнике Джузеппе Гарибальди — рядом с великим объединителем Италии была изображена его жена Анита. Тогда этот символ неразрывного семейного и духовного союза остался всего лишь одним из штрихов в мозаике впечатлений, однако впоследствии образ изваянной в камне супруги национального героя Италии, видимо, неспроста не однажды возвращался к ней.

Несмотря на многообещающее начало, а может быть, как раз из-за резвого старта, вознесшего Михаила Сергеевича почти к самому «политическому поднебесью», к середине 70-х годов паруса его партийной карьеры обвисли. Страна попала в позднебрежневское безветрие, и противоестественность этого декретированного сверху штиля острее всего ощущали такие, как он, молодые, динамичные и еще во что-то верившие областные руководители. Их, впрочем, было не слишком много. Рой Медведев справедливо отмечает, что на общем фоне общесоюзной поместной номенклатуры Горбачев выделялся как «нетипичный секретарь». Куда более типичными выглядели соседи Горбачева по другим южнороссийским областям — краснодарец С.Медунов или ростовчанин И.Бондаренко, которые вовремя рапортовали Москве об успехах и не приставали к Центру с лишними инициативами, обменивая свое усердие в прославле-

нии мудрости руководства ЦК и «лично» Леонида Ильича на практически полную безнаказанность. В результате любые жалобы, поступавшие с мест сигналы о фактах произвола и беззакония, царившего в этих удельных княжествах, исправно переправлялись тем, кого они касались, для «принятия мер», а заглаживавшиеся было КПК дежурные «проверки» благополучно захлебывались (в том числе в обильных возлияниях, которыми встречали московских инспекторов местные власти).

Ставропольского секретаря не смущало, что на этом фоне он выглядел «белой вороной». Горбачев, разумеется, действовал по общим правилам игры, не уклонялся от повинностей, наложенных, как барщина, на весь партаппарат, использовал тот же особый казенно-канцелярский язык общения совпартноменклатуры. Но одновременно с участием в обязательном тогда для всех пропагандистском «жужжании», давно воспринимавшемся как неизбежный шумовой фон, Горбачев старался не усердствовать сверх меры, не выходить за пределы «партиципа», а за рамками формальных церемоний и вовсе позволял себе «дерзить» начальству (разумеется, не самому главному). «Ну не мог я, хоть зарежь, просто поддакивать начальникам и по каждому поводу восклицать: «Ах, как вы замечательно это придумали или сказали, Иван Иванович!» — рассказывал он. Может быть, поэтому с начальниками, требовавшими безусловного почтительного послушания и демонстративного поклонения, вроде А. Кириленко, К. Черненко, отношения у него «не складывались». Вместе с тем у людей, не менее значимых в Политбюро, в частности у А. Косыгина и Ю. Андропова, дерзкий, но «болеющий за дело» ставропольский секретарь вызывал благожелательный интерес.

Благоволил к нему, до того пока не впал в полудетаргическое состояние, и сам Леонид Ильич. Адресовав членам Политбюро его записки, обещал свою поддержку в преддверии Пленума по сельскому хозяйству и на заседаниях ПБ многозначительно замечал, что «надо бы поддерживать инициативную молодежь, раз уж мы ее выдвигаем». Но по мере дряхления генсека угасал и его интерес к поступавшим «снизу» идеям. К тому же после окончательного утверждения своего непререкаемого авторитета в соперничестве с премьер-министром потеряла прежнюю цен-

ность в его глазах и упоминавшаяся уже «группа оперативной поддержки».

Почувствовав это ослабление внимания Брежнева к своему «протеже», аппаратный истеблишмент постарался осадить «выскачку». Горбачеву явно дали понять, что «суетиться» не стоит, и достаточно демонстративно отодвинули его в категорию «заднескамеечников» ЦК. За 8 лет пребывания первым секретарем Ставропольского крайкома он ни разу не удостоился права выступления на Пленуме ЦК, хотя каждый раз исправно записывался в прения. «Всегда давали слово «вернякам», — жаловался он, — ростовскому, саратовскому, тюменскому секретарям, о которых заранее было известно, что они скажут».

Попробовали подкопаться под «нетипичного» ставропольца, в котором брежневское окружение учуяло чужака, ли с другого бока. Надеясь найти компромат, начал было «копать» тогдашний всесильный министр внутренних дел и друг брежневского семейства Н.Щелоков, в конфликт с которым Горбачев вступал из-за самоуправства его подчиненных. В одном из доверительных разговоров он заявил своему окружению: «Горбачева надо уничтожить!» Однако отыскать компромат не удалось, а на более серьезную спецоперацию у него уже не хватило времени...

Леонид Ильич угасал на глазах, надвигалась аскетичная андроповская эпоха, и Горбачев, явно находившийся в фаворе у будущего генсека, получил шанс пересесть с задних скамеек ЦК на передние. Периодически напоминал о своем питомце и упоминавшийся уже его давнишний покровитель Ф.Кулаков. Написанную Михаилом Сергеевичем обстоятельную, страниц на 70, «непричесанную» записку о проблемах села Федор Давыдович, велел сократить ее наполовину и заручившись согласием Леонида Ильича, разослал членам Политбюро и Секретариата ЦК. Революции или сколько-нибудь существенных реформ в тогдашнем сельском хозяйстве эта бумага не вызвала, ее благополучно этапировали в партийный архив, но сам факт «тиражирования» именной записки, безусловно, поднимал автора в глазах остальных членов ЦК.

Летом 1978 года на Пленуме ЦК Горбачев получил наконец право подняться на трибуну и, «чувствуя затылком» скептичес-

ки-настороженное молчание Президиума, высказал одолевавшие его сомнения и основные идеи относительно того, как избавить сельское хозяйство от обидного статуса иждивенца. Его речь — эта заявка на неортодоксальное мнение — многими воспринималась как публичное представление Горбачева партийному аппарату, и профессионалы начали немедленно раскладывать номенклатурные пасьянсы в попытке вычислить новую должность, какую прочит ему начальство. Угадать, что произойдет через несколько недель, не было дано никому.

Секретарь ЦК КПСС Ф. Кулаков явно присматривал для него заметное новое место в своем окружении. Сам он, к тому моменту самый молодой член Политбюро, вполне мог «поигрывать» с идеей своего возможного вознесения в заветное кресло генсека. Для такой, пусть даже достаточно отдаленной перспективы надо было начать формировать свою команду. И обязанный ему многим Горбачев вполне логично должен был занять в ней центральное место. Однако человек, будь он даже член Политбюро, может всего лишь предполагать, — возможность располагать Бог оставляет за собой.

После того как Кулаков ввел своего «наследника» в состав ЦК, максимум, что он мог еще сделать, — это передать ему собственное место в кремлевском руководстве. Для этого надо было его освободить. Что и произошло, когда спустя несколько дней Федор Давыдович, после оказавшегося фатальным «нарушения режима», скорпостижно скончался в своем рабочем кабинете. Свято место оказалось пусто, и Горбачев неожиданно для всех и самого себя оказался первым кандидатом на то, чтобы его занять.

Глава 2 «ТОПОР ПОД ЛАВКОЙ»

«ПОДЛЕСОК»

В декабре 1978 года Михаил и Раиса перебрались в Москву. Свою Москву — которая их познакомила, напутствовала в счастливое семейное плавание. Но нельзя, как известно, войти дважды в одну и ту же реку. За прошедшие 23 года здесь все изменилось, и прежде всего изменились они сами. Михаил стал Михаилом Сергеевичем, поселился, полысел, начал носить шляпу. За плечами была успешная и уверенная комсомольско-партийная карьера. Первый секретарь крайкома одного из ведущих регионов страны научился открывать двери главных московских приемных и избавился от трепета перед обитателями сиятельных кабинетов. Перевод в Москву он воспринимал не как неожиданный подарок, за который следовало благодарить судьбу и каждого из членов Политбюро, а как закономерность. То, что он становился самым молодым Секретарем ЦК КПСС, его нисколько не смущало, скорее служило подтверждением: он выбрал верный путь и оптимально распорядился открывшимися перед ним возможностями.

Другой за эти годы стала и Раиса. Целеустремленная студентка-философичка, активная участница бесчисленных университетских дискуссий тех лет превратилась в уверенную в себе молодую женщину, настроенную на самостоятельную преподавательскую и научную карьеру, независимую от номенкла-

турной судьбы мужа. Лишь позднее, оказавшись в Москве, Раиса, хотя и не сразу, смирилась с вынужденным уходом в тень Горбачева, осознав, что, направляя, консультируя и оберегая мужа, она получит несравненно большую возможность реализовать себя. Пока же Раиса Максимовна без сожаления расставалась с размеренным укладом жизни «первой дамы» Ставрополя и с нетерпением готовилась к встрече с Москвой, предчувствуя, что и ее Михаила ждет новая и сладостно неизвестная судьба.

Несмотря на годы, прожитые в российской глубинке, Горбачевых трудно было отнести к провинциалам. И дело было не только в их студенческой молодости, прошедшей в стенах МГУ, к тому же в переломные 50-е годы. Распрощавшись с университетом, Михаил продолжал самообразование. Чтобы на равных общаться с профессионалами его аграрного края — секретарями сельских райкомов, председателями колхозов, механизаторами, он добавил к своему юридическому диплому диплом выпускника Ставропольского сельскохозяйственного вуза.

Но если к продолжению учебы его подталкивали служебная необходимость и разбуженная университетом жажда новых знаний, то переводы зарубежных книг по политике (информирования узкого круга номенклатуры) он читал, что называется, для души. Именно здесь он открыл для себя таких марксистских «еретиков», как Грамши, Тольятти, Боффа. Там же вместе с Раисой читал и современных антимарксистов и новых философов — Сартра, Маркузе, представителей «франкфуртской школы».

Расширить горизонт Горбачевым помогли и зарубежные поездки. После одной из них Раиса даже как-то задала мужу явно антисоветский вопрос: «Миша, почему мы живем хуже?» В Ставрополе найти ответа на него не удалось. Оставалась надежда на Москву.

Не только Горбачевы изменились за прошедшие годы — их ждала совсем другая Москва. Не та, сначала сталинская, а потом хрущевская, которую они помнили и знали, а брежневская. К тому же им предстояло приземлиться не в анархически-вольнодумном студенческом общежитии на Стромынке, а в герметически изолированной от внешнего мира «резервации» для высших партийных бонз — в царстве Застоя.

Сам по себе этот хлесткий термин, как любое, тем более официально санкционированное уже в перестроечную эпоху клише, конечно же, условен. Он не отражал ни противоречивой реальности советского общества, ни накапливавшихся в нем тогда симптомов будущих изменений. Да и Л.Брежнев в первые годы своего правления отнюдь не походил на персонажа многочисленных анекдотов, в который превратился к концу жизни.

Теперь уже забыли, что в октябре 1964 года новость о смещении Никиты Хрущева на Пленуме ЦК вызвала в стране и, конечно же, в партийном аппарате смешанные чувства. Пришедшая к власти «тройка» — Брежнев, Косыгин и Подгорный, — провозгласившая своим кредо «коллективное руководство», поначалу, особенно после многочисленных хрущевских эскапад, лихорадивших не только партию, но и, как в момент Карибского кризиса, весь мир, воспринималась оптимистами чуть ли не как новое слово в развитии советской демократии.

Конечно, самые большие надежды уставшие к тому времени от Никиты, хотя и признательные ему «шестидесятники», связывали с премьер-министром А.Косыгиным, рассчитывая, что именно он станет «коренником» новой «тройки», и, благодаря своей бесспорной компетентности и прагматичности, а также очевидному равнодушию к идеологии, сумеет оттеснить партбюрократию от рычагов управления страной. Однако даже начальные новации премьера, грозившие ослабить монополию партийной власти, заставили партийный аппарат дружно ошестиниться, чем не замедлил воспользоваться его полномочный представитель в «тройке» — Л.Брежнев.

Впрочем, сам новый генсек отнюдь не был безликим ставленником партийной номенклатуры. У него были и свои пристрастия, и здравый смысл человека с большим жизненным опытом. Михаил Сергеевич вспоминает, например, как при очередном обсуждении на Политбюро вопроса о распределении бюджетных средств, выбирая между «обороной и хлебом» — двумя конфликтными запросами на бюджетные средства, представленными Д.Устиновым и М.Горбачевым, — Леонид Ильич поддержал его, дав недвусмысленно понять, что на первое место (по крайней мере на том этапе) ставит хлеб.

Однако осторожное здравомыслие человека компромиссов, каким изначально был Брежнев, неизбежно должно было в переломные моменты приноситься в жертву верховной логике Системы и Власти. Ибо прежде всего сохранение того и другого представлялось приоритетом обитателям серых зданий на Старой площади, понятием более важным, чем «хлеб насущный» и оборона. И потому со всеми, кто осмеливался бросить вызов Системе, Власть расправлялась безжалостно. Так, уже через год, в 1965-м, железный кулак пытавшегося выглядеть поначалу либеральным режима обрушился на головы двух опаснейших «отщепенцев» — А.Синявского и Ю.Даниэля, осмелившихся выйти за красные флажки дозволенного и опубликовать свои литературные памфлеты за рубежом.

Но настоящим финалом заигрываний новой власти с идеей хоть каких-то политических или экономических реформ стало распятие «Пражской весны». Еретическая концепция «социализма с человеческим лицом» была воспринята в Москве как стратегическая угроза, сравнимая с наговской агрессией. «Мы вас не отпустим», — как учитель непонятливому ученику, втолковывал Леонид Ильич Александру Дубчеку действие законов всемирного социалистического тяготения. Самым убедительным из его аргументов в конечном счете оказались танки. (Андропов, «не отпускавший» из СССР с помощью КГБ тысячи «отказников», десятилетие спустя практически теми же словами — «мы не можем потерять Афганистан» — подтверждал действие законов Системы, оправдывая одновременно свою подпись под решением о начале афганской войны.)

Уже известный читателю студенческий друг Михаила и Раисы Зденек Млынарж впоследствии стал одним из лидеров «Пражской весны». После окончания университета они долго не виделись. В 1967 году, когда Горбачев был уже видным партфункционером, Зденек, воспользовавшись своей поездкой в соседнюю Грузию, заехал в Ставрополь навестить старых друзей. «Мишка» встретил его в аэропорту Минеральных Вод. Целых два дня они бродили по горам, собирая для коллекции Млынаржа каких-то жучков, и говорили, говорили. Гость с тревогой рассказывал о кризисе, назревавшем в Чехословакии из-за заставших в руководстве сталинистов. Домой явились за полночь.

Раиса, возмущенная их «бродяжничеством» и не вполне трезвым состоянием после пикника, чуть было не оставила друзей за закрытыми дверями. «Зденек был для меня самым близким другом, ближе, чем кто-нибудь из наших, — признался однажды Михаил Сергеевич. — Мы ведь вместе и на похороны Сталина ходили». Эти похороны для них обоих растянулись на всю жизнь.

Когда в 69-м Горбачев приехал в Прагу вместе с тогдашним томским секретарем Е. Лигачевым в составе партийного десанта, направленного в ЧССР, чтобы помочь «нормализации», он уже не увиделся с Млынаржем: исключенный или, как говорили тогда, «вычеркнутый» из партии, ее бывший идеолог работал смотрителем в музее и, разумеется, принадлежал к касте «неприкасаемых». Испытав на себе свирепый характер Системы, которую он мечтал усовершенствовать ради ее же сохранения, Зденек ни разу не упрекнул сокурсника в том, что оказался вычеркнутым и из его телефонной книжки. Сам партийный работник, еще недавно один из руководителей КПЧ, он, видимо, хорошо представлял те жесткие рамки, в которые втискивалась жизнь его советского друга по мере восхождения на пик Карьеры, и верил, что тот его не забыл. И оказался прав. Став Генеральным секретарем и избавившись от необходимости отчитываться о своих связях перед Инстанцией, Горбачев сам разыскал своего опального товарища, к этому времени обосновавшегося в Вене в статусе политэмигранта, и пригласил его в Москву. Но даже защищенный своим новым положением, чтобы «не дразнить гусей», как советских, так и чехословацких, он принял Млынаржа негласно. Как же должен был жалеть Млынарж о том, что его сосед по общежитию не занимал этот кабинет двадцатью годами раньше, весной 68-го. Ведь уже тогда всем, кроме, может быть, романтиков «Пражской весны», было ясно, что по законам природы социализма демократическая революция в «одной, отдельно взятой стране» не может победить до тех пор, пока не взломан материковый лед Системы в ее центре — Москве.

Не только во внешней, но и во внутренней политике СССР сразу после чехословацких событий произошел заметный откат на консервативные и даже неосталинистские позиции. Мечта

партаппарата о спокойной жизни в условиях замороженной системы власти начала сбываться. Огромная страна, как судно с вышедшим из строя мотором, легла в дрейф. Становилось все очевиднее, что свое место на международной арене вторая мировая сверхдержава обеспечивает исключительно за счет ядерных ракет, стремительно приближаясь по всем остальным показателям к второразрядным странам.

Разумеется, заморозить жизнь двухсотмиллионной страны было невозможно, и она, эта жизнь, следуя собственной логике, расщеплялась, раздваивалась, разделялась на реальность и фикцию. В этом постоянно увеличивавшемся зазоре комфортабельно расположились и неофициальная, теневая экономика, и параллельная, скрытая от глаз, политика. Агитпроповской пропаганде все труднее удавалось заштукатуривать расширяющуюся щель между реальной жизнью и ее плакатным изображением.

По мере того как руководители страны старели, они все охотнее перемещались из реального мира в иллюзорный. Соответственно изменялись, адаптируясь к потребностям заказчика, функции obsługi режима — партаппарата. Его главной задачей всегда была охрана Системы и от потрясений, и от перемен во внешнем мире, грозивших ее поколебать или ослабить. Теперь таким «внешним миром» для партийной бюрократии все больше становилась уже не заграница и Запад с его «тлетворным влиянием», а собственная страна.

Чувствуя, что прежний тотальный контроль над обществом, опиравшийся в прошлые времена на еще не выветрившуюся веру граждан в будущий коммунистический «рай» и на сталинский террор, уже невозможен, партократия стала обустривать свой собственный номенклатурный мирок, законопаченный от внешних сквозняков. Главным делом аппарата становилась имитация жизни и направление вверх успокаивающих сигналов. В полном соответствии с анекдотом тех времен: комфортно расположившаяся в вагоне стоящего поезда компания советских руководителей «опустила шторы» на окнах и готова была воспринимать усердное сопение обслуживавшей ее поездной бригады за пыхтение паровоза. Искусственно раскачиваемый вагон все больше напоминал спальный.

От руководства на местах Центр ждал лишь рапортов о «трудовых достижениях», а номенклатурная элита, сосредоточенная в мозговом центре партии — ЦК и обслуживавших его научных учреждениях, занималась вымучиванием новых формулировок для доклада генсека на съезде партии или на пленуме. Чем дальше, тем больше календарь уже не только политической, но и всей остальной жизни страны должен был определяться не сменой сезонов и времен года, и даже не восходом и заходом солнца, а публичными появлениями генсека и его все более редкими поездками по стране.

Не имея возможности остановить течение жизни «за шторками», власть старалась, как могла, забаррикадироваться от новостей «из-за бугра». Поездки за рубеж превратились едва ли не в главную служебную привилегию. Допуск в спецхраны и спецзалы библиотек контролировался так же строго, как в спецбуфеты. В век бурного научно-технического прогресса и развития системы глобальных коммуникаций власть держала с помощью КГБ под строжайшим запретом ксероксы и факсы. Телефонные справочники имели гриф «Для служебного пользования», а географические карты и планы крупнейших городов выпускались с умышленными искажениями, чтобы сбить с толку потенциального захватчика.

Справочным было запрещено сообщать рядовым гражданам телефоны иностранных посольств. Радиоглушилки «враждебных голосов» ревели на полную мощность, а одной из главных дипломатических инициатив Советского Союза, подарившего миру первый спутник, было внесенное А.Громыко на сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложение запретить спутниковое телевидение, поскольку оно-де нарушает государственные границы. Установка «телетарелок» квалифицировалась, естественно, как форма политического диссидентства, то есть уголовного преступления. Оба советских нобелевских лауреата 70-х годов — А.Солженицын и А.Сахаров — были сосланы: один в Западную Германию (о его высылке канцлер ФРГ Вилли Брандт и писатель Генрих Бёлль, приютивший автора «Архипелага», узнали, когда самолет уже находился в воздухе), другой — в недоступный для иностранной прессы и дипломатов закрытый город Горький.

И все-таки отчаянно стремившаяся контролировать все и вся Система оказалась не властна над главным временем — биологическим. Дряхлевшее руководство было уже не в состоянии не только натягивать, но и держать в руках поводья. Брежнев все больше терял интерес к управлению партией и страной и даже несколько раз заводил разговор о своей отставке. Однако окружавшая партийный трон «группа товарищей» не отпускала старика на покой, во-первых, из-за того, что уже сама нетвердо стояла на ногах и использовала стабильность режима как подпорку, во-вторых, возможные преемники, мысленно примерявшие на себя мантию генсека, не хотели, чтобы прецедент даже добровольной отставки ставил под угрозу принцип пожизненной власти.

Между тем заседания Политбюро все чаще сводились к 15—20 минутам обременительного для всех ритуала. Леонид Ильич уже давно не спорил с Устиновым насчет приоритета хлеба над обороной, предоставив ВПК, как, впрочем, и другим влиятельным лоббистам и республиканским секретарям, полную свободу рук. Требовавшие неотложной реакции вопросы решались «узким кругом» нескольких членов Политбюро, да еще верным оруженосцем генсека — заведующим Общим отделом ЦК К. Черненко, как тень сопровождавшим Леонида Ильича еще со времен его секретарства в Молдавии. Все чаще именно он, стоя за спиной и склонившись к уху Брежнева, тасовал прямо на заседании разложенные на столе бумаги, объявляя формулировки очередного пункта повестки.

Нередко вся процедура обсуждения (вернее, одобрения) ограничивалась услужливыми выкриками собравшихся: «все ясно». Нередко приглашенных для проформы руководителей ведомств с порога заворачивали назад, вспоминает Михаил Сергеевич, а если какой-нибудь сюжет вызывал интерес у находившегося в полупрострации генсека, его обсуждение сводилось к невнятному обмену репликами между сидевшими возле него «старшими» членами ПБ — их содержание трудно было уловить на другом конце стола. Когда Леонид Ильич «прибаливал», приемную для него оборудовали в больнице на улице Грановского. Нередко же для упрощения процедуры все тот же Черненко рассылал от его имени членам Политбюро тексты, требо-

вавшие их санкции, а затем выпускал в свет очередное постановление, обретавшее силу государственного закона, приложив к протоколу несостоявшегося заседания резиновую роспись немого вождя.

Такой порядок вещей, выглядевший незыблемым, наверняка успокоительно действовал на сверстников генсека, составлявших подавляющее большинство Политбюро, но вряд ли устраивал следующее поколение партийных кадров, и в особенности «полевых» руководителей — молодых и энергичных секретарей обкомов. В отличие от кремлевских старцев они не могли закрывать глаза на то, что происходило в реальной жизни. На них, первых секретарях парторганизаций областей и краев, таких, как Горбачев, Лигачев или Ельцин, лежала персональная ответственность за то, чтобы «дать план», вовремя убрать урожай, «накормить население» и согреть дома зимой. Глядя со своих колоколен на обострившиеся проблемы страны, для решения которых им приходилось денно и нощно «пахать», многие из них не могли понять и принять безмятежности обитателей московского Олимпа.

В своих письмах Раисе, размышляя о системе власти «толстокожих», Горбачев не стесняется в выражениях, пишет о низкой эффективности, суперцентрализации, злоупотреблении личными связями и кумовстве. К врожденным порокам заведенного порядка он относит органическое неприятие любых новаций, искаженную информацию Центра о положении на местах («сплошь и рядом идут приписки и настоящая липа»), низкую компетентность аппарата. Удивляться этому не приходилось — на местах партийно-советских функционеров давно подбирали по способности организовать для своего и приезжего начальства выезды на охоту, рыбалку и посещение бани.

А вот свидетельство еще одного первого секретаря — Томского обкома — Егора Лигачева, человека совсем другого характера и жизненного опыта, чем Горбачев: «В 70—80-е годы советская форма социализма начала сдавать. Ее характеризовали пагубно огромные военные расходы, уходившие на ВПК. Накапливалось отставание по производительности труда от США и других промышленно развитых стран, увеличивался разрыв в области технологии». Написано это человеком, уже пережив-

шим надежды и разочарования, связанные с перестройкой, и показательны как отражение настроений, характерных для наиболее активного слоя советской номенклатуры.

Проявился еще один важный для жизни партаппарата аспект брежневизма — почти полная остановка «социального лифта», иначе говоря, резкое замедление вертикальной мобильности кадров. Из-за фактически династического правления партийной олигархии система кадровой циркуляции оказалась нарушенной. Склеротические пробки, забившие сосуды государственно-го и партийного организма, начали грозить инфарктом уже не только клиентам Центральной клинической больницы, но и всей Системе. Дошло до того, что чуть ли не уверовавшие в свое бессмертие кремлевские бонзы под давлением детей и внуков потихоньку взялись за передачу по наследству не только госдач, но и влиятельных постов, то есть самой Власти.

Если в сталинские времена вознесение наиболее энергичных и амбициозных воспитанников Системы на ее верхние этажи происходило за счет периодических «чисток» и репрессий, открывавших новые вакансии, то в застойные времена ждать возможности карьерного продвижения приходилось десятилетиями. И все-таки, как вспоминает Горбачев, «ни я, ни мои коллеги (а регулярные совещания, конференции и курсы партучебы, не говоря уже о пленумах и съездах, предоставляли многочисленные возможности для встреч тех, из кого состоял, как выражался Андропов, «подлесок» режима) не оценивали тогда общую ситуацию как кризис системы». Большинству казалось, что проблемы страны можно относительно быстро и безболезненно решить давно назревшей отправкой на покой Брежнева и его ближайших сподвижников.

Правда, когда Горбачев заикнулся было о таком варианте в разговоре с Ю.В. Андроповым во время его очередного отдыха в Минводах, предполагая благожелательную реакцию, тот резко осадил своего молодого земляка, преподав ему урок номенклатурной мудрости: «Леонида Ильича надо поддержать, Михаил, — это вопрос стабильности партии и государства, да и международной стабильности». Андропов, конечно, не мог знать, что его закливание-завещание обращено к тому, кто вскоре пустит на ветер ту самую священную стабильность, служение кото-

рой было едва ли не подлинной, религией этого убежденного атеиста.

Правда, в то время не подозревал об этом и сам Горбачев. Десятилетие спустя, посещая в Стэнфорде Русский исследовательский центр, экс-президент СССР решил начать беседу с профессиональными «советологами» вопросом: «Могли ли вы представить себе десять лет назад, что в СССР произойдут такие события?» Все приумолкли, потом один пожилой профессор русской литературы ответил вопросом на вопрос: «А вы, Михаил Сергеевич?» Обычно находчивый Горбачев ничего не ответил...

Хотя на своих «мальчишниках» — женщин среди первых секретарей республик и обкомов не было — подраставшая партийная смена часто давала выход эмоциям и даже могла «проходиться» по адресу намертво вцепившихся в свои кресла членов Политбюро, выступать с открытой критикой, разумеется, никто не отваживался. Конечно, в хрущевские, а тем более брежневские времена никто из пробившихся в «номенклатурный слой» уже не боялся ночного ареста. Тем не менее было ясно, что достаточно вольготный режим, которым пользовались партийные «бояре», даровался им в обмен на абсолютную, пусть и показную лояльность. Все еще помнили события 1957 года, когда несколько коллег Хрущева по Президиуму ЦК, бросивших ему вызов, в одночасье превратились в «антипартийную группу». Без лишних церемоний были низвергнуты со своих постов и легендарный маршал Г.Жуков, и очередной преемник «железного Феликса» «железный Шурик» — развивший подозрительно бурную активность А.Шелепин.

И хотя все эти сравнительно мягкие по критериям сталинских времен репрессии относились к тем, кто либо решался оппортировать авторитет первого лица в партии, либо, как считалось, был способен на это, никто из функционеров нового призыва не хотел искушать судьбу. Тем более что, несмотря на внешнее добродушие «дедушки» — так все более открыто называли Брежнева, — безжалостность Системы, которую он представлял, красноречиво подтверждалась ее обращением с инакомыслящими. К тому же в глазах партийных секретарей даже угасавший генсек продолжал оставаться политическим вождем аппара-

рата, которому был обязан утверждением своего главенства после этапа хрущевского «волюнтаризма» и смутного времени подкованной борьбы внутри «тройки».

Этими немудреными правилами внутриаппаратной жизни должен был руководствоваться и Горбачев. Других просто не было. Иначе, не подтвердив своей «зрелости» в качестве ревностного служителя партийному «богу», он бы попросту не смог проделать свой путь вверх в столь короткие сроки. «Никто не просачивался во власть вопреки Системе, — напоминает А. Яковлев. — Никто, и Горбачев тоже». Ставропольский секретарь понимал, что обязан своим вознесением не членам краевой парторганизации и тем более тогда еще ни на что не влиявшим избирателям, а расположению генсека и что, естественно, должен оправдывать выраженное таким образом «доверие партии и народа».

В эпоху, когда не яркая индивидуальность, а конформизм и неразличимость в общей шеренге считались основными политическими добродетелями, Горбачев и без того опасно выделялся. Во-первых, своей «неприличной» молодостью. В руководящую элиту страны, «средний возраст» которой на юбилее Брежнева А. Кириленко льстиво определил в 70 лет, Горбачев проник, когда ему не было еще 50. Другой, едва ли не предосудительный факт биографии, резко отличавший его от остальных партийных иерархов, — образование. Со своими двумя дипломами он выглядел интеллигентом — статус более чем сомнительный в глазах членов тогдашнего советского руководства, кончавших, как правило, рабфак, партшколу, технический вуз или в лучшем случае академию «красной профессуры».

Извиняло «сверхобразованного» Михаила Сергеевича в глазах Орготдела ЦК только его безупречное рабоче-крестьянское происхождение. Когда студентом университета он вступал в партию, ему, потомственному крестьянину, в райкоме рекомендовали написать в анкете «из рабочих», поскольку он был комбайнером не в колхозе, а совхозе, то есть в государственном предприятии. Тогда же, чтобы он не испортил себе «анкету», а им отчетность, сами райкомовские инструктора посоветовали Михаилу не писать «лишнего» про своих двух репрессированных дедов.

Еще одним обстоятельством, «работавшим» на его партийную репутацию, было решение после окончания МГУ добровольно возвратиться в родное Ставрополье. Правда, то, что скорее всего было проявлением казацкого темперамента, впоследствии воспринималось недоброжелателями как обдуманый и рассчитанный на перспективу карьерный шаг. Так или иначе, теперь орденоседец Горбачев с безупречной анкетой и послужным списком комсомольско-партийного вундеркинда выглядел многообещающим представителем кадрового резерва Партии. Соответственно этому облику он и вел себя, проявляя одновременно энергию и инициативу, которых ждали от него утомленные жизнью партийные вожди, и выказывая им при этом почтительную лояльность.

Раздвоенный мир, разделенный как бы на две неравные части — повседневную, рабочую, и официально-парадную, — сам Горбачев и сотни его коллег воспринимали как незыблемый и непоколебимый. Поэтому одни и те же люди из этого «аппаратного поколения» могли прилюдно восхвалять автора «Малой земли» и превозносить мудрость этого «выдающегося ленинца», а наедине друг с другом, вдалеке от посторонних глаз и ушей, как это делали Горбачев и Шеварднадзе, возмущаться положением дел в стране, соглашаясь с тем, что «все насквозь прогнило и долго так продолжаться не может». Что означало это «долго», никто не мог сказать, но каждый надеялся прежде всего на природу — больше надеяться было не на что — и рассчитывал, что доживет до тогда еще неясных, но все равно желанных перемен. Природа, а можно сказать, и судьба не подвела Горбачева. Смерть Федора Давыдовича Кулакова открыла ему дверь в коридоры уже не символической кремлевской, а реальной власти — Секретариата и Политбюро ЦК.

Когда на столы членов «узкого круга» Политбюро ответственный за подбор партийных кадров секретарь ЦК И.В.Капитонов положил список возможных преемников Ф.Д.Кулакова (помимо Горбачева в нем значились первый секретарь Краснодарского крайкома С.Ф.Медунов и его полтавский коллега Ф.Т.Моргун), «гранды» Политбюро, не колеблясь, указали на ставропольца.

Порядок производства в старшие политические руководители требовал тем не менее очных «смотрин», пусть и символических. Повод для них представился как нельзя вовремя: Леонид Ильич отправлялся с давно обещанным визитом в Азербайджан в гости к одному из своих любимцев Гейдару Алиеву. Маршрут литерного поезда пролегал через Минводы, и естественная остановка в пути предполагала ритуал хотя бы формального общения с местным руководством. Поприветствовать Брежнева, кроме ставропольского начальства, подъехал и отдыхавший в Минводах Ю. Андропов. Не исключено, что он и был одним из постановщиков мизансцены «смотрин» и, патронируя Горбачеву, принял участие в церемонии, чтобы лично обеспечить удачный исход.

Сама встреча на вокзале Минвод задним числом приобрела чуть ли не мистический характер — во время остановки поезда на перроне собрались четыре (!) генсека ЦК КПСС: один действующий и трое будущих — Брежнев, Андропов, Черненко, сопровождавшие шефа в поездке, и Горбачев. Еще в машине по дороге на вокзал Юрий Владимирович, как бы подталкивая своего «протеже», наставлял: «Бери разговор в свои руки». Но, как оказалось, «брат» было нечего — никакого разговора не получилось. Ведомая «Генеральным» четверка, сопровождаемая почтительно отставшей свитой, побродила по перрону. Брежнев, рассеянно слушал «дежурный» рапорт Горбачева, почти ни на что не реагировал и, лишь взявшись за поручни вагона, неожиданно спросил кого-то из сопровождающих: «А речь-то как?» Горбачев, поначалу ничего не понял, подумал, что генсек имеет в виду свое предстоящее выступление в Баку. Только позднее ему пояснили: оказывается, после перенесенного инсульта у Леонида Ильича была некоторое время нарушена речь, и он не был вполне уверен, что окружающие его понимают.

Когда уже после единогласного утверждения Пленумом ЦК (как обычно, после представления генсека ни у кого не возникало никаких вопросов) новый секретарь, преисполненный служебного рвения, напросился на прием к Брежневу, чтобы обсудить главные направления работы, разговор получился не более содержательным, чем на перроне вокзала: он молча выслушал напористого новичка, а потом, думая явно больше о вечном, чем

о дне текущем, произнес всего одну фразу: «Жаль Кулакова». Пожалуй, не меньшей жалости в этой ситуации заслуживал и сам Леонид Ильич, укорачивавший свою жизнь симуляцией государственной деятельности. Однако прежде всего стоило пожалеть страну, которой руководил человек, утративший связь с окружающим миром и даже потерявший интерес к нему.

Станным образом, больше эмоций, чем в Москве, сообщение об избрании нового секретаря ЦК КПСС вызвало на Западе. На семинаре в США, посвященном ситуации в СССР, один из наиболее вдумчивых исследователей советской политики оксфордский профессор Арчи Браун сказал: «Вчера в Москве произошло событие исключительной важности: на пост нового секретаря ЦК КПСС избран Михаил Сергеевич Горбачев». У Брауна, как он впоследствии признавался, в тот момент не было особых оснований для такого многозначительного заявления. Было только предчувствие. Но он оказался пророческим.

«НЕ ТОРОПИ СОБЫТИЯ, МИША»

Новая секретарская жизнь поджидала Горбачева в виде прикрепленного к нему личного охранника, ожидавшего у подъезда «ЗИЛа» и просторного кабинета с приемной и комнатой отдыха на Старой площади. К моменту прибытия с заседания Пленума ЦК на двери нового хозяина, как того требовал негласный ритуал, уже должна была красоваться табличка с его фамилией. В «секретарский набор» входили, кроме этого, московская квартира и подмосковная дача с вышколенной прислугой, принадлежавшей к тому же ведомству, что и охрана, два посменно дежуривших секретаря, 1—2 помощника, знаменитое Четвертое главное управление при Минздраве с его поликлиникой, больницей и санаториями и «кремлевка» — столовая и продовольственная лавка, поставлявшая, по тогдашним стандартам, чуть ли не сказочную снедь.

На Горбачева, приехавшего из края продовольственного изобилия и к тому же по-крестьянски неприхотливого к еде (за годы разъездов по свету и общения с королями и президентами он так и не приобрел вкуса к изысканным деликатесам), эти вымученные цековские разносолы особого впечатления не про-

извели. Зато, как человек, забежавший с улицы в давно не проветривавшееся помещение, он сразу почувствовал нехватку кислорода. Атмосферу казенных дач пропитывал дух казарменности, а их обитатели, хотя и считались правителями гигантского государства, сами фактически находились «под колпаком» собственной охраны. Не случайно доверительные разговоры на мало-мальски вольные темы они позволяли себе только во время прогулок по дачным дорожкам или на отдыхе, когда эскортировавшие их «прикрепленные» охранники держались на почтительном отдалении. В цековских же кабинетах обмен мнениями по щепетильным вопросам даже между секретарями ЦК осуществлялся путем обмена записочками. В результате, попав на партийный Олимп и реализовав тем самым заветную мечту большинства функционеров, Горбачев, по его собственным словам, стал чувствовать «меньше свободы, чем в Ставрополе».

Еще болезненнее происшедшие перемены переживала Раиса, может быть, потому, что связывала с возвращением в Москву особые надежды. Принеся в жертву карьере мужа свою собственную профессиональную жизнь и преподавательскую работу, она поначалу рассчитывала найти для себя какое-то занятие. Появление этой энергичной, самостоятельной и, главное, молодой женщины, что само по себе было вызовом для среды, в которую она попала, вызвало в кругу цековских «матрон» вполне объяснимую аллергию. Провинциалку надо было немедленно поставить на место, что и было сделано в буквальном смысле. На одном из первых же официальных приемов, когда элегантная Раиса по незнанию московских порядков встала на место, неподобающее ей по статусу мужа, жена Кириленко не замедлила указать ей на это. Ошеломленная полученной выволочкой Раиса потом растерянно спрашивала мужа: «Что же это за люди?»

Получил свою порцию наставлений относительно кремлевских нравов и сам Михаил Сергеевич, правда, в менее обидной форме, поскольку исходили они от благоволившего к нему Андропова. Вскоре после обустройства в Москве он одним из первых пригласил в гости Юрия Владимировича с женой, считая это естественным для их уже давних товарищеских отношений. К его удивлению, тот не только отказался, но и прочитал своему

«протезе» наставления, объяснив, что их контакты отныне приобретают официальный характер и «нештатные» встречи могут вызвать ненужные пересуды. «Я еще только буду к вам собираться (он жил на соседней с Горбачевыми даче), а Брежневу уже все будет доложено». Председатель КГБ говорил со знанием дела.

И еще один ценный совет, на этот раз политический, дал он Михаилу Сергеевичу: четче обозначить свою позицию в подспудном соперничестве между Косыгиным и Брежневым, которое к тому времени перешло почти в открытую фазу. Производство в партийные «генералы» надо было отрабатывать. Горбачеву в известном смысле помог сам Алексей Николаевич Косыгин, когда в своей обычной сухой манере отрицательно отозвался о дополнительных ассигнованиях на нужды аграрного сектора, запрошенных новым секретарем ЦК. Посвятив большую часть жизни развитию промышленности, он скептически относился к идее подъема колхозов путем государственных вливаний, считая это пустой тратой денег. Горбачев же, как потомственный селянин, спорил с ним, выбивая из бюджета как ответственный за этот участок работы в ЦК дополнительные средства.

Вскоре между ними — в присутствии других членов Политбюро — произошла и прямая стычка. В ответ на очередное желчное замечание премьера Михаил Сергеевич вспылил и не по чину дерзко предложил тому попробовать собрать урожай на местах с помощью аппарата Совмина вместо партийного. Открытый вызов одному из патриархов Политбюро поверг в оцепенение собравшихся. Но, как оказалось, Горбачев точно выбрал и объект, и тему своей контратаки — защиту партаппарата: Брежнев прилюдно взял его сторону — «Ты же все равно, Алексей, в уборке мало что понимаешь». Горбачев остро переживал этот инцидент: он уважал Алексея Николаевича и ценил те личные отношения, которые вроде бы установились между ними еще в ставропольский период. Косыгин, впрочем, вскоре перезвонил ему сам, взяв на себя инициативу примирения.

Многоопытными партаппаратчиками поведение Горбачева было истолковано как публичная демонстрация личной лояльности генсеку. Вскоре после этого эпизода мгновенно сориентировавшийся Орготдел назвал среди других кандидатуру секре-

таря ЦК по селу для избрания членом Политбюро, и лишь осторожный Михаил Андреевич Суслов придержал ставропольца, как он считал, в его же интересах, ограничив его статус кандидатом.

По словам самого Горбачева, первой его реакцией на предложение перебраться на работу в Москву был обращенный к самому себе вопрос: «А смогу ли я что-нибудь реально изменить?» Разумеется, молодость, амбиции и врожденный оптимизм подталкивали его доказать всем, что с его приходом положение дел в советском агрокомплексе начнет меняться. Он ежедневно засиживался на работе допоздна (как вспоминает Лигачев, наезжавшие в Москву секретари знали, что и в 9, и в 10 вечера смогут застать Горбачева в его кабинете), «перелопачивал» уйму записок, сводок, аналитических и справочных материалов, держал в голове огромное количество цифр. Проводил совещания, встречался с учеными — аграриями, экономистами, даже социологами (так он познакомился с Т.Заславской). То с той, то с другой стороны заходил к «возу» продовольственной проблемы, надеясь стронуть его с места. Увы, чем дальше, тем больше все его усилия по реформированию аграрного сектора должны были отходить на второй план, уступая место традиционным хлопотам всех его предшественников: списанию долгов с села, выбиванию для него новых кредитов и закупкам продовольствия за рубежом.

К началу 80-х, когда Горбачев уже достаточно освоился, наблюдая за действиями своих коллег-лоббистов, прежде всего Д.Устинова, представлявшего ненасытный ВПК, он понял, что ему остается идти тем же путем. Оправдывало, пожалуй, лишь то, что в отличие от Дмитрия Федоровича он выбивал деньги не на пушки, а на масло. Хотя уже и начал осознавать, что быстрой отдачи от новых вложений в аграрный сектор ждать не придется. Ему удалось тем не менее одержать важную аппаратную победу. Уступив его напору, сам Леонид Ильич не только поддержал проведение специального Пленума ЦК по вопросам сельского хозяйства, но и дал согласие «лично» выступить на нем с программной речью. По канонам аппаратной игры заполучить генсека на пленум по курируемой отрасли означало большую удачу. И хотя в своем докладе Брежнев, торжественно

выдвинув Продовольственную программу, проигнорировал главные практические предложения Горбачева, дополнительные престижные очки ставрополец набрал.

И все-таки главное, что помогало Горбачеву быстро усиливать позиции в партийном руководстве, были не сдвиги в советском сельском хозяйстве, которых он так и не смог добиться (хотя, по правде говоря, никто таких чудес от него и не ждал), и не его несомненные дипломатические способности, необходимые при любом дворе, включая и номенклатурный, а благоволившая к нему судьба. Расположение к своему избраннику она проявляла своеобразно — убирая с шахматной доски одну за другой доживавшие свой век крупные политические фигуры и освобождая таким образом ему дорогу сначала в ферзи, а потом и в короли...

25 января 1982 года умер М.А.Суслов, и сразу в монолите казавшегося бессмертным Политбюро образовалась заметная брешь — ведь ушел второй по влиянию член партийного руководства, «делатель королей», человек, приведший Брежнева к власти и как бы гарантировавший ему ее сохранение, пока он жив. Смерть Суслова не только напомнила остальным членам Политбюро, его сверстникам, о бренности их земного существования, но и поставила вопрос о преемнике «Генерального».

Возможная смена капитана на мостике не должна была сказаться на единственно верном курсе корабля. На практике это означало, что должность первого или Генерального секретаря автоматически наследует второй, а сама пересменка происходит в минимальные сроки, чтобы не будоражить страну и не отвлекать ее граждан от напряженного труда. Эта теоретическая схема на деле означала, что подлинное столкновение интересов и амбиций, иначе говоря, борьба за будущую власть должна была разыграться при определении официального второго лица в партии — преемника Суслова. Вот почему кончина на 77-м году жизни этого «верного ленинца» вызвала бурный телефонный перезвон между другими, не менее верными ленинцами, опечаленными этой вестью.

Вскоре после этого Горбачеву позвонил Андропов (после переезда в Москву они разговаривали практически ежедневно) и

рассказал о неожиданном звонке Громыко: «Знаешь, Миша, чего он от меня хотел? Попросил поговорить с Леонидом Ильичом, чтобы его сделали секретарем по идеологии. Сказал, что Суслов, как и он, занимался международными делами, и, значит, вполне справится с его участком». «И что вы ответили?» — поинтересовался Михаил Сергеевич. «Я сказал: Андрей, ты же знаешь, это вопрос Генерального секретаря». «Ответ гениальный, Юрий Владимирович!» — воскликнул Горбачев. Ответ на самом деле был великолепен не только как урок аппаратной дипломатии, преподанный министру иностранных дел, но и пример одновременно уклончивости и честности — Юрий Владимирович Андропов сам хотел вернуться в ЦК, из которого был «брошен» на КГБ более 20 лет назад.

Когда в предыдущие годы Горбачев заводил с ним об этом разговор, чувствуя, что «шеф Лубянки» устал от выполнения партийного поручения на этом тяжелом участке, тот обычно уклонялся от обсуждения, но однажды неожиданно для собеседника в сердцах ответил: «Это не мой, это ваш вопрос». Под словом «ваш» имелись в виду члены ЦК и, разумеется, прежде всего Брежнев. Поэтому, уловив пока еще слабый ветер, подувший из кабинета генсека в желательном для него направлении, Андропов с энтузиазмом воспринял сделанное ему вскоре после смерти Суслова предложение выступить с докладом на традиционном собрании, посвященном очередному дню рождения Ленина. Это давало ему возможность напомнить, что, несмотря на годы, проведенные на Лубянке, он не превратился из партийного деятеля в узкого профессионала-чекиста, а также продемонстрировать собственный взгляд на процессы в советском обществе, не выходя, разумеется, за рамки идеологических стереотипов эпохи. Ясно, что такую смелость, граничившую с вызовом ортодоксальным концепциям и застывшим формулам бывшего идеолога партии, мог позволить себе только его единственный конкурент по надзору за сохранением стабильности Системы — руководитель КГБ.

Узнав о выборе докладчика, Горбачев не замедлил поздравить Андропова: «Я так понимаю, вопрос насчет места второго секретаря решен, Юрий Владимирович?» «Не торопи события, Миша», — ответил Андропов, проведший почти всю жизнь в

ожидании. Но «высовываться» и торопить события все равно не мог: у него были конкуренты более серьезные, чем Громько, начиная с Черненко, имевшего свои возможности повлиять на окончательное решение генсека. Тот, конечно же, понимал, что, называя имя суловского преемника, он обозначает перед всей партией своего наследника. К его чести, несмотря на почти парализовавшую его немощь, Леонид Ильич не поддался соблазну «отблагодарить» суетившегося около него Черненко, а указал-таки пальцем на Андропова.

Горбачев, «младший по чину» в Политбюро и уже в силу этого по определению исключенный из возможных новых властных пасьянсов, не скрывал энтузиазма по поводу возможного переезда своего покровителя на 5-й этаж первого подъезда комплекса зданий ЦК. «Вы не можете уклоняться от этой должности», — убеждал он своего старшего товарища, и хотя тот и не собирался уклоняться, ему приятно было это слышать. «Дружба», если уж использовать этот термин для обозначения их безусловно особых отношений, была, на первый взгляд, труднообъяснима, тем более если учесть разницу в возрасте, изначальную, почти непреодолимую, по аппаратным меркам, дистанцию между членом Политбюро и провинциальным партийным секретарем, наконец, несопоставимый жизненный опыт. Несерьезно усматривать здесь личную слабость шефа КГБ к молодому земляку или симпатии к расторопному и радушному «курортному секретарю», принимавшему его в Кисловодске. Сколько таких «земляков», заранее готовых на любые проявления гостеприимства, вилось вокруг партийных вельмож, приезжавших поправлять здоровье на курортах! Что-то более важное сблизило этих двух таких разных людей.

Трудно предполагать и какие-то оформленные карьерные расчеты Горбачева: аскетичность, особая щепетильность Андропова в этих вопросах были общеизвестны, да и вряд ли председатель КГБ, не имевший рычагов прямого воздействия на служебную карьеру Горбачева, мог реально способствовать его продвижению. Скорее наоборот — именно первоначальная удаленность этих двух незаурядных людей, далеко разведенных по поколениям и сферам забот, свела их вместе. Они познакомились в 1969 году, когда тогдашний первый секретарь Ставро-

польского крайкома Л.Ефремов отрядил своего «второго» съездить в Кисловодск с дежурной миссией — засвидетельствовать почтение отдохнувшему члену ПБ, рассказать для проформы о делах края и ответить на заданные для проформы же вопросы. К своему удивлению, он встретил человека, который, может быть, в силу естественной оторванности от проблем советской глубинки начал дотошно о них расспрашивать.

Не исключено, что ставропольский секретарь поначалу заинтересовал Андропова как своеобразное окно в реальный мир или, по терминологии его ведомства, как ценный «источник» достоверных сведений о повседневной жизни, которых он не мог получить от своих штатных осведомителей. Их встречи постепенно стали регулярными и неформальными, хотя происходили только на ставропольской территории, и «никогда в Москве», — подтверждает Михаил Сергеевич. Они подолгу вдвоем и семьями гуляли, ездили на природу, устраивали пикники, во время которых могли «и попить, и попеть», играли в домино (причем Юрий Владимирович всегда настаивал, чтобы они вдвоем играли против других), слушали Визбора и Высоцкого и, разумеется, «все обсуждали». В один из семейных выездов Андропов, заинтересовавшись настроениями в студенческой среде, часа три допрашивал профессионального социолога — Раису Максимовну, и на это время все, включая Михаила, отошли в сторону, чтобы им не мешать.

Но его познавательный, утилитарный интерес к общению с Горбачевым, конечно, не объясняет очевидной, почти родительской привязанности к открытому им в провинции партийному дарованию. Не исключено, что уже в те годы Михаил Сергеевич притягивал его не только своими личными качествами, открытостью характера, но и тем, что благодаря происхождению, образованию и пройденному пути как бы олицетворял собой образцовый продукт той Системы, над укреплением которой так усердно трудился сам Андропов. Нечто вроде вдруг заговорившего Буратино, вытесанного из бездушного куска дерева руками папы Карло; или зеленого побега, который вдруг неожиданно для самого лесника дал засыхавший на его глазах ствол уже рухнувшего дерева.

Не о таких ли молодых, энергичных, более образованных, чем они сами, преемниках, веривших при этом в рациональность Системы и ее потенциальные возможности, должны были мечтать руководители этого явно изросшегося строя, небезразличные к тому, что станет с делом всей их жизни. Этот «подлесок» и должен был в их глазах олицетворять надежду и одновременно оправдывать не только потраченные силы, но и компромиссы с собственными надеждами и с совестью, из которых состояла жизнь такого «солдата партии», как Андропов. Может быть, именно по этой причине, как бы оберегая своего питомца от слишком ранних разочарований, в течение всех лет их дружеского общения почти не касался в разговорах той «темной» стороны деятельности государства — полицейской функции КГБ, управлять которой он был поставлен. «А ведь известно, — замечает Михаил Сергеевич, — что ни он сам не был ангелом, ни его контора не была детским садом».

В Москве их общение перешло в официальную плоскость — ни пикников, ни Высоцкого, ни встреч семьями и тем более домино — стало телефонным, пока Андропов возглавлял КГБ, и очным после его перехода в ЦК. Горбачев иногда по несколько часов в день проводил в его кабинете. Оглядываясь назад, на этот своеобразный «служебный роман» двух политиков, различавшихся и характером, и манерами поведения, можно только восхититься иронией истории. Случилось так, что Андропов, проводивший рабочий день в поисках противников и оппонентов Системы и пресекавший в зародыше, нередко самыми жесткими методами, их деятельность, в свободное время пестовал, натаскивал и готовил на роль своего преемника того, быть может, единственного, поистине эффективного диссидента, который, подобно спасенному в детстве от насылавшихся на него напастей Гераклу, должен был начать в урочный час свои исторические подвиги.

Не зря Библия и в наши дни сохраняет титул «Книги книг»: как не вспомнить о царе Ироде. Ради сохранения своей власти он распорядился истребить всех младенцев мужского пола в Вифлееме, но, несмотря на это, оказался спрятан и защищен тот, кто по приговору судьбы (истории) должен был стать Царем в Иудее. Парадокс состоял в том, что воспитание будущего

Царя судьба доверила человеку, исполнявшему роль меча в руках Ирода.

Спустя несколько лет после распада Советского Союза одного из последующих руководителей КГБ — В.А.Крючкова спросили: как получилось, что эта вездесущая организация проглядела того, кого сам он назвал «предателем», затесавшимся в ряды партии и согласовывавшим свои акции по «плановому развалу СССР» с Вашингтоном, тот ответил: «Арестовать, по понятным причинам, Генсека ЦК КПСС мы не могли. (В августе 91-го фактически Президента СССР все-таки арестовали.) Но, я думаю, можно рассматривать свободу рук, полученную Горбачевым и его пособниками в руководстве партии и государства, как серьезную недоработку наших служб».

Не просто близкие, а «душевные», по его собственным словам, отношения связывали Горбачева с другим «сильным человеком» в Политбюро — Д.Устиновым. Именно он, как бы предвещающее блестящее будущее молодому члену ПБ, уже ведущему заседания Секретариата ЦК, посоветовал однажды: «Ты, давай, руководи нами. Собирай почаще». Не исключено, что эта фраза была произнесена в порядке ответной любезности — сразу после смерти Андропова Горбачев в разговоре с ним пообещал свою поддержку, если речь пойдет об избрании того на пост генсека.

Не сложились отношения, пожалуй, только с одним членом тогдашнего Политбюро — А.Кириленко. Этого аппаратного долгожителя раздражали свободные манеры «мальчишки-секретаря» и его, как утверждает сам Горбачев, «органическая неспособность» почтительно поддакивать старикам. Конечно, трудно себе представить, чтобы он так же философски, как Андропов, отнесся к разговору, который однажды завел с ним Горбачев: «Ведь ни вы, ни ваши сверстники не вечны, Юрий Владимирович, на кого же вы думаете оставить партию и страну?» Но чаще всего эта прямолинейность, эти манеры провинциального Кандида импонировали стремительно дряхлевшим руководителям, вызывая у одних старческое умиление, у других, задумывавшихся над проблемой преемственности, — ощущение уверенности, что есть кому передать эстафету, раз подросла такая энергичная и нетерпеливая смена.

В общем, к нашему герою вполне подошла бы ленинская характеристика Н.Бухарина — «любимец партии». Внутрипартийный рейтинг Горбачева к началу 80-х годов был настолько высок, что Орготдел регулярно «выуживал» его учетную карточку, предлагая использовать на руководящей работе в Центральном аппарате. Поскольку кадровики всякий раз наткались в его анкете на юридическое образование, предложения были в основном юридического профиля. То его прочили в Генеральные прокуроры СССР, то в Председатели Верховного суда. Но до решений дело почему-то ни разу не доходило. Наконец, когда в очередной раз Горбачева предложили на должность зав. Отделом пропаганды, сидевший «на хозяйстве» Кириленко недовольно буркнул: «Ну, опять, Горбачев, Горбачев, нашли топор под лавкой! Он нам для другого понадобится».

Он и понадобился, правда, уже не Кириленко, а Андропову, пришедшему в ноябре 1982 года на место умирающего Брежнева. Уже в декабре Юрий Владимирович, написав своей рукой за Кириленко от его имени заявление об отставке (тот сам уже не мог осилить эту процедуру), заменил его Горбачевым, сделав фактически вторым «вторым» секретарем — после К.Черненко. Этот статус был закреплен в течение многих лет за А.Кириленко.

ОТ ВТОРОГО «ВТОРОГО» ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО

Расширять для него поле деятельности Андропов начал еще раньше, когда сам в июле 1982 года наконец уверенно уселся в кресле второго секретаря ЦК и стал вести заседания Секретариатов: Произошло это после звонка Леонида Ильича, который, выждав время, окончательно определился и возложил на него эту обязанность и тем самым статус своего официального преемника. До этого ситуация оставалась неопределенной и Секретариаты вели то К.Черненко, то А.Кириленко, словом тот, кому удавалось подобрать бесхозный жезл старшего партийного регулировщика. Получив санкцию генсека, Юрий Владимирович энергично взялся наводить порядок и порой, как вспоминают очевидцы, нагонял на заседаниях «такого страха на тех, кто от-

читывался, что людей становилось просто жалко». Горбачеву давал самые разнообразные и часто неожиданные поручения — от проверки снабжения Москвы овощами и фруктами до подготовки важных кадровых перестановок или расследования поступавших в Центр сигналов о коррупции (как в случае с краснодарским секретарем С.Медуновым).

За несколько месяцев Андропов настолько утвердил себя как хозяин и бесспорный лидер, что после смерти Брежнева 10 ноября 1982 года ни у кого не возникло сомнений, кто станет следующим Генсеком КПСС. И хотя К.Черненко, надеясь защитить собственные позиции, в речи на Пленуме пытался в качестве душеприказчика усопшего давать рекомендации новому генсеку насчет «коллективного руководства» и «бережного обращения с кадрами», всем было ясно: наступают новые времена. По советской традиции это должно было проявиться не столько в принципиально новых действиях, сколько в новых назначениях. В своих мемуарах Горбачев утверждает, что именно с его подачи в это время в ЦК появились Егор Лигачев, Николай Рыжков, Вадим Медведев, потеснившие старую брежневскую гвардию на таких важных участках, как экономика, наука и оргпартобработка.

Горбачев реже упоминает, что приложил руку и к появлению в этот же период на московском горизонте таких персонажей, как Александр Яковлев и Борис Ельцин. Его нежелание напоминать об этом можно, скорее всего, объяснить непростыми отношениями, сложившимися с каждым из этих двоих в последующие годы. При этом если в переводе в Москву тогдашнего первого секретаря Свердловского обкома Бориса Ельцина более весомую роль сыграл Егор Лигачев, то возвращение в столицу Александра Яковлева из зарубежной «ссылки» — прямой результат поездки Горбачева в Канаду, куда он прилетел в мае 1983 года изучать тамошнее сельское хозяйство. (Кроме Горбачева за Яковлева перед Андроповым ходатайствовал также Г.А.Арбатов.) Чувство политического родства, возникшее тогда между ними, привело советского посла в Канаде через несколько месяцев в круг ближайших горбачевских соратников и друзей, затем в состав членов Политбюро и Президентского совета, чтобы позднее развести обоих надолго в разные стороны, оста-

вив им на память о совместно прожитых исторических событиях пепел выгоревшей дружбы.

С воцарением Андропова в ЦК и Кремле должно было измениться и положение Горбачева. В глазах партийных царедворцев он представлял чуть ли не наследным принцем. Этому в немалой степени способствовало то, что по инициативе Андропова именно Горбачеву поручили весной 1983 года выступить с докладом, посвященным дню рождения В.И.Ленина. Всем была памятна символика прошлогоднего доклада — выступивший с ним Андропов был через месяц избран вторым секретарем ЦК, а в конце года — Генеральным.

Все, казалось, складывалось блестяще для благополучно выплывшего из партийного инкубатора руководителя, готового подхватить опасно накренившееся Красное знамя, — его уже не несли, а скорее опирались на него, используя древко как костыль, доживавшие свой век старики. И надобно же, чтобы именно в эти судьбоносные месяцы разминки перед выходом на старт партийного принца начали посещать поистине гамлетовские сомнения.

Известно, что он уже и в ставропольский период видел противоречия между словесным фасадом режима и скрывающейся за ним реальностью, возмущался «отклонениями» от социалистического идеала. Этим, кстати, он и мог обратить на себя внимание членов «партийной олигархии», озабоченных поиском идеалистически настроенных наследников. Для его политического формирования помимо здоровых моральных качеств, привитых крестьянской жизнью, важным было и то, что большая часть его активной жизни прошла в провинции, вне Москвы, а стремительность карьеры позволила сохранить непосредственность чувств и здравый смысл, не дав времени очерстветь и стать циником. Но одного набора этих качеств, по-своему уникального для столичного номенклатурного мирка, было тем не менее недостаточно, чтобы не только задавать себе острее вопросы, но и отвечать на них. Оказавшись в 1983 году в двух шагах от верховной власти в стране и осознав связанную с ней ответственность, Горбачев начал задумываться об ответах.

Трудно сказать, что больше повлияло на его размышления той поры. Подготовка ли к «праздничному докладу», когда он

перечитал всего «позднего Ленина» и вслед за ним пришел к выводу, что большевики «совершили ошибку», которую надо было исправить новой политикой. Или поездка в Канаду и открытие на этот раз уже не туристического фасада западного мира, а его фундамента — в виде высокопродуктивной экономики и, в частности, сельского хозяйства. Партсекретарю из аграрного края, отдавшему несколько лет жизни мобилизации на «битву за урожай» и постоянному понуканию тружеников села, непросто было понять механизм «самоэксплуатации» канадских фермеров, обходившихся без бригадиров и райкомовских уполномоченных.

Нельзя исключать и самого простого и, пожалуй, логичного объяснения: не миражи зарубежья (как подслушали канадцы, уходя с показанной ему фермы, русский гость бормотал себе под нос: «У нас такого и через пятьдесят лет не будет»), а открывшаяся перед ним с кремлевских холмов во всей своей драматичности реальность собственной страны должна была превратить человека с развитым чувством гражданской ответственности и просто здравого смысла, каким, очевидно, был Горбачев, в опасного для абсурдной Системы скептика, если не оппозиционера.

Период работы в роли политического подмастерья Андропова и фактического второго секретаря продолжался всего несколько месяцев. В одну из их встреч еще в ЦК (последние проходили уже в больнице) Юрий Владимирович сказал: «Знаешь, Михаил, старайся вникать во все дела. И вообще, действуй, как если бы тебе пришлось взять всю ответственность на себя». Разговор состоялся еще до резкого ухудшения здоровья генсека летом 1983 года. Горбачев, разумеется, не предполагал, что новый этап в его жизни может начаться так скоро.

Андропов умер в феврале 1984 года, не успев осуществить того, о чем, по-видимому, мечтал, и не сумев оставить после себя у руководства партией и страной человека, которому бы доверял. В этом смысле Брежнев поступил более ответственно и эффективно. Впрочем, нельзя отрицать, что главным итогом скоротечного пребывания Юрия Владимировича на высшем посту останется привлечение им к руководству страной нового по-

колениа. Собрав вокруг Горбачева хоть и весьма пеструю по воззрениям группу — от Лигачева и Рыжкова до Яковлева, этот внешне сумрачный и осмотнительный человек дал стартовый толчок тем, кто был решительно настроен на разрыв с брежневизмом и способен пойти в этом много дальше, чем он сам, уже в силу необремененности багажом прошлого и ответственностью за него.

С избранием генсеком К. Черненко положение Горбачева в Политбюро сразу осложнилось. И не потому только, что его отношения с «адъютантом» Брежнева не были, да и не могли быть такими, как с Андроповым. Сами по себе эти взаимоотношения мало что значили — слишком несамостоятельной фигурой оказался новый руководитель партии. Он, кстати, и предложил Михаилу Сергеевичу пост секретаря по идеологии — то ли в благодарность за то, что не преградил ему путь к могиле у Кремлевской стены, то ли понимая, что без новой подпорки обветшавшее Политбюро может рухнуть.

Важнее было другое — с его избранием вновь оживился весь разросшийся при Брежневе аппаратный мир и с надеждой подняли пригнувшие было головы члены прежнего руководства. Горбачев же в новой ситуации из почти официально объявленного престолонаследника оказался разжалован в рядового члена Политбюро. «Дарованное» ему Андроповым право вести Секретариаты стало негласно и гласно оспариваться, а будущее вновь стало неопределенным.

Возглавлял контрнаступление при явном поощрении генсека Н. Тихонов. В кильватере за ним следовали В. Гришин, Г. Романов, В. Долгих, М. Зимянин. Отдавая себе отчет в незавидном здоровье Константина Устиновича, эта когорта стремилась избавиться от андроповских питомцев как можно скорее, чтобы расчистить плацдарм для будущей решающей схватки — борьбы за пост следующего генсека. Однако у этого отряда верных брежневцев была проблема с командованием. Черненко, не раз вызывавший Горбачева для «решительного разговора», как правило, пасовал, лишь только тот предлагал рассмотреть претензии к нему на заседании Политбюро. Окончательно же первый антигорбачевский «мини-путч» подавил своим авторитетом Д. Устинов. На правах старшего члена пресловутого «узкого

круга» он, узнав об очередной попытке отстранить Горбачева от ведения Секретариатов, зашел к генсеку для персональной беседы и потом сообщил Михаилу Сергеевичу, что «вопрос урегулирован».

Тем не менее всем было ясно: главный вопрос — о преемнике — урегулирует только само время. Горбачев потратил его на то, чтобы укрепить свои позиции среди тех, кто будет голосовать на очередном «траурно-историческом» пленуме — дата его созыва была известна лишь Богу, — министров, военачальников, секретарей обкомов.

Продолжался и процесс его политического самообразования, богатый материал для этого давали и международные контакты. По его собственному признанию, сильное влияние оказали неортодоксальные, исповедовавшие крамольный «еврокоммунизм» лидеры итальянской компартии, с которыми он встретился, прилетев в Рим на похороны Э.Берлингуэра, предварительно перечитав «Письма из тюрьмы» А.Грамши и политическое завещание П.Тольятти, написанное в Ялте.

Похоже, что этот год, прожитый в ожидании неизбежных перемен, стал для него временем интенсивных размышлений о внутренней и внешней политике. Это подтверждается впечатлениями Маргарет Тэтчер. Встретившись с Горбачевым в декабре 1984 года, она с изумлением обнаружила перед собой не очередного робота, отштампованного советской системой, а вполне современного политика с собственными взглядами, с которым было непросто дискутировать, но «вполне можно было вести дела». Во время ее встречи с Горбачевым на Даунинг-стрит подтвердился полупрогноз-полупророчество упоминавшегося мной Арчи Брауна (накануне приезда Горбачева Тэтчер собрала на целый день в своей загородной резиденции британских советологов и вновь услышала от упрямого шотландского профессора рекомендацию «очень внимательно» отнестись к этому еще совсем неизвестному Западу молодому советскому лидеру). Именно первые впечатления «железной леди» во многом определили характер подготовки ее близкого друга Рональда Рейгана к первой встрече с Горбачевым в ноябре следующего года в Женеве.

Открывала для себя мир и все заметнее демонстрировала ему себя и Раиса. К поездке в Лондон она готовилась методич-

но, как к ответственному экзамену. Произвести благоприятное впечатление на западную аудиторию, в чем она видела свой мощный вклад в успех поездки, ей помогали как раз те качества, которые выделяли ее в среде «кремлевских жен» и немало осложняли жизнь в Москве, — университетское образование, преподавательская методичность, аппетит и амбиции открывающей мир провинциалки и, конечно, природный вкус. В результате «открытие» Раисы, поразившей англичан почти парижской эlegantностью, стало самостоятельным сюжетом английской прессы, освещавшей визит. Явление ее британцам стало особой темой и для советской прессы. Правда, в тот момент журналистов в основном интересовало, где она покупает свои наряды и действительно ли расплачивается в лондонских магазинах загадочной «золотой карточкой». (Как далеки мы еще тогда были от отнюдь не мифических загулов новорусской знати постсоветской эпохи!) Почти по-викториански аскетичная Раиса поначалу возмущалась: «Как можно так безответственно фантазировать?» Потом привыкла.

Во время их пребывания в Лондоне умер Д.Ф. Устинов, и это сообщение ускорило отъезд Михаила Сергеевича. Ухудшавшееся состояние Черненко приближало развязку и другой драмы, о чем, кстати, предупредили Горбачева английские врачи, издали наблюдавшие за больным генсеком. Они ошиблись всего на пару недель.

НОЧЬ ПЕРЕД ТОРЖЕСТВОМ

На вопрос «Когда вы впервые осознали, что можете стать Генеральным секретарем?» у Горбачева даже сегодня наготове канонический ответ: «В ночь перед Пленумом ЦК после смерти Черненко». Независимо от степени искренности ответ этот свидетельствует, что Михаил Сергеевич хорошо усвоил еще два урока, преподанных ему Андроповым своим примером: лояльность и терпение. Следование этим ключевым аппаратным заповедям в конце концов привело Юрия Владимировича к заветной должности. И из-за них же он ждал этой возможности почти до конца жизни, когда уже был неспособен что-либо реально осуществить.

Горбачеву повезло больше. Оказавшись на расстоянии вытянутой руки от высшего партийного и государственного поста в расцвете лет, можно было не торопить события. К тому же, попробуй он сделать это — то рисковал потерять все: ведь последний шаг, отделявший его от вершины, зависел от тех членов Политбюро, которые, хоть и собирались сами вскоре последовать за Черненко, вполне могли лишить Горбачева шанса его жизни.

Многое тем не менее подтверждает, что, всячески демонстрируя лояльность к угасавшему на глазах патрону и необходимый пиетет к составу Политбюро, проголосовавшему за Черненко чуть больше года назад, он интенсивно готовился к приближавшемуся дню «Д». Статус фактического второго секретаря (от официального наследования этого титула его отделяла лишь невозможность пересест в суловский кабинет, чему под разными предложениями противился Черненко) да еще при бездействующем «Первом» позволял Горбачеву держать в поле зрения все ключевые направления работы ЦК. Так, очень скоро в круг экспертов, снабжавших его аналитическими записками и советами, были вовлечены академики Т.Заславская, А.Аганбегян, Л.Абалкин, О.Богомолов, Е.Велихов, Г.Арбатов, Р.Сагдеев, позднее к ним добавился А.Яковлев. По понятным причинам сохранявшаяся репутация андроповского «протеза» позволяла ему рассчитывать на поддержку и на ценное информационное обслуживание со стороны руководителей КГБ, в частности В.Чебрикова.

Пока смертельно больной генсек номинально находился у руля, вопрос о будущем престолонаследия оставался открытым, и вокруг партийного трона продолжалась подковерная борьба. Неопределенность в вопросе об официальном втором лице в партии умышленно поддерживал сам Черненко: то ли считая, что таким способом укрепляет свой все более символический статус, то ли инстинктивно цепляясь за власть, как за жизнь, то ли попросту не умея противостоять давлению тех, кто видел в Горбачеве потенциальную угрозу. Речь шла в первую очередь о Н.Тихонове и В.Гришине.

По той или другой причине полуживой генсек упрямо отказывался официально уступить кому бы то ни было право на ведение заседаний Политбюро. Доходило до того, что его приводили и буквально вносили в зал заседаний и, усадив перед раз-

ложенными бумагами, впускали остальных членов ПБ. В других случаях уже в последнюю минуту Горбачеву звонил кто-то из помощников и просил от имени Константина Устиновича «подменить» его. Отлично представляя себе, благодаря информации начальника Четвертого управления Е. Чазова, реальное состояние Черненко, Михаил Сергеевич на всякий случай готовился к каждому заседанию, но мелочное интриганство со стороны генсека или его окружения не могло не раздражать.

Видимо, все тем же стремлением «попридержать» его объясняется предпринятая в конце 1984 года попытка отменить уже фактически собравшуюся конференцию по идеологическим вопросам, где Горбачев готовился выступить с программным докладом как главный идеолог партии, рассчитывая и показать себя, и подтвердить, что у режима есть иная перспектива, кроме очередных похорон. Отбив и эту атаку брежневского клана, он уверенно провел совещание, впервые обозначив в докладе некоторые векторы своей будущей политики (его текст напечатан «Правдой» в сильно сокращенном виде). После этого, видимо, утратив последние силы и волю к сопротивлению, Черненко дал наконец добро на переезд Горбачева в кабинет бывшего главного идеолога партии.

Но если сам генсек капитулировал, его ближайшие соратники в преддверии развязки сдаваться не собирались. Умиравшего старика не оставили в покое даже в больничной палате. Первый секретарь МГК В. Гришин заставил его разыграть перед телекамерами ритуал голосования на выборах в Верховный Совет, а несколькими днями спустя принять из его рук депутатское удостоверение. Постановщик этого кощунственного спектакля явно рассчитывал таким способом утвердить себя в качестве преемника уходящего генсека.

Естественно, что превращенное в телесериал (если сложить все государственные похороны, на которых присутствовала в те годы страна) вымирание партийного руководства начало походить на агонию режима. Опасаясь, что новая передача власти превратится в политическую свару, дискредитирующую не только ее участников, но и саму Систему, сразу несколько «семей» советской номенклатуры начали сватать на престол того, кто им представлялся наиболее перспективным кандидатом,

способным влить свежую кровь в вены состарившегося организма. Вполне естественно их избранником стал Горбачев.

Разные кланы партгосэлиты — от секретарей обкомов, министров и высших военных чинов до либералов из академического мира — связывали с возможным новым лидером не только принципиально разные, но нередко взаимоисключающие надежды. Тем не менее объединенные тревогой за свою дальнейшую судьбу, они были готовы сообща поддержать того, кто скорее своим обликом и возрастом, чем программой действий, подавал надежду на выход из тупика.

К концу 1984 года было уже ясно, что Михаил Сергеевич может реально рассчитывать на поддержку преобладающего большинства членов ЦК. Оставалось завоевать главный «блокпост» — Политбюро. Именно его рекомендация вносилась формально на обсуждение, а реально — на одобрение ЦК. Исходя из стойкой традиции партийного чиновничества, трудно было представить, что даже несогласное с мнением ПБ большинство состава ЦК осмелится бросить вызов старшим по званию. (Такое, правда, произошло однажды, в 1957 году, когда Н.Хрущев, уже почти снятый «антипартийной группой», был спасен подоспевшими на выручку членами ЦК.)

Обстановка же в Политбюро оставалась неопределенной. Из «узкого круга» его членов, принимавших принципиальные решения в брежневские времена, в живых остался один А.А.Громыко, и поэтому в такой ситуации именно его мнение могло определить в решающий момент исход всей шахматной партии. К нему и потянулись сразу с нескольких сторон нити зондирующих контактов от сторонников Горбачева — Яковлева, Примакова, Крючкова, Лигачева, решивших склонить «Мистера Нет» к тому, чтобы в нужный момент сказал «да» Горбачеву. После того как контакт с помощью сына Анатолия был установлен, вопрос об избрании будущего генсека можно было считать подготовленным для внесения в Политбюро. Оставалось вынести генсека нынешнего — эту миссию доверили природе...

О смерти Константина Устиновича, как и было положено в таких случаях, академик Е.Чазов немедленно доложил второму

лицу в партии — Горбачеву. В этот воскресный вечер 10 марта 1985 года Михаил Сергеевич, как обычно, прогуливался с женой. Переломный момент в их жизни, приближение которого они чувствовали, хотя предпочитали об этом не говорить, наступил. Он распорядился оповестить Политбюро и уехал в Кремль. Собравшиеся в Ореховой комнате Кремля члены советского руководства начали привычно-буднично обсуждать подготовку очередных похорон, хотя мысли всех занимал совсем другой вопрос: как пройдет избрание будущего Генерального? То, что им станет Горбачев, уже было ясно всем, включая и его недавних оппонентов и конкурентов. Для них речь поэтому шла уже не о навязывании дискуссии или о провоцировании политической драки, исход которой все равно был предreshен, а о демонстрации лояльности будущему генсеку и о последних торгах насчет условий, на которых ему будет вручен мандат на правление.

Широко распространенная легенда об «ожесточенной борьбе» на заседании Политбюро, о том, что «все висело на волоске», что его избранию якобы противостояли В.Гришин, Г.Романов, М.Соломенцев, основана на вполне объяснимой заинтересованности голосовавших выдать свой вклад за решающий и тем самым напомнить Горбачеву, кому он обязан своим избранием. Так, со свойственной ему прямоотой поступил Лигачев, предъявив ему вексель, якобы выписанный в марте 1985 года. На XIX партконференции Егор Кузьмич заявил: «Это были тревожные дни. Могли быть абсолютно другие решения. Была такая реальная опасность. Хочу вам сказать, что благодаря твердой позиции членов Политбюро товарищей Чебрикова, Соломенцева, Громько и большой группы первых секретарей обкомов на мартовском Пленуме ЦК было принято единственно правильное решение».

Предвидя, что такие «счета» могут быть предъявлены, Горбачев, не желавший заводить себе «кредиторов», повел дело так, чтобы никто персонально не мог приписать себе главную заслугу в его «производстве в верховные руководители». Этим он обеспечивал себе максимальную свободу рук на будущее — и в том, что касалось неизбежных кадровых решений, и, что еще важнее, — выбора будущего политического курса. В своих ме-

муарах он пишет, что уже тогда, замыслив «пойти далеко» (выражение, позаимствованное у новых друзей — еврокоммунистов), не был заинтересован в вымученном избрании — 50% плюс один голос или что-то в этом роде. «Если избрание не будет отражением общего настроения, мне будет не по силам решать вставшие проблемы», — написал он позднее в мемуарах.

Вот почему он не поторопился принять «из рук» В. Гришина услужливо поднесенное еще 10 марта предложение возглавить комиссию по организации похорон, что по традиции предreshало вопрос о будущем генсеке. Ночь с 10-го на 11-е, которую члены Политбюро и ЦК должны были провести по его совету «в размышлениях», должна была сработать на него и обеспечить на следующий день триумфальное избрание, на которое ему оставалось бы только дать согласие.

Для него самого эта ночь была совсем короткой. Домой из Кремля вернулся около четырех утра. Раиса Максимовна, естественно, не спала. По укоренившейся привычке, они вышли из дома, чтобы быть уверенными, что их не подслушивают. Долго ходили, обсуждая события, подхватившие их как поток, не оставляя места для колебаний. Было ясно одно: прежняя жизнь кончилась. Отступать в любом случае поздно, да это и не в характере обоих. К тому же наступающий день открывал перспективы, привлекавшие их не только блеском успеха, но и уникальной возможностью попытаться сделать что-то из того, о чем они оба мечтали. Проговорили до утра. «Если предложат, отказываться не буду», — резюмировал обсуждение в «семейной партичейке» Михаил Сергеевич.

Ранним утром он был на работе. Конечно, ни сам Михаил Сергеевич, ни его сторонники были не настолько наивны, чтобы довериться одному лишь здравому смыслу и чувству ответственности членов Политбюро, и потому приняли меры предосторожности, о которых и напомнил Егор Кузьмич, выступая на конференции: в его приемной, вдохновляясь сценарием 1957 года, сосредоточился «засадный полк» — группа побоевому настроенных членов ЦК, секретарей обкомов, с которыми он мог в случае надобности связаться. Но прибегать к «запасному варианту» не потребовалось. Встретившись за двадцать минут до начала Политбюро с А. Громыко и предложив ему работать

вместе, в том числе и «на других постах», Горбачев включил рубильник, — цепь замкнулась.

То, что последовало дальше, напомнило описанную Салтыковым-Щедриным сцену смены губернатора в одном из провинциальных российских городов, чиновники которого усердно демонстрировали одновременно дежурную «грусть, связанную с утратой одного любимого начальника, и радость от обретения нового, столь же любимого начальника». Вслед за Громыко, сразу предложившего кандидатуру Горбачева, взяли слово, чтобы отвести от себя подозрения в нелояльности, те, кто до самого последнего момента рассчитывали помешать Горбачеву занять этот пост, — Н.Тихонов и В.Гришин. За ними чередой потянулись остальные.

«Другой кандидатуры у нас просто нет, — резюмировал М.Соломенцев. А когда В.Чебриков сообщил, что чекисты поручили ему назвать кандидатом Горбачева, добавив для убедительности: — «Вы понимаете, что голос чекистов, голос нашего актива, это и голос народа», — дальнейшее обсуждение утратило смысл для всех, кроме тех, кто желал во что бы то ни стало зафиксировать в протоколе свою преданность новому руководителю.

Через час решение Политбюро предстояло «ратифицировать» на Пленуме. С учетом настроений, преобладавших среди его участников, проблем там не предвиделось. Выжидательно-тревожная атмосфера в зале — от «своих стариков» в Политбюро наученные опытом члены ЦК ждали любого сюрприза — сразу сменилась на приподнято-торжественную, как только из-за кулис во главе вереницы членов Политбюро на сцену вышел Горбачев.

В календаре внутривнутрипартийной жизни существовали свои приметы: расстановка начальства на трибуне Мавзолея или на официальной фотографии, порядок рукопожатий при встречах и проходах и, конечно же, очередность выхода членов Президиума во время съездов и пленумов ЦК. В отличие от народных, партийные приметы не подводили. Когда А.Громыко в произнесенной без бумажки и поэтому особенно эмоциональной речи от имени Политбюро предложил Пленуму ЦК избрать Генеральным секретарем Михаила Сергеевича Горбачева, зал разразился овацией.

Ключевым словом для своей тронной речи Горбачев выбрал «динамизм». Разумеется, он произнес все ритуальные формулы в адрес своего предшественника и поклялся выполнять решения последнего съезда и «последующих пленумов» ЦК. Погрозил империалистам и пообещал крепить обороноспособность страны. Единственные новации, которые он себе позволил, — это призыв к «ускорению» социально-экономического прогресса, обещание «усовершенствовать» социалистическую демократию и подчеркнутое упоминание о «развитом социализме», что, впрочем, удовлетворило всех.

«Динамизм» был той программой-минимум, которую ждали не только члены единодушно проголосовавшего ЦК, но и миллионы сограждан за стенами того мраморного склепа, в котором проходил ритуал посвящения в национальные лидеры. Главная ценность этого термина была в том, что каждый мог трактовать его на свой лад. Сам же Горбачев, получивший карт-бланш на управление второй мировой сверхдержавой, вряд ли смог бы тогда расшифровать его содержание.

Для него в этот день закончилась первая и, как выяснилось позднее, далеко не самая сложная часть трудов по реализации жизненной цели. Цели, которую ему еще придется не раз корректировать. Взять крепость кремлевской власти Михаилу II (если первым считать основателя династии Романовых) удалось относительно легко — ради этого ему не пришлось, как Генриху IV изменять своей религии. Это уже позднее он заманется на большее: на Ересь. Пока же по воле судьбы, благодаря точному стратегическому выбору и серии хорошо рассчитанных тактических ходов, он оказался обладателем безраздельной власти в огромной стране и получил возможность существенно влиять на мировую политику. Оставалось решить, как всем этим распорядиться.

Глава 3 ОБЫЧНЫЙ «ЛУДИЛЬЩИК»?

СВИТА КОРОЛЯ

Итак, избрание Короля состоялось. Окружение прокричало привычные здравицы в его честь. Его предшественники были тут же забыты. Предстояло сформировать свиту, без которой, как известно, подлинного короля не бывает. Атмосфера полного и даже радостного единодушия при его избрании была обманчивой, он понимал, что голосование за него многих его коллег по партийному руководству было вынужденным ходом, как это нередко бывает в шахматных партиях.

Горбачев, надо думать, не лукавит, говоря, будто не сожалеет о том, что ретивое окружение Черненко не пропустило его к власти на год раньше. Тогдашний помощник Андропова А. Вольский подтверждает: приехав в больницу к шефу забрать окончательный текст выступления, которое надлежало зачитать от его имени на Пленуме ЦК, он увидел, что Андропов вписал в него своей рукой предложение «поручить на период моего вынужденного отсутствия ведение заседаний Политбюро Михаилу Сергеевичу Горбачеву». Вольский передал текст в секретариат генсека, не забыв, как легко догадаться, проинформировать Горбачева об этой приписке. По его словам, когда Андропов обнаружил, что в оглашенном от его имени тексте эти слова отсутствуют, он позвонил ему из больницы и раздраженным тоном потребовал объяснений. Помощник мог ответить только, что

после передачи текста в руки Черненко, он ничего не знал о его судьбе. (Эту версию оспаривает А. Лукьянов, работавший у Андропова первым замзавом общим отделом, который утверждает, что в его присутствии Юрий Владимирович называл в качестве своего возможного преемника не Горбачева, а Г. Романова, однако его свидетельство, не подтверждаемое другими, можно, по объяснимым причинам, считать пристрастным.)

Горбачев, по словам Вольского, к происшедшему отнесся философски — он явно не торопил события. Решение его противников избрать генсеком Черненко в отчаянной попытке продлить свой служебный век только пошло ему на пользу: «После его смерти избрание Горбачева становилось неотвратимым», — говорит он о себе, как обычно, в третьем лице. Несмотря на свой «несерьезный» возраст, он, как усердный послушник, успел пройти, пусть и в ускоренном темпе, все этапы обязательной партийной карьеры, выдержал тесты и на идеологическую лояльность, и на ритуальное почитание «старших товарищей», и проявил «партийную скромность» в ожидании своей очереди.

Известие об избрании Горбачева генсеком было встречено с одобрением не только в партийном аппарате, заскучавшем в эпоху брежневского маразма по молодой «твердой руке», но и в самых разных слоях советского общества. Поскольку Михаил Сергеевич не излагал заранее никакой программы действий — поначалу она сводилась к фразе «так дальше жить нельзя», — ничто не мешало самым разным людям связывать с ним любые, в том числе взаимоисключающие ожидания.

Понятно, почему его так активно поддержала «пехота» партаппарата — местные секретари: он был для них человеком их круга, еще недавно расхлебывавшим те же проблемы, что и они, и не успевшим превратиться в недостижимого московского небожителя. Кроме того, уже тот факт, что законсервировавшаяся кремлевская элита была вынуждена, пусть нехотя, расступиться и впустить в свою среду человека со стороны, из провинции, вселяло во многих надежду, что циркуляция кадров в склеротической партийной системе возобновится, что новые назначения не будут носить династического характера, и, стало быть, у тех, кто «пашет» на партийном поле, появится шанс на выдвижение. Да и вообще большинство секретарей считало, что по-

что каждый из них, если бы иначе «легла карта», мог оказаться на его месте. И если у кого-то, как, например, у Б.Ельцина, стремительный успех Горбачева вызывал ревность («Почему он, а не я, секретарь более важного промышленного обкома», — как он потом написал в своих мемуарах), то для других его успех был обнадеживающим свидетельством: они стараются не зря. Среднее и низшее звенья аппарата ждали перемен, связанных с приходом молодого и энергичного начальника... Одни — таких было большинство — надеялись попасть в струю неизбежной кадровой революции и воспользоваться открывавшимися вакансиями, другие рассчитывали, что уже само по себе омоложение руководства вернет партии утраченный авторитет в обществе.

Московская партийная знать, наоборот, была встревожена. Приход руководителя «со стороны» означал неминуемую кадровую перетряску и высвобождение мест для новой команды. Не случайно в брежневско-андроповские времена остряки предлагали новую хронологию российской истории: после допетровской и петровской пришли «днепропетровская» и «петрозаводская» эпохи (имелись в виду брежневские и андроповские земляки). С избранием Горбачева ждали наступления «ставропольской» эпохи. Особенно неуютно чувствовали себя приближенные к «телу» прошлого руководителя помощники и аппаратная челядь, привыкшая к размеренному старосветскому или, точнее, старосоветскому укладу жизни с неспешными чаепитиями в буфетах, курсированием с бумагами по цековским коридорам и редкими авралами при подготовке речей для пленумов и съездов.

Зато те, кто представлял собой две другие подпорки государства — армию и КГБ, связывали с его назначением немалые надежды. Армейский командный состав, как подтверждают генералы Генштаба, с восторгом встретил это известие. Армия всегда вожделем авторитетного и решительного верховного главнокомандующего. Считать таковыми Брежнева и Черненко не приходилось. Андропов был известен крутым характером в рамках своей закрытой «фирмы», с которой у военных всегда складывались непростые отношения. Принять шефа КГБ, соперничавшего с армией, за своего начальника им было куда

труднее, чем привычно встать навтыяжку перед партийным лидером. Кроме того, общегосударственный застой, распространившийся и на армию, оказывал на нее, пожалуй, самое разрушительное, демобилизующее воздействие. Приход нового Верховного сулил не только давно назревшую модернизацию, на необходимости которой настаивал начальник Генштаба маршал Н.Огарков и о чем открыто говорили военные профессионалы, но и требовал от самой армии «подтянуться», «сбросить нагулянный генеральский жирок», что, естественно, приветствовал офицерский корпус.

Вполне устраивал он в качестве нового политического патрона и КГБ. Комитетчикам было известно о расположении их бывшего шефа к «самородку из Ставрополя», — так непривычно эмоционально отозвался он однажды о Михаиле Сергеевиче. Надо думать, что своеобразным выполнением этого завещания стало безусловное равнение на Горбачева В.Чебрикова, который внес свой вклад в подготовку решающего заседания Политбюро 11 марта уже тем, что блокировал амбиции В.Гришина, — как утверждают, именно из КГБ к членам ПБ поступила «упреждающая» информация о грандиозных масштабах коррупции в ближайшем окружении московского партийного секретаря.

Как это уже не раз бывало в российской истории, ожидания наиболее современной части бюрократического и даже репрессивного аппарата власти совпали с реформистскими устремлениями и надеждами либеральной интеллигенции. Ее опасливое благоволение к новому партийному лидеру объяснить несложно. Неизбалованная просвещенными или хотя бы элементарно образованными правителями, приученная самовыражаться на кухнях и протестовать в анекдотах, она и восхищалась «первым со времен Ленина» партийным вождем с университетским дипломом, способным без шпаргалки и не путаясь в падежах высказывать здравые мысли, и одновременно побаивалась его. Ведь замена одного старца в Кремле другим, порождая привычное разочарование, одновременно утешала вероятностью его скорого ухода в мир иной. В случае же с молодым и, судя по всему, решительно настроенным правителем надеяться на его скорую замену не приходилось, и оставалось только гадать, окажется ли он царем добрым или «Грозным», при этом мнения в среде

самой интеллигенции, какой из двоих нужнее для страны, как обычно, диаметрально расходились.

Был и еще один круг непосредственно заинтересованных лиц, которые пристально вглядывались в нового советского лидера — зарубежные политики. Если отвлечься от восторгов, высказанных по его адресу Маргарет Тэтчер, увидевшей в нем вполне современного и обаятельного славянина, не лазившего в карман ни за словом, ни за убедительным аргументом, — общая тональность западных прогнозов была настороженно-сдержанной. О Брежнев, над которым еще недавно почти в открытую насмехались, готовы были вспоминать чуть ли не с грустью, потому что от нового лидера, «умного и жесткого», ждали главным образом неприятностей. На Западе к тому же были встревожены загадочной фразой Громыко, представившего его членам ЦК как человека «с широкой улыбкой и со стальными зубами» (именно так переводчики перевели на английский язык русскую «железную хватку»). После этого логично было ждать, что он начнет действовать скорее всего в духе Андропова — укреплять дисциплину, пытаясь поднять эффективность окостеневшей системы, и т.п.

Американская пресса к тому же с тревогой обнаружила, что у Советов появился лидер, способный бросить вызов Рональду Рейгану в той сфере, где он считал себя непревзойденным профессионалом: ампула публичного политика. «Великий коммуникатор» — так привычно называли бывшего актера — впервые встретил реального соперника, и соревнование обещало стать захватывающим. Конечно, в чисто актерском мастерстве Михаил, с удовольствием игравший на школьной сцене в Привольном, уступал звезде Голливуда, но по темпераменту явно его превосходил. С первых дней появления в СССР руководителя советники Рейгана начали предупреждать, что время его монопольного контроля над западной прессой заканчивается. «Уже в ближайшие недели, — писал в марте 85-го “Ньюсуик”, — от Горбачева можно ждать “мирного наступления”».

Американцы понимали, что это не обычная смена «караула», а куда более значительное событие: к власти в Москве пришел не просто чиновник неизвестной им «формации», на 20 лет моложе их президента, — пришло новое поколение советских по-

литиков, и предстоит неизбежное выяснение отношений. «Рейган не любит советских и не доверяет им, — заявлял один из ближайших консультантов американского президента, — однако за прошедшие четыре года он осознал, что ему так или иначе придется иметь с ними дело». К возобновлению советско-американского диалога на высшем уровне подталкивала Рейгана и его жена Нэнси, озабоченная тем, что ее муж может уйти в историю, не оставив после себя каких-либо значительных достижений во внешней политике.

В ожидании нового раунда «матча века», в котором на ринг с советской стороны готовился выйти неведомый Западу соперник, политические астрологи раскладывали свои пасьянсы в попытке «вычислить» Горбачева. Как обычно в таких случаях, в равной степени убедительно выглядели самые разные и даже взаимоисключающие сценарии, так что «заказчики» могли выбрать, как в магазине, любой, на свой вкус. Но общий настрой был ясен: «Советам не нужен демократ в духе Кеннеди, — писал в эти мартовские дни Дмитрий Саймс, бывший сотрудник ИМЭМО, ставший вашингтонским политологом. — Они хотят решительного и сурового вождя». «Горбачев избран нынешним Политбюро не для того, чтобы либерализовать советский коммунизм, а чтобы заставить старую систему работать эффективнее и выжать новые жертвы из населения», — подтверждал его выкладки «Тайм».

Понятно, что Запад прежде всего интриговали отношения генсека с военными. «Горбачев опирается на партию и КГБ, — рассуждал писатель Георгий Владимов, вынужденный в свое время переселиться в Западную Германию. — Сейчас он стоит на двух ногах, а ему нужна третья — армия. Для нее он — пока что ноль. Значит, он будет заигрывать с генералитетом и всячески задабривать его».

К такому же выводу склонялись и профессиональные политики. «Военные занимают настолько влиятельные позиции в советской системе, что независимо от пожеланий Горбачева немислимо, чтобы он осмелился бросить им вызов», — считал лидер британских социал-демократов Дэвид Оуэн.

Немногого ждали от Горбачева и эксперты по советской внутренней политике и экономике. «Он не революционер, —

объяснял Эд Хьюит из Бруклинского института в Вашингтоне, впоследствии главный экономический советник Джорджа Буша по Советскому Союзу. — Конечно, он заинтересован в усовершенствовании системы, однако ничто ни в его речах, ни в его поступках не позволяет предположить, что он нечто большее, чем обычный лудильщик. Он не изменит систему в главном». Другие советологи шли в мрачных прогнозах еще дальше: так, ссылаясь на содержащийся в его речи на декабрьском совещании в Москве призыв возродить «стахановские традиции» 30-х годов, предрекали, что, выполняя заветы Андропова, молодой генсек обрушится на нерадивых и сделает еще более невыносимой жизнь диссидентов.

Общий итог вполне логичных рассуждений профессионалов-советологов был неутешителен: «Горбачев не займется строительством сияющего нового мира, а будет латать существующий старый, невзирая на всю его архаичность. Он не сможет предложить стране никаких революционных перемен хотя бы уже потому, что действующая система построена так, чтобы отвергнуть их с порога».

В эту достаточно тусклую картину, которую рисовали специалисты, съевшие зубы на изучении советской системы, случайными блестками вкрапливались «диссидентские» ремарки тех, кто усматривал в облике нового лидера нетипичные черты. Чаще всего они сводились к напоминанию о его возрасте, университетском образовании и о том, что у него умная и элегантная жена по имени Раиса. Пожалуй, только профессор Арчи Браун продолжал в своих выступлениях связывать с ним перспективу принципиальных перемен в Системе. Вспомним, именно его прошлый прогноз со всей категоричностью подтвердила Маргарет Тэтчер. Еще один англичанин-лейборист, расхвалившийся с премьером-консерватором во всех вопросах, кроме оценки Горбачева, написал в марте 1985 года: «Я провел в общей сложности 8 часов в общении и разговорах с этим человеком во время его декабрьского визита в Лондон. Он представляет собой принципиально другого персонажа, чем все его предшественники, и отличается от них не только возрастом. Горбачев — человек исключительного обаяния, с хорошим чувством юмора (*редкая оценка в устах англичанина*). Глав-

ный вопрос, возникавший у всех, кто встречался с ним в Великобритании: как такой приветливый и по-настоящему человеческий политик мог оказаться в руководстве советского государства... Похоже, он является рупором тех далеко смотрящих вперед и расположенных к реформам людей внутри советской системы, которые занимают средние этажи партийного и государственного аппарата. Логично предположить, что устремленные в прошлое силы в этой же системе должны стремиться к тому, чтобы если не сместить его немедленно, то во всяком случае сорвать задуманные им реформы». Эти провидческие слова принадлежат Д. Хили, бывшему министру обороны и министру финансов британского лейбористского правительства.

В это время все будущие противники Горбачева — кто с показным, а кто и с искренним энтузиазмом — еще голосовали за нового лидера. Сам же он весьма туманно представлял направление и масштаб тех самых реформ, которые несколько лет спустя расколют на непримиримые лагеря единую коалицию, приведшую его к власти и заверявшую в готовности без оглядки следовать за ним.

Первым и естественным шагом после избрания генсека было формирование им своей команды, точнее, сразу трех. Одну составляло новое большинство в Политбюро. Поскольку, по крайней мере в первое время, ему предстояло играть по установленным правилам, имитируя святое соблюдение принципов «коллективного руководства», оставалось одно: как можно скорее изменить внутренний баланс сил в Политбюро. Этот высший орган власти в стране благословил его на царство, но, обладая всеми полномочиями, мог и сместить, вздумай тот открыто пойти против воли большинства.

Сам он, надо думать, не заблуждался насчет кажущегося всемогущества генсека: наблюдая за своими предшественниками, имевшими куда более основательную столичную опору, Михаил Сергеевич набирался опыта внутриаппаратных маневров и стратегических союзов. Ему было ясно, что многие из голосовавших за него членов ЦК рассчитывали получить хоть какие-то дивиденды на внесенный «пай».

В этой ситуации он просто был обязан задать себе главный вопрос: на кого опереться? Первые же кадровые решения генсека показали, что он прошел хорошую «партишколу».

Уже на Пленуме ЦК в апреле 85-го Горбачев начал менять соотношение сил в Политбюро, вводя в его состав своих соратников. Первыми были вознаграждены за вклад «в операцию по избранию» Е. Лигачев, Н. Рыжков и В. Чебриков, ставшие новыми членами ПБ. На следующем, июльском Пленуме пришла очередь удалений: партийный Олимп покинул Г. Романов, поплатившись за то, что дал повод считать себя альтернативой Горбачеву. На свою беду, он также представлял новое поколение членов Политбюро и к тому же был выходцем из второй столицы — Ленинграда, а не из провинциального Ставрополя. Плюс (или минус) ко всему был призван в Москву при Ю. Андропове, а значит, мог в глазах многих выглядеть не менее законным «наследным принцем».

Политически деликатную ситуацию помогла разрядить бытовая деталь: у Романова было «уязвимое место»: он крепко выпивал. В условиях набиравшей обороты антиалкогольной кампании, не входя в излишние церемонии, генсек дал понять, что для них двоих места в Политбюро нет. Григорий Васильевич, по словам Горбачева, «всплакнув», смирился с проигрышем.

Вторым, покинувшим влиятельный пост в руководстве, на этот раз не ценой изгнания, а повышения, стал А. Громыко. Добросовестно выполнив свою часть договоренности, он имел полное право рассчитывать на вознаграждение за своевременно сделанный выбор. Михаил Сергеевич в своих мемуарах отрицает какое-либо секретное соглашение между ними, хотя и признает, что «задним числом» узнал о некоей договоренности за его спиной между младшим Громыко, Яковлевым и Крючковым. Эта полюбившаяся ему формула «узнал задним числом» впоследствии не раз выручала (и подводила) его в деликатных ситуациях. Как бы ни выглядел на деле «пакт Громыко—Горбачев», все его положения были добросовестно выполнены.

В начале июля избранный на вакантную после смерти К. Черненко должность Председателя Президиума Верховного Совета Андрей Андреевич стал номинальным главой государства. На его стремление продолжать курировать МИД, теперь уже из

Кремля, генсек недвусмысленно поставил «ограничители». Сам Громыко рассчитывал сделать главой министерства близкого ему по взглядам первого зам. министра Г.Корниенко, хорошо ладившего с военными. Привыкший еще с брежневских времен быть полным хозяином в своей епархии, он даже успел поздравить Корниенко с предстоящим назначением. И тут-то Михаил Сергеевич впервые показал свои разрекламированные тем же Андреем Андреевичем «стальные зубы». Он поразил всех, предложив ему на замену не профессионального дипломата, поскольку-де в этой категории достойного преемника Громыко все равно не найти, а «видную политическую фигуру» — Эдуарда Шеварднадзе.

Объясняя в мемуарах столь неожиданный выбор (многие отводили в своих прогнозах руководителю грузинских коммунистов как максимум должность секретаря ЦК по сельскому хозяйству), Горбачев приводит два аргумента. Во-первых, доверительные дружеские отношения, сложившиеся у него с Эдуардом за годы их общей комсомольской, а потом и партийной жизни, которые позволяли им «говорить откровенно практически обо всем». Во-вторых, он считал, что именно Шеварднадзе, как человек, «наделенный восточной обходительностью», сможет справиться с новыми задачами, которые он собирался поставить перед советской внешней политикой. О третьей причине Горбачев умалчивал, но она подразумевалась: ему нужен был на этом посту не только антипод «Мистеру Нет», но и человек, не связанный с ним в прошлом ни профессиональными, ни личными отношениями, а тем более обязательствами, и потому способный противостоять его очевидному желанию и дальше руководить МИДом.

Услышав имя предполагаемого преемника, даже Громыко, привыкший за десятилетия политической карьеры ко всяким неожиданностям, не сразу нашелся, что сказать. Лишь после продолжительной паузы рефлекс чиновно-партийного послушания, позволивший ему благополучно пережить превратности сталинской, хрущевской и брежневской эпох, подсказал безупречный по дипломатической округлости ответ: «Я не против, так как полагаю, Михаил Сергеевич, что вы все обдумали». Большого генсеку и не требовалось. Позвонив в Тбилиси, он огорошил Шеварднадзе своим предложением, но быстро сло-

мил его защитные редуты броневой аргументом: «Громыко поддерживает».

Другими членами нового «горбачевского большинства» в партийном руководстве стали, правда, не в ранге членов Политбюро, а секретарей ЦК, ленинградец Лев Зайков, который должен заменить Григория Романова, и свердловчанин Борис Ельцин, чья звезда при активном протезировании Егора Кузьмича начала восходить на московском политическом горизонте. Лигачев «открыл» Ельцина, когда объезжал провинциальные обкомы в поисках столь же решительных, как он сам, «хунвэйбинов», которые могли бы пригодиться в той очистительной «культурной революции», которую предстояло провести внутри партийного аппарата. Тогда Борис Николаевич приглянулся Егору Кузьмичу, надо думать, теми же чертами, которые отличали его самого: человека административного склада, жесткого, скорого на подъем и на расправу с нерадивыми или неугодными, способного, как любил говорить про себя Лигачев, «так крутануть маховик дела, чтобы людям добрым стало хорошо, а чертям жарко». По его рекомендации Б.Ельцина перевели в Москву на должность заведующего Отделом строительства ЦК, а в июле 1985 года Горбачев, исподволь подбиравший замену В.Гришину, произвел его в секретари ЦК, хотя другой свердловчанин Н.Рыжков его от этого отговаривал. В декабре Борис Николаевич возглавил Московский горком, усилив, как считалось тогда, лагерь «деятельных, решительных, отзывчивых ко всему новому» союзников генсека.

С отстранением Гришина и избавлением от последнего крупного осколка брежневского прошлого — премьер-министра Н.Тихонова, которого осенью 85-го сменил Н.Рыжков, Михаил Сергеевич заполучил «контрольный пакет акций» в Политбюро и мог уже в предстоящий трудный период начала реформ не опасаться коварных выпадов со стороны «старших товарищей».

Во втором эшелоне на ключевые посты заведующих Отделом пропаганды и Общим отделом ЦК были назначены Александр Яковлев и Анатолий Лукьянов. С последним Горбачева связывали воспоминания о теперь уже далекой студенческой молодости — с разрывом в два года они учились на юридическом факультете МГУ — и хотя в те годы практически не были

знакомы, общая alma mater предполагала и некоторое духовное родство. С Яковлевым его познакомил Валерий Болдин, отрекомендовав тогдашнего посла в Канаде как «интересного человека». В ходе их первого общения родилась идея поездки Горбачева в Канаду для «изучения постановки дела в сельском хозяйстве». После того как уже в Торонто Александр Николаевич за ночь переписал текст привезенного из Москвы «твердолобого» выступления, переложив его для западной аудитории, он надолго вошел в число ближайших горбачевских соратников и спичрайтеров. Если говорить о «мыслительном штабе Горбачева», то в него входили: бессменный помощник Валерий Болдин, как тень сопровождавший шефа со времени его избрания секретарем ЦК, Вадим Медведев, чьи экономические идеи и научный авторитет привлекли внимание Михаила Сергеевича, еще когда тот возглавлял Академию общественных наук. Годом спустя эту обойму единомышленников пополнили выходцы из Международных отделов ЦК Анатолий Черняев и Георгий Шахназаров.

Московские интеллигенты, постаревшие «дети Арбата», прошедшие, как и А.Яковлев, войну, пережившие и годы ждановского интеллектуального террора, и распутицу хрущевской оттепели, и заморозки «реального социализма»; они увидели в Горбачеве последний шанс на воплощение своей мечты о воссоединении социализма с демократией, а России — с остальным миром. Несмотря на уже солидный возраст, они сохраняли не растраченную пылкость «шестидесятников», не дождавшихся исполнения своих надежд, и, когда нетерпеливо подталкивали Горбачева в сторону радикализма, трудно было определить, вызвано ли это его действительной нерешительностью или их опасениями, что долгожданная демократическая Реформа опять откатится назад и им не придется при жизни увидеть ее результаты. Иногда, чтобы сдержать своих «радикалов» и остудить горячие головы фронтовиков, Михаил Сергеевич приглашал на подмогу еще одного ветерана — В.Чебрикова, приземлявшего «высокие дебаты», внося в них нередко недостававший, по мнению Горбачева, «здравый смысл и необходимую осторожность».

Довольно часто к дискуссиям в узком кругу присоединялась Раиса. То, что поначалу даже близкому окружению Горбачева

казалось непривычным — стремление жены генсека «встревать» в мужские дела и на равных с другими обсуждать вопросы высокой политики, — было для нее, как и для Михаила, совершенно естественным. Для их отношений странным было бы как раз другое: если бы она, удовлетворившись карьерным успехом мужа, просто удалилась «на женскую половину». После долгих прожитых лет, когда супруги ежедневно обсуждали все — от новых книг до его служебных проблем, — он не собирался отлучать жену от своей новой политической жизни из-за каких-то условностей. Более того, до него долго просто «не доходило», что не только в аппарате, не привыкшем к тому, чтобы интересы супруги Генерального секретаря выходили за рамки спецснабжения и лечения, но и в обществе могут накапливаться претензии к излишне заметной роли, которую начала играть «первая партледи». Когда один из их университетских друзей — радиожурналист Михаил Голованов — на правах старого приятеля во время поездки генсека по тюменским нефтепромыслам сказал ему: «Послушай, Миша, ты бы сказал Рае, чтобы она не слишком лезла за тобой под телекамеры на все эти скважины и стройки, там ведь и придавить может», то нарвался на неожиданно резкий ответ и понял, что «заехал не туда».

Конечно, участие Раисы Максимовны в политических дебатах в кругу советников мужа создавало дополнительные психологические нагрузки. Присутствие женщины не только ограничивало мужчин в свободе традиционного русского самовыражения, но и добавляло в классическую служебную ситуацию элемент двусмысленности: если всем было понятно, что в любом политическом и теоретическом диспуте последнее слово оставалось за «заказчиком» и свои даже принципиальные возражения надо в какой-то момент убирать в карман, то не ясно было, как реагировать на аргументы Раисы, высказывавшейся, кстати, во многих случаях весьма по делу. Г.Шахназаров даже жалеет, что по ряду важных вопросов Горбачев «недостаточно прислушивался к мнению и советам своей жены».

Так, вопреки расхожему мнению, что именно Раиса подталкивала Горбачева к введению «сухого закона», по свидетельству Болдина, она с самого начала была активной противницей экстремистского варианта антиалкогольной кампании, считая «не-

сусветной глупостью запрещать человеку выпить бутылку вина». (От жестких партийных санкций за такого рода крамольные речи, введенных Лигачевым, ее надежно защищало положение жены генсека.)

Случалось, что Раису, профессионального преподавателя, нередко входившую в раж принципиальных споров, было невозможно переубедить. В такие моменты советники генсека переглядывались, мялись и «страдали», считая, что время тратится впустую. Тогда в дело вступал сам Горбачев и обычно, мягко взяв жену за руку, прекращал дискуссию. «Иногда, отвернувшись от нее, даже заговорщицки подмигивал мужикам, не делая при этом ей уступок в принципиальных вопросах».

И Яковлев, и Болдин каждый на свой манер вспоминают прямо-таки сюрреалистическую картину: приехав по вызову Горбачева в январе 1986 года, в канун XXVII съезда КПСС, в Пицунду, они, усевшись вчетвером в продуваемой зимним ветром беседке на берегу моря и чуть ли не с головой укрывшись пледами, часами фраза за фразой перечитывали проект отчетного доклада ЦК. Поправок к тексту за несколько дней редактирования, в том числе и предложенных Раисой Максимовной, набралось, по словам В.Болдина, раза в три больше первоначального варианта доклада.

Кроме обеспеченного большинства в Политбюро (о политическом балансе сил на пленумах ЦК Горбачеву еще не пришлось беспокоиться) и группы единомышленников, составивших его рабочую команду, была еще одна интеллектуально-культурная часть его окружения — люди, чьим мнением он, а еще в большей степени Раиса Максимовна дорожили и чье расположение стремились завоевать. Это была пестрая смесь из «номенклатурной интеллигенции» — директоров научных институтов, главных редакторов газет и руководителей творческих союзов, обозревателей газет и телекомментаторов, пользовавшихся расположением ЦК, — и авторитетных ученых, писателей, режиссеров и актеров.

Влечение царей к поэтам, на которое поэты нередко отвечали взаимностью, хорошо известно в российской истории и воспето в литературе. «Царей» — от Екатерины и Николая I до Сталина

и Хрущева — всегда тянуло покровительствовать творцам или, наоборот, цензурировать и распекать их. В одних случаях это было понятное желание услышать из их уст оды или гимны в свою честь, в других — желание приписать музы к своему двору, придав тем самым ему интеллектуальный блеск, а заодно и подстраховаться, чтобы необласканные «инженеры человеческих душ» не перекочевали в лагерь фрондеров и диссидентов, — тогда шефство над ними приходилось передавать «охранке» или КГБ.

В позднесоветские времена интеллигенцию подталкивали благодарно откликнуться на «отеческую заботу» партии и «лично» очередного вождя не только страх, привитый сталинской эпохой, но и непреодолимая, то ли генетическая, то ли благоприобретенная, внутренняя потребность быть у начальника на виду, не говоря уже о многократно описанном синдроме зачарованности придворных интеллигентов любым Правителем, и в особенности Тираном.

Отношения с Горбачевым в эту привычную схему не укладывались. Страх он не нагонял, тираном точно не был и привлекал и подкупал поначалу интеллектуалов, не избалованных строгой советской системой, уже хотя бы по контрасту с предшественниками своим обликом и, конечно, поступками: поощрением гласности и освобождением А.Сахарова. Дольше всех сопротивлялись его обаянию те, кто на собственной искореженной судьбе испытали тяжелую руку тоталитарного режима и были вынуждены эмигрировать или оказались высланными. К их понятному недоверию к доселе невиданному природному явлению — генсеку-демократу — примешивалась и ревность, а то и раздражение из-за того, что режим, который они не уставали обличать, утверждая, что он по определению неререформируем и годится только на слом, неожиданно для всего мира, включая их самих, произвел на свет нечто непредвиденное. Желая предостеречь легковверный Запад, чтобы не попался на удочку Перестройки, и доказать, будто за ее обманчивым фасадом скрываются все те же большевики, неспособные измениться, группа живущих за границей советских диссидентов опубликовала во французской газете «Фигаро» открытое письмо к Горбачеву, потребовав доказательств его истинной приверженности демокра-

тии. Одним из главных тестов, заведомо, как они считали, невыполнимым, стало требование опубликовать их письмо в советской печати. После долгих препирательств в Политбюро текст письма появился сразу в двух популярных тогда изданиях — «Московских новостях» и «Огоньке». Скептики были посрамлены. Ну, а то, что публикация состоялась, как и положено, в соответствии с решением партийного ареопага, и с комментариями к письму редакторы приходили в ЦК «советоваться», об этом читателю в конце концов знать было необязательно...

Завоевать расположение московской интеллектуальной элиты Михаилу Сергеевичу было, по понятным причинам, много проще, чем зарубежным скептикам. Поставленная режимом в положение респектабельной обслуги, интеллигенция была приучена демонстрировать власти не только лояльность и преданность, но и пылкую любовь. Разумеется, у вернувшихся в Москву из ставропольского затворничества Михаила и Раисы было естественное стремление утолить накопившийся культурный голод. В Ставрополе они наизусть знали тощий репертуар местных театров и, бывало, по нескольку раз смотрели одну и ту же пьесу в Театре им. Лермонтова. К этой вполне естественной тяге вчерашних провинциалов к столичной культурной жизни и понятному стремлению познакомиться с московскими знаменитостями после избрания Горбачева генсеком добавились чисто деловые соображения: ему нужны были профессиональные советники во всех областях жизнедеятельности страны, которую он возглавил. К тому же перед учеными авторитетами и академическими званиями и он, и Раиса преклонялись еще с университетских времен.

Привлекать академические институты к составлению записок и рекомендаций для докладов и пленумов на совещаниях в ЦК и заслушивать их директоров, когда у высокого партийного начальства находилось для этого время, издавна считалось «хорошим тоном» в партийном аппарате. Это создавало, главным образом в сознании самих руководителей, иллюзию разрекламированного соединения реального социализма с достижениями научно-технического прогресса. Горбачев впервые перешел от листания посылаемых в ЦК справок к работе вплотную с не-

посредственными носителями свежих мыслей и идей. Его, пусть и заочное, общение с академиками началось с первых лет секретарства. В сентябре 1982 года по инициативе Горбачева было созвано большое совещание, где с резкой критической оценкой состояния дел в сельском хозяйстве выступила приехавшая из Новосибирского Академгородка Татьяна Заславская. Как раз в это время группа социологов и экономистов, руководимая ею и Абелом Аганбегяном, работала над крамольным «Новосибирским докладом» о положении дел в советской экономике. Когда выступала Заславская, к ее большому разочарованию, Горбачев отлучился из зала, но, как ей потом рассказал вице-президент Академии наук Юрий Овчинников, после совещания затребовал текст ее речи и внимательно его прочитал.

Стовосьмидесятистраничный «Новосибирский доклад», подготовленный в начале 1983 года, с грифом «Для служебного пользования» был разослан ограниченному кругу лиц, а в апреле того же года обсуждался на закрытом семинаре в Академгородке. Вскоре обширные выдержки из него опубликовала «Вашингтон пост» и сразу после этого, по словам Татьяны Ивановны Заславской, все экземпляры были конфискованы КГБ, «обшарившим весь институт». Не нашли только две копии, которые через американского журналиста Душко Додера ушли за рубеж. Известный социолог была уверена, что генсек прочитал доклад, поскольку в дальнейшем в своих выступлениях несколько раз фактически его цитировал.

Когда Андропов поручил секретарю ЦК по селу заниматься и экономикой в целом, тот стал регулярно встречаться с А. Аганбегяном, Л. Абалкиным, О. Богомоловым. Вынужденный переключиться с чисто экономических проблем на вопросы научно-технического прогресса, Михаил Сергеевич сблизился с Е. Велиховым и Р. Сагдеевым, которые ввели его в мир компьютеров, новых технологий и космических исследований. Как раз в это время комиссия ученых и военных специалистов, возглавляемая Велиховым, работала над оценкой реальности угрозы для СССР объявленной Р. Рейганом программы «звездных войн».

Ученые Академии наук (Н. Моисеев, Б. Раушенбах, С. Шаталин, Г. Арбатов, Н. Шмелев, Н. Петраков) постепенно составили тот неофициальный «мозговой центр», который начал формиро-

вать вокруг себя генсек, стремившийся выйти за рамки справок, прилизанных референтами отделов ЦК, и опереться на независимые суждения компетентных и современно мыслящих людей. Из их числа был составлен передвижной интеллектуальный штаб политических и научных экспертов, сопровождавших Михаила Сергеевича в зарубежных поездках.

Кроме его консультирования во время саммитов с Рейганом в Женеве и Рейкьявике, где из-за «звездных войн» переговоры не раз заходили в тупик, участники этих «десантов» выполняли и роль агитбригад. В свиту для зарубежных визитов помимо ученых-международников и военных приглашались тогдашние «прорабы перестройки» — писатели, журналисты, артисты, режиссеры, депутаты, прошедшие через стихию новых выборов. Днем, пока Михаил и Раиса отработывали официальную программу и протокольные мероприятия, они занимались «пиаром» перестройки: проводили диспуты в пресс-центрах, давали интервью, «шли в народ», подкрепляя своими выступлениями позиции нового советского лидера.

Расчет оказался точен: само многоголосье его сопровождения, непривычные раскованные суждения экспертов о происходящем в их стране и споры между ними доносили до зарубежных наблюдателей накал страстей, разбуженных перестройкой, и помогали Горбачеву опровергать утверждения скептиков на Западе, что затеянная им реформа — не что иное, как косметический ремонт старой системы или просто гигантская пропагандистская акция по одурачиванию зарубежья.

Однако главные дебаты о перестройке во время этих поездок проходили не днем и не на глазах у западных журналистов, а вечером и затягивались далеко за полночь. Именно тогда, отработав официальную часть и попрощавшись с хозяевами — президентами, канцлерами и королями, — чета Горбачевых собирала приглашенных для разговора по душам за чашкой чая. Именно эти часы, проведенные с теми, кого они привыкли считать цветом интеллигенции, чьи книги, статьи и спектакли они читали и смотрели, значили для них гораздо больше, чем протокольные почести официальных приемов. Конечно, воспитанные в почтении к партийной власти и благодарные за приглашение в президентский кортеж, мастера советской культуры были крас-

норечивы и, скорее всего, искренни в пылких комплиментах инициатору перестройки и щедры в прогнозах ее неперменного и скорого успеха.

Постепенно, однако, тональность чаепитий менялась. Накапливающиеся дома проблемы нарушали прежнее единодушие, споры приобретали ожесточенный характер, разводя присутствующих по соперничающим лагерям, и Горбачеву приходилось пускать в ход все свое дипломатическое искусство, чтобы вечер закончился на оптимистической ноте. Но для него эти чаепития в кругу собеседников, разделявших его надежды и желавших ему успеха, были не только продолжением повседневной просветительской работы по укреплению духа своих соратников, здесь он отдыхал от московских стрессов, от тех звонков, проблем и неблизких ему людей, которых навязывала ему усложнявшаяся и все больше тяготившая его советская реальность.

Раиса Максимовна ценила вечерние застолья еще больше. На 2—3 дня визита она превращалась в хозяйку политического салона и обретала во временном, кочевом, заграничном доме, быть может, напоминавшем передвижные вагончики ее детства, то, чего не могла позволить себе в своем собственном: возможность пригласить гостей по своему усмотрению и прилюдно высказать свое мнение.

Кроме того, «на выезде» ее не сдерживали протокольные и обывательские условности Москвы, и не было нужды прятаться в тень мужа. Она могла наконец поделиться с другими, а не только с супругом своими сомнениями. Придавая особое значение этим раутам интенсивного интеллектуального общения, Раиса начинала готовиться к ним загодя, усложняя жизнь «международному помощнику» Анатолию Черняеву и референту генсека Виталию Гусенкову, командируемому на период поездок под ее начало, когда с присущей ей обстоятельностью включалась в составление списка приглашаемых советских знаменитостей.

Считая участие в поездках мужа своей частью их общей работы, она и кандидатов в эти списки стремилась подобрать не только исходя из собственных симпатий, а и общественной значимости каждой такой фигуры, искренне веря, что сможет добиться от своего гостя активного вклада в общее дело. Утвер-

див список гостей у мужа, Раиса принималась за «домашнее задание». Подобно тому, как она тщательно штудировала подготовленные для нее в МИДе и отделах ЦК справки об истории, культуре и политике страны, куда она направлялась с мужем, Раиса готовилась и к своим вечерним чаепитиям — перечитывала книги приглашенных писателей, запоминала названия фильмов и спектаклей режиссеров.

В 1985—1991 годы через семейные зарубежные посиделки у Горбачевых прошли десятки разных людей из интеллектуальной элиты первых лет перестройки. Среди них такие серьезно расхोдившиеся уже в то время в идейных позициях, как Г.Бакланов и Ю.Белов, Д.Гранин и И.Друцэ, М.Захаров и М.Шатров, В.Быков и Б.Можаев. Были и журналисты — от Е.Яковлева и В.Коротича до В.Чикина и И.Лаптева, и священники. Как бы странно и даже неправдоподобно ни выглядел сегодня такой «интеллектуальный альянс», но в ту пору они охотно принимали предложение Горбачева играть в его грандиозном политическом спектакле, еще не ведая, что он скоро превратится в эпическую народную драму.

Для их тогдашнего единения вокруг Горбачева было и свое оправдание. Почти единодушная поддержка политической и интеллектуальной элитой страны идеи назревшей Реформы опиралась на накопившееся нетерпение общества и на подлинную эйфорию надежд, пробужденных в нем перестройкой. Эмоциональный порыв миллионов ее тогдашних сторонников, вряд ли способных внятно сформулировать связанные с ней ожидания, пришел на смену мифическому «единению партии и народа», которое годами вымучивала пропаганда. В первые годы перестройки ее автор по своей популярности в стране занимал, согласно опросам, стабильно первое место, лишь изредка пропуская вперед Петра I и В.И.Ленина. Став вровень с этими, в сущности, мифологическими персонажами, он так высоко поднял планку общественных ожиданий страны, истосковавшейся и по очередному мифу, и по достойному лидеру, что предотвратить неизбежное разочарование и послепраздничное похмелье могло только чудо.

Надо заметить, что и сам он на «разгонном» этапе своего проекта, который А.Яковлев назвал «серебряным веком пере-

стройки», был больше расположен к командной игре, внимательно и заинтересованно слушал своих советников и собеседников, меньше говорил сам, давая возможность высказаться другим, «не считал, что уже все знает». И окружавшая тогда короля политическая и интеллектуальная свита готова была служить не столько ему лично, сколько совместному проекту, который, как казалось многим, останется их общим делом еще на долгие годы. Это заблуждение должно было неизбежно развеяться, как только неясный и потому устраивавший всех замысел перестройки начал переходить от стадии призывов и заклинаний к практическому воплощению.

«МЫ ХОТИМ ПЕРЕМЕН!»

Тот, кто первым сказал: «Прошлое России непредсказуемо», наверное, считал, что придумал удачный парадоксальный афоризм. Он ошибался. Речь шла всего лишь о фиксации реальности. Ответ на вопрос «Надо ли было начинать перестройку?» зависит от времени, когда он задан. В 2000 году, по опросам ВЦИОМ, 70 процентов россиян считали, что не надо. В 1995-м 40 процентов еще были «за». В 1986-м реформы в стране поддерживали не менее 80 процентов населения. Горбачеву ответ на этот вопрос требовалось дать в 1985-м. Собственно говоря, ради реформы его и выбрали. Появление на советской сцене, на экранах телевизоров молодого, образованного, «живого лидера» после десятилетий, проведенных страной как будто в доме престарелых, вызвало в обществе, уже, казалось бы, разуверившемся во всем, подлинный взрыв новых надежд. В ЦК на имя Михаила Сергеевича шли приветственные телеграммы и пожелания успехов. Некоторые особенно восторженные граждане присылали стихи.

Конечно, от нового национального лидера, стремительно превращавшегося в кумира, миллионы людей ждали чего-то, сами точно не зная чего. Одни — больше порядка, другие — меньше лицемерия и госвранья, третьи — новых людей и начала какого-то движения. Но почти все хотели избавиться от чувства стыда за облик и уровень высших советских руководителей и ждали Перемены Участи. От Горбачева требовалось перевес-

ти эти обращенные к нему невнятные, но настойчивые сигналы целой страны на язык политических решений и поступков.

Еще несколько дней назад он и Раиса, прогуливаясь глухой подмосковной ночью по дорожкам своей дачи, почти шепотом уверяли друг друга, что необходимо что-то менять. Об этом же, как Герцен с Огаревым, то есть максимум по двое, чтобы не заподозрили в создании тайного общества или антипартийной группы, поочередно толковал Горбачев то с Яковлевым, то с Шеварднадзе. А тут как плотину прорвало. «Мы хотим перемен!» пели вместе с Виктором Цоем переполненные молодежью стадионы. «Так дальше жить нельзя», как будто скандировали, аплодируя стоя новому генсеку члены ЦК, в числе которых почти все будущие гэкачеписты. «Так» нельзя, а как нужно?

Теорию перехода от капитализма к социализму классики марксизма-ленинизма разработали до мельчайших подробностей. Как двигаться в обратном направлении, никто не знал. О теории выхода из «развитого социализма», не говоря уже о переходе от социализма к капитализму, создатели научного коммунизма не позаботились. Мосты давно обрушены, корабли сожжены, карты выброшены, помнившие дорогу репрессированы. До Горбачева о том, как скорректировать политический курс страны, боясь угодить в исторический тупик, начали было на уровне самых общих идей размышлять два ее руководителя: В.И. Ленин и Ю.В. Андропов. И тот и другой перед самой смертью оставили полузашифрованные послания своим преемникам, свидетельствовавшие о том, что они сознают масштабы кризиса, за который в огромной степени сами несут ответственность. Но, может быть, именно поэтому ни тот ни другой не были готовы в этом признаться и предлагали, естественно, идти не назад, а вперед к «истинному» социализму. Но и это в условиях торжества сталинской (или неосталинистской) версии социализма могло восприниматься как опасная ересь или почти как враждебные проiski.

Не случайно в одном из анекдотов эпохи «развитого социализма» рассказывалось о диссиденте, которого осудили за антисоветскую пропаганду из-за того, что раздавал прохожим на Красной площади чистые листы бумаги. На вопрос, почему на них ничего не было написано, следовал логичный ответ: «А чего писать, все и так всё знают».

Одним из полузабытых курьезов позднережневской (а отнюдь не сталинской) эпохи было негласное табу на переиздание или на «несанкционированное» цитирование позднего Ильича. Его последние продиктованные работы одно время даже держались под замком в спецхранах, а внутривластные диссиденты из числа брежневских спичрайтеров подбрасывали «крамольные» ленинские цитаты в официальные речи почти как подпольные прокламации. Идеализированный Ленин использовался глубоко законспирированными партийными демократами прежде всего как инструмент сопротивления реставрации сталинизма.

До своего избрания генсеком Горбачев разработкой теории перестройки социализма, по понятным причинам, не занимался. Ставрополь — не Цюрих, а должность первого секретаря крайкома партии — все что угодно, только не статус политэмигранта. Другое дело, что он старался, как мог, «построить истинный социализм в одном, отдельно взятом Ставропольском крае» (формула А. Черняева). Понятно, что в этом своем дерзновенном начинании Горбачев то и дело утыкался в рамки и препоны, которые ставила Система, действовавшая в общесоюзном масштабе.

В известном смысле, наличие архаичного высшего партийного руководства, зажимавшего любую инициативу снизу, было, как ни парадоксально, психологически комфортным фактором, позволявшим местным секретарям оправдывать тщетность усилий всерьез изменить что-то «на своем уровне». Подлинные проблемы для него возникли, когда это успокаивающее объяснение исчезло и он сам поднялся на вершину власти. Отныне кивать наверх нельзя, списывать застой не на кого. Партийный аппарат, КГБ, армия, общественное мнение и даже капризная и пугливая интеллигенция выстроились «во фронт», ожидая от нового повелителя кто обещаний, а кто указаний, готовые в очередной раз выполнить любое «задание партии и правительства». «В те первые годы я действительно мог все», — признался в разговоре сам Михаил Сергеевич.

Вопрос в том, чего он хотел. Конечно же, как и все, перемен. Но еще, как и многие, включая предшественников на этом посту, «истинного социализма». Помимо Ленина и Андропова, оставивших ему не очень ясно прописанные заветы на этот счет,

его советниками в этом проекте — то ли ускорения движения вперед, то ли, напротив, возвращения назад, к чистым, незамутненным сталинизмом истокам — могли стать романтики «Пражской весны» или недавно открытые им для себя коммунистические «еретики»: итальянские и прочие еврокоммунисты. В любом случае речь шла о пока еще невиданном симбиозе «реального социализма» с демократией, которая должна была придать ему человеческое лицо.

В окружении Горбачева тогда не было, да и не могло быть никого, кто предостерег бы его и объяснил, что любая попытка придать человеческий облик существующему режиму обернется тем, что вся Система пойдет «вразнос». Последним, кто предпринял попытку соединения социализма с демократией, был чехословацкий лидер Александр Дубчек, однако, как известно, в августе 1968 года советские танки нарушили «чистоту» затеянного им эксперимента. Горбачеву, как казалось тогда, танки не угрожали, и он мог позволить себе попробовать пройти по этому пути дальше.

Понятно, что человеку его происхождения и воспитания, считавшему вслед за своим отцом, что «Советская власть ему все дала», предстояло пройти огромную дистанцию, чтобы решиться публично назвать породившую его Систему «сектантски-приказной». Тем самым, оспорив непререкаемых классиков, генсек правящей коммунистической партии провозглашал эпоху общего кризиса уже не капитализма, а социализма.

Нельзя при этом забывать, что в годы учебы и формирования Горбачева как политика не только такие убежденные солдаты партии, как Ю.В. Андропов, но и его будущая жертва академик А.Д. Сахаров и многие московские «шестидесятники» исходили из того, что советский режим можно настолько очистить, улучшить и подогнать под мировые стандарты, что он будет способен конвергироваться со своим капиталистическим антиподом. Вступив во владение оставленным ему наследием, Горбачев оказался в положении человека, получившего ключи от запретных кладовых, где должно было храниться все накопленное его политическими предками богатство, и обнаружившего, что состояние промотано, а на дне заветных сундуков вместо сокровищ труха.

Все это позволяет понять, почему первым и главным авторитетом для него в течение примерно трехлетнего начального периода перестройки был В.И. Ленин. Собственно говоря, и на дальнейших ее этапах, уже когда он выступил фактически в роли анти-Ленина — и по реальным результатам своих поступков, и еще в большей степени по методам, которыми их добивался, — продолжал оставаться под сильным интеллектуальным воздействием Ильича, постоянно его перечитывая. В. Болдин свидетельствует, что на столе генсека, по крайней мере в первые 2—3 года, постоянно лежали переложённые закладками тома Полного собрания сочинений и он мог в самый неожиданный момент весьма конкретной дискуссии вернуть ленинскую цитату.

Конечно, учитывая обилие и разнообразие того, что написал и наговорил основатель Советского государства, он вполне мог стать для Горбачева политическим «джокером», с которого тот мог «ходить» практически в любой острой ситуации, обезоруживая своих оппонентов ссылками на ленинский авторитет. Однако его взаимоотношения с наследием Ильича, как и в целом с Октябрем 17-го, нельзя свести только к конъюнктурному цитированию или ритуальным поклонам, предназначенным прикрыть начавшееся внутреннее идейное перерождение.

Не только по случаю 70-летия Октября, ставшего поводом для известного юбилейного доклада генсека, но и много позже, уже уйдя в отставку, когда не было необходимости дежурно креститься в красный угол (скорее наоборот), он продолжал упрямо твердить, что считает революцию 1917 года не национальной драмой, а одним из истоков своего проекта. «На первых порах мы, в том числе я, говорили: “перестройка — продолжение Октября”. Сейчас скажу: это утверждение содержало в себе и долю истины, и долю заблуждений. Истина состояла в том, что мы стремились осуществить изначальные идеи, выдвинутые Октябрем, но так и не реализованные: преодолеть отчуждение людей от власти и собственности, отдать власть народу (отбрав у номенклатурной верхушки?), укоренить демократию, утвердить реальную социальную справедливость. Иллюзия же заключалась в том, что тогда я, как и большинство из нас, полагал: этого можно добиться, совершенствуя существующую систему», — писал Горбачев.

Из этого высказывания следует, что и перестройку он продолжал считать просто другим, современным и гибким, одним словом, более эффективным способом реализации в целом вполне достойных уважения благородных идей, «выдвинутых Октябрем». Выходит, цели сформулированы были правильные, но подвели методы. И хотя весь исторический итог его деятельности, как это сегодня очевидно для всех, состоит в попытке исправления последствий Октября для России, в выпрямлении связанного с этим трагического вывиха ее истории, он продолжает упрямо и вопреки любой политической конъюнктуре утверждать и напоминать: всем нам никуда не деться, мы родом из Октября. Его кумачовое родимое пятно на лбу в этом смысле приобретает символический смысл.

Похоже, что за этим постоянством — не только упрямство человека, не желающего менять свои взгляды, даже если они принадлежат другой эпохе. Здесь и попытка сохранить верность тому Мише-студенту, который, как и миллионы его соотечественников, был истовым сталинистом до потрясения 1956 года, какое-то время вполне искренним хрущевцем и уже только в брежневские времена начал становиться самим собой. И здесь же, может быть, патриархальная, идущая от крестьянских корней почтительность к взглядам, убеждениям-заблуждениям своих дедов и отца, на которые они имели право и с которыми ушли в могилу.

То же и с Лениным. Как только не наседали на Горбачева либеральные помощники, подталкивая его быстрее, решительнее размежеваться с партией «ленинского типа», уже занесшей над своим генсеком карающий меч революционного правосудия, как ни уговаривали вслух признать очевидное: он уже давно утратил право, а главное, политическую необходимость изображать себя «верным ленинцем». Он упрямо уходил в глухую защиту, иногда отделяясь дежурными возражениями: «Вы недостаточно вчитались в Ленина. В его последних работах заложен могучий реформаторский потенциал...» Иногда показачьи взрываясь: «Что хотите со мной делайте, хоть стреляйте, от Ленина я так легко не отступлюсь».

Наблюдавший за его идейными исканиями А.Черняев, сам долгие годы «толокший ленинизм» в ступе Международного от-

дела под водительством секретаря ЦК Б.Пономарева, находит свое объяснение — оправдание этой почти иррациональной привязанности могильщика коммунизма к одному из его главных апостолов: Ленин, которого он действительно неоднократно перечитывал, магнетизировал не только своим интеллектом, но и весьма импонировавшей способностью безоглядно менять свои взгляды, веруя только одному Богу — политической реальности, принося ей в жертву любые теоретические догмы и схемы, включая и свои собственные.

Думаю, привлекало Горбачева в Ленине (а кого, в конце концов, ему оставалось брать в политические и духовные поводыри из российской истории — не Петра же или Столыпина) то, что нередко служило самому Михаилу Сергеевичу в качестве алиби за разбуженную им общественную стихию в еще недавно безропотно-молчаливой стране. «Не надо бояться хаоса», — повторял он иногда эту загадочную ленинскую формулу, как бы успокаивая себя, когда выпущенные им на волю стихийные силы перестройки начинали явно перехлестывать через край. Формула звучала оптимистично, авторитет Ленина тоже должен был помочь сохранять самообладание. Нюанс тем не менее был существенным: Владимир Ильич призывал не паниковать перед лицом общественного катаклизма, разразившегося в России в значительной степени помимо воли большевиков, стремившихся укротить его наведением в стране «революционного порядка». Горбачев же со своим благим проектом раскрепощения общества от «сектантски-приказного строя» объективно способствовал развязыванию «хаоса», контролировать и регулировать который он к тому же собирался исключительно демократическими методами.

После позднего и в значительной степени гипотетического Ленина, превращенного Горбачевым на основе его политического завещания чуть ли не в отступника от большевизма типа Мартова или Плеханова, вторым источником и составной частью «горбачевизма» стал Хрущев. Сам он пишет об этом так: «Хрущев был предшественником перестройки... Главное, что осталось от Хрущева, — дискредитация сталинизма. Попытки реванша, предпринимавшиеся при Брежневе, провалились.

Восстановить сталинские порядки не удалось. И это явилось одной из предпосылок и условий для начала перестройки. Так что определенную связь с тем, что сделал Никита Сергеевич, я признаю. И вообще высоко ценю его историческую роль».

Признать историческую роль Хрущева ему, делавшему при его правлении первые шаги примерного партфункционера, было непросто. Недаром приведенные здесь формулировки принадлежат «позднему» Горбачеву, уже отлученному от активной политики и получившему возможность рассуждать о ней отстраненно. Публично поминать неумемного Никиту добрым словом в той среде, где он находился, даже после избрания генсеком, было не так безопасно, как цитировать Ленина. Партаппарат имел на то свои причины. Ему нелегко далась кампания по борьбе с культом личности, когда на партию сошел оползень секретного доклада на XX съезде, который аппаратчикам надо было не только самим переварить, но и, развернувшись на 180 градусов, бодро идти разъяснять партийным массам.

Горбачев вспоминает, что выполнение спущенной из Москвы директивы по осуждению сталинизма шло туго. И даже не из-за того, что у членов партии, которую «вырастил Сталин», не выветрилась скорбь по безвременно ушедшему вождю народов. Слезы, струившиеся по лицам людей в марте 53-го, включая Горбачева и его друга Млынаржа, конечно, давно высохли. Вопросы «Что теперь с нами будет?» уже никто не задавал. Выяснилось, что жизнь продолжается и после Сталина.

Надо учесть: в Москве страшные разоблачения доклада, хотя и вызвали определенное потрясение среди делегатов съезда и функционеров (некоторым в зале стало плохо), все-таки упали на подготовленную почву. О сталинских репрессиях столичная элита, одна из главных его жертв, конечно, прекрасно знала, предпочитая о них молчать. Шок вызвали официально объявленные масштабы террора и, разумеется, тот факт, что о преступлениях Сталина публично, хотя и по секрету, сообщил первый партийный и государственный руководитель. При этом демарш Хрущева многими воспринимался как проявление неизбежной борьбы за власть между сталинскими наследниками, а ее логику и правила ведения аппарату уж объяснить не требовалось.

В провинции же, по рассказам самого Горбачева, дело обстояло по-другому. Ставропольцы, разумеется, жили не как «кубанские казаки» и в своем отношении к вождю не отличались от всего советского населения. Однако в осуждении Большого террора и репрессий, обрушившихся в 30-е годы в основном на партийные кадры, столичную интеллигенцию и НКВД, они, как и в целом значительная часть крестьян, были куда сдержаннее, чем москвичи или ленинградцы. «Многие у нас в крае относились ко всем этим «чисткам», если и не с одобрением, то нередко со злорадством, — говорит Михаил Сергеевич, — ведь под репрессии часто попадали как раз те, кто притеснял народ в период раскулачивания и коллективизации» (не в этой ли категории оказался и осужденный за «троцкизм» один из его дедов, Пантелей, правоверный активист, коллективизатор и многолетний председатель колхоза?).

Вот почему, когда молодой и исполнительный функционер крайкома комсомола включился, как в посевную, в кампанию по десталинизации и поехал по районам разъяснять смысл решения ЦК, то столкнулся не просто с озадаченным, но и нередко враждебным молчанием людей на собраниях в низовых парторганизациях. Не меньшие, если не большие трудности для провинциальных партийцев создал Никита Сергеевич в конце своего правления, когда поделил страну на совнархозы, а партию — на «городскую и сельскую», требовал перегонять Америку то по надоям, то по кукурузе, то по баллистическим ракетам. «У нас в крае устали от Хрущева, считали, что он заблудился, и многие с облегчением вздохнули, когда его сняли», — эти горбачевские слова отражают настроения, распространенные в те годы в аппарате. Только пройдя через годы застоя, почувствовав реальную возможность возвращения тоталитарного режима и потратив первые, самые ценные годы своей перестройки на слом сопротивления созданной Сталиным всемогущей Системы, Горбачев сделает вывод: «Прийти к реформам значило, прежде всего, преодолеть в себе Сталина». И после этого запишет Хрущева в предтечи перестройки и в свои предшественники.

Теоретические дискуссии об истинных заветах Ильича, о невыкорчеванном наследии сталинизма в структурах партии и психологии ее функционеров явно увлекали Горбачева, и он с

удовольствием на долгие часы втягивал в них членов Политбюро, во-первых, потому, что эти дебаты стали для него способом саморазвития, во-вторых — из-за того, что, перечитывая Ленина, он незаметно для себя начинал в него «играть», стараясь перенести в доставшееся ему послебрежневское Политбюро атмосферу острых идейных баталий — естественной среды обитания вождя большевиков.

Уже в решающие годы, когда закладывался фундамент его проекта и каждый месяц из отпущенного ему Историей срока и кредита народного доверия был на счету, выявилась та особенность Горбачева-политика, которая, в конце концов, обрушила недостроенное им здание перестройки: граничившее с отвращением нежелание заниматься рутинной, повседневной, систематической работой. Его зажигали и увлекали «большие дела», крупные идеи, судьбоносные решения, проекты, уходящие (и уводящие) за горизонт повседневности. Самым интересным собеседником был для него тот, кто отвлекал от будней, от скучной текучки, приглашал в разреженную атмосферу мира высоких идей. Тогдашний состав Политбюро явно не годился для философских диспутов в духе Афинской школы, и Горбачев поэтому мог охотно и щедро тратить свое время на других, не «уставных» собеседников.

Американский госсекретарь Дж. Шульц вспоминает, как, начав однажды с Горбачевым условленные переговоры о ракетах и боеголовках, они незаметно перешли на глобальные сюжеты и рассуждения о перспективах развития мира в ближайшие 15—20 лет. В результате «скучный» подсчет боеголовок был быстро свернут и передоверен экспертам, а собеседники часа на два погрузились в футурологию, поломав график встреч генсека. Подметив эту, конечно же, похвальную черту советского лидера — жадную тягу к познаниям, которая отличала молодого ставропольца еще с первого приезда в Москву, — Шульц, в прошлом университетский профессор, решил этим воспользоваться для его просвещения. К своему следующему визиту в Москву он запасся диаграммами и графиками и провел еще несколько часов с Горбачевым, восполняя пробелы в его знаниях о состоянии мировой экономики, роли информатики, основных тенденциях изменения мирового энергетического, демографического и

технологического балансов. Было, наверно, что-то трогательное и необычайное в их беседах-лекциях, которые тем более охотно давал своему неожиданно обретенному слушателю в Кремле маститый американский адвокат, преподаватель, что его президент Рональд Рейган ничем подобным не интересовался и учиться чему бы то ни было не собирался.

Все это можно было бы только приветствовать, если бы интеллектуальное развитие, разумеется, необходимое любому человеку, а тем более занимающему такой пост, не отвлекало от решения массы повседневных, не терпевших отлагательства проблем. Их все более остро ставила необходимость управления гигантской, сконструированной под единоначалие государственной машиной. К этому добавлялись потребности той самой реформы, которая могла осуществляться только по указаниям свыше. Хотя, возможно, именно для уяснения того, какими должны быть эти указания, и требовалось перечитать уже однажды вызубренных классиков, критически взглянуть на своих предшественников и послушать соперников, добившихся впечатляющих успехов, чтобы определить, где и на каком выраже так убедительно сформулированный проект обеспечения всеобщего человеческого счастья соскользнул с предначертанного пути и покатился под откос.

Между тем времени на обдумывание у нового лидера практически не было — страна смотрела на него выжидательно, и надо было предлагать ей программу реформ, даже если она еще не существовала. И сам Горбачев, и многочисленные исследователи, и уже появившиеся историки перестройки подробно и не раз объясняли, почему иначе, как по решению, исходящему с самого верха, никакие серьезные перемены в советской системе начаться не могли. Даже пост второго человека в партийно-государственной иерархии, как показывает пример Косыгина, для этого был недостаточен. И причина не только в безупречных пропорциях пирамиды власти, стремившейся к единоличию, что характерно для всех тоталитарных режимов, но и в том, что «снизу» не поступало импульсов к сколько-нибудь серьезным реформам.

За годы «отеческой заботы» партии и правительства о счастье советских людей их отучили проявлять свои гражданские

чувства иначе, как бурными аплодисментами и единодушным всенародным голосованием за блок коммунистов и беспартийных (все знали, какая участь ждет слушников). К тому же достоверной информацией о реальном положении дел в стране «низы», ежедневно обрабатываемые пропагандой, естественно, не располагали. Да и к «верхам» сведения о том, что на самом деле происходит в стране и мире, доходили отрывочно, по «допускам» разной категории и чаще всего в уродливо-препарированном виде.

В годы «зрелого социализма» советское общество напоминало гигантскую процессию людей с завязанными глазами, которых вели в неизвестном им самим направлении зажмурившиеся поводыри, выкрикивавшие время от времени бодрые призывы и требовавшие в ответ от ведомых слитного «ура». Реальность этой сюрреалистической картины неожиданно подтвердило неосторожное высказывание, оброненное, наверно, самым информированным человеком в стране — Ю. Андроповым, который только после того, как занял высший пост, прилюдно признался: «Мы еще должны разобраться в том, в каком обществе мы живем».

Реформа «сверху», не подталкиваемая давлением низов, проявлениями массового недовольства или, не дай бог, хаосом стихийного протеста, имеет, особенно с точки зрения объявляющего ее начальства, свои преимущества. Она дает правителям время для разработки рациональных схем и графиков планирования «дозированных» перемен и позволяет верить, что из одного агрегатного состояния в другое — изо льда в воду или в двигающий машину пар — общество можно перевести плавно, без качественных скачков и разрыва с прошлым. Но все эти плюсы «пипеточной» реформы могут в одночасье превратиться в свою противоположность под напором недовольства и нетерпения людей, особенно если разбуженные страсти не будут вовремя направлены на прошлых правителей, на которых положено списывать накопленные долги и грехи.

Старые как мир рецепты сохранения власти требовали от новых вождей валить все на предшественников, сохраняя при этом отлаженные ими же методы удержания общества в узде. Кремлевские наследники Сталина — в первую очередь Хрущев

(но, как утверждают, и Берия) — рассчитывали решить эту проблему, списывая драмы страны и преступления режима на культ личности. Брежнев и возглавляемая им «тройка» выправляли курс неизменно мудрой партии, избавляясь от хрущевского «волюнтаризма». Андропов успел только обозначить обнаруженные им пятна коррозии брежневского режима: расхлябанность и коррупцию.

Горбачев начал было, как принято, с обличения предшествовавшего ему «застоя», что с симпатией восприняло общество, заждавшееся новых лиц и новых слов, и с пониманием — партийное и государственное чиновничество, готовое включиться в «пересменку». И только по прошествии первых двух лет и изумленный аппарат, и озадаченное население обнаружили в его намерениях и поступках не очередной, более эффективный вариант решения проблемы престолонаследования, то есть обустройства своей власти, а проект действительной Реформы Системы. Реформы, предполагавшей неизбежный отказ от одного из главных рычагов сохранения режима, поддержания общественной стабильности и соответственно осуществления самих заявленных реформ — принуждения.

ГЛАВНОЕ — НАЧАТЬ!

Решение Горбачева снять с общества надетую еще в ленинские времена и туго затянутую Сталиным узду страха объясняется не его наивностью или малоопытностью (хотя своеобразный коммунистический идеализм сыграл здесь свою роль), а тем, что он искренне считал: если не принять срочных мер по модернизации политической системы, не только экономике страны, но и всему строю грозит полный коллапс.

Разумеется, никакого конкретного, расписанного по месяцам и дням плана, никаких «500 дней» политической реформы ни у Горбачева, ни у его сподвижников не было и, по понятным причинам, быть не могло. Им приходилось торопиться и импровизировать еще и потому, что страна, благожелательно воспринявшая новое партийное руководство, ждала каких-то свершений, как зрители, пришедшие на представление фокусника, ждут чудес. И немедленно! «Мы хотим сегодня. Мы хотим сейчас!» —

пел Александр Барыкин, и ему азартно подпевала, хлопая в такт ладошами, прикипячая к телеэкранам страна. И хотя Горбачев, наученный крестьянским опытом, любил повторять: «Что быстро делается, долго не живет», ему приходилось под напором разбуженных им самим ожиданий все быстрее двигаться вперед методом проб и, стало быть, ошибок.

Поскольку ни «реабилитированный» Хрущев, ни даже трижды перечитанный Ленин не предлагали решения проблем, в которые уткнулся «развитой социализм» в середине 80-х годов, за советом пришлось обращаться к тому, кто лучше других знал реальную ситуацию внутри государства в этот период — к Андропову. В результате, в то время когда на политическом уровне разворачивались теоретические дебаты о путях дальнейшего национального развития и новой модели советского общества, пока, прикрываясь как щитом Лениным, он вновь заводил разговор о необходимости «пересмотреть всю нашу точку зрения на социализм», его тогдашние соратники пытались решать захлестывавшие их проблемы повседневной жизни, опираясь на ту самую Систему, которую Горбачев собирался радикально изменить. Образовались, как в период нэпа, «ножницы», только на этот раз не ценовые и не между городом и деревней, а между уровнем и направленностью политических дебатов и практическими шагами новой власти.

Частично это происходило по объективным причинам, связывающим руки любым новаторам: они быстро обнаруживают, что ваять будущее приходится из единственно доступного подручного материала — прошлого. В немалой же степени — из-за тех специфических черт характера, которые, поднимая его как политика на исторический уровень, отвращали от «текучки» и ставили в зависимость от тех, кто брал на себя решение будничных проблем.

В 1985—1987 годах такими практиками при нем были Е. Лигачев и Н. Рыжков. Придя также в андроповские времена на руководящие посты в ЦК, они сыграли решающую роль в его избрании генсеком. Один, став де-факто вторым секретарем ЦК, в качестве ведущего заседания Секретариата, решительно взял на себя управление партийным аппаратом и, стало быть, подготовку значительной части политических решений. Другой, будучи

премьером, «подобрал под себя» практически всю экономическую сферу. Горбачев же, не только из-за склонности к глобальным, теоретическим вопросам, но и в силу характера — как человек компромисса, лишь в исключительных случаях шел на то, чтобы, пользуясь положением, одернуть своих друзей или навязать им свою точку зрения. В отношении Лигачева таким принципиальным поводом «топнуть ногой» стала санкционированная им публикация в марте 1988 года перестроечного Манифеста — статьи ленинградского доцента Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Что же касается Рыжкова, то генсек сдавал под его напором даже собственные политические позиции в вопросах экономической реформы вплоть до зимы 1990—1991 годов, когда уже, в сущности, было нельзя навертать упущенное.

Позднее он запишет в число своих роковых ошибок первых лет перестройки «запаздывание» с принятием как минимум двух принципиальных решений: разделение партии, иначе говоря, высвобождение ее реформаторски настроенной части из-под пресса бюрократизированного аппарата и начало радикальной переделки экономического «базиса» по собственному проекту. Он не уточняет, правда, что зазор между политической демократизацией и экономической реформой возник не только из-за того, что инициаторы перестройки слишком затянули с шагами в сторону рыночной экономики, а потому, что в этой сфере они поначалу просто двинулись назад. Два, если не три года, Горбачев и его команда добросовестно крутили маховик все той же «сектантски-приказной» модели, надеясь, что сконструированный их предшественниками двигатель, очищенный от коррозии и налипшей грязи, наконец заведется и «дубинушка сама пойдет».

Подобно Андропову, они верили, что простое усиление административными мерами дисциплины и порядка, более строгий персональный спрос с руководителей и бескорыстный порыв молодых, нравственно не разложившихся кадров заставит теоретически безупречный «перпетуум-мобиле» социализма работать не за страх, а за совесть. К тому же к моменту прихода к руководству страной, несмотря на многочисленные «наработки» разных экономических институтов, с которыми Горбачев стара-

тельно знакомился (в его кабинете и на проводимых им совещаниях еще до 1985 года перебивали директора большинства экономических институтов), в его собственном багаже, как считает помощник по экономике Н.Петраков, был лишь «пустой чемодан», который пришлось заполнять с нуля.

Помимо заимствованных у Андропова рецептов подтягивания трудовой дисциплины в него сложили и нереализованные идеи косыгинской реформы, обещавшей большую автономию предприятиям, и личный опыт самого Горбачева, с успехом внедрившего на полях Ставрополя «ипатовский метод» повышения материальной заинтересованности сельских тружеников. В результате на свет появилась программа «ускорения» экономического развития, представлявшая собой скорее пропагандистский лозунг, чем продуманную концепцию реформы.

В самом деле, что как не «ускорение» должно было стать антиподом предыдущей эпохи застоя и одновременно воплощением в жизнь ключевого понятия — «динамизм», с которым он пришел на судьбоносное заседание Политбюро 11 марта 1985 года! Однако в реальности за призывной и оптимистической интонацией этого слова, по существу, до лета 87-го не было никакого конкретного плана действий. Отдельные спорадические решения в экономической области плохо стыковались между собой и практически не сочетались со все более активно разворачивающимся политическим процессом. И здесь есть свои «хрестоматийные» примеры. Так, в течение одной недели, чуть ли не на одном и том же заседании Секретариата ЦК родились два взаимоисключающие постановления: «О поощрении индивидуальной трудовой деятельности» и «О решительной борьбе с нетрудовыми доходами», устанавливавшие в традициях блаженной памяти хрущевских, если не сталинских, времен жесткие лимиты на размеры частных жилых строений, теплиц, оранжерей и тому подобное.

И все же существовала внутренняя органическая связь между такими принятыми в эти годы разноплановыми решениями, как программа развития машиностроения, меры по интенсификации научно-технического прогресса, создание Агропрома или введение практики госприемки готовой продукции. Каждое из них в своей конкретной области и все они в сумме представляли



Почему именно Михаилу Горбачеву, почти идеальному, образцовому продукту коммунистической системы, ее убежденному стороннику выпала миссия эту систему сокрушить?

*Между отцом Сергеем Андреевичем и сыном существовала крепкая мужская и одновременно трогательно нежная дружба.
Мать Мария Пантелеевна была «решительной женщиной». Внизу — брат Саша.*



От большинства сокурсников 19-летний Михаил отличался своим рабоче-крестьянским происхождением, и в особенности главным козырем — орденом. К тому же еще в школе он успел стать кандидатом в члены партии.

С однокурсниками по юрфаку В. Зубковым и Ю. Томилиным. 1952 г.

*Лучший друг Михаила чех Зденек Млынарж
был для него окном в другой мир.
Все университетские годы они были неразлучны.*



*Михаил и Раиса поженились в 1953 г.
Это был гармоничный союз,
из тех, что «заключаются на небесах».*



*Дом в Ставрополе, где «молодые специалисты» Горбачевы
снимали 11-метровую комнату с дровяной печкой и удобствами во дворе.
Здесь в январе 57-го родилась дочь Ирина.*

Благодаря неугомонности, фантазии, разнообразным починам Михаил Горбачев в 39 лет занимает кабинет № 1 в здании Ставропольского крайкома КПСС и становится полновластным «хозяином» крупнейшего стратегического региона, по площади почти равного трем Бельгиям.



В Ставрополе, где энергичный первый секретарь «строил социализм в отдельно взятом крае», частенько навещали гости из братских стран. На фото: венгерский лидер Я. Кадар (первый справа), его супруга (вторая слева), М. Горбачев (третий справа) и Раиса (третья слева).

*Личным контактам с ключевыми фигурами политической иерархии Горбачев во многом обязан Минеральным Водам и Домбаю, где они любили отдыхать.
Встреча М. Суслова, 1978 г.*



*В первых поездках на Запад Михаил и Раиса сделали принципиальное открытие:
советские люди жили далеко не в лучшем из миров.
На празднике газеты «Юманите», 1977 г.*

Ф. Кулаков (на фото справа), самый молодой к тому времени член Политбюро, ввел своего «протезе» в состав ЦК.

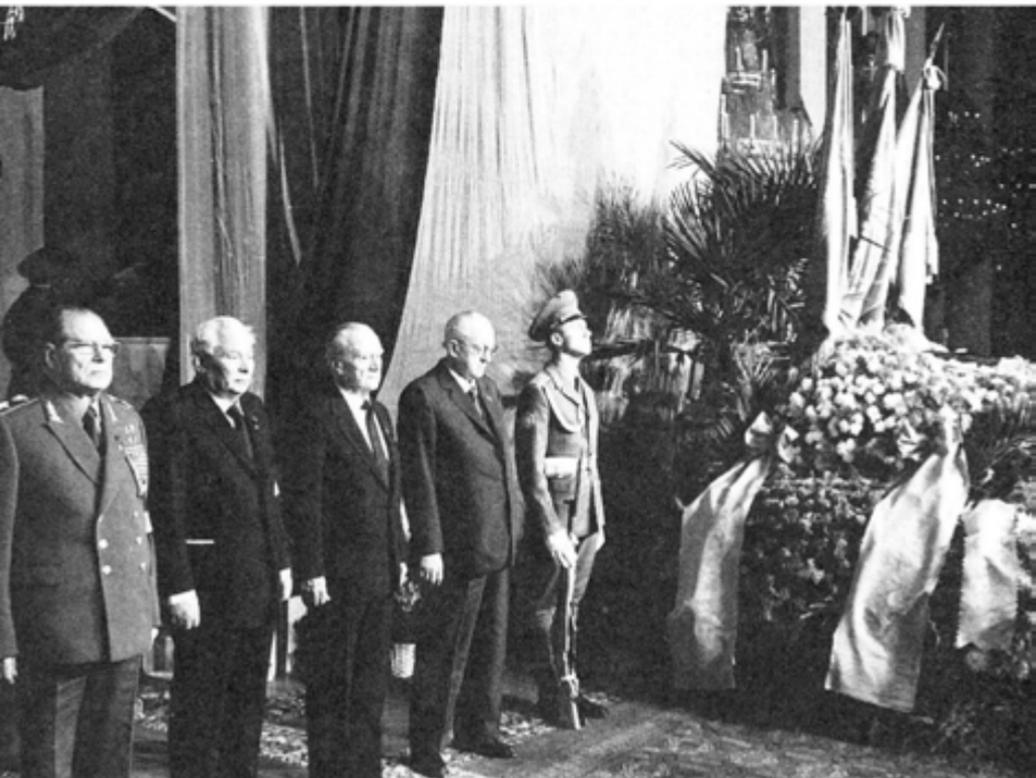


Ю. Андропов испытывал почти родительскую привязанность к открытому им в провинции партийному дарованию. Михаил олицетворял собой особый продукт той системы, над укреплением которой так усердно работал сам Андропов.

В декабре 1978 г. в 47 лет Горбачев становится самым молодым секретарем ЦК КПСС.



Все его усилия по реформированию аграрного сектора сводились в итоге к традиционному списанию долгов с села, выбиванию для него новых кредитов.



25 января 1982 г. умер М. Сулов — второй по влиянию после Брежнева член партийного руководства СССР. После смерти Брежнева 10 ноября того же года ни у кого не возникло сомнений по поводу его преемника. Им стал Ю. Андропов.



3 февраля 1984 г. Андропов умер, не успев оставить после себя у руководства партией человека, которому бы доверял. О смерти 10 марта 1985 г. К. Черненко, как и положено было в таких случаях, Е. Чазов доложил второму лицу в партии — Горбачеву.

Не просто близкие, а душевные отношения связывали Горбачева с влиятельной фигурой в Политбюро Д. Устиновым.



Кандидатуру Горбачева на пост главы КПСС предложил на Политбюро А. Громыко.



Ключевым словом для своей «тронной речи» на Пленуме ЦК КПСС 11 марта 1985 г. новый генсек выбрал «динамизм».

Объявленная Горбачевым 26 февраля 1986 г. на XXVII съезде КПСС концепция перестройки в целом укладывалась в ложе социализма и обещала возвращение к «истинным ленинским идеям».



Появление на советской сцене молодого, образованного, раскованного лидера, признавшего, что «так дальше жить нельзя», вызвало в обществе взрыв надежд.



Впервые о перестройке, как о революционной реформе Системы, Горбачев заговорил в Хабаровске во время поездки на Дальний Восток осенью 1986 г. Сущность курса на демократизацию страны Горбачев выразил в упрощенной формуле — «Разрешено все, что не запрещено законом».



Сделаны первые робкие шаги на пути к «социалистическому рынку», призванные снять железную узду с частника. «Дайте человеку поработать и заработать», — объяснял Горбачев.

На совещании руководителей соцстран в Москве в ноябре 1985 г. коммунистический лидер объявил: отныне каждая партия и ее руководство несут полную ответственность за происходящее в собственной стране.



Особенно скептически воспринял перестройку переживавший многих советских руководителей болгарский лидер Т. Живков (четвертый слева). Вопле предсказуемой была враждебная позиция к реформам румынского диктатора Н. Чаушеску (пятый слева).

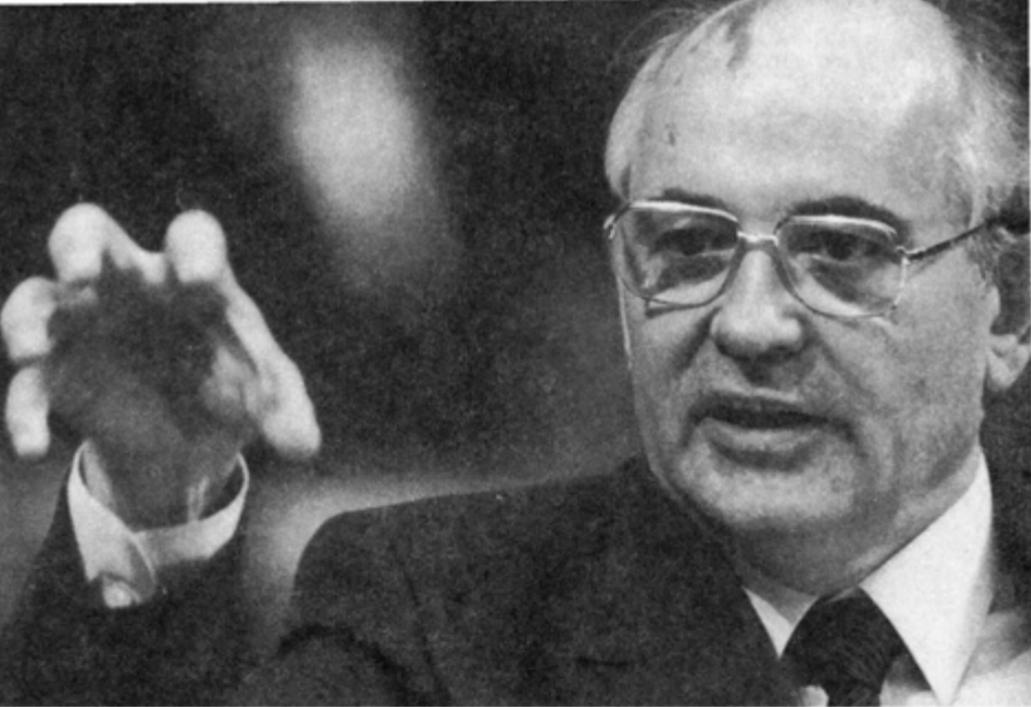
Заехав на остров Свободы в 1989 г., Горбачев успокоил «команданте», объяснив, что свобода выбора не исключает выбора в пользу социализма.



Э. Хонеккер откровенно опасался паводья демократии, грозившего затопить ГДР.



Из всех руководителей соцстран Горбачев с самого начала выделил В. Ярузельского. Они оба продвигались к одной цели: передаче власти от монополично правившей партии к демократически избранным институтам. Остались они друзьями и по сей день...



«Главное — начать, и процесс пойдет!»

собой отчаянные попытки оживить угасавшую на глазах командно-административную экономику, сохраняя ее структуру (с гипертрофированно-развитой «оборонкой») и законы, по которым она жила.

Решить таким образом ее проблемы, достаточно точно диагностированные самим Горбачевым на заседаниях Политбюро («страна стоит в очередях; живем в постоянном дефиците — от энергоносителей до женских колготок; жирует только военный сектор; накапливается технологическая зависимость от Запада» и другие), было невозможно. Ведь чтобы избавиться от очередного дефицита, жаловался генсек, приходится каждый раз создавать чуть ли не чрезвычайную комиссию во главе с секретарем ЦК. В брежневские времена подобным образом был брошен «на производство» женских колготок секретарь ЦК по оргпарработе И.Капитонов, в горбачевские — его наследник на этом посту Е.Лигачев, превратив свой кабинет в пункт селекторной связи, выполнял роль диспетчера, распределявшего по регионам дефицитное топливо холодной зимой 86-го.

Новые руководители страны не могли не видеть, что не только топливные или продовольственные запасы, но и административные ресурсы в целом государственной экономики — на пределе, но, как волки, окруженные флажками, не представляли себе какие-то варианты выхода за рамки Системы. «Мы все поначалу пребывали во власти иллюзий, — подтверждает Михаил Сергеевич. — Верили в возможность улучшения функционирования Системы». А раз так, значит, надо было заставить ее работать. И получалось, что, пока Горбачев, размежевываясь со Сталиным, продвигался в направлении позднего Ленина и вдохновлялся эзпом, партийный и государственный аппарат, повинаясь решениям ЦК, налегал на госприемку, создавая армию надзирателей за качеством продукции, вместо того чтобы доверить эту роль потребителям, и усердно рыл Котлован под новый невиданный административно-архитектурный монумент — Госагропром.

По-своему символическим показателем непродуманности первых практических шагов нового руководства, соединившим в одном «пакете» его политические, экономические и психологические просчеты, стала антиалкогольная кампания, объявлен-

ная весной 1985 года. Попытка введения приказным способом поголовной трезвости на Руси, на что не отваживались даже ее самые решительные правители, будь то в эпоху деспотии или тоталитарного режима, завершилась, как нетрудно было предвидеть, полным фиаско. Она оставила после себя первую, но, возможно, роковую пробоину в государственном бюджете, закономерно возникшую мафию производителей и подпольной продажи самогона и заменителей водки... и сотни анекдотов, главным героем которых был, разумеется, «отец Перестройки».

Вызванная этой кампанией неизбежная дискредитация нового руководителя — наименее обидными прозвищами Горбачева в годы этого советского «прохибишна»* были «генсок» и «минеральный секретарь» — не шли ни в какое сравнение с унижением стоявших в очередях миллионов людей, которым чиновники с привычной ретивостью и хамством навязали безалкогольные свадьбы и поминки, и умопомрачительные схемы зачетов талонов «на водку за сахар» и «мая за январь». На улицах городов появились антиалкогольные патрули, терроризировавшие возвращавшихся из гостей прохожих, вернулось, ухватившись за предлог, подброшенный властью, заглухшее было доносителство, приемы в советских посольствах за рубежом обезлюдели.

Если этот административный абсурд еще можно было прекратить столь же волюнтаристским новым распоряжением, то пагубный экономический эффект от вырубленных виноградников, демонтированных винных заводов и загнанного в подполье могущественного сектора экономики лег тяжелым грузом на многие годы на судьбу всей перестройки. Непродуманность и нелепость антиалкогольной кампании казалась настолько очевидной, что ее объяснение многие пытались найти то ли в фанатичном неприятии спиртного самим Горбачевым (или Раисой Максимовной), то ли в тайной склонности к спиртному Лигачева, заставлявшего всю страну бороться вместе с ним против одолевавшего его искушения.

На самом деле не было ни того ни другого, что еще хуже, поскольку лишает «минерального секретаря» последних оправ-

* От англ. Prohibition — запрещения продажи спиртных напитков. (Прим. ред.)

даний. Сам Михаил Сергеевич склонностью к алкоголю не страдал. В возрасте пятнадцати лет был не очень приятный эпизод, связанный с выпивкой: отмечая окончание уборки, комбайнеры — члены бригады, в которой он работал в поле вместе с отцом, решили произвести Михаила в мужчины и поднесли ему вместо воды полный стакан даже не водки, а спирта. «С тех пор, — вспоминает Горбачев, — большого удовольствия от выпивки я не получал, хотя застолье с родственниками или с близкими друзьями любил всегда».

Отвращение к безудержному пьянству и понимание, насколько трудно поддается лечению эта пагубная привычка, перерастающая в болезнь, и у него, и у супруги могло выработаться из-за того, что у обоих были крепко выпивавшие братья. Этот семейный «крест», как говорила Раиса, им приходилось нести вместе с остальными родственниками, при этом оба, конечно, старались не допускать, чтобы эскапады запойных братьев получали широкую огласку. Бывало, по звонку соседей или из больницы, куда периодически попадал брат Раисы, талантливый детский писатель, к нему снаряжали зятя Горбачевых Анатолия, который отправлялся приводить в чувство своего родственника, а то и разыскивать его среди забулдыг в вытрезвителье или на вокзале.

Несмотря на это, никакого «старобрядческого» неприятия алкоголя у Горбачева не было. И в университетские времена он не сторонился студенческих компаний с неизбежными возлияниями, и позже, став ставропольским партначальником, не отворачивался от рюмки. Его сокурсник Р.Колчанов, многие годы работавший в газете «Труд», рассказывал, как, встретившись в Ставрополе, они с Мишей «усидели» литровую граненую бутылку. Подтверждает алиби Горбачева в этом щекотливом для нации вопросе и такой безусловный авторитет, как писатель Владимир Максимов, в конце 50-х годов сотрудник одной из ставропольских комсомольских газет: «Когда развернулась кампания по борьбе с культом личности, Горбачев нередко заглядывал к нам в редакцию. Мы усаживались за столом, открывали бутылку и вели долгие разговоры о политике. Вся страна в то время была в шоке от доклада Хрущева, и многие из нас верили в то, что наступает эпоха демократии».

Сам Михаил Сергеевич не любит возвращаться к больной теме антиалкогольной кампании. Его привычное объяснение этого очевидного политического «прокола» сводится к тому, что, во-первых, антиалкогольная кампания досталась ему «по наследству», во-вторых, что он «передоверил» эту деликатную проблему Лигачеву и другому Михаилу Сергеевичу — Соломенцеву, а они «переусердствовали». Признает, что делали это топорно — «надо было растянуть на годы, а не ломать людей». Однако тут же то ли в оправдание, то ли в объяснение собственной позиции напоминает о том, что пьянство в стране в те годы приняло масштабы национального бедствия, что из-за него неуклонно снижался средний уровень жизни, «мужики вымирали, а потомство вырождалось» и что поначалу тысячи людей, особенно женщины, завалили ЦК письмами в поддержку этого решения. Защищая первый вышедший комом «блин» перестройки — Указ «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения», Горбачев утверждает: «Никакого тайного решения не было. В 180 трудовых коллективах страны обсудили решения и высказались «за» *(будто забыл, как обеспечивался в те годы поголовный «одобрямс»!*). Предлагали даже принять «сухой закон». Но я решительно выступил против. А испохабили дело на стадии исполнения».

Из его комментариев можно понять, что большого раскаяния в том, что было сделано от его имени, он не испытывает, цели и намерения тогдашнего руководства считает безусловно благими, но в очередной раз подвели методы. Чем не достойная Черномырдина сокрушенная констатация: в России, когда хочешь, как лучше, получается, как всегда.

Однако даже пронесшийся над страной антиалкогольный «смерч» не причинил серьезного политического ущерба постепенно разворачивавшейся перестройке — настолько сильны были в советских людях ожидания перемен к лучшему. Да и личный авторитет Горбачева, несмотря на, в общем-то, беззлые анекдоты, не слишком пострадал. Некоторые из них он не без удовольствия сам пересказывал своим именитым зарубежным гостям. Например, о том, как москвич, разъяренный стоянием в очереди за водкой, отправляется в Кремль, чтобы плю-

нуть в лицо Горбачеву. И скоро возвращается еще более раздосадованным: «Там очередь еще больше».

В те «серебряные годы Перестройки» люди готовы были ему многое простить не потому, что он успел к этому времени сделать что-то существенное (все его реальные свершения были впереди), а из-за того, что возвращал изуверившимся возможность надеяться. И еще потому, что был совсем не похож на своих предшественников. Не тем, конечно, что сам при случае мог пересказать анекдоты о себе — в своей компании это могли, наверное, позволить себе и Хрущев, и Брежнев, — а желанием и умением разговаривать с людьми, а не зачитывать приготовленные тексты и формулировать от их имени свои, не всегда внятные желания. Тогда его красноречие еще не воспринималось как велеречивость, а увлекало и завораживало людей.

Ну и, конечно, сам облик нового генсека — не только по контрасту с предшественником — привлекал и подкупал его слушателей. Молодой, обаятельный со жгучими южными глазами, убежденный в том, о чем говорил, и потому легко убеждающий, — словом, бесспорный и неординарный лидер, за которого впервые за много лет стране не было стыдно. Как свидетельствует Е.Боннэр, Андрей Дмитриевич Сахаров, увидев в Горьком одно из первых публичных выступлений Горбачева по телевидению, сказал: «Это первый нормальный советский руководитель».

К менявшемуся ритму работы пришлось адаптироваться и аппарату. После прежнего «постельного режима», к которому, подлаживаясь под болезни начальников, почти не появлявшихся на службе, уже давно привыкло их окружение, помощники и функционеры стали засиживаться до 9 часов вечера — раньше Горбачев, как правило, домой не уезжал. Даже своей манерой одеваться и очевидным вниманием к аксессуарам одежды он давал понять окружению, что настали новые времена. Приученный к «партийно-скромной», безликой робе, В.Болдин задним числом недоумевал: «Как при таком объеме работы можно находить время, чтобы ежедневно менять галстуки и подбирать их под костюм и рубашку?» По его мнению, в этом проявлялось неутоленное в бедной юности стремление провинциала «шикарно одеваться».

Люди, менее пристально следившие за его галстуками, запомнили, пожалуй, лишь кокетливую шапку-пирожок, выделявшую его зимой в толпе окружавших «ондатр». Летом же в своей банальной, хотя и хорошего качества серой шляпе — «Федоре» — Михаил Сергеевич даже на трибуне Мавзолея не выделялся из номенклатурной шеренги. Увидев его впервые после многолетнего перерыва, Зденек Млынарж воскликнул: «Мишка, ты в этой шляпе вылитый Хрущев!»

Конечно, больше, чем модный костюм, выделяло Горбачева, особенно во время поездок по стране, непривычно постоянное присутствие рядом с ним на протокольных церемониях, а нередко и на деловых встречах Раисы Максимовны. Одни — таких было меньшинство — относились к этому одобрительно или безразлично; другие — чаще всего женщины — возмущались тем, что она «всюду показывается». Смягчались они, только когда видели, что иногда на виду у окружающих и телекамер он машинально, явно по многолетней привычке, брал Раису за руку.

Подобный ошеломляющий контраст со стереотипным поведением и канонизированным представлением о советских партийных лидерах, особенно в первые годы, не переставал изумлять западную прессу. Выходя с мировой «премьеры» Горбачева в Женеве — его пресс-конференции после первого саммита с Р.Рейганом, в ноябре 1985 года один из американских журналистов с завистью сказал своему советскому коллеге: «Вы получили выдающегося лидера. Не знаю, на что он будет способен как политик, но как профессионал могу утверждать: когда он выходит к прессе, рядом с ним никому из наших лидеров лучше не появляться». А впервые встретившийся с Михаилом Сергеевичем в Москве Дж.Шульц, явно попав под обаяние нового «кремлевского мечтателя», написал: «Одного оптимизма и убежденности Горбачева достаточно, чтобы обеспечить успех перестройке». Если бы это было так!

Глава 4 ПЕРЕСТРОЙКА... ЧЕГО?

«ЗАВАРИЛИ КАШУ»

Эйфория и даже некоторая экзальтация, сопровождавшие первые шаги молодого генсека на политической сцене, постепенно спадали. «Медовый месяц» в отношениях между новой властью и обществом оказался быстротечным. В отсутствие ощутимых изменений в повседневной жизни даже явно расположенная к новому лидеру страна не могла долго удовлетворяться лишь внешними признаками перемен.

Конечно, после затянувшегося правления кремлевских старцев людям импонировал раскованный, непосредственный стиль поведения Горбачева — его первые публичные выступления, превратившиеся в телевизионные митинги, собирали у экранов миллионы людей. Теряли смысл привычные политические ритуалы, уже не было никакого интереса в разглядывании фотографий партийного руководства, выстраивавшегося строго по ранжиру при встречах и проходах Генерального секретаря. Михаил Сергеевич, видимо, умышленно «ломал эти канонь», когда мог взять под руку и повести с собой к трапу самолета любого члена Политбюро, из-за чего на публикуемых массовых снимках вся табель о рангах оказывалась перемешанной.

Захирела индустрия изготовления канонических портретов для партийного иконостаса. Правда, на первом официальном фото, сопровождавшем сообщение об избрании Горбачева ген-

секом, ему, разумеется, из лучших побуждений заретушировали родимое пятно на лбу, однако, очень быстро примелькавшись на телеэкране, оно вернулось и на партийные «иконы». Сам он к портретам относился с иронией. Во время одного из зарубежных визитов ему сообщили, что местный художник русского происхождения хотел бы его нарисовать, Горбачев даже взорвался: «Этого еще не хватало! Как только начнем писать портреты начальников, тут и конец перестройке!»

Во время разъездов по стране (в первые месяцы он посетил Ленинград, Киев, Днепропетровск, Тюмень) генсек с явной охотой «выходил к народу» — пообщаться, окунуться в атмосферу приветственных возгласов, аплодисментов, рукопожатий.

Поскольку подробные репортажи с этих встреч передавались по центральному телевидению, такого рода общение с людьми «под камеру» было одновременно продолжением его просветительской работы, давало возможность еще и еще раз высказаться публично, «прийти в каждый дом». Поэтому в таких ситуациях он гораздо больше говорил, чем слушал, а слышал преимущественно то, что ждал или хотел услышать. Вернувшись из поездки в Тольятти, рассказывал на Политбюро: «Вышел к людям. Все общество в движении. Никто не хочет жить, как раньше. У народа энтузиазм, готовность активно поддержать перестройку. Каждый говорит: «Только не отступайте, Михаил Сергеевич, идите вперед, мы вас поддержим».

Однако чем дальше, тем отчетливее в этом гуле благодарного одобрения, сопровождавшем его в самых разных аудиториях, стали различаться нотки нетерпения. Страна ждала если не чудес, то уже не только обещаний. От руководителя, который выглядел подкупающе искренним и внушал доверие, люди хотели помимо заверений в том, что вот-вот все наладится, получить спасительную программу быстрого подъема страны к долгожданному процветанию. Однако программа никак не вытанцовывалась. И хотя на уровне общих слов и выбора магистрального направления движения все, казалось, было ясно: выход из застоя требовал «динамизации» экономического развития и «усиления ответственности каждого», — оставался без ответа главный вопрос: с чего начать? То самое ленинское «решающее звено», взявшись за которое можно было бы вытянуть «всю цепь»,

никак не обнаруживалось. Из вороха доставшихся в наследство проблем, как из запутанного клубка, торчали разные нитки, и, начиная тянуть по очереди одну за другой — машиностроение, научно-технический прогресс, агропром, ВПК, — он лишь всякий раз убеждался в том, что нить не та и клубок все больше запутывается.

Выяснилось, что сами по себе ни девиз «ускорения», ни обращенный к каждому призыв «прибавить в работе» не меняли сложившейся практики, а тем более общего устройства жизни. Целостной же концепции реформы у нового руководства не было. Внимание расплывалось, одна инициатива следовала за другой, в ход по преимуществу шли старые заготовки того времени, когда Горбачев вместе с Рыжковым, перелопатив сотни справок экспертов и академических институтов, готовили так и не пригодившиеся ни Андропову, ни Черненко материалы по научно-техническому прогрессу и возможной экономической реформе.

Отказавшись от попыток выделить какое-либо одно ключевое направление ускорения, Михаил Сергеевич предложил наступать «широким фронтом». После того как с большой помпой в июне 85-го прошло совещание по машиностроению, внимание переключилось на агропром, объявленный ни больше ни меньше «прообразом всего народного хозяйства». Спустя несколько месяцев стало очевидно, что эти отдельные кавалерийские вылазки не приносят результатов по причинам, кроющимся за пределами каждой из отраслей экономики, а именно в политике.

Задуматься над необходимостью выработки общей концепции реформы Горбачева побудили не только первые неудачи, но и особенности характера, которым предстояло стать особенностями политического проекта перестройки. Интерес к концептуальным подходам, к теоретизированию еще со студенческой скамьи и проблемы, не получавшие разрешения, подталкивали Горбачева к поиску выхода на более высоком — абстрактном — уровне. Было ли это только завидной способностью приподняться над горизонтом обыденности и взглянуть на конкретную ситуацию с высоты птичьего полета, обобщить и типизировать ее, то есть признаком стратегического разума, или формой ин-

теллектуального бегства от рутины и прозы будней, — сказать трудно. Да и каким скальпелем можно отделить одно от другого, если эти качества сошлись в одном человеке?

На горизонте замаячил XXVII съезд КПСС, и лучшей трибуны для объявления советскому обществу, что оно вступает в качественно новый этап, невозможно было придумать. Его концепцию предстояло выработать ближайшему окружению Горбачева — той, по его словам, «группе единомышленников, с кем вместе заварили кашу, чтобы идти до конца». Тогда к ней вполне можно было причислить большую часть перекомпонованного Политбюро и Секретариата ЦК. В группу входили (во что трудно поверить, зная о последующих событиях) такие разные политические соратники Горбачева, как А. Яковлев и Е. Лигачев, Н. Рыжков и В. Чебриков, А. Лукьянов и В. Болдин. Б. Ельцин на этом этапе играл малозначительную роль. Поскольку главным заданием было осмыслить исторический момент, переживаемый страной, и сформулировать философию перестройки, то на несколько месяцев перед съездом ближайшим окружением Горбачева стали «теоретики»: Александр Яковлев, Вадим Медведев, зав. сектором в Отделе пропаганды Наиль Биккенин, учившийся вместе с Раисой Максимовной на философском факультете МГУ, и помощник генсека Валерий Болдин.

Сваренная ими «каша» — отчетный доклад на XXVII съезде КПСС 26 февраля 1985 года — стала общим знаменателем устремлений столь пестрой «группы единомышленников», что больших революций в официальном мировоззрении не предвещала. Концепция начального этапа перестройки привычно укладывалась в ложе социализма и обещала возвращение к «истинным ленинским идеям». Кризисные явления в советском обществе, вызвавшие потребность в перестройке, объяснялись несовершенным качеством и незавершенной стадией строительства социализма. Трудности и недостатки, которые с пылом обличало новое руководство, списывались на «недостаточность социализма», из чего следовал естественный вывод: необходимо идти к большему, «лучшему социализму, а не в сторону от него». Именно так сформулировал первоначальную концепцию перестройки Горбачев не только в своем докладе, но и в вышед-

шей год спустя одновременно в Советском Союзе и в США книге «Перестройка и новое мышление». «Ответы на вопросы, поставленные жизнью, — писал автор, — мы ищем в рамках социализма, а не за его пределами... Вся наша программа перестройки как в целом, так и в ее отдельных компонентах полностью базируется на принципе: больше социализма, больше демократии».

В этом безупречном тексте внимательное ухо могло бы тем не менее уловить первые ноты идейных диссонансов, а то и робкого диссидентства. Построенный в Советском Союзе социализм, который, как выясняется, еще предстояло достраивать до «лучшего», истинного, в одночасье из статуса «развитого» переводился в категорию «недоразвитого». Одновременно объявлялось, что критерием оценки его совершенства и соответствия идеалу должно быть развитие демократии. Конечно, перед тем как впасть в подобную идейную ересь и поддаться соблазну демократического социализма, от которого рукой было подать до социал-демократизма, Горбачев и его команда добросовестно испробовали все варианты оживления социализма советского — большевистского.

Главный акцент в докладе на XXVII съезде был поэтому сделан по традиции на необходимости повышать «эффективность и качество, дисциплину и организованность трудящихся». Обещанная «глубокая реконструкция» народного хозяйства предполагала усиление централизованного руководства экономикой, которое должно было чудесным образом сочетаться с «расширением границ самостоятельности предприятий» и их права самим реализовывать сверхплановую продукцию. Эти старые хозрасчетные рецепты, выдаваемые за теоретические новации, конечно же, еще никак не предвещали вселенского половодья перестройки, которая вскоре должна была охватить своими амбициями все стороны общественной жизни Советского Союза, претендуя на статус новой Революции.

Если и было нечто революционное в докладе на съезде, так это его международная часть, сформулированная А.Яковлевым в соавторстве с В.Фалиным. В ней значительно откровеннее, чем во внутривластных разделах, была сделана заявка на отказ от традиционного «классового анализа» ситуации в мире

и провозглашались такие крамольные, «ревизионистские» тезисы, как глобальный характер процессов мирового развития и взаимозависимость, соединяющая народы и даже разные общественные системы в единую цивилизацию на основе «универсальных» принципов и ценностей. В своем комментарии к этому наброску будущего «нового политического мышления» Александр Николаевич пишет: «С помощью этого раздела доклада Горбачев хотел обозначить перед делегатами съезда и всей страной необходимость принципиального выбора: будем ли мы и дальше вариться в своем котле, или выйдем на широкое общение с миром».

Конечно, чтобы ухитриться выдать эти новые «общечеловеческие» подходы за развитие социализма и тем более за возвращение к истинному смыслу ленинского учения (Горбачев, например, заявлял в 1986 году, что, «по Ленину, социализм и демократия нераздельны». Вторя ему, А. Яковлев убеждал, что Перестройка — это «возвращение к ленинизму»), надо было либо откровенно лукавить, либо искренне заблуждаться. Годы спустя Михаил Сергеевич не постеснялся признаться: «Мы все разделяли иллюзии...» Однако осознать это в полную меру он смог только после того как попытался на практике реализовать свои первоначальные представления об «истинном ленинизме».

Список иллюзий, с которыми предстояло очень скоро расстаться не только Михаилу Сергеевичу, но и его соратникам, выглядел впечатляюще. Речь шла и в целом о состоятельности советской модели социализма как системы, способной функционировать в «естественном» режиме, не опираясь на силовое принуждение и идеологическое манипулирование. И о степени приверженности советского общества «социалистическому идеалу». И о возможности повторить в середине 80-х годов неосуществившийся замысел реформаторов «Пражской весны» 1968 года: обновить, омолодить, осовременить архаичный политический режим, обручив его с демократией. И о степени развитости, современности тогдашней советской элиты, ее знакомстве с азами политической культуры, способности цивилизованно, политическими методами решать общественные конфликты и урегулировать собственные внутренние противоречия.

Наконец, иллюзией и, как выяснилось, роковым просчетом Горбачева стала недооценка им одновременно и степени яростного сопротивления старой номенклатуры реформам, и разбухшего властного аппетита тех новых сил, которые породила перестройка. К будущим разочарованиям придется, увы, отнести и святую веру его во всемогущие демократии, в то, что она сама, подобно «невидимой руке» рынка, способна в одночасье стать универсальным, автоматическим регулятором любых общественных, в том числе и остроконфликтных, отношений даже в такой исторически непросвещенной, «дикарской» в смысле знакомства с азами демократии стране, как Россия. В стране, где к традиционной вековой отсталости в демократическом развитии добавился опыт 70-летнего внедрения «демократии» социалистической.

Опиравшаяся на принуждение Система не могла не спровоцировать накопления в недрах общества потенциала отторжения показушного социализма и развития консервативных и, в сущности, антисоциалистических рефлексов. Надо ли удивляться после этого, что откупоренная с помощью демократической «открывалки» герметически запааянная бутылка с перебродившей советской «брагой» выплеснула на свет божий совсем не то содержимое, на которое рассчитывал инициатор перестройки.

Правда, еще тогда, в «романтической» фазе перестройки, чтобы вместить в рамки своего «социализма с улучшенной планировкой» весь объем изменений, который он предполагал произвести, Горбачеву приходилось до такой степени растягивать его содержание, что границы такого социализма уходили за видимый горизонт. При описании признаков этого невиданного доселе мутанта, приобретающего планетарный масштаб, на помощь ему приходил профессиональный идеолог-пропагандист А. Яковлев (позднее, уже разойдясь со своим духовником первых перестроечных лет, Горбачев в сердцах обзовет его «заведующим Агитпропом всех эпох — от Брежнева до Ельцина»). Именно тот своей словесной ворожкой добивался растяжения понятия социализма до безразмерных масштабов, превращая таким образом в некий эквивалент царства абсолютного Разума и Добра. Когда истощались ресурсы традиционных определений социализма, на помощь призывались доказательства «от

противного». «Ничто в мировоззрении социализма, — объяснял Александр Николаевич, выступая в апреле 1988 года перед партаппаратом ЦК КПСС, — не предполагает вождизма, принижения роли масс, стирания индивидуальности человека, антигуманизма и беззакония». И обезоруживал своих оппонентов и сомневающихся риторическими вопросами: «Не грозило ли отходом от социализма беззаконие, глумление над людьми, топтание на месте, а затем и регресс в экономике, коррупция, разложение немалой части общества, паралич теоретической мысли и т.д.?» Понятно, что при подобном толковании и социализм, и перестройка, задуманная как его возрождение, закономерно превращались в «благотворный процесс, охватывающий все сферы жизни и тесно связанный с современным мировым развитием».

Другое дело, что подобное определение социализма уже больше практически ни в чем не зависело от марксизма и не нуждалось в нем. Исторический круг рассуждений и мечтаний о социализме, таким образом, по-своему логически завершился. Появившись на свет задолго до марксизма в морализаторских построениях социалистов-утопистов, эта притягательная социальная мечта возвратилась почти что в свою исходную точку в застенчивом постмарксизме генсека ЦК КПСС и «общечеловеческих ценностях» нового политического мышления.

Считать тогдашний политический союз между «отцом» и «архитектором» Перестройки подтверждением их органического духовного родства значило бы не заметить одного весьма существенного нюанса. Для Яковлева, во всяком случае, если верить его более поздним высказываниям, ритуальные поклоны в сторону Ленина и социализма только поначалу отражали его еще не преодоленные «заблуждения». «Мы пытались разрушить церковь во имя истинной религии и истинного Иисуса, еще только смутно догадываясь, что и наша религия была ложной, и наш Иисус поддельным». Однако очень быстро они превратились в вынужденную политическую тактику, оправдываемую тем, что проект перестройки, «начавшись внутри партии, мог заявить о себе только как инициатива, направленная на укрепление позиций социализма и партии». На заключительном же этапе «игра» в приверженность социализ-

му свелась для него, по собственному признанию, к политическому «лукавству», целью которого было избежать прямого столкновения с лагерем все более агрессивно выступавших консервативных противников.

Горбачев же, в отличие от своего штатного идеолога, все это время не прекращал попыток придать дорогому для него социалистическому идеалу современный облик, искренне веря в то, что, если из советского общественного организма удалить опухоль сталинизма и подвергнуть оставшиеся злокачественные клетки мощному демократическому облучению, его еще можно вылечить. Именно поэтому в 1985—1987 годах он так упорно стремился к «лучшему социализму», так агрессивно отбивался от своих радикально настроенных советников, подталкивавших его к выходу «за флажки» ленинизма. «Личный интерес надо, конечно, поощрять, но не за счет социализма. В конце концов, и Ильич бился над тем, как соединить личный интерес с социализмом».

Однако эти все более схоластические дискуссии о том, как изменить социализм не изменяя ему, все больше оттеснялись временем в сферу словесных декламаций и внутренних дебатов в советском руководстве, которые могли интересовать только их непосредственных участников. В сфере же практической политики Горбачев если и следовал своему кумиру Ленину, то прежде всего в том, что был безусловным прагматиком и мог, к счастью, не задумываясь пожертвовать почти любой идеологической схемой, включая и ту, в верности которой клялся еще вчера, чтобы достичь искомый результат. Такое «пластичное» поведение имело еще и те важные политические преимущества, что позволяло нередко сбивать с толку своих идеологических преследователей и противников как с левого, так и с правого берега, потому что он мог рассуждать как большевик, поступать как завзятый либерал, считая сам себя втайне классическим социал-демократом.

На эту многоликость, как бы ускользающую «истинную его сущность», отражавшую одновременно и непрерывную внутреннюю эволюцию и, конечно же, изощренную политическую тактику, стали позднее со все большим раздражением реагировать в его близком окружении, где каждый имел основание счи-

тать в тот или иной период Горбачева своим единомышленником. «Слова Горбачева, хотя и верные, — пишет один из таких его “единомышленников” Е. Лигачев, — оставались словами... В своих выступлениях он лишь отмечал свою позицию по тому или иному вопросу, однако на деле не боролся за ее проведение в жизнь». Чуть дальше он делает для себя неожиданное и сенсационное открытие: «В его позиции даже (!) проявлялась некая двойственность». Что ж, пусть с некоторым опозданием, он справедливо подметил особенности политической тактики генсека: «Провозгласить какой-то тезис ради успокоения различных слоев и политических течений, а на деле проводить другую линию».

В качестве примера Лигачев ссылается на поведение Горбачева по отношению к двум своим ближайшим и таким разным соратникам, как он и А. Яковлев, между которыми тот, то ли желая уравновесить одного другим, то ли столкнуть лбами, поделил на какое-то время ответственность за идеологию. «В важнейшем вопросе, об отношении к истории, — вспоминает Егор Кузьмич, — Горбачев в одном случае поддерживал меня, а в другом... Яковлева, хотя наши позиции взаимно исключали друг друга. Такое лавирование соответствовало его складу как политического деятеля».

Отражало ли это лавирование горбачевский вариант политического «слукавства», изощренный макиавеллизм, извращенную натуру партийного монарха, получавшего удовольствие от стравливания своих придворных? И вообще, в какой мере и в какой момент, задает сам себе вопрос Лигачев, «был он искренен»? Ему, человеку однозначных, категорических суждений, видимо, не ведавшему глубоких сомнений, было трудно представить себе, что его шеф мог быть искренен как раз в своей непоследовательности, что у него бывали моменты, когда он на самом деле не знал, чего хочет, кого предпочесть — Яковлева или Лигачева, поскольку чувствовал: каждый из них выражает свою часть истины.

Главное же, он не знал, чего хочет История, куда, в конце концов, она вывезет и выведет его самого, его страну и затеянную им реформу. В таких случаях он следовал, очевидно, золотому правилу летчиков-испытателей, попадавших во внештат-

ную ситуацию (Лигачев, учившийся в авиационном институте, сравнивал перестройку с самолетом, попавшим во флаттер — необъяснимую вибрацию): если не знаешь, что делать, не делай ничего. Так и Горбачев в ситуациях политической вибрации считал наиболее разумным довериться естественному ходу событий, видя свою роль в том, чтобы с помощью словесной анестезии успокоить, утихомирить, усыпить взбудораженное общество, предоставив возможность хирургу — Истории — делать свое дело.

Анализируя зарождение проекта перестройки и ее первые неуверенные шаги, один из самых авторитетных советологов Маршалл Шульман дает этому этапу, правда опять-таки задним числом, такое толкование: «В советских условиях попытки изменить Систему не могли рассчитывать на успех, если они предпринимались аутсайдерами, людьми, находящимися вне Системы. Она легко их нейтрализовала, используя свой испытанный репрессивный аппарат. Систему можно было изменить только усилиями инсайдеров изнутри, — а им приходилось до поры до времени играть по ее правилам». Американский профессор изложил все в принципе правильно, но не упомянул лишь один пикантный нюанс: вряд ли кто-то из участников проекта изменения Системы ставил ее радикальную трансформацию, а тем более разрушение, своей, пусть даже глубоко законспирированной, целью. Как раз наоборот, подавляющее большинство из них, включая и самого Горбачева, были искренними и истовыми приверженцами породившей и воспитавшей их Системы, — но только не той, что существовала в реальности, а лучшей, идеальной.

То, что Михаил Сергеевич не стесняется в этом признаться, не приписывает себе революционных замыслов, которых у него, по крайней мере поначалу, не было, позволяет больше верить ему, а не А.Яковлеву, а с недавних пор и Э.Шеварднадзе, заявляющим, что включились в перестройку чуть ли не с осознанным намерением взорвать неэффективную и антигуманную Систему изнутри. Это излишне. Им нет нужды приписывать себе изначальное «знание» Истории — предвидеть ее ход в деталях, по ленинскому замечанию, «не могли бы и 70 Марксов» — их совокупная историческая роль достаточно велика уже в силу тех

результатов, которые принесли не только их вольные, но и невольные усилия.

Точно так же немногого стоят и запоздалые заявления тех, кто, либо спохватившись, как путчисты 1991 года, либо разочаровавшись в затеянной с их участием реформе, пытаются возложить вину за происшедшее исключительно на одного генсека-президента. Все они на высшем историческом Суде будут сообщать нести ответственность за то, что в конце XX века коммунистический эксперимент, начатый в России революцией 1917 года, завершился в целом в цивилизованной, а не в кровавой форме. Одни могут этим гордиться, другие пробовать откреститься от своего соучастия, — это уже ничего не изменит.

Дело было не столько в их усилиях и намерениях, сколько в особенностях самой Системы. Оставленная в наследство Сталиным, она была столь «совершенной», что требовала только служения ей или обслуживания, а не улучшения. Будучи идеально защищенной от любых попыток разрушить ее извне, она имела лишь один изъян — не была застрахована от попыток «подправить» ее изнутри. Поэтому любой, кто, вроде Горбачева, исходя из лучших побуждений, выступал с проектом усовершенствования или модернизации, объективно превращался в ее самого опасного врага — «вредителя». Вождь хорошо это понимал или как минимум чувствовал, поэтому количество вредителей из числа главным образом правоверных коммунистов постоянно возрастало, несмотря на самую решительную с ними борьбу. Горбачеву в этом смысле, безусловно, повезло, чего не скажешь о Системе.

«Я ПОЙДУ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО»

В то время как в недрах Политбюро и в публичных политических дебатах, провоцировавшихся Горбачевым, продолжалось выяснение природы подлинного социализма, в повседневную жизнь все активнее проникали элементы новой реальности. Членам Политбюро волей-неволей приходилось спускаться с высот теоретических дискуссий и принимать практические решения по десяткам частных вопросов. И надо сказать, что здесь и они, и все секретари ЦК чувствовали себя и уверенней, и ком-

фортней, чем на затевавшихся Горбачевым политических диспутах, — единая школа партработников подготовила их к тому, чтобы заниматься «практическими проблемами»: уборкой урожая, подготовкой к зиме, устранению различных дефицитов и урегулированию постоянно возникавших локальных социальных и экономических кризисов куда лучше, чем к дебатам о гносеологических корнях политического идеализма.

Да и сам генсек «в охотку» подключался к такого рода житейским сюжетам, незаметно для себя возвращаясь из статуса Демиурга нового мира или лидера второй мировой сверхдержавы в амплу секретаря крайкома, отвечающего за все, что происходит на подведомственной ему территории, — от заготовки кормов до обеспечения школьников учебниками. Рефлексы партсекретаря, не забывшего, как он почти ежедневно «авралил», устраняя тромбы в сосудах административной системы, заставляли отвлекаться то на проблемы производства стройматериалов для облегчения индивидуального строительства на селе, то подпирать своим авторитетом заявки секретаря ЦК А.Бирюковой, требовавшей от Госплана больше сырья для производства товаров народного потребления. Тем не менее он быстро спохватывался и стремился использовать даже подобные частные примеры для обобщений, чтобы на их основе, как в свое время на опыте ипатовского или какого-нибудь другого «почина», обозначить контуры своей новой экономической стратегии.

В течение практически всего 1986-го и первой половины 1987 года эти попытки носили достаточно спорадический характер и отражали, как уже говорилось, тогдашние его надежды запустить механизм эффективного хозяйствования путем «повышения требовательности, укрепления дисциплины и наведения в стране элементарного порядка». Между тем еще на том этапе, не имея какой-то целостной концепции реформы, Горбачев при поддержке наиболее «продвинутой» части Политбюро попробовал снять с канонической социалистической экономики хотя бы некоторые вериги административного диктата.

Правда, эти первые «пробы пера», связанные с экономической реформой, никак не отнесешь к революционным. Верный своей идее «возвращения к Ильичу», он и здесь предпочитал

вернуться к ленинскому проекту спасения социализма с помощью нэпа и поощрения всеобщей кооперации. Однако даже первые шаги в этом направлении — попытки стимулирования личных хозяйств в деревне, разработка закона об индивидуальной трудовой деятельности, а позднее и закона о кооперативах, призванные снять железную узду с частника, — натолкнулись на враждебно-настороженное отношение в Политбюро. Несколько его членов, в частности М. Соломенцев и В. Чебриков, высказали опасения, что поощрение индивидуального хозяйства подорвет колхозы и вообще «бросит тень» на коллективизацию.

На одном из заседаний Политбюро в марте 1986 года Горбачев не выдержал: «Да что ты говоришь, — набросился он на своего тезку — Михаила Сергеевича Соломенцева. — Посмотри, ведь отовсюду сообщают: в магазинах ничего нет. Мы все боимся, не подорвет ли личное хозяйство социализм. А что его подорвут пустые полки, не боимся?» И тут же, чтобы его не заподозрили в крамоле, по своему обыкновению, укрылся за авторитет вождя: «Ленин ведь не боялся поощрять частника, даже когда государство было слабое. А нам-то чего бояться? Если где-то частник прорвется, у нас, я думаю, хватит ленинской мудрости, чтобы справиться». Выступать против «ленинской мудрости» у скептиков, разумеется, отваги не хватило. «И вообще, — развивал Горбачев под видом ленинских уже собственные мысли, — нельзя объявлять индивидуальную деятельность как таковую паразитической. Даже воровство воровству рознь. Есть воровство для наживы, а есть по нужде, из-за дефицита. Ведь если доски или другой стройматериал не продается, а у человека крыша течет, он все равно или как-нибудь достанет, или украдет».

Когда ленинских формул для оправдания тех или иных действий не хватало, Горбачев, не смущаясь, изобретал свои. Главным было — снабдить любое неортодоксальное понятие успокоительным эпитетом «социалистический». Так на свет появились загадочные, как инопланетные существа, словосочетания: «социалистический плюрализм», «социалистическое правовое государство» и, наконец, как венец творческого развития неисчерпаемой ленинской мысли — «социалистический рынок». Эта несложная камуфляжная методика работала. В засахарен-

ной «социалистической» оболочке и общество, и даже оргдокументы в Политбюро и в идеологическом отделе готовы были «заглотить» то, из-за чего еще недавно спускали с цепи и своих инструкторов, и Главлит, а в ряде случаев и КГБ: от идей рабочего самоуправления, явно зараженных духом югославского ревизионизма, до опять же «социалистических прав человека». Девиз, которым при этом Горбачев, привлекая в союзники Ленина, вдохновлял свою рать и отбивался от тогда еще единичных критиков, — «Не надо бояться!» — был действительно цитатой, но только из... Иоанна Павла II, о чем, впрочем, он вряд ли тогда знал. То, что эти два выдающихся мировых политика конца XX века, не сговариваясь, одними и теми же словами сформулировали свое кредо, лучшая иллюстрация справедливости французской поговорки: «Великие умы находят дорогу друг к другу».

Успешное жонглирование терминами расширяло поле для маневра, но за пределами удачных словесных конструкций — в политике, и особенно в экономике — дела перестройки продвигались туго. Одно из нынешних горбачевских объяснений таково: в самые первые годы, не определив для себя настоящие приоритеты, он и его сторонники пытались решать параллельно и унаследованные от прошлого, и совершенно новые проблемы. К тому же по инерции новое руководство какое-то время пыталось обеспечить стране «и пушки, и масло» — вопрос о реальном сокращении разорительных для экономики военных расходов никак не удавалось перевести в практическую плоскость. Дело в том, что Горбачев и его окружение попросту не представляли истинных масштабов затрат на содержание армии и ВПК. Только заняв кресло генсека и не без труда преодолев сопротивление военных, неохотно деливших информацию даже с высшим партийным руководством, Горбачев начал осознавать, сколь тяжелую ношу несет государство, заботясь о «защите Родины». «Вообще, с этой оборонкой мы докатились», — воскликнул как-то генсек на заседании Политбюро, призвав своих коллег «не пасовать перед генералами, которые боятся, что им нечего будет делать. Пусть успокоятся, еще на 4—5 поколений им работы найдется. А то шипят, что мы разрушаем оборону страны, когда 25 миллионов жителей живут ниже уровня, который мы сами объявили прожиточным».

И опять, будто убоявшись собственной смелости или вспомнив о реальном соотношении политических сил в ЦК, где военные составляли добрую четверть, примирительно «закруглял» свой выпад против генералитета, вкладывая вынутую было шпагу в ножны: «Самая крупная ошибка — это если мы ослабим оборону страны. Главное, только не транжирить, а думать о народе: чтобы и мир у него был, и при социализме жил». Это стремление — по-человечески объяснимая, но тщетная надежда, что удастся сохранить овец и накормить волков, примирить разбуженный личный интерес и социалистическую догму, демократию и ленинизм. Иначе говоря, отклонение от выбора или запаздывание с ним, свойственные компромиссной натуре Горбачева, во многом определили и содержание первого этапа перестройки, и облик политики, которую характеризовали как неуверенную и непоследовательную.

Сегодня нетрудно обвинять Горбачева в нерешительности, в том, что «золотая пора» перестройки — время общенародно-го энтузиазма и почти абсолютной поддержки со стороны общества — не была использована для того, чтобы решительными шагами (по-ельцински) перейти брод и поскорее оказаться на другом берегу, окончательно порвав с эпохой социалистических мифов. Однако и у самого Горбачева, и у его тогдашних сторонников припасены на этот счет для самозащиты сильные аргументы. Во-первых, если масштабы проблем, с которыми столкнулся «зрелый социализм» за 70 лет своего вызревания, были пусть лишь приблизительно известны новому поколению руководителей страны, то их подлинную причину еще предстояло выявить. И обнаружить, что и дело не в степени развития социализма, а в нем самом, по крайней мере в том виде, в каком он материализовался в Советском Союзе. Убедиться в том, что добавить «больше демократии» этому социализму означало, в конце концов, его убить. Если учесть, как и где формировались эти люди, с каким багажом и кругозором явились в высший эшелон государства (куда вход другим был попросту заказан), станет ясно, что даже для тех, кто оказался способен к прозрению, оно могло прийти лишь в результате опыта, набитых «синяков и шишек», а в ряде случаев и серьезного внутреннего кризиса.

Во-вторых, сказывалась несводимость в одной упряжке разных идей и людей — «конь и трепетная лань» тянули уже не просто в разные, но в противоположные стороны (Яковлев и Лигачев, Ельцин и Полозков, другие «ежи и ужи»). И это было не одно только желание Горбачева заставить всех «жить дружно»: первоначальная неразвитость внутренних противоречий реформы, столкновение личностей еще не вылились в конфликт интересов. Достаточно, например, вспомнить, что Лигачев был в свое время «очарован» Ельциным, что Болдин сосватал Яковлева в советники и спичрайтеры к Горбачеву, а сам Яковлев уговорил его назначить на освободившийся пост председателя КГБ Крючкова.

И опять же нельзя забывать и об особом характере Горбачева, искренне верившего, что спровоцированное им общественное потрясение, затронувшее властные и имущественные интересы влиятельных слоев общества и номенклатуры, не вызовет активного, а тем более агрессивного сопротивления. И все-таки не в мягкости натуры объяснение политической невнятности первого этапа перестройки. Вот авторитетное мнение о Горбачеве человека с репутацией «резкого» политика — Лигачева: «Нередко приходится слышать, что Горбачев — слабовольный человек. Это не так. Это кажущееся впечатление». Осенью 86-го, осознав, что с помощью одних только политических деклараций и телепроповедей «расшевелить» страну не удастся и каких-либо перемен в экономической жизни не происходит, он «по-лигачевски» насаждает в Политбюро на Ельцина: «Борис Николаевич, закрывай конторы в подвалах, выселяй оттуда чиновников и бездельников, отдавай все это под кафе, молодежные клубы, помещения для студенческих встреч». Несколькими месяцами позже, добившись одобрения на Пленуме ЦК плана экономической реформы, Михаил Сергеевич «навалился» на Рыжкова, требуя от него радикальных шагов, призывая «отказаться от полумер». Эти столь нетипичные для Горбачева всплески нетерпения, готовность вернуться к традиционно-штурмовому, обкомовскому методу решения экономических проблем отражали накапливавшееся раздражение, если не отчаяние инициаторов Перестройки, столкнувшихся с упорным сопротивлением среды и обнаруживших, как писал Яковлев, что

«их вера в то, что партия и народ не смогут не поддержать действительно честную и разумную политику, обернулась иллюзией».

Но хотя расставание с иллюзиями было, по-видимому, неизбежной ступенью, которую надо было одолеть и Горбачеву, и его окружению, и всей стране, прежде чем двинуться дальше, и с этой точки зрения время было потрачено не зря, генсека не покидало ощущение усиливающегося политического цейтнота. Именно оно заставляло его маневрировать, подходить к одной и той же проблеме с разных сторон и нервничать, когда обнаруживал, что ходит по кругу. Тогда он еще не осознавал, что круг очерчен флажками той идеологической догмы, с которой он еще никак не решался расстаться. А может быть, просто избегал публичности, считая это преждевременным. Ведь сказал же как-то своему помощнику А. Черняеву: «Я пойду так далеко, насколько будет нужно, и никто меня не остановит».

В этот критический для дальнейшей судьбы Перестройки момент Горбачев устоял перед двойным соблазном: он мог побрежневу смириться с обстоятельствами и, «освежив» фасад режима, отказаться от реальных попыток сдвинуть с места оказавшуюся неподъемной глыбу реформирования Системы. Этого ждала от него правящая номенклатура, пережившая разных реформаторов и успешно похоронившая не одну потенциальную реформу. Мог ринуться в популистские импровизации и соскользнуть в ловушку приказного и внешне радикального административного реформаторства. Это могло хотя бы на время поднять планку его популярности — ведь наш народ привык видеть в своих руководителях царей и вождей и ждать, что очередной «хозяин Кремля» уволит, разгонит, накажет кого надо, то есть наведет наконец в стране «порядок».

Он не сделал ни того ни другого и у тех и у других заслужил репутацию колеблющегося и нерешительного политика. Однако именно таким способом он сохранил для себя и для общества шанс двинуться дальше. Как считает А. Яковлев, «во многом преобразования были обречены на непоследовательность. Последовательный радикализм в первые годы перестройки погубил бы саму идею всеобъемлющей реформы». Этого не произошло, потому что Горбачев осознал: задуманная им революция только

тогда будет иметь шансы на успех, когда главным действующим лицом в ней станет само общество. Чтобы прийти к такому выводу, ему пришлось переформулировать один из вечных вопросов российской политики — «Что делать?» в «Как делать?», то есть поставить на первое место не содержание реформ (здесь у него еще не было полной ясности), а метод их осуществления.

Зрители, приготовившиеся было увидеть очередной политический спектакль из жизни советской верхушки, поначалу с недоверием отнеслись к тому, что их позвали на представление, а некоторые принялись освистывать режиссера. Однако сюжет оказался захватывающим, и все постепенно втянулись в игру.

...Отгремели аплодисменты в Кремлевском дворце. Финальной овацией, стоя, делегаты XXVII съезда КПСС подтвердили свою готовность идти за Генеральным секретарем без оглядки по неизменно «ленинскому» пути. Стране и миру в очередной раз было продемонстрировано нерушимое единство партии и народа. Проведя «свой» съезд и получив «свой» ЦК, он оказался в ловушке абсолютной власти — не только потому, что у генсека, по определению, не было оппонентов в партийном руководстве (каждый был обязан своим избранием или вознесением лично ему), но и благодаря выжидательно-благожелательной атмосфере в стране, дождавшейся наконец просвещенного «царя», как считали одни, или энергичного «хозяина», как надеялись другие.

Однако, именно достигнув официального всевластия, Горбачев острее, чем раньше, почувствовал его иллюзорность: все самые решительные и радикальные шаги нового руководства, все так долго откладывавшиеся решения, которые он и его единомышленники могли наконец принять, не производили почти никакого эффекта за пределами стен ЦК. Потрясенные было уходом со сцены целого поколения руководителей «номенклатурные галки» вновь, успокоившись, уселись на прежние ветки и терпеливо ждали, пока новый «молодой и горячий» лидер обрзумится и остепенится. Многие даже недоумевали по поводу продолжавшихся разговоров о реформе, искренне полагая, что смысл любой из них исчерпывается расстановкой на ключевых постах своих доверенных людей. XXVII съезд, с их точки зрения, успешно выполнил эту главную «реформаторскую» функ-

цию, и от политики, которая, как обязательная молитва, должна была сопровождать такие регулярные религиозно-партийные праздники, пора было переходить к более скромным мирским заботам.

Вопреки этим ожиданиям партийно-хозяйственного актива, Горбачев и его окружение не унимались. После съезда они умножили попытки вырвать из трясины зрелого социализма все глубже погружавшуюся в нее советскую экономику. «Мы все еще надеялись раскрыть потенциал системы и хотели на его основе ликвидировать промышленное и технологическое отставание, все очевиднее отделявшее Советский Союз уже не только от западного мира — в сфере электроники, по оценкам специалистов, к середине 80-х годов оно составляло от 10 до 15 лет, — но и от «братских» стран Восточной Европы, — объясняет Горбачев. — Для этого было разработано несколько программ догоняющего развития».

Все, что положено в таких случаях, казалось, было сделано. На электронику была выделена невероятная, по тогдашним понятиям, сумма в 11 млрд. рублей. Для ускорения развития и модернизации базы машиностроения создали специальный Совет, провели Всесоюзное совещание. Обратившись к опыту «старших товарищей», Горбачев на одном из заседаний Политбюро суровым тоном объявил вице-президенту Академии наук Евгению Велихову, что он и его сотрудники должны отныне считать себя также мобилизованными на ускоренное создание ЭВМ нового поколения, как Курчатов и его команда в годы создания советской атомной бомбы (невыполнение этого ответственного задания Политбюро следует объяснить все-таки не тем, что по своим профессиональным качествам команда Е.Велихова уступала командам Ю.Харитона или А.Сахарова, а скорее тем, что за спиной Горбачева не маячила тень Берии).

Когда Михаила Сергеевича уже годы спустя спрашивают, что представляло собой это «мы» в тот период, он без колебаний отвечает: «Мы — это, конечно, Рыжков, Лигачев, Воротников, одним словом, те новые члены партийного руководства, которые подтянулись во времена Андропова. Да и Медведев к этому времени уже был зав. экономическим отделом». Однако время шло, а провозглашенные с трибуны съезда и обещанные обще-

ству перемены все не происходили. Члены нового «узкого круга» начали нервничать. «Какой вопрос ни возьми, — жаловался на заседании Политбюро Н.Рыжков, — все в воду. Я думал, съезд создаст перелом. Линия ясная, а дело делать не получается. Или мы перестроим людей, или надо начинать гнать». Горбачев живо откликнулся: «Если не обеспечим поворота, загубим дело». В мемуарах он цитирует письмо университетского однокашника, который пишет ему из Горького: «Миша, знай, здесь ничего не происходит». После поездки в Тольятти рассказывает на заседании Политбюро: «Очень тяжелое впечатление от обкома и городского руководства. Заелись. Партийный аппарат страшно обюрократился. Боли нет за народ».

Из этих впечатлений складывался общий неутешительный итог, который он формулирует на заседании Политбюро 24 апреля 1986 года через два месяца после съезда: «Получается опять говорильня. Реальные дела захлестывает бумага. Самое опасное в нынешней ситуации — инерция». И делает первый оргвывод: «Начинать надо с головы. Сокращать аппарат, пусть сами потонут в своих бумагах. Иначе произойдет то же, что с Хрущевым, которому аппарат сломал шею». Соображения Горбачева тогда энергично поддерживал главный ответственный за партийные кадры Е.Лигачев.

Итак, если не получилось отыскать «главное звено», за которое можно вытащить тяжеленную цепь реформы, удалось по крайней мере определить основное препятствие на ее пути — среднее звено: забуревший, обюрократившийся партийный аппарат, непробиваемый консервативный слой, мешающий воссоединению реформаторски настроенного руководства с большинством населения, готовым с энтузиазмом его поддержать. Уточнив цель и скорректировав прицел, Политбюро решает перейти к решительным мерам. «Слюнтяи мы или централизованное государство?» — восклицает или спрашивает самого себя генсек. Позднее в своих мемуарах он напишет, оглядываясь на пережитый опыт: «Мы не думали, что перестройка будет идти так тяжело — и в экономике, и в партии, и в социальной сфере». И далее: при том, что «от народа исходил безусловный импульс — не отступать, двигаться вперед, — расшевелить партийный аппарат не удавалось».

В принципе шансов на это было не больше, чем у известного литературного персонажа, взявшегося вытащить себя из болота за волосы. Ведь партийному аппарату было предложено стать главным инструментом и рычагом той самой реформы, которая, он это «кожей» чувствовал, неминуемо вела к разрушению его монополии на управление жизнью страны, а следовательно, к отстранению от власти. То, что номенклатура почувствовала инстинктивно, инициаторы перестройки начали осознавать, только потратив немало сил и времени. «После съезда мы попробовали двинуться сразу по нескольким направлениям, — рассказывал Михаил Сергеевич, — приняли закон о предприятии, имея в виду подтолкнуть экономику на полный хозрасчет. Попробовали развернуть движение за «три С» — самофинансирование, самоуправление и самокупаемость. Начали вводить договорные цены и сокращать «госзаказ». И все это застревало. Номенклатура сопротивлялась отчаянно, потому что это означало изменение существующего порядка. Причем номенклатура разная — не только партийная, но и хозяйственная, и военная — генералитет и все, кто был связан с ВПК. Ведь это был элитарный сектор экономики, со своими привилегиями, самым современным оборудованием, самым лучшим снабжением, с хорошо обеспеченной жизнью в закрытых городах. А тут вдруг им на голову какая-то реформа. Пошли разговоры, что руководство не справляется, что от Горбачева надо избавляться. В этих условиях мы в Политбюро начали искать способ не только гарантировать необратимость перестройки, но и обозначить новый этап».

В подобных выражениях он характеризовал проблемы первого этапа перестройки. Уже отойдя от дел, на холодную голову подводил под свои тогдашние эмоции и в значительной степени импульсивные шаги теоретическую базу. А тогда, в горячке перестроечного «ускорения», ему и его соратникам приходилось блуждать в лабиринте совершенно новых проблем практически вслепую, забредая в тупики и то и дело наталкиваясь на глухую стену. И хотя то были стены Системы, рефлекс прошедшего типовую советскую партшколу руководителя поначалу заставлял Горбачева искать выход там, где его учили, — в смене кадров. «Главная причина застоя — кадровая, — объяснял он членам

Политбюро после съезда. — Если хочешь поправить дело, меняй кадры».

Большая часть 1986 года прошла под знаменем нетленной сталинской максимы: «Кадры решают все!» Однако даже молодые, не зараженные застоєм функционеры, становясь «шестеренками» продолжавшего вращаться прежнего механизма, начинали вести себя точно так же, как их предшественники. Оказалось, кадры решали не все. Хуже того, уже в среде новых горбачевских кадров начала зреть фронда и накапливаться угроза бунта на корабле — того самого мятежа номенклатуры, который смел Хрущева.

Горбачев недаром часто возвращался в мыслях к плачевному финалу «дорогого Никиты Сергеевича» и его захлебнувшегося реформаторства, размышляя о том, как ему самому не стать жертвой партийной бюрократии. Опыт двух других его предшественников — Сталина и Брежнева, избежавших этого, явно не подходил. Один с помощью газонокосилки репрессий постоянно подстригал аппаратный газон, выкашивая все, что чуть-чуть поднималось над установленным средним уровнем. Другой сам возглавил аппаратную рать и предоставил номенклатуре почти безбрежную власть над страной, выторговав себе пожизненный статус ее «крестного отца». Требовалось найти «третий путь», и Горбачев понял, что он ведет за ворота партийной ограды к тому обществу, которое ждало от него выполнения данных им обещаний. «Только открытая позиция и политика способны были разрушить диктатуру аппарата», — признается в своем антипартийном умысле бывший генсек ЦК КПСС.

Так, очень скоро после триумфального прихода к власти перед Горбачевым встала, хотя еще и отдаленная, проблема ее сохранения. Этот в подлинном смысле судьбоносный, то есть определяющий судьбу не только руководимой им страны, но и его самого вопрос, неизбежно, хотя и в разных формах, встает время от времени перед каждым политиком. Очень часто он неразрывно переплетается с другим вопросом: власть ради чего? Иначе говоря, с Проектом ее использования, от имени которого выступает любой политик, заслуживающий этого названия. (Оставим в стороне тех, даже если они составляют большинство,

для кого сама Власть, ее завоевание и сохранение и есть главный Проект их жизни — не о них сейчас речь.)

В случае с Горбачевым Проект, пусть поначалу неясный, менявший свой облик, содержание и направленность по мере того, как он начал реализоваться, — безусловно, присутствовал. Сама власть поэтому была для него прежде всего инструментом — средством, а не целью. Тем не менее, став верховным руководителем страны и получив наконец возможность приступить к осуществлению задуманного, он неизбежно и практически каждодневно должен был заботиться о сохранении этого инструмента в своих руках. Иначе говоря, о самосохранении у власти.

Разные политики, сталкиваясь с этой проблемой, решают ее по-разному — идя на компромиссы или, наоборот, отвергая их, жертвуя, кто принципами, кто друзьями, а кто-то и семьей. Неразрешенной и, по-видимому, неразрешимой проблемой остается сама возможность гармоничного примирения власти, как и политики в целом, с нравственностью. Политики, правда, могут успокаивать свою совесть, когда она начинает беспокоить, тем, что с этой точки зрения их профессия, будучи лишь одной из древнейших, отнюдь не уникальна.

Сам Горбачев на разных этапах карьеры решал проблему самосохранения во власти (естественно, во имя успеха начатого Дела) разными способами. (У нас еще будет возможность проследить за ним вплоть до декабря 1991-го — того момента, когда ему пришлось сделать, может быть, тяжелейший выбор в своей жизни: между Властью и тем Проектом, который он начал осуществлять с ее помощью.) Так или иначе, когда пока еще неясная угроза номенклатурной реставрации обозначилась на горизонте, он пошел на безусловно революционный шаг: в отличие от Хрущева, который, оказавшись во время мини-путча «антипартийной группы» в 1957 году в меньшинстве среди разъяренных его «изменой» наследников Сталина в Президиуме ЦК КПСС, обратился за поддержкой к Пленуму, Горбачев, спасаясь от ЦК и партаппарата, выбежал, прижимая, как ребенка к груди, свою Перестройку, на городскую площадь.

Уже в июне 1986 года на заседании Политбюро он начал формулировать ориентиры своей новой политики. Фаза «вытас-

кивания за волосы» партийно-государственного монстра заканчивалась, так, в сущности, и не начавшись. «Аппарат, в котором засела бюрократия, — бушевал на Политбюро Горбачев, — стремится скомпрометировать перестройку». В адрес самой партии, которая «начала перестройку», еще отвешивались дежурные поклоны. Однако «аппарат», а в условиях тогдашнего Советского Союза это означало всю управленческую структуру, был зачислен в категорию политических саботажников. «Чиновничество ничего не может, — рубил он. — Люди так привыкли к указаниям сверху, что их, может быть, придется принуждать к самостоятельности». Именно в эти недели и месяцы генсек, подталкиваемый приходившими с мест нетерпеливыми призывами «открыть огонь по штабам», начал собственную «культурную революцию»: осаду крепости советской номенклатуры. Тем самым, еще не зная этого, решительно свернул с пути, который мог повести задуманную им реформу по рельсам китайского «дэнсяопиновского» варианта.

Чтобы взять сопротивляющийся переменам аппарат в кольцо осады, необходимо было набрать рать со стороны — «развернуть демократический процесс». Знал ли тогда Горбачев, что бескорыстных услуг в политике не бывает и что общество, которое он собирался расшевелить и «взять в долю», скоро начнет ставить условия ему самому и неизбежно потребует в уплату за свое участие в перестройке значительную часть высвобождавшейся от партии власти? Даже если и допускал это, то наверняка не предполагал, что все произойдет так быстро и, как неожиданный дар получив из его рук свободу, общество оплатит ему неблагодарностью, хуже того, равнодушием к судьбе своего освободителя.

Чтобы поддеть рычагом перестройки бетонную плиту партноменклатуры, нужна была точка опоры, а лучше — несколько. Обнаружить их в условиях тотального доминирования одной партии в общественной жизни было нелегко. На помощь опять, как на спиритическом сеансе, был призван «дух Ильича». «Без Ленина мы заблудились, — констатировал он на Политбюро, — забыли про Советы». Вспомнить на 70-м году советской власти о Советах и о том значении, которое придавал им вождь рево-

люции, можно было, наверное, только от отчаяния. У Горбачева тем не менее не было выбора: формировать свое воинство предстояло из того, что было под рукой. «Мы оттеснили Советы от реальной власти, отодвинули на задний план. Боялись, что подорвем роль партии, а когда дошло до реального дела, партия разделилась. Одни делают, другие ждут, когда они сорвутся».

После очередных безрезультатно пролетевших недель тон его обвинений, адресованных партаппарату, становился все более агрессивным. Теперь уже сама партия превращалась для него в главное препятствие и, соответственно, в главный объект перестройки: «Без революционной перестройки партии ничего не выйдет, кроме умной и хорошей говорильни». Советы, как и любая другая непартийная структура, нужны были ему для давления на партию, разрушения ее монополии и связанного с ней аппаратного произвола. «Мы должны постоянно помнить об издержках однопартийной системы. Если контролировать некому, парработник превращается в чиновника». Так, не переставая божиться Лениным, последний генсек ЦК КПСС открывал для себя фатальные последствия введенной его кумиром однопартийности и импровизировал на тему Монтескье, пропагандируя членам Политбюро добродетели «разделения властей».

Однако ни на Советы, ни на профсоюзы, ни на «цивилизованных кооператоров», о которых, перечитывая политическое завещание Ленина, он тоже вспомнил, опереться не удалось. Все эти «приводные ремни» приводились в движение только одним маховиком — ЦК КПСС. Куда более реальную поддержку заложнику возглавляемой им партии оказали в тот период интеллигенция и пресса, разбуженные трубами Гласности.

Среди множества тревожных ночных звонков, о которых не любила вспоминать, но не могла забыть Раиса Максимовна, — звонок 26 апреля 1986 года, сообщивший о взрыве в Чернобыле, стоит особняком. Во-первых, из-за неординарного характера происшедшей аварии: подлинный масштаб трагедии был осознан руководством страны лишь несколько дней спустя. Во-вторых, это был первый и поэтому особенно зловещий сигнал, дурное предзнаменование, Знак Беды, навсегда пометивший пере-

стройку. Система взорвалась, как мина со сложным механизмом в руках неопытного сапера.

Став символом трагедии, оборвавшей и изуродовавшей жизни сотен тысяч людей, Чернобыль превратился в жесткую проверку обещаний перестройки, и прежде всего одного из наиболее обязывающих — обещания гласности. Озадаченное молчание Политбюро, пытавшегося уяснить для себя истинные размеры трагедии, попытки местных украинских властей, действовавших по привычному рефлексу, приуменьшить ее масштабы, чтобы «не огорчать Москву», ведомственный испуг тех, кто отвечал за конструкцию и эксплуатацию реактора, — все эти мелкие конъюнктурные хлопоты и заботы растерянных, не понимающих до конца всего, что случилось, людей, затянулись в один узел аппаратных и ведомственных интересов и интриг, который можно было разрубить, только проявив необходимую политическую волю.

Горбачев молчал в течение 14 дней. И хотя на уровне практических шагов реакция руководства была вполне адекватной случившейся трагедии, ни страна, ни внешний мир не имели полной ясности о том, что в действительности произошло. Хотя из-за вселенского характера катастрофы с первого дня было понятно, что скрыть ее не удастся, чтобы признать это, Горбачеву, видимо, требовалось взять чисто психологический барьер. Тот самый, который так и не смог преодолеть Ю. Андропов (находившийся, правда, между жизнью и смертью) в дни, когда советская ПВО сбила южнокорейский пассажирский самолет. Выступив по телевидению с обращением к стране и наконец-то откровенно рассказав о том, что произошло, Горбачев сделал важное для себя открытие: «чистосердечное признание» не только смягчило последствия удара, нанесенного политическому и моральному авторитету перестройки, но и развязало руки для более решительных действий в сложившейся экстремальной ситуации.

Применив на практике провозглашенную теорию гласности, он обнаружил, что открытость может быть ценнейшим политическим козырем. Облегчив душу, он с энтузиазмом убеждал членов ПБ: «Мы действуем под контролем своего народа и всего мира. Поэтому не будем ни от чего уклоняться. Скажем от-

кровенно о том, что произошло, — от нас ждут этого люди и у нас, и за рубежом». Пауза, взятая для размышлений над знаменем Чернобыля, не прошла для него даром. «Думать на уровне Чернобыля» — означало для Горбачева искать причину аварии не в одних только технических проблемах и административных проколах: «Все дело в том, что и многие наши «закрытые» министерства, и научные центры остались вне контроля. Вот к чему приводит монополия — не только в политике, но и в науке, и на производстве. Закрытость порождает во всей системе дух угодничества, подхалимажа, показухи, делает людей зависимыми от личных связей и кланов».

В этих тирадах звучал внутренне уже вынесенный приговор другой, главной Системе и одновременно сквозила наивная вера в то, что открытость, и гласность это и есть тот самый заветный ключик, открывающий доступ к замкам и кодам бронированного сейфа режима: «Не надо бояться своего народа! Гласность — это и есть социализм».

Уже не по поводу Чернобыля, отвечая на заседании Политбюро В.Чебрикову, возражавшему против публикации повести Василя Быкова «Знак беды», бдительно усмотревшему в ней «подкоп под коллективизацию», Горбачев шумел: «Да, перекосы будут. Все уплывет в потоке, который образуется. Будет и пена, и мусор, но все это знак весны, обновления, спутники демократизации. А ее маховик надо раскручивать... Не надо бояться. Главное, народ реагирует, поднимает голову. Бить по ней, опять командовать — значит изменить демократии».

РЕФОРМА? РЕВОЛЮЦИЯ? «РЕФОЛЮЦИЯ»?

Гласность еще и потому пришлась по душе (и по руке) Горбачеву, что, пользуясь ею как главным инструментом демократизации, он рассчитывал превратить начатую им перестройку из очередной попытки реформы в подлинную революцию. Конечно, грань между тем и другим изменчива, подвижна и вообще условна. И та и другая означает, разумеется, серьезные общественные перемены, но их глубина, как многократно подтверждала история, не зависит от выбранного термина. Сколько раз революции, или то, что ими объявлялось, в большей степени,

чем некие реформы, сводились к смене декораций (имен, названий улиц, памятников, портретов в кабинетах чиновников) во имя сохранения действующего порядка вещей. Свою попытку их разграничить, классифицировать, опираясь прежде всего на российский опыт, предпринял А. Солженицын, считавший, что реформы — это то, что «сверху». Ну, а революция (коли уж приключилась такая беда, такая катастрофа) — она снизу. «Революции не должно, не можно быть сверху».

Горбачев начал перестройку как реформирование внутри Системы. Обнаружив довольно скоро, что задуманное не получается, он, не успокоившись, пошел дальше — к реформе Системы. Это уже пахло революцией. Впервые о перестройке как о революции он, к изумлению многих, заговорил в Хабаровске во время поездки на Дальний Восток. Тогда еще, может быть, его больше привлекала звучность и яркость термина, чем его реальное содержание. Ведь в условиях режима, не устававшего напоминать, что он ведет отчет своего века от 17-го года, под новой революцией мог подразумеваться только «Анти-Октябрь».

Независимо от объективного смысла спровоцированных им событий, признать вслух такую крамолу Горбачев не мог, да и не хотел. Но при этом все чаще заводил речь сначала «о революционной перестройке», потом откровеннее о перестройке как «революции в умах, на производстве, в надстройке» (на заседании Политбюро 23 июня 1986 года). И, не удовлетворившись революцией как образом (что еще могли переварить привычные ко всему партпропагандисты), гнул свое, чтобы ни у кого не оставалось сомнений: «Перестройка — настоящая революция, потому что это глубокий процесс, — только бомбы не рвутся и пули не летят. Сегодня проходим период, равнозначный тому, как двигалась Россия от царской к социалистической». Однако то ли из благоразумия, то ли по естественному в ту пору незнанию не уточнял, в какую сторону вслед за ним двинется нынешняя социалистическая Россия: к большему, «лучшему» социализму, за его пределы или в сторону от него.

У самонадеянного и дерзкого, как казалось тогда многим, сравнения перестройки с Октябрем была на самом деле только интуитивно ощущавшаяся подоплека двух этих процессов.

В силу феодального характера российского общества переход от царизма к большевизму во многих отношениях проходил проще, чем начатый перестройкой сдвиг к малознакомому и исторически чуждому России либерализму, предполагавшему не смену верхушечных структур, а трансформацию несущих уровней общества... В своей книге «Перестройка и новое мышление» Горбачев пытался успокоить теоретиков-ортодоксов: «Перестройка — это революция сверху, так как происходит по инициативе партии. Это не стихийный, а направленный процесс». И тут же, почувствовав, видимо, как Солженицын, что «революция сверху» — это извращение, пробует с помощью словесной эквилибристики вывернуться из ловушки: «Своеобразие и сила перестройки в том, что это одновременно революция сверху и снизу».

Насчет революции, революционной реформы или, если хотите, «революции» сверху, все понятно. О том, что «снизу», все обстоит куда проблематичнее. Включившись в эти исторические дебаты, А.Яковлев высказывался трезвее («о драме революции сверху, соединяющей очевидные плюсы (сохранение преемственности, общественного консенсуса, поддержание политической стабильности, возможности использовать демократически настроенную часть государственного и партийного аппарата и прочее) с минусами: руки, связанные прошлым, половинчатость, попытки соединить несоединимое»). Видел, больше того, наверняка постоянно ощущал в своих ежедневных хлопотах эти минусы и Горбачев, поэтому — разумом ли, инстинктом — тянулся к тому, что могло подвести под перестройку реальный фундамент — ведь ни серьезной политической, ни тем более социальной базы у его «революции сверху» еще не было. Ее предстояло создать, слепить из туманных общественных ожиданий, романтических мечтаний «шестидесятников» и только проклевывавшихся агрессивных и откровенно корыстных интересов еще не народившегося среднего класса и будущей посткоммунистической буржуазии.

Точнее было бы назвать горбачевскую революцию «превентивной», замысленной как способ избежать неминуемого кризиса и, как его следствия, возможной подлинной революции «снизу» со всеми ее российскими прелестями: бунтом, насилием,

гражданской войной и так далее. Предпринять такую попытку могло то руководство, которое, обладая реальной информацией раньше остального общества и видя приближающийся край обрыва, решилось бы нажать на тормоза или попробовать отвернуть в сторону. Главная проблема такого демарша в том, что остальное общество в своей массе не видит, не осознает этой «грозящей катастрофы», поскольку благодаря усилиям своих же руководителей вынуждено жить в иллюзорном пропагандистском мире и поэтому не только не подталкивает реформу «снизу», но, наоборот, колеблется, недоумевает и даже сопротивляется реформаторам.

Преодолеть это «сопротивление материала», поднять «низы», превратить общество из объекта в активного субъекта и участника своего Проекта и хотел Горбачев с помощью демократизации и гласности. Его краткосрочный политический интерес был очевиден: он нуждался в обществе как в союзнике против бюрократии, его мотивы и моральные посылы — пробудить «творчество масс», помочь родиться «свободному русскому человеку», добиться, чтобы «засияла социалистическая демократия», и отбросить «все, что поросло мхом», — были безупречны и более чем похвальны. Однако просчитывал ли он, куда приведет его и страну этот в действительности революционный замысел?

После первой встречи и продолжительной беседы один на один с Горбачевым в Елисейском дворце в октябре 85-го президент Франции Франсуа Миттеран сказал своим ближайшим советникам: «У этого человека захватывающие планы, но отдает ли он себе отчет в тех непредсказуемых последствиях, которые может вызвать попытка их осуществить?» На Миттерана явно произвела впечатление решимость нового лидера подвергнуть критическому пересмотру все основные механизмы советской системы. Вряд ли он знал о ленинском призыве «не бояться хаоса», зато наверняка был знаком с рассуждением Андре Бретона о «созидательном разрушении». Но тот был божественным писателем и художником, «папой сюрреализма», а не руководителем крупнейшей мировой державы.

Кстати, всегда ли помнил Горбачев о том, какую именно страну он собрался одной лишь политической проповедью, как миссионер, обратить в демократическую веру? Михаил Сергеев-

вич патетично восклицает: «Мы верим, что процесс демократизации разбудит народ». Сколько таких надежд инициаторов захлебнувшихся российских реформ покоится под их обломками! Опыт российского реформаторства, пишет известный историк О.Ключевский, знает два классических образца — петровскую «палочную» европеизацию и екатерининскую формулу: «реформы следует внушать, а не внедрять, подсказывать, а не приказывать», — не слишком успешно, впрочем, применявшуюся на практике.

Горбачев, уверяя всех в том, что он ленинец, конечно, был убежденным «екатерининцем». Или, выражаясь в терминах XX века, скорее реформистом, чем революционером. «По своему внутреннему содержанию, — настаивает он, — перестройка была революцией, но по форме это был эволюционный, реформистский процесс». Вся проблема в том, что примирить понятия, скрестить, «поженить» революцию с реформой проще, чем сплавить воедино благообразный европейский реформизм и «конармейскую» революционную решимость. Сделать это в России с ее традицией колебаний между бунтами и деспотиями трудно вдвойне. Особенности русской национальной политической традиции многократно описаны и, казалось, должны предостеречь, отвлечь любого серьезного политика от попыток привить требующий деликатного обращения и ухода выюнок реформизма на каменистой российской почве.

В 1920 году русский писатель К.Леонтьев писал: «Общественные организмы, вероятно, не в силах будут вынести тех хронических жестокостей, без которых нельзя ничего из человеческого материала построить. Вот разве что союз социализма («грядущее рабство», по мнению либерала Спенсера) с русским самодержавием и пламенной мистикой... — это еще возможно, но уж жутко же будет многим... А иначе все будет либо кисель, либо анархия...»*

Вряд ли большевики могли бы в полной мере воспользоваться рецептом того, кого позже клеймили как крайнего реакционера и мистика. Разбудив сначала анархическую энергию русского бунта, они впоследствии, чтобы избежать «киселя», подарили стране жуткую деспотию.

* Константин Леонтьев. Письма к Василию Розанову. М., 1983. С. 77.

Еще один органический противник политического «киселя» Б.Ельцин, наверняка не знавший даже о существовании такого философа, воспроизводит в своих «Записках президента» все ту же клиническую формулу типовой российской реформы. Отвечая Солженицыну, который выступил против ельцинско-гайдаровской «шоковой терапии», заметив, что ни один любящий сын не станет лечить таким методом свою мать, российский президент отрезал: «Только так — на слом, на разрыв — порой человек продвигается вперед, вообще выживает».

Свой заочный диспут он, конечно же, вел не с известным писателем, а со своим кровным историческим соперником — Горбачевым. Именно тот, будучи принципиальным противником «ломать людей через колено», попробовал применить в российской реальности то, что в случае успеха стало бы подлинной революцией в лечении общественных болезней: не костоправство, а политическую гомеопатию. Исходил он при этом из редкого для наших отечественных политиков убеждения в том, что традиционно применявшиеся методы — силовые, административные, — создавая видимость разрешения проблем, на деле образуют завалы для будущего.

Выбор ампулы профессионального эволюционера в прирученной к бунтарям-анархистам и деспотам стране мог означать либо вопиющую наивность, в чем Горбачева не устают обвинять российские критики, либо высшую политическую мудрость, за которую его не устают превозносить главным образом западные поклонники. Американский политолог Самюэль Хантингтон, прославившийся своей концепцией «конфликта цивилизаций», почти тридцать лет назад, не ведая о будущем «миллионе терзаний» последнего генсека ЦК КПСС, так определил разницу между революционером и реформатором (точнее было бы сказать — реформистом): «Революционер должен быть способен противопоставить друг другу социальные силы, реформатор должен манипулировать ими. Реформатору вследствие этого требуется обладать политическим искусством на порядок выше, чем революционеру. Реформа является редкостью уже из-за того, что редко встречаются политические деятели, способные воплотить ее в реальность. Удачливый революционер не обязан

быть искусным политиком, удачливый реформатор не может им не быть»*.

Горбачев, которого к удачливым реформаторам отнести трудно — по его убеждению, не бывает «счастливых реформаторов», — действовал вопреки всем предостережениям специалистов по российской специфике. В своей Перестройке — революции одновременно «снизу» и «сверху» — он задумал соединить неизбежную и необходимую авторитарность царской (партийной) реформы с разбуженной стихией вечного народного призыва к свободе. Свободе, которая в российских условиях практически никогда не воспринималась иначе, чем «воля», то есть анархия. Да и сам Горбачев, казак из Привольного, похоже, несмотря на годы интеллектуальной огранки в МГУ и политической шлифовки в жерновах партаппарата, куда как естественнее чувствовал себя в роли вожака, атамана стихийного политического процесса, чем в скучной и хмурой должности хранителя общественного порядка. У часто цитировавшегося им Наполеона он позаимствовал не «священный ужас» перед беспорядком (*une horreur sacrée du désordre*), а крылатый афоризм: «*on s'engage et puis, on verra*» — «надо вязаться, а там будет видно». Этим же афоризмом на начальной фазе русской революции любил пользоваться и лидер большевиков. Горбачев переиначил его на свой лад: «Главное начать, и процесс пойдет».

Обращаясь к народу, да еще в России с расчетом использовать его подъем против бюрократии не только в разрушительных, но и в созидательных целях мог только человек, либо надеявшийся, что сама демократия рано или поздно введет полководье анархического протеста в берега политических и государственных структур, либо очень веривший в самого себя и свои способности не выпустить события из-под контроля. Вспоминая об особенностях его характера, Зденек Млынарж весной 1985 года в интервью итальянской газете «Унита» сказал: «Миша — человек, обладающий очень многими качествами незаурядной личности. Но он очень самоуверен, и это может дорого ему стоить».

* Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка // Pro et Contra. М., 1997. Т. 2. С. 127.

«ГДЕ СИДИШЬ, ТАМ И ПЕРЕСТРАИВАЙСЯ»

К осени 1986 года Горбачев окончательно сформулировал для себя девиз нового этапа реформы — тотальная перестройка партии, государства, экономики. Ее рычаг — демократизация Системы. В своих политических выступлениях он определял свой новый курс оиять-таки как «возвращение» к ленинской идее поощрения «творчества масс». Для самых непонятливых в партийном аппарате формулировал это более доходчиво: «Там, где сидишь, там и перестраивайся». Идея перестройки как новой революции, нового «правильного» Октября увлекала его все больше, тем паче, что на горизонте замаячила впечатляющая дата — 70-летие Октябрьской революции. И к юбилею надо прийти с новым «исправленным» социализмом, возведенным по ленинским заветам, хотя и не строго по его рецептам.

Лидер перестройки поставил перед собой грандиозную цель: добиться, наконец, превращения социализма в реальную альтернативу капитализму. «Не надо бояться сейчас громких слов. Беда, если ограничимся только словами, какими бы правильными и красивыми они ни были». Одним из главных фронтов, где, если уж речь зашла о демократизации Системы, важно было преодолеть отставание от капитализма, были злополучные права человека. Выяснилось, что в этой област. даже проще перейти от слов к делу, чем в сфере экономики. Требовалась лишь политическая воля руководителя. Первым было снято табу с вопросов свободы выезда из СССР. К этой теме в свое время примерялся, судя по его мемуарам, еще Н.Хрущев, высказывавший естественное для правоверного коммуниста недоумение: «Если социализм — это рай для трудящихся, зачем обносить границы колючей проволокой и удерживать здесь людей насильно? Они сами должны сюда стремиться».

Менее простодушный Горбачев тоже начал с того, что поставил в повестку дня вопрос «Об упрощении практики выезда и въезда в Советский Союз». Это предполагало возможность двустороннего движения через советскую границу, причем количество желающих въехать в страну «перестроенного социализма» теоретически могло многократно превысить число выезжающих. «Кто-то хочет ехать за границу на 3 месяца, а мы ему —

месяц и баста! И вообще, если хочет сбежать, велика беда! Это даже не потеря, а приобретение, чтобы всякая шваль туда убралась. Всех, кого можно отправить за границу без ущерба для безопасности, всех отправлять — метлой! Все это часть демократизации, которая должна охватывать все сферы жизни».

Лукавство этого бравадного пассажа из выступления генсека на Политбюро в том, что помимо заявленной им высокой цели — создать свою «концепцию прав человека», отвечающую духу нового политического мышления, поднятый вопрос о высылке «швали» преследовал вполне прагматическую цель: приближалась очередная встреча с Рональдом Рейганом, а поскольку американцы, как обычно, заранее подготовили к ней список советских «отказников», за которых собирался ходатайствовать президент США, Горбачев хотел «вынуть у него изо рта» эту острую тему.

Первым из заметных правозащитников получил свободу и смог выехать за границу Юрий Орлов. Значительно более сложной с точки зрения внутренней политики представлялась проблема самого знаменитого советского «узника совести» — нобелевского лауреата Андрея Дмитриевича Сахарова.

Чтобы психологически подготовить Политбюро, Горбачев с немалой долей актерства разыграл этот сюжет так, будто Сахаров чуть ли не «отсиживается» в Горьком, в то время когда «вся страна пришла в движение». «Хватит ему там сидеть без дела! Пусть Марчук (тогдашний президент Академии наук. — А.Г.) съездит к нему и скажет, чтобы возвращался. Квартира, дача, машина — все в Москве сохранено. И пусть Марчук скажет, что советовался в ЦК».

После того как ПБ, поморщившись, проглотило это заявление, возвещавшее начало демонтажа уже не сталинского, а андроповского наследия, Горбачев счел, что дальнейшая дорога разминирована, и решил, не прячась за спину, сам сделать этот сенсационный политический жест.

16 декабря 1986 года немногословные люди в гражданской одежде, но явно с военной выправкой, не спрашивая разрешения жильца одной хорошо охраняемой квартиры в Горьком, установили в ней телефон. По нему позвонил Горбачев и предложил «ссылному» академику вернуться в Москву к своим про-

фессиональным занятиям и к «служению Отечеству». Для соблюдения приличий (как их понимало партийное начальство) было «выпущено» никого не обманувшее короткое сообщение ТАСС, в котором говорилось: «Академик Сахаров обратился к советскому руководству с просьбой разрешить ему возвращение из Горького в Москву. В результате рассмотрения этой просьбы компетентными организациями, включая Академию наук СССР и административные органы, было принято решение удовлетворить эту просьбу. Одновременно Президиум Верховного Совета СССР принял решение о помиловании гражданки Боннэр. Таким образом, им обоим предоставлена возможность вернуться в Москву, а А. Д. Сахарову — и активно включиться в академическую жизнь, теперь — на московском направлении (?! — А. Г.) деятельности АН СССР. Утром 23 декабря А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр поездом прибыли в Москву».

Возвращение в Москву после семилетней ссылки всемирно известного ученого и правозащитника стало первым политическим сигналом Горбачева Западу, подтверждающим серьезность его намерений в деле демократизации режима. До сих пор к его декларациям по этому поводу там относились как к очередной, лишь более изощренной пропагандистской кампании. Внутри страны сенсационные сдвиги в отношении властей к «диссидентам», еще совсем недавно воспринимавшимся как опасные государственные преступники, должны были подтвердить объявленное с высоких трибун движение в сторону уже не только «социалистического», а нормального правового государства. Его сущность для доходчивости Горбачев выразил в броской, хотя и упрощенной формуле — «Разрешено все, что не запрещено законом». Если учесть, что значительная часть законов предыдущей эпохи находилась в процессе пересмотра, а само соблюдение законов, будь то властями или населением, никогда не было национальной российской традицией, легко понять, что от нового правового государства повеяло бакунинским анархизмом.

Постепенно начали облетать «социалистические» обертки и с других запущенных перестройкой в оборот политических понятий, включая самое взрывоопасное — плюрализм. Когда же в январе 1987 года на Пленуме ЦК в своем докладе Горбачев

объявил о предстоящей глубокой политической реформе и произнес роковые слова — «избирательная система не может не быть ею затронута», — мраморный зал заседаний верхушки партии, с ленинских времен единолично правившей страной, как будто наполнился запахом ладана, а некоторым членам ЦК показалось, что они находятся внутри Мавзолея.

Дополнительным аргументом в пользу того, чтобы сосредоточиться на политической реформе, отодвинув на второй план остальные аспекты перестройки, стали проблемы с экономической реформой. Несмотря на то что в своем докладе на XXVII съезде он назвал радикальную реформу экономики среди приоритетов перестройки, дело в этой сфере практически не двигалось. Правда, к лету 1987 года был подготовлен проект такой реформы, а в июле для его одобрения создан специальный Пленум ЦК. По замыслу Горбачева, после «политического» январского Пленума, расчистившего путь к демократизации общественной жизни, настала очередь демократизировать экономику. Надо было и в этой области разрушить монополию бюрократии, на этот раз хозяйственной, и переходить от административных методов управления экономикой к «товарно-денежным» (слово «рынок» даже с эпитетом «социалистический», по-прежнему вызывало аллергию у участников пленума).

В конце концов, после «трудной» многочасовой дискуссии с Н.Рыжковым на сталинской даче в Волынском премьер уступил, и пленум дал зеленый свет началу перестройки в экономике. Однако на практике экономическая реформа не заработала, поскольку, по версии Горбачева, «Николай Иванович спустил все на тормозах». В действительности же дрогнуло все политическое руководство. Едва правительство заикнулось, что цены на хлеб и макароны будут «скорректированы», пусть даже с выплатой компенсаций населению, как поднявшийся ропот тогда еще не знакомых с императивами рынка советских граждан заставил высшее руководство, а прежде всего самого Горбачева, отступить.

Пенять было не на кого. Разбуженное в соответствии с его сценарием общество начало подавать голос и другие признаки жизни. Оказалось, что политическая реформа не только усадила

страну перед телевизорами, но и, построив ее в пикеты, вывела на рельсы перед локомотивом экономической реформы, пока еще разводившим пары. Прижатый к стене собственными аргументами, Горбачев спасовал перед «творчеством масс» и публично пообещал, что впредь никакого повышения цен «без совета с народом предприниматься не будет». После такого обещания о движении к рынку можно было на время забыть. Тем самым отодвигалась перспектива расширения социальной базы горбачевской революции за счет формирования класса новых предпринимателей и собственников в городе и на селе. Сетуня об «отложенных» преобразованиях в деревне, Михаил Сергеевич задним числом сокрушается: «Надо было взрывать колхозы экономически. Начать активнее строить там дороги, смелее раздавать земельные участки для обработки. Я думал запустить туда такой вирус, как аренда — и в земледелии, и в животноводстве. Ведь начали было, и дело пошло. Надо было идти до конца, поощрять средний класс». А раз «до конца» не пошли, послаблениями в прежде суровом законодательстве и дозированными льготами для кооператоров смогли воспользоваться только вышедшие на белый свет «теневики», ставшие зародышем «новой русской» буржуазии.

Поскольку из-за саботажа управленцев и недостаточной «сознательности» общества, отказавшегося «демократически» проголосовать за повышение цен, экономическая реформа оказалась заблокированной, у Горбачева оставался единственный способ двигать перестройку дальше — наращивать политическое наступление. Для Н.Рыжкова, у которого, естественно, другая версия событий, нет сомнений, что именно «безумное политическое ускорение» смело в тот период шансы на серьезную поэтапную реформу экономики...

К концу 1987 года Горбачева поглотили заботы, связанные с 70-летним юбилеем Октябрьской революции и подготовкой доклада, посвященного этому событию. Провозгласив перестройку «своей» революцией, он теперь уже был вынужден примерять масштабы пока еще задуманных преобразований к Октябрю, а значит, вопреки собственным начальным намерениям, «бросить вызов» своему кумиру — Ленину. Разумеется, в юби-

лейном докладе даже намека на это быть не могло. Генсек лишь окончательно отмежевался от Сталина и, как бы отвечая своим дедам, не верившим, что вождь имел отношение к их страданиям, поставил все точки над «і», заявив: «Сталин знал». Главной новацией доклада была официальная реабилитация Н. Бухарина, воспринятая партийными догматиками (в то время в эту категорию помимо Е. Лигачева входил и Б. Ельцин, также считавший, что с подобного рода деликатными сюжетами не надо «слишком торопиться») как преждевременная, а радикализовавшимся общественным мнением как недостаточная и робкая. В результате доклад не удовлетворил ни радикалов, ни консерваторов и, может быть, поэтому до сей поры остается предметом гордости «центриста» Горбачева: «Главное, что я не закрыл, а открыл дискуссию».

К этому моменту он внутренне созрел для того, чтобы освободиться уже не только от Сталина, но и от остальных своих предшественников — «улучшателей большевизма» — Хрущева и Андропова, и, пока еще подспудно, самого Ильича. «Зазор» между Сталиным и Лениным, в котором вместе с другими «шестидесятниками» он рассчитывал найти формулу идеального, так и несостоявшегося Октября, был дотошно исследован, многократно и безрезультатно опробован на практике и оказался бесплоден. Теперь Горбачев мог с чистой совестью человека, обшарившего все сусеки оставленной ему в наследство Системы, ополчиться на «плакальщиков» по поводу его отступлений от социализма и обозвать их воинствующими демагогами, догматиками и «теоретиками отставания».

«К 1988 году, — писал он в журнальной статье, подводя десятилетний итог перестройки, — мы осознали, что без реформирования самой системы не сможем обеспечить успешное проведение реформ (с этого момента можно говорить о втором содержательном этапе перестройки. Он базировался уже на других идеологических позициях, в основе которых лежала идея социал-демократии)». Понятие «мы» к этому времени тоже становилось другим. Рыжков и Лигачев оставались в нем все более номинально, а с октября 1987 года из горбачевской обоймы выпал и еще один патрон, которым он особенно и не дорожил, посчитав за «холостой», — Борис Ельцин. Небрежно отмахнув-

шись от его обид, изложенных в просьбе об отставке, Горбачев пробудил дремавший внутри Ельцина ядерный реактор неудовлетворенного самолюбия, которое после унижительной экзекуции на пленумах сначала ЦК, а потом Московского горкома начал принимать политическую форму.

Период эйфорического единения постбрежневского руководства вокруг проекта неясных перемен и личности нового генсека заканчивался. Начиналась пора жесткого столкновения уже не только различных характеров и амбиций, но и интересов, и ее исход, как в любой борьбе антагонистических тенденций, был непредсказуем. Сам Горбачев, устроив, как примерный сын, достойные поминки по Октябрю, теперь должен был думать о самостоятельном устройстве жизни. Он продолжал считать себя марксистом, но уже только в тех рамках, которые в свое время обозначил для себя основательно изученный им Ленин: «Марксист должен учитывать живую жизнь, точные факторы действительности, а не продолжать цепляться за теорию вчерашнего дня»*. Пожалуй, только в этом смысле он оставался, как сам считал, верным ленинцем. Однако, приняв решение выйти за рамки ленинской модели социализма, партии «нового типа» и концепции однопартийного государства, он начал выходить из «кокона» реформатора, превращаясь в кого-то, кого еще до сих пор не было — Горбачева.

* Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 134.

Глава 5 ГЕНСЕК ЗЕМНОГО ШАРА

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

Как любая уважающая себя революция, Перестройка не могла долго оставаться заключенной в границах одного государства. И хотя горбачевский Апрель не грозил, подобно ленинскому Октябрю, раздуть «на горе всем буржуям» мировой пожар, о «планетарном» значении Перестройки заговорили в Кремле достаточно скоро. Летом 1986 года на одном из заседаний Политбюро Горбачев с явным удовольствием процитировал Войцеха Ярузельского, сказавшего, что «призрак XXVII съезда бродит по капиталистическому миру». По мере того как собственные политические амбиции Горбачева в реформировании советской системы перерастали намерения «простого лудильщика», его проект должен был неизбежно приобрести «всемирно-историческое» звучание. На первоначальном, «разгонном» этапе Горбачеву в этом активно подыгрывал А. Яковлев, автор основных формулировок международного раздела доклада на XXVII съезде, в котором лидер советских коммунистов впервые после 1917 года заговорил не о непримиримой борьбе «двух миров», а о мире едином и «взаимозависимом».

Мировая история в результате этого превращалась из рассчитанного историческим материализмом и точного, как железнодорожное расписание, графика смены формаций в неразрывный и общий процесс. Правда, отдавая дань ритуалам того

периода и, надо полагать, тогдашним собственным «шестидесятилетним» корням, еще не перейдя полностью в новую веру, Горбачев и Яковлев продолжали выводить гуманистический ориентир и универсальную ценность Перестройки из «истинного марксизма». К примеру, как ни парадоксально это прозвучит сегодня, осенью 1986 года, в разгар работ по ликвидации чернобыльской аварии, Яковлев объяснял в одном из своих публичных выступлений: «Именно мы, марксисты, обязаны разработать стратегию спасения человечества от экологической катастрофы».

Вера в изначальный гуманизм истинного, не замутненного прикладной политической конъюнктурой марксизма, как аромат духов в герметически закупоренном флаконе, хранилась десятилетиями в сознании нескольких поколений интеллигентов, выращенных в советской «реторте». Даже такой, абсолютно свободный от политических соблазнов и внутренне бескомпромиссный поэт, как Давид Самойлов, вспоминая об интеллектуальной атмосфере, в которой жили фрондировавшие студенты-ифлитовцы 40-х и даже начала 50-х годов, говорит об объединявшей многих из них вере в мировую миссию «откровенного марксизма». Люди, менее романтически и идеалистически настроенные, умудренные жестоким опытом практического воплощения марксизма в советской истории, давали свое, более приземленное объяснение желанию инициаторов перестройки взмыть в разреженную атмосферу мировой политики (и истории). Наблюдавший с близкого расстояния за несколькими поколениями советских лидеров А.А.Громыко так снисходительно и ревниво комментировал в разговорах со своим сыном тягу Горбачева к выходам в «политический космос»: «Когда у руководителей начинают накапливаться нерешенные домашние проблемы, они, как правило, переключают внимание на внешнюю политику».

Тем не менее разворот генсека почти сразу же в сторону внешней политики был связан не со стремлением «спастись» в ней от накапливавшихся внутренних проблем (будущее рисовалось ему и его коллегам еще исключительно в розовом цвете) и даже не с прорезавшимся на короткое время мессианством, принявшим форму катехизиса нового политического мышле-

ния, а был вызван вполне приземленным практическим интересом. Еще в андроповские и черненкоовские годы на этапе своей «стажировки» для будущей роли генсека Горбачев, а также солидарные с ним Лигачев и Рыжков пришли к выводу, что советская экономика буквально придавлена глыбой военно-промышленного комплекса.

Реальных цифр расходов на ВПК они, будучи в то время во втором эшелоне власти, разумеется, не знали. Как потом признавался Михаил Сергеевич, даже переместившись на высшие посты, они, к своему изумлению, обнаружили, что подлинные суммы затрат не были известны и высшему руководству. Во-первых, «оборонку», пронизавшую своими метастазами большую часть экономики страны, было просто невозможно полностью «обсчитать», не говоря уже о том, что многие расходы, растворенные в разных статьях бюджета, руководство армии и ВПК прятало от партийного начальства не менее старательно, чем от классового врага. Во-вторых, потому, что, передоверив в последние годы вожжи управления государством «тройке» Устинова, Андропова и Громыко, бесспорным «коренником» в которой был министр обороны, Леонид Ильич уже давно не задал на этот счет лишних вопросов.

Новому руководству приходилось опираться на приблизительные данные, но даже они ошеломляли. То, что не меньше 70 процентов экономики в той или иной форме работало на нужды армии и ВПК и составляло часть национального продукта, который, выражаясь словами К.Маркса, страна «выбрасывала в воду», неизбежно должно было заставить реформаторов прекратить этот экономический абсурд. «Танков нашлепали больше, чем людей», — сетовал на заседании Политбюро Горбачев, и ему активно ассистировали Рыжков с Лигачевым. Единственный остававшийся в Политбюро член прежней «тройки» Громыко, пытаясь в очередной раз подстроиться под бодрый марш нового начальства, делал робкие попытки выступить со своей *mea culpa**: «Соревновались с американцами, как спортсмены. Считали, что чем больше сделаем ракет, тем безопаснее будем себя чувствовать. Это было неразумно». Выглядел он в роли кающегося неубедительно.

* *mea culpa* (лат.) — моя вина, по моей вине. (Прим. ред.)

Понятно, почему в листке блокнота, который Горбачев как-то показал А.Черняеву, среди строчек внешнеполитических приоритетов, относящихся к весне 1985 года, на первом месте значилось — «покончить с гонкой вооружений», а за этим следовало — «уйти из Афганистана», «наладить отношения с США и Китаем». Обуздание ВПК выглядело в глазах новой кремлевской команды не только срочной экономической, но и политической задачей: именно таким образом можно было отеснить с влиятельных позиций последователей Устинова, похозяйски расположившихся внутри ЦК и правительства, — генералов и лоббистов оборонного комплекса. Путь к этому лежал через устранение главной причины, оправдывавшей их привилегированный статус, — противостояния с Западом.

Справедливо оценивая роковую роль гонки вооружений в уродливом искривлении и, в конечном счете, в фактическом разрушении советской экономики, Горбачев в отличие от своих предшественников, будучи человеком иного поколения, либо не осознавал, либо отказывался верить, что существовавший вариант социализма, как это ни парадоксально, нуждался во внешней угрозе. Тезис о «враждебном окружении» страны Советов со времен Гражданской войны исправно служил одним из самых эффективных рычагов управления Советским государством.

«Или мы проведем индустриализацию в кратчайшие сроки, или нас сомнут», — предостерегал Сталин. И миллионы людей, жертвуя сегодняшним днем ради спасения нового строя, как репинские бурлаки, впрягались в постромки сначала индустриализации, а потом «строек коммунизма», и с энтузиазмом аплодировали смертным приговорам «вредителям» и «вражеским шпионам». «Лишь бы не было войны», — молитвенно твердили солдатские вдовы Великой Отечественной и оставшиеся без отцов поколения советских людей, не замечая, что тянут за собой уже не плуги послевоенного восстановления, а неподъемную ошестинившуюся ракетами бронированную колесницу сверхдержавы.

Однако не будем упрощать. В послевоенные годы Запад и особенно США и американские президенты — начиная с Трумэна, взорвавшего над Хиросимой атомную бомбу для устра-

шения Сталина, и кончая Рейганом, объявившим «крестовый поход» против советской «империи зла» и пообещавшим (в шутку!) побомбить ее города, — активно способствовали развитию этой национальной паранойи. У американцев были для этого собственные внутривластные мотивы. С криком «Русские идут!» не только выпрыгивал из окна Пентагона обезумевший Джеймс Форрестол, но и, ссылаясь на подобного рода угрозы, выжимал из Конгресса средства для ликвидации «ракетного превосходства» СССР Джон Кеннеди и получал одобрение для своей программы «звездных войн» Рональд Рейган.

В такой атмосфере, когда руководители сверхдержав смотрели друг на друга «через амбразуру», заводить разговор о новой разрядке Горбачеву было непросто. Тем не менее и в этой области политики он рискнул руководствоваться здравым смыслом. «Почему, если мы можем уничтожить друг друга тысячу раз, нам для начала не срезать все излишки? Однократного взаимоубийства, которое к тому же все равно станет самоубийством, достаточно», — обращался он к членам Политбюро, а когда представился случай, провел эту мысль и в беседе с Маргарет Тэтчер. Такая постановка вопроса в глазах «профи» была политически некорректна, ибо представляла собой нарушение общепринятых правил мировой игры, к чему, кстати, совершенно не был готов «неперестроившийся» партнер-соперник. В мире, привыкшем жить по законам ядерного абсурда, руководствоваться здравым смыслом — значило выглядеть наивным дилетантом.

Хуже того, посягнув на стратегическое «равновесие страха», Горбачев выпускал на волю еще неведомого ему политического джинна внутри страны. Руководствуясь наилучшими намерениями, он, сам того не подозревая, выбивал из основания советской системы и, стало быть, из-под собственного кресла одну из важнейших опор. До тех пор пока ради того, «чтобы не было войны», советские люди мирились со своей убогой жизнью, добровольно отдавая последнее на оборону от неизвестного, но грозного агрессора, власть могла чувствовать себя вполне комфортно. Ей и олицетворявшему ее Политбюро никто не задавал неудобных вопросов и не требовал отчета, как

расходуется национальный бюджет. Открыв, что войны можно не бояться, что вчерашний враг сегодня оказывается партнером, а завтра — союзником, а то и другом, общество было вправе обратить недовольство своей жизнью на тех, кто им управляет.

«Зубры» коммунистического заповедника — от закоренелого «Мистера Нет» Андрея Громько до руководителей братских соцстран, кто разумом, а кто политическим инстинктом, это прекрасно осознавали. Поэтому даже традиционно лояльные к Москве союзники (за редкими исключениями, вроде Ярузельского) с настороженностью реагировали не только на демократические импровизации инициаторов перестройки у себя дома, но и на такие, безусловно, назревшие внешнеполитические шаги Горбачева, как объявленный уход из Афганистана и отказ от пресловутой «доктрины Брежнева».

Сам Горбачев на одном из заседаний Политбюро, суммируя, поступавшую информацию, так характеризовал реакцию на радикальные перемены в советской внутренней и внешней политике: «Кадар и Хонеккер не верят в необратимость нашей перестройки и занимают выжидательную позицию. Ну, а Живков на правах старейшины выражается откровенно: “Ваш Хрущев, — говорит он приезжающим из Москвы собеседникам, — своей критикой Сталина вызвал пятьдесят шестой год в Венгрии, а теперь Горбачев дестабилизирует социалистическое сотрудничество”».

О вполне предсказуемой, враждебной позиции румынского диктатора Чаушеску он тогда не упомянул: выяснение отношений между ними, принявшее форму многочасовой беседы, затянувшейся далеко за полночь и переросшей в фактический скандал между двумя супружескими парами (в разговоре мужей во время частного ужина участвовали Елена Чаушеску и Раиса Максимовна), было еще впереди. Впрочем, как и выяснение неоднозначного характера перемен, вызванных новой внешней политикой Михаила Горбачева, для стратегического положения Советского Союза на мировой арене.

Пока же, на этапе «революции надежд», перед советской дипломатией были поставлены предельно простые задачи прикладного характера: как можно скорее снизить уровень кон-

фронтации с Западом, сдвинуть с мертвой точки переговоры по разоружению, перенести центр тяжести в усилиях по обеспечению безопасности страны с военных на политические методы. По сценарию перестройки западный мир, выступавший в течение десятилетий «холодной войны» в качестве заклятого врага Советского Союза, должен был отныне полностью, как травести, сменить написанную для него роль. Внешний рубеж обороны мирового социализма от классового противника следовало превратить в надежный политический тыл, а то и в «базу снабжения» горбачевской революции, ибо главная линия фронта пролегла теперь не по границам СССР или мирового социалистического лагеря, а внутри них.

«У НАС С МАРГАРЕТ...»

Ни Горбачеву, ни Шеварднадзе с Яковлевым, составлявшим к этому времени «первый круг лиц», вырабатывавших стратегию новой внешней политики, не было нужды обращаться к опыту Громыко, чтобы понять: ключи к радикальному изменению климата в отношениях между Востоком и Западом находятся в Вашингтоне, в руках Р.Рейгана, «главаря» той самой «шайки», с которой, как однажды заявил Андропов, он считал невозможным «сварить кашу». Тем не менее для того чтобы не просто препираться, кто кого раньше отправит на «свалку истории» (американцам тоже пришлось по душе эта марксистская формула), а «решать вопросы», другого собеседника все равно не было.

Путь из Москвы в Вашингтон для Горбачева оказался кружным — через Париж, Женеву, Дели, Рейкьявик. Начался же он еще раньше в декабре 1984 года с поездки в Лондон, о которой вскользь уже упоминалось. Именно там, точнее говоря, в загородной резиденции британского премьер-министра Чекерсе у камина, перед которым Горбачев расстелил заготовленные диаграммы и выкладки ядерного «overkill» (многократного взаимного уничтожения), и началась, как он пишет, «наша с Маргарет эпопея». Сбросив туфли и забравшись в кресло с ногами, «железная леди» явно увлеклась не столько разглядыванием таблицы, где заштрихованные квадратики изображали ядерные

боеголовки, сколько общением с этим нестандартным «новым русским». И хотя в Москве еще доживал свой век смертельно больной генсек, и еще неизвестно было, как лягут карты политической судьбы Горбачева, Маргарет сразу же направилась за океан, чтобы немедленно поделиться со своим другом Роном впечатлениями от вероятного будущего советского лидера.

Как впоследствии подтверждал госсекретарь рейгановской администрации Дж. Шульц, восторженная характеристика, услышанная от Тэтчер, — а ей американский президент безгранично доверял, — оказала на него большое влияние. Несмотря на принципиальные и подчас острые расхождения в политических взглядах и темпераментах, «особые» отношения у Михаила и Маргарет сохранялись в течение всего времени, пока они занимали свои должности, да и после ухода в отставку. Когда Тэтчер приехала с официальным визитом в Москву и принялась активно пропагандировать «тэтчеризм» как рецепт реформы советской экономики, Горбачев в сердцах назвал ее на Политбюро «нахальной бабой», но и не скрывал восхищения тем, как его «боевая политическая подруга», будто с малыши детьми, расправилась с тремя маститыми советскими обозревателями, вышедшими на пропагандистский бой с ней на телевидении. Тэтчер, в свою очередь в 91-м году, настойчивее многих действующих в ту пору политиков добивалась отправки международной делегации в Форос к арестованному Горбачеву.

Другим западным лидером, которого очаровал Горбачев, был Франсуа Миттеран. Своим визитом во Францию в октябре 1985 года новый генсек начал свою политическую и пропагандистскую кампанию наступления на Запад, стремясь внушить, что в Кремле происходит не просто замена лиц или смена поколений, а формируется принципиально иной внешнеполитический курс. Главное, чем он поразил и «воспламенил» социалиста Миттерана, пожалуй еще больше, чем суперконсервативную Тэтчер, был развернутый план внутреннего раскрепощения советского общества. Угадав в генсеке ЦК КПСС стихийного социал-демократа задолго до того, как тот перестал считать себя коммунистом, обычно весьма сдержанный, умудренный прожитой в политике жизнью и прозванный за изощрен-

ный макиавеллизм «флорентийцем», французский президент, изменив своим привычкам, неожиданно эмоционально сказал Горбачеву: «Если вам удастся осуществить то, что вы задумали, это будет иметь всемирные последствия».

Почти такую же политическую сенсацию произвело на Западе открытие Раисы. Как и в случае с Михаилом, ее первое появление «на людях» в Лондоне привлекло внимание главным образом контрастом с предшественницами — Ниной Хрущевой и Викторией Брежневой, которых западная пресса если и замечала, то величала не иначе, как типичными номенклатурными «бабушками». Когда журналисты увидели перед собой элегантную, раскованную и вовсе не прятавшуюся в тень своего мужа современную женщину, они поняли, что это медиатическая находка, и направили на нее свои прожекторы и объективы. Раиса вызвала настоящий восторг, когда, уходя с одного из приемов, кокетливо помахала им рукой и пропела по-английски: «See you later, alligator» («До свидания, крокодил»), подтвердив свою принадлежность к «рок-поколению». После того как она в течение нескольких минут попозировала фотографам в магазине «Маркс и Спенсер», те в знак благодарности преподнесли ей огромный букет. Словом, для Запада чета Горбачевых стала символом новой, освобождающейся от своего прошлого страны еще до того, как она начала реально меняться.

Однако не обошлось и без привычных для западной прессы (и публики) сенсаций для первых полос бульварных газет. Журналисты «засекли» Раису покупающей сережки в ювелирном магазине, и с легкой руки одного из лондонских «таблоидов» пошла гулять история о том, что жена Горбачева, приобретая драгоценности, расплачивалась «золотой» кредитной картой. (Речь шла о карточке, дающей право на дипломатическую скидку, которой воспользовался при расчетах сопровождавший Раису посольский дипломат.) «В то время, — вспоминает Михаил Сергеевич, — мы с ней даже не знали, как такая карта выглядит». Сплетня-однодневка забылась бы, как и положено, если бы через несколько месяцев ее с очевидным умыслом не напомнил Б.Ельцин, выступая в Высшей комсомольской школе.

В поездку во Францию — свое первое официальное появление за рубежом в качестве супруги генсека — Раиса собиралась, пожалуй, с не меньшим тщанием, чем муж. Для бывшей студентки-философички и еще недавней преподавательницы это был своеобразный экзамен, а к экзаменам она привыкла серьезно готовиться. По словам уже упоминавшегося референта генсека Виталия Гусенкова, с которым супруги Горбачевы были знакомы со времен их первого приезда во Францию, Михаил Сергеевич попросил его помочь жене перед поездкой. Раисе Максимовне выделили кабинет в первом подъезде ЦК, где она штудировала (а может быть, и конспектировала) справки и записки, присланные по ее просьбе МИДом, Министерством культуры и даже Домом моделей, поскольку французами программа предусматривала в том числе и поход на дефиле мод, и встречи с Ив-Сен Лораном и Пьером Карденом. Наверняка были извлечены из семейного архива не только фотографии, но и памятные блокнотики с записями впечатлений о походах по музеям в первой поездке по Франции.

Ей, однако, хотелось выглядеть не только супругой генсека, а самостоятельной общественной фигурой, и поэтому, по ее настоянию, помимо «дамской» программы, были предусмотрены политические мероприятия: встречи с деятелями Советско-французского общества дружбы и представителями Движения французских женщин, на которых она весьма непринужденно высказывалась по разным сюжетам — от ситуации с правами человека в СССР, темы, всегда заботившей жену Миттерана Даниэль, до проблемы распространения наркотиков.

Премьера Раисы прошла успешно. Париж, поначалу скептически воспринявший лондонские восторги по ее адресу, благосклонно одобрил ее облик, манеру поведения и вкус, так до конца и не поверив, что, готовя свой гардероб, она не прибегла не только к услугам ни одного из парижских модельеров, но и уже известного на Западе Славы Зайцева, оставшись верной своей многолетней портнихе Тамаре Мокеевой.

Наученная лондонским опытом, Раиса Максимовна зареклась ходить за границей по каким бы то ни было магазинам и бутикам, и с того времени единственный раз, когда пресса смогла подкараулить ее примеряющей обновку, — это во время

пребывания в Дели, когда ей преподнесли в подарок индийское сари. С Пьером Карденом она впоследствии встречалась в Москве в качестве вице-президента Фонда культуры и помогла организовать выставку Ив-Сен Лорана в Третьяковской галерее. И все-таки главное, что интересовало Раису после парижского визита, были политические, в том числе и негативные отклики во французской печати. Наиболее интересные она попросила перевести на русский и аккуратно сложила в свое досье. Именно ей нынешний Фонд Горбачева обязан наиболее полным архивом советских и зарубежных публикаций (а также внушительной видеотекой), зафиксировавших важнейшие политические события перестроечных лет.

Следующей европейской столицей, куда они вскоре отправились вдвоем, стала Женева, где в ноябре 85-го состоялась первая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана... Символ мира и нейтралитета, убежище для разноплеменных инакомыслящих и отшельнический приют самого, пожалуй, романтического из политических философов Жан-Жака Руссо, Женева в те дни выглядела, как военная база. Изгороди из колючей проволоки перегораживали подъезды к советской миссии и резиденции американского президента, снайперы на крышах, вертолеты, барражировавшие над городом, — все это отнюдь не предвещало, что столица Швейцарии станет поворотным пунктом мировой истории, который приведет к окончанию «холодной войны». Серьезность намерений оккупировавших город спецслужб чуть было не проверили на себе операторы Си-эн-эн. Когда они на вертолете делали круг над резиденцией американского президента, передавая картинку «живьем», в наушниках пилота прозвучало недвусмысленное: «Или через минуту вы выходите из этой зоны, или мы вас собьем!»

Сама встреча Горбачева и Рейгана проходила в более раскованной атмосфере. Услышав весьма высокие оценки Горбачева сразу от двух таких разных европейских лидеров, как М.Тэтчер и Ф.Миттеран, Рональд Рейган был заинтригован и ждал появления коммуниста номер один с явным интересом. Напряжение скорее испытывали его помощники. Их проблемы на этот раз можно было сравнить с еще недавними заботами по-

мощников Л.Брежнева, которые во время его важных международных встреч стремились свести к минимуму непосредственное общение высших руководителей, когда наш лидер не был прикрыт заранее подготовленными справками и не был подстрахован кем-нибудь из членов делегации. Сейчас в роли одряхлевшего Брежнева выступал Рейган, и в лучшие свои годы не слишком вникавший в детали сложных проблем стратегического баланса и переговоров по разоружению. Для встречи с Горбачевым он был вооружен необходимым минимумом карточек с краткими выступлениями, ответами на предполагаемые вопросы собеседника и несколькими отрепетированными репликами, русскими поговорками и ссылками на высказывания «Николая Ленина» (добросовестные советологи из Госдепа почему-то всегда полностью воспроизводили изначальный псевдоним Владимира Ульянова), которые обеспечивали ему «автономное плавание» в первые минуты переговоров, после чего сразу число их участников должно было расшириться «до полного формата», и на этой фазе от президента можно было уже не опасаться каких-то импровизаций.

Горбачев просчитывал вероятность такого сценария еще в Москве и, даже прилетев в Женеву, продолжал мысленно подбирать ключи к предстоящему диалогу, репетируя его на последних консультациях с членами своей делегации — среди них наряду с «патриархами» американистики А.Добрыниным, Г.Корниенко и Г.Арбатовым были и представители «новой волны» советской дипломатии: Э.Шеварднадзе с А.Яковлевым и впервые официально привлеченные к государственному визиту эксперты — академики Е.Велихов и Р.Сагдеев. «Сверхзадача» саммита была для него ясна: пробившись через заслон идеологических клише, с которыми сжился стареющий президент, и «забор» из памяток и справок, выставленный его окружением, убедить Рейгана, что перед ним не политический робот, а живой человек, представляющий иной мир, но открытый к диалогу и настроенный на сотрудничество.

Горбачев знал, что не имеет права упустить женевский шанс. Слишком многое было поставлено на карту: ведь от того, как пойдет разговор, завяжутся ли между двумя лидерами личные, а не только протокольные отношения, разглядит ли в

нем американский президент возможного партнера, зависели в немалой степени перспективы его Перестройки. Чтобы достучаться до собеседника, он готов был продемонстрировать почтение перед его возрастом и опытом, и в то же время напомнить, что на его плечах не меньший груз ответственности, чем у американского коллеги: «Я не ученик, господин Президент, а вы не учитель, за нами огромные миры».

Поначалу разговор между ними напоминал костер из сырых дров: пламя не хотело разгораться и в любой момент могло погаснуть. Во время первого перерыва Горбачев был близок к отчаянию, заявив своей свите: «Старик бубнит все по своим вызубренным памяткам», — и в сердцах назвал Рейгана «динозавром». Но постепенно атмосфера начала теплеть. Возможно, нашему лидеру помог опыт общения с «динозаврами» в брежневском Политбюро. Устав от препирательств по правам человека, 50-процентному сокращению ядерных ракет и программе СОИ, он сокрушенно сказал: «Похоже, мы зашли в тупик». И тут Рейган предложил пройтись. Прогулявшись по дорожкам парка и изрядно промерзнув, они зашли в здание небольшого бассейна, в гостиной которого пылал предусмотрительно разожженный камин. И хотя в принципиальных вопросах их позиции не сблизились, именно там между ними впервые пробежала искра личного контакта.

Будь эти политические супертяжеловесы большими профессионалами в сфере дипломатии, им труднее было бы найти общий язык и пришлось бы следовать по колее, уже проложенной до них другими. Однако оба по разным причинам не испытывали пиетета перед своими предшественниками и игре по нотам предпочитали свободные импровизации. Именно поэтому два выдающихся дилетанта оказались способны, как через год подтвердил Рейкьявик, на сенсационный прорыв там, где математически выверенный паритет и баланс страха стали чуть ли не аксиомой. У главного коммуниста и у главного империалиста обнаружился единый Бог — здравый смысл, который даже их близким окружением воспринимался как утопия. Выяснилось, что оба идеалиста мечтали о безъядерном мире, верили, что он возможен, и, что было особенно вызывающим, не стеснялись говорить об этом. На почве

этих видений, а может быть, и исторического видения началось их сближение.

Разумеется, подлинные профессионалы не могли с этим мириться. Когда экспертам делегаций поручили составить текст заключительного коммюнике, чтобы зафиксировать забрезжившее взаимопонимание, они после нескольких часов добросовестной работы уткнулись в тупик и вернули позиции сторон к исходным точкам. Рейгану и Горбачеву об этом «плодотворном» итоге доложили за ужином Шульц и Корниенко, не желавшие даже глядеть друг на друга. На этот раз уже Рейган, который тоже не хотел упускать женевский шанс (к этому его активно подталкивала Нэнси, желавшая, чтобы его президентство завершилось какими-то «историческими» договоренностями с Москвой), подмигнул Горбачеву: «Ну что, господин генеральный секретарь, ударим кулаком по столу?»

Это означало — произошло то, чего добивался Горбачев: президент США был готов, отбросив «шпаргалки» экспертов, перевести процесс наметившегося советско-американского сближения на «ручное управление». Разойдясь по разным углам, они устроили в своих командах «разбор полетов». И, как пишет Горбачев, выяснилось, что споры шли по большей части «не о существе дела, а о словах». (Впоследствии непреклонный громыкинский стиль переговоров, который в Женеве олицетворял Г.Корниенко, Михаил Сергеевич называл «пещерным».) После нажима со стороны двух руководителей уже глубокой ночью общие слова были найдены, и наутро Рейган с Горбачевым смогли подписать совместное заявление, констатировавшее, что «ядерная война недопустима», поскольку «в ней не может быть победителей», и что «стороны не будут стремиться к военному превосходству друг над другом».

В отличие от мужчин, обнаруживших, что на них действуют флюиды обоюдной симпатии, две первые леди не подружились. Нэнси Рейган впоследствии в своих мемуарах довольно жестко высказалась в адрес Раисы, которую она нашла «сухой и педантичной». Она пишет, что перед их первой встречей «была в панике», не зная, о чем говорить с женой главного советского коммуниста, к тому же также членом партии. Но, по ее словам, Раиса взяла инициативу разговора на себя, почти не

дав Нэнси «вставить слово». Усмотревшая в этом проявление «дидактичности», свойственной недавнему преподавателю марксистской философии, Нэнси меньше всего могла предполагать, что за этой внешней самоуверенностью новой «хозяйки Кремля» кроется еще не выветрившаяся внутренняя робость оказавшейся под мировыми прожекторами алтайской девочки из Веселоярска, проведшей большую часть жизни в российской провинции.

Если не считать общих фраз заключительного коммюнике и рукопожатия на сцене Дворца наций, Женевская встреча дала Горбачеву скорее пищу для размышлений насчет того, в каком направлении и на каких условиях возможно продвижение советско-американских отношений, чем принесла практические результаты. В области сокращения ядерных арсеналов, интересовавшей его в первую очередь, он был бы готов «разменять» сокращение стратегических вооружений и «евроракет», предложенное американцами, на рейгановскую программу «звездных войн». Однако на это не хотел идти американский президент. В сфере же политических контактов Горбачев понял, что «на слово» обещаниям о будущей демократизации советской системы Запад не поверит до тех пор, пока он не подтвердит их конкретными переменами.

Рейган, явившийся в Женеву с очередным списком советских «отказников», которых не выпускали за границу как обладателей государственных секретов, раздражал не потому, что ему нечего было ответить, — аргументов и темперамента для типового «отпора» генсеку не занимать, а тем, что ставил те вопросы, которые Горбачев и сам собирался решать. Поскольку ему не хотелось продолжать «отлаиваться» от западных обвинений и тем самым возвращаться в брежневско-громыкинскую эпоху, вопросы надо было снимать скорее, чем он планировал.

Несмотря на обозначившееся взаимное расположение двух лидеров, советско-американские отношения с мертвой точки практически не сдвинулись. Всего обаяния Горбачева не хватило для того, чтобы убедить Рональда Рейгана и тем более вашингтонский истеблишмент в том, что его предложения о сокращениях вооружений — не очередная пропагандистская

уловка Москвы. Стремясь развить начатое мирное наступление, уже в январе 86-го Горбачев ошеломил своих западных партнеров еще одной инициативой: 15-летней программой строительства безъядерного мира. Эта разделенная на 3 этапа грандиозная «стройка века» должна была завершиться к 2000 году ликвидацией ядерных арсеналов всех членов мирового атомного клуба. Подоспевший XXVII съезд КПСС дал Горбачеву возможность подвести под новую внешнюю политику идеологическое обоснование.

Напомним, что в эти годы и перестройка, и сам Горбачев находились еще на «ленинском» этапе, и соответственно любой разрыв с прошлой политикой или ее пересмотр могли предприниматься исключительно на основе ссылок на Владимира Ильича и какое-нибудь из его высказываний. А.Яковлеву посчастливилось «набрести» на одну из таких цитат, в которой Ленин признавал — при определенных обстоятельствах — приоритет общечеловеческих интересов пролетариата над узкоклассовыми. Изъяв это высказывание вождя из контекста и препарировав с помощью некоторой редакционной правки, его можно было вполне использовать для «научного обоснования» нового политического мышления. Конечно, сам Ильич наверняка бы не согласился с попыткой представить его в виде абстрактного гуманиста из разряда тех, с кем он безжалостно и бескомпромиссно боролся. Кроме того, исходным пунктом нового политического мышления была констатация того, что в ядерный век оружие массового уничтожения ставит «объективный предел» для классовой конфронтации. Приписать Ленину способность предвидеть еще в начале века возможность появления атомной бомбы — значило попросту представить его в виде нового Нострадамуса.

Куда более бережно, чем Горбачев и Яковлев, с ленинским наследием обращался человек, отнюдь не испытывавший пиетета к вождю мирового пролетариата, — Джордж Кеннан, творец американской концепции «сдерживания» Советского Союза в годы «холодной войны». Разъясняя идеологию коммунизма, автор особо подчеркивал, что она рассматривает капитализм не как партнера, а как заклятого исторического врага, с которым можно некоторое время сосуществовать, даже иногда

сотрудничать, в ожидании его устранения с исторической сцены, которому коммунисты должны содействовать любыми средствами. Сотрудничество с капиталистами поэтому для них — тактика, непримиримая борьба (война) — стратегия. То, что мысли Ленина и его последователей изложены Кеннаном достаточно точно, подтверждает выступление Ильича 26 ноября 1920 года на собрании партячеек Московской организации РКП(б): «Как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот». Н.Хрущев со своим «Мы вас закопаем», брошенным в лицо «буржуинам» в 60-е годы, выглядел поэтому куда более правоверным ленинцем, чем Горбачев.

Было ли столь неожиданное «прочтение» Ленина тактической уловкой или искренним убеждением основателей новой политической философии, остается гадать. Сегодня и Горбачев, и Яковлев сами дают на этот вопрос разноречивые ответы. Очевидно лишь, что Горбачев первым из советских руководителей публично заявил об отказе от планов строительства в СССР иной, альтернативной по отношению к остальному миру, особой цивилизации и подтвердил, что считает свою страну частью единого общего мира.

Чтобы подчеркнуть универсальный характер нового верования, Горбачев был готов записать в его предтечи и таких весьма далеких друг от друга персонажей, как Карл Маркс и Рональд Рейган: «Ведь еще Маркс, — сообщал он членам своего Политбюро, — говорил о единстве человеческого рода. Мы же на определенном этапе это как бы перестали замечать. А теперь это выявилось». Рейган же, по Горбачеву, чуть ли не вторил Марксу, когда убеждал: «Глубоко ошибаются те, кто считает, что конфликт между нашими народами и государствами (США и СССР) неизбежен».

При всей диалектической эквилибристике, на которую пускался Горбачев, чтобы «заговорить зубы» партийному синклиту, главный тезис, который он хотел не мытьем, так катаньем протащить через высшую Инстанцию, был на самом деле революционным: отвергая еще недавнее толкование мирного сосуществования как «особой формы классовой борьбы», он утверждал: «Если глубже посмотреть на сущность мирного сосу-

ществования, то это по существу иное понятие единого человеческого рода...»

Конечно, приподнятая атмосфера, царившая в стране в начале перестройки, в сочетании с естественным желанием Горбачева подороже «продать» на Западе задуманную им очередную «русскую революцию» окрашивали его рассуждения о перспективах мирового развития в мессианские и миссионерские тона. Получалось, что обновленная перестройкой Россия снова, как в 17-м, готова предложить (и проложить) всему человечеству путь в будущее (к счастью, на этот раз не путем его разделения и противопоставления «мира труда миру капитала», а с помощью его примирения и воссоединения). «Когда придет новое мышление в международном масштабе, — рассуждал Горбачев в «узком кругу» после женевской встречи с Рейганом, — трудно сказать. Но оно обязательно придет, сама жизнь ему учит, и может прийти неожиданно быстро».

Согласно его логике, даже крамольный постулат «свободы выбора» выглядел уже не капитулянтским, а, наоборот, многообещающим. Ведь если бы удалось с помощью перестройки «вылечить» заболевший социализм, превратив его в современное, гуманное и при этом процветающее общество, то, пользуясь «свободой выбора», самые разные народы без принуждения должны были бы отдать ему предпочтение перед антигуманным капитализмом. Таким образом, в горбачевской интерпретации концепция «свободы выбора» превращалась из синонима «вольной», которую советская сверхдержава выписывала своим «вассалам», отпуская на все четыре стороны, в способ вернуть социалистическому проекту историческую перспективу.

В уже упоминавшейся книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира», обращенной «к народам напрямую», Горбачев еще достаточно самоуверенно заявляет: «У меня иногда создается даже впечатление, что некоторые американские политики, постоянно восхваляя капиталистическую систему, рекламируя свою демократию, тем не менее не очень-то уверены в них, боятся соревнования с СССР в мирных условиях (выделено мной. — А.Г.)... Чувствую, что после прочтения этих строк обозреватели напишут, что, к со-

жалению, Горбачев плохо знает западную демократию. Увы, кое-что знаю, по крайней мере достаточно для того, чтобы непоколебимо верить в демократию социалистическую, в социалистический гуманизм».

Из этого пылкого пассажа видно, что бывали ситуации, когда в отсутствие убедительных аргументов для «научного обоснования» своей концепции нового мира ему приходилось переходить почти на религиозный язык. Этот акт веры Горбачева уже достаточно скоро превратился в буквальном смысле слова в его политическое аутодафе, ибо этот самый убежденный сторонник коммунизма стал, может быть, его последней политической жертвой.

В первые годы, на стадии оптимистических прогнозов и благих намерений, инициаторам перестройки нетрудно было обещать Прекрасный Новый Мир не только собственной стране, но и остальному человечеству. И у нового политического мышления нашлись романтически настроенные приверженцы не только в Советском Союзе. Одним из первых был обращен в веру во всечеловеческую перестройку тогдашний индийский премьер-министр Раджив Ганди. В нем и его супруге итальянке Соне чета Горбачевых обрела пылких друзей, с которыми Михаил и Раиса чувствовали себя много свободнее, чем с Рональдом и Нэнси. В ноябре 1986 года в Дели Горбачев и Ганди подписали составленную торжественным слогом Декларацию о безъядерном и ненасильственном мире, всерьез веря в то, что закладывают первый камень в его основание, и не зная еще, что, вопреки их надеждам, клуб ядерных держав будет пополняться, в том числе за счет самой Индии, а один из авторов декларации — Раджив станет жертвой террористического насилия.

Поверили было в горбачевскую перестройку как в возможность реабилитации социалистической идеи (которую сам же Советский Союз, казалось, безнадежно дискредитировал) и европейские социалисты, не потерявшие надежду найти затерянный «третий путь» в мировой политике. Самыми влиятельными из них были французский президент Франсуа Миттеран и испанский премьер Фелипе Гонсалес. Если даже эти умудрен-

ные государственные деятели не остались безразличны к посулам перестройки, что уж говорить о миллионах приверженцев левых взглядов в западном мире, которые были готовы воспринимать приход Горбачева чуть ли не как долгожданное второе пришествие мессии. Уже после 1991 года, распада СССР, и крушения советской политики осуществления социалистической мечты видный французский дипломат, ставший послом в Казахстане, написал в своем горьком письме уже бывшему советскому президенту: «Вы не имели права на поражение!»

Разумеется, атмосфера чуть ли не мирового восторга, сопровождавшая первый этап перестройки и бурные аплодисменты ее инициатору, которые чем дальше, тем заметнее начали перемещаться из Советского Союза за его рубежи, не могли не провоцировать у Горбачева некоторого «головокружения от успехов». «Запад потому так внимательно следит за ходом нашей перестройки, — говорил он, подводя итоги 1986 года, — что их в первую очередь интересует не наша внешняя политика, а что будет с социализмом... Американцев беспокоит рост нашего международного авторитета, по которому мы обходим США... Наша реальная политика сильнее любой пропаганды». Его слова не были одним только самовосхвалением. Самые разные опросы той эпохи подтверждали позитивное изменение отношения в западном общественном мнении к перестраивавшемуся Советскому Союзу. Сам же Горбачев по популярности в Западной Европе намного обходил американского президента. У него, таким образом, были все основания считать, что новая советская внешняя политика себя окупает и начинает приносить стране едва ли не больше дивидендов, чем внутренняя, по крайней мере в политической и психологической сфере. За ними должны были по этой логике последовать «дивиденды» экономические. Получалось, правда, что спасение социализма (нового, перестроенного «разлива») должно было в значительной степени прийти от его заклятого исторического врага и соперника, которого, вопреки надеждам, предшественникам Горбачева не удалось ни «взять за шиворот», ни «закопать».

К чести «отца перестройки», даже когда стало окончательно ясно, что дарованная им, в частности, народам Восточной Европы, а вслед за ними и Прибалтийских республик «свобода

выбора» будет использована отнюдь не для сохранения режима, навязанного им силой, а, напротив, подтолкнет их к побегу, он не осадил назад и не изменил им самим провозглашенные правила игры. Не поступил, как Н.Хрущев в 1956 году, который, одобрив развивавшую дух XX съезда КПСС Декларацию Советского правительства о новых отношениях СССР с другими соцстранами, через несколько дней отправил танки в Будапешт, чтобы вразумить тех, кто его слишком буквально понял.

В окружении Горбачева было немало советников и советчиков, рекомендовавших поступить таким же образом по отношению к ГДР в 1989 году и к Прибалтике в 1990—1991 годах и обвинявших его потом в «мягкотелости», в «измене социализму». Как политик-прагматик, он должен был, вероятно, учитывать все риски и считаться с давлением сил, толкавших его в эту сторону. Говорят, что Брежнев, принимая решение о вводе войск в Чехословакию, заботился в первую очередь о собственном политическом выживании. Поведение Горбачева в сходной ситуации показало: произнесенные им еще в апреле 1986 года на заседании Политбюро слова «признание свободы выбора должно быть для нас методом практической политики, а не пропагандистским лозунгом» стали для него принципом, которому он остался верен. Это означало, что новое политическое мышление, как и демократия, которые он поначалу рассчитывал использовать как инструменты спасения социализма, из средства превратились для него в самостоятельную и самоценную цель. Закрывая, таким образом, этап «классового подхода» к ведению внешней политики, высшая цель которой — насаждение или сохранение социализма — оправдывала бы любые средства, он еще раз бесповоротно порывал с тем, кто формально оставался его политическим поводырем — Лениным.

РАСПЛАТА ПО ДОЛГАМ

Ждать, пока, вняв призывам и поверив его обещаниям, остальной мир, и прежде всего американцы, окрестятся в приверженцев нового политического мышления, было бы наивно. На горбачевскую программу строительства безъядерного мира Рейган ответил эскалацией военных программ, фактическим выходом

из Договора ОСВ-2 и бомбардировками Ливии. Перед Горбачевым встал вопрос: реагировать ли на это традиционно по-советски — «острием против острия» — или попробовать разорвать порочный круг обоюдных подозрений, в котором были заинтересованы «динозавры» в обоих лагерях. На том же апрельском Политбюро он, не стесняясь, давал выход своим эмоциям южанина (и одновременно гасил подозрения собственных «ястребов»): «Надо делать коррективы в отношениях с США... С этой компанией каши не сварим... — почти буквально повторял он Андропова, предлагая «подвесить» очередную советско-американскую встречу на высшем уровне — «Я в любом случае в США не поеду, да и Шеварднадзе незачем ехать в мае в Вашингтон». И тут же, спохватившись, одергивал себя: «Но курс XXVII съезда на улучшение отношений с США надо сохранить, — напоминал всем членам партийного руководства (и самому себе). — У нас нет выбора».

А коли так, приходилось в повседневной практической деятельности не уноситься мыслями в иной мир, как это делал в детстве мечтательный мальчик из Привольного, и не дожидаться того неизбежного будущего, в котором народы, «распри позабыв», в единую семью соединятся, а возвращаться к проблемам, порожденным старым мышлением, и платить по долгам. Как минимум два из них были уже давно просрочены — афганская война и советские «евроракеты», спровоцировавшие размещение в Западной Европе американских «Першингов».

Об этих, как и о других проблемах, оставленных громыкинско-устиновской дипломатией «громкого боя», Горбачев говорил в своем выступлении перед аппаратом МИДа в мае 1986 года. Целью этой «установочной» речи было «окунуть дипломатов в атмосферу перестройки». В ней он особо обрушивался на «переговорщиков», которые «спали», позволяя переговорам о разоружении топтаться на месте, а западным скептикам дискредитировать новые советские инициативы, представляя их блефом. Эмоции генсека можно было понять. От советских переговорщиков в догорбачевскую эпоху требовалось не слишком много. Как вспоминает Г.Корниенко, напутствуя дипбригаду, отправлявшуюся в ноябре 1969 года в Хельсинки на переговоры с США по стратегическим вооружениям, Л.Брежнев ог-

раничился тем, что присовокупил к официальным директивам только одну фразу: «Помните о Лубянке!» (имея в виду необходимость держать язык за зубами, чтобы не разгласить госсекреты). Горбачев же, снаряжая новые команды в Женеву и Вену, напутствовал специального посла О.Гриневского: «Нам нужны результаты, а не мыльные пузыри. Экономическое положение из-за военных расходов близко к катастрофе. С американцами мы уже дошли до грани войны, надо отойти. Тратим недели, чтобы вместо 18 тысяч сторговаться на 20 или на 45 днях вместо месяца. Женева, Стокгольм, Вена — топчемся годами, утыкаемся в детали, спорим по пустякам».

На Политбюро, уже, очевидно, эмоционально переварив отступничество Рейгана от «духа Женевы», объяснял смену тональности: «Запад не будет искать развязок сам. Если мы в ответ на его позицию продемонстрируем жесткость и еще раз жесткость, толку не добьемся. Все будет по-прежнему, то есть хуже для нас... Мало ли, в конце концов, у нас еще нерешенных проблем с американцами... Надо видеть главное...»

Из этой прозаической констатации, оставившей «поэзию» нового политмышления пропагандистам, у Горбачева родилась идея Рейкьявика. Смысл этого предложения, заставшего американскую сторону врасплох, — спасти «дух Женевы», сдвинуть с места забуксовавшие переговоры, поднявшись от частных к концептуальным сюжетам.

Чтобы заинтересовать, «качнуть» Рейгана и добиться прорыва на переговорах, следовало что-то ему предложить. Горбачев был в принципе готов принять американские предложения о сокращении на 50 процентов стратегических ракет и обоюдный «двойной ноль» по «евроракетам», в обмен на отказ США от сугубо гипотетической программы стратегической оборонной инициативы. Таков был горбачевский «пакет» для рейкьявикского саммита, состоявшегося в октябре 1986 года. В реальность угрозы СОИ в Москве не верили. Комиссия академика Евгения Велихова, созданная еще при Андропове, пришла к заключению, что эта система эффективно работать не будет (впоследствии это подтвердилось), а военные и ВПК предложили сразу несколько вариантов «асимметричного ответа» аме-

риканцам. «СОИ для нас — проблема не боязни, а ответственности, — говорил Горбачев Рейгану в Рейкьявике. — Нам достаточно 10 процентов от стоимости вашей СОИ, чтобы обесценить ее. Проблема в Договоре по ПРО и в стратегической стабильности, которую он гарантирует».

Пока он уламывал американского президента в особняке Хофди на берегу Атлантического океана, Раиса Максимовна любовалась исландскими гейзерами, посещала среднюю школу — больше на этом пустынном каменистом острове, избранном для саммита за его равноудаленность от Москвы и Вашингтона, смотреть было нечего. Нэнси в Рейкьявике не было. Когда Раиса, приехав через год в Вашингтон, по-светски сказала ей: «Нам вас не хватало в Рейкьявике», Нэнси сухо ответила: «Как я поняла, женщин туда не звали». Саммит формально закончился ничем, Рейган и Горбачев расстались, не договорившись. Переговоры двух лидеров оборвались из-за того, что они не смогли пройти финальную дистанцию в «несколько слов», которые, как потом написал Дж.Шульц, отделяли их от соглашения. Дело, конечно, было не в словах. Горбачев, который и так пошел в большинстве вопросов навстречу американцам, просто не мог вернуться домой, не привезя хотя бы символических подтверждений взаимности с их стороны.

В исландской столице на самом деле было не до женщин и не до протокольных мероприятий. Если, конечно, не считать таковым финальную пресс-конференцию Горбачева, которую он провел в местном кинотеатре, единственном в городе здании, способном вместить слетевшуюся в ожидании сенсации прессу. Именно там, а не на несостоявшемся коктейле ему было необходимо присутствие Раисы: войдя в замерший зал и найдя глазами свою «Захарку», он обрел привычное равновесие и сказал журналистам, еще находившимся под впечатлением от драматической сцены прощания двух лидеров у ожидавших их машин и похоронного вида Джорджа Шульца на аэродроме: «Мы заглянули за горизонт».

...Уход из Афганистана был еще одним неотложным приоритетом для Горбачева. В докладе на XXVII съезде он назвал

войну, продолжавшуюся уже шесть лет, «кровоточащей раной». Поскольку она зашла в тупик, едва начавшись, даже тем, кто был непосредственно причастен к роковому решению Политбюро, начиная с Андропова, было ясно, что из афганского горного капкана надо уносить ноги. Еще при Брежнев, в 1981 году, обсудив неутешительные результаты «интернациональной акции», Политбюро приняло закрытое решение — «вести дело к уходу». Став генсеком, Юрий Владимирович в «узком кругу» несколько раз подтверждал это намерение и, по свидетельству зам. министра иностранных дел А.Ковалева, даже просил «вооружить его» информацией о негативном отношении к войне московской интеллигенции.

Для Горбачева, не «повязанного» пресловутым решением 1979 года (в качестве кандидата в члены ПБ он расписался на секретном протоколе задним числом), вопроса — уходить или не уходить — не существовало. Речь шла о другом: как, когда и на каких условиях. Начать вывод немедленно мешал «синдром сверхдержавы», которым во время вьетнамской войны переболели американцы. Как уйти без унижения, без потери лица, без признания совершенной ошибки, которую потомки могут назвать преступлением, наконец, без того, чтобы принести в жертву тысячи людей, сотрудничавших с оккупантами, все равно — по убеждению или из корысти? Горбачеву хотелось уйти «по-хорошему», чтобы это не выглядело бегством, как у американцев, чтобы в Афганистане не началась резня и не надо было при этом отчитываться за безответственные решения прежних руководителей, от чего мог пострадать авторитет нынешних. «Не буду сейчас рассуждать, правильно ли мы сделали, что туда вошли, — резюмировал он на заседании Политбюро обсуждение итогов инспекционной поездки в Афганистан Э.Шеварднадзе в январе 1987 года. — То, что вошли, не зная абсолютно психологии людей, реального положения дел в стране, — факт. Но все, что мы делали и делаем в Афганистане, несовместимо с моральным обликом нашей страны. И тратим на все это миллиард рублей в год. Не говорю уже о жизнях людей».

Месяц спустя тон обсуждения афганской темы был уже на октаву выше: «Уходить, да! Но решение непростое. Удар по авторитету Советского Союза в “третьем мире”. За это время миллион солдат прошло через Афганистан. Перед своим народом не рассчитаемся: за что столько людей положили?»

Горбачеву вторили его тогдашние ближайшие соратники: «Надо взять твердую линию, чтобы за два года уйти, — говорил Н.Рыжков. — Лучше платить деньгами, нефтью, но не ребятами».

Е.Лигачев поддерживал: «Не можем мы им военным путем принести свободу. Мы в этом деле потерпели поражение. Упвали на военный путь и не задумывались о последствиях»: Министр обороны маршал С.Соколов, лучше многих других представлявший, о чем идет речь, подтверждал: «Выиграть войну военным путем невозможно. Решение о выводе войск надо осуществить, но так, чтобы не оставить после себя враждебную зону».

Горбачев подвел итог: «Чтобы уйти, надо ускорить процесс внутренней стабилизации, восстановить дружественную и нейтральную страну. Мы же не социализм там хотим, а чтобы там не осели США со своими базами».

• Эта скромная цель — вернуться в 1979 год — теперь выглядела почти несбыточной мечтой. Рассчитывать на помощь новых американских друзей не приходилось. Даже в разгар советско-американской «медовой недели» — в декабре 87-го, во время триумфального визита Горбачева в Вашингтон Рейган не сделал ему подарка. Рон дал понять Майклу (к этому времени оба лидера перешли на «ты»), что заваренную предшественниками «кашу» ему придется расхлебывать в одиночку: «Поскольку вы не готовы определить дату вашего окончательного ухода, я не могу помочь вам в разрешении этой проблемы и отказаться от помощи борцам за свободу».

То же, в сущности, произошло и со вторым «должком», отдавать который ему пришлось в Вашингтоне — с ракетами средней дальности. Горбачев недаром сравнил этот договор, подписанный 8 декабря 1987 года в Белом Доме за столом, которым пользовался еще Авраам Линкольн, с выводом войск из Афганистана. Американские «Першинги» были, по его словам,

«пистолетом, приставленным к виску СССР». Как и в ситуации с Афганистаном, за возвращение к статус-кво, то есть за последствия непродуманных шагов прежних советских лидеров пришлось уплатить по самой высокой ставке: за 859 «Першиггов» и крылатых ракет были отправлены на слом 1752 суперсовременных советских СС-20.

Для Горбачева, воспитанного советской школой (и пропагандой) в убеждении, что его родина — главный оплот мира во всем мире, подлинным открытием было узнать: за границей «нас боятся». Боялись не столько бомб или изготовлявшихся, «как сосиски», если верить Никите Сергеевичу, ракет, а тех, кто распоряжался этими бомбами и этими ракетами, — советских руководителей. Да и как было не бояться того же Хрущева, если даже в послесталинские времена, принимая решение об отправке на Кубу ядерных ракет, он мог небрежно отмахнуться от предостережений насчет возможных последствий: «Ничего, ввезем так, что не узнают»; Брежнева, который, руководствуясь «интернациональным долгом», отправлял войска в Прагу и Кабул, или Устинова, рекомендовавшего Андропову не признаваться, что советская ПВО сбила южнокорейский пассажирский самолет: «Никто никогда ничего не докажет!»

Подлинный, хотя и заочный спор ему предстояло поэтому вести не столько с западными оппонентами, сколько с собственными политическими предшественниками. Его уступки, выглядевшие односторонними, согласие на асимметричные сокращения вооружений были только закономерной расплатой за щедрость, с которой советское руководство раскармливало в прошлые годы военно-промышленный комплекс, и единственной возможностью обеспечить необходимый уровень доверия к новой советской политике, без чего любые переговоры между Востоком и Западом оставались состязанием в пропаганде. Вынужденный и по сей день отбиваться от обвинений в том, что «продался Западу», что он сам и Эдуард Шеварднадзе были «агентами западного влияния», Горбачев настаивает: «Это была ответственная политика, ответственная в отношении собственной страны, своего народа. Ее цель — прорвать блокаду, в которую мы сами себя загнали и которая мешала сотрудничеству с остальным миром».

Поскольку Горбачеву в отличие от прежних советских руководителей нужен был реальный результат, а не пропагандистский выигрыш, он должен был найти не только убедительные слова, но и сделать своим партнерам «предложение, от которого бы они не могли отказаться». Только пойдя на доселе немыслимое, принося в жертву накопленное в отдельных областях вооружений советское превосходство, можно было надеяться разорвать порочный круг бесполезных переговоров и начать движение к безъядерному и ненасильственному миру, в который после убийства Раджива Ганди продолжал верить, пожалуй, только он один. И по сей день, хотя такой мир кажется еще менее вероятным, чем десять лет назад, Горбачев стоит на своем, отвергая аргументы таких своих критиков, как А. Добрынин, который считает, что у Советского Союза «был шанс закончить «холодную войну», не утрачивая завоеваний, накопленных советской дипломатией при Громыко, то есть на равных с Западом».

Кто из них прав: ветеран-дипломат, четверть века отслуживший советским послом в Вашингтоне и знавший американский истеблишмент лучше, чем советскую номенклатуру, или отработавший примерно столько же партийным функционером в Ставрополе Горбачев, начавший реально открывать для себя внешний мир уже после того, как стал членом Политбюро? Дипломат-профессионал или мировой лидер-самоучка, пусть и схватывавший дипломатическую премудрость на лету? Был ли Горбачев наивным политиком не от мира сего, политическим Велимиром Хлебниковым, который называл себя «будетлянином» и Председателем земного шара, или человеком, способным придать происходившим, в том числе по его воле, событиям иной масштаб измерения, чем президентский срок или человеческая жизнь? Утопистом в духе Томаса Мора, которого никак не хочет забыть так и не пожившее в его Утопии человечество, назвавшее его тем не менее «человеком на все времена»? Кому теперь задать все эти вопросы? «Холодная война» закончилась, и это произошло на условиях, сформулированных (или принятых) Горбачевым. И теперь уже не ему, а другим доказывать, что это могло произойти иначе.

«РУССКИЕ ПРИШЛИ!»

Кошмар, преследовавший Джеймса Форрестола, воплотился в реальность: в декабре 1987 года русские вторглись в Вашингтон, выгрузив из самолетов, приземлившихся на авиабазе Эндриус, несколько десятков дипломатов, экспертов, охранников, журналистов, бронированные «ЗИЛы» и, главное, новое оружие советского наступления на Запад, от которого у него не было защиты, — Михаила и Раису Горбачевых. Американская столица сдалась без боя. На церемонию подписания договора о ракетах средней дальности и приеме в советском посольстве и Белом Доме съехался и слетелся (некоторые приглашенные прилетели из других городов, в том числе с Западного побережья) весь американский политический, деловой и культурный истеблишмент. Те, кто не получил приглашения, спасался от расспросов, срочно уезжая из столицы: это давало возможность объяснить свое отсутствие чрезвычайными обстоятельствами.

Когда Рейган и Горбачев подписали документы и обменялись ручками, зал, встав, устроил им овацию. Эмоции захлестнули и Нэнси Рейган, которая сама выбрала день и час для этой церемонии, посоветовавшись со своим астрологом, — повернувшись к Раисе, она предложила, чтобы и две первые леди вслед за сверхдержавами пошли на мировую: «Я думаю и нам надо пожать друг другу руки». Вечером на приеме в Белом Доме Ван Клиберн заставил собравшихся еще раз встать, когда заиграл разученные им еще для первого конкурса им. Чайковского «Подмосковные вечера». Горбачев, обожавший петь, с видимым удовольствием подхватил мелодию, а сидевший рядом с адмиралом Уильямом Кроу ультраконсервативный вашингтонский журналист Джордж Уилл прошептал ему на ухо: «Вам, адмирал, эта песня обойдется в 200 военных кораблей».

В течение трех дней визита город был охвачен приступом «горбимании». Бар в отеле «Мариотт», где размещалась советская делегация, был переименован в кафе «Гласность». Когда же в ответ на реплику сопровождавшего его Дж.Буша, посетовавшего, что у гостя не нашлось времени посетить какой-нибудь супермаркет и пообщаться с простыми американцами,

Горбачев внезапно велел остановить кортеж и к ужасу охраны вышел к народу, с улицы приключился «горбазм». Не веря своей удаче, сотни людей, стоявших вдоль ограждений, бросились пожимать руку советскому лидеру. Растерявшиеся из-за нештатной ситуации американские охранники кричали толпе: «Всем вынуть руки из карманов!» Требование было излишним — и так все руки тянулись в сторону Горбачева. Владелец ресторана, расположенного на углу, где остановился кортеж, свесившись из окна второго этажа, звал: «Господин Президент, поднимитесь сюда, на этой неделе у нас в меню борщ!»

Но не весь Вашингтон так принимал Михаила и Раису. Накануне их приезда по Пенсильвания авеню прошла двухсоттысячная демонстрация протеста против нарушений прав человека в СССР и сохраняющихся запретов на свободный выезд из страны. Сквер напротив Белого Дома, традиционно используемый для политических пикетов, оккупировали представители «угнетенных меньшинств»: украинцы и прибалты, к которым присоединились кришнаиты и афганские моджахеды с плакатами «Смерть Горбачеву!» Не было единодушия и среди конгрессменов — Горбачев так и не удостоился приглашения выступить на совместном заседании палат на Капитолийском холме (в отличие от приехавшего в США пять лет спустя Ельцина), а один из ультраконсервативных членов палаты представителей послал Рейгану почтой зонтик и котелок, напоминая о Невиле Чемберлене и его поездке в Мюнхен для встречи с Гитлером.

Свои препоны на пути в Вашингтон пришлось преодолеть и Горбачеву. И хотя основные члены его команды понимали необходимость «вышибать» «Першинги» из Европы ценой принесения в жертву советских СС-20 (военные, и прежде всего начальник Генштаба С.Ахромеев, полностью разделяли эту позицию), кое у кого были сомнения. А.А.Громыко, непосредственно причастный к решению о «довооружении», предостерегал на заседании Политбюро: «Не стоит идти на новые уступки США. Иначе останемся без того, что создавали в течение 25 лет. Нельзя полагаться на порядочность американцев. На какие бы односторонние уступки мы ни пошли, они все равно не станут договариваться с нами «на равных».

Горбачев перебивал его: «Что же вы предлагаете, Андрей Андреевич (Громыко был один из немногих, к кому он обращался не только по имени-отчеству, но и на «вы»)? Рвать переговоры?» Ответ Громыко: «Тянуть».

Однако тянуть, использовать переговоры как ширму, блефовать, как в прошлые времена, не входило в намерения Горбачева, нацеленного на скорейший результат: «В отличие от Громыко, я не боюсь, что американцы нас обойдут, в частности, в космосе. Вот кто на самом деле блефует. До их выхода в космос еще далеко, мы же пока наращиваем капитал доверия. И вообще, время работает на нас». За этой пикировкой о тактике ведения советско-американских переговоров скрывались принципиальные мировоззренческие, а не только поколенческие расхождения: 56-летнему Горбачеву было легче верить в то, что время работает на него, чем разменявшему восьмой десяток главе внешнеполитического ведомства. Последний представлял не просто политику и эпоху «холодной войны», а целую школу советского мышления, по-своему логично исходившую из того, что только «замораживание» послевоенного статус-кво, обеспечившего со времен Ялты Советскому Союзу ранг супердержавы, гарантирует ее мировое величие. Отсюда агрессивное неприятие всего, что этот статус-кво могло пошатнуть, поколебать, размыть. Отсюда же и тактика: «тянуть», имитировать переговоры, соглашаться в крайнем случае на торможение гонки вооружений, но не на их сокращение, тем более асимметричное. Горбачев со своей перестройкой, приведшей в движение внутреннюю жизнь в СССР, представлял угрозу для «статус-кво». Очевидно, что его любимое — «Главное начать», перекликавшееся с гагаринским «Поехали!», не могло не распространиться и на внешнюю политику.

И все же принципиальная разница во взглядах между ним и Громыко (как и другими советскими лидерами) заключалась не в оценке американцев — верить, не верить, говорить языком силы или аргументами нового политического мышления, а в оценке исторических перспектив Советского Союза. Для реалиста Громыко «последним аргументом короля», важнейшим, если не единственным козырем, обеспечивавшим сохранение

великодержавного статуса СССР, был потенциал устрашения остального мира.

По убеждению же романтика нового политического мышления Горбачева (считавшего себя, естественно, твердо стоящим на земле практиком), попытка заморозить ситуацию внутри и вокруг СССР в глобальном, бурно меняющемся мире напрямую вела к историческому краху не только режима, но и государства. Только реформированный Советский Союз обретал, как он верил, шанс «на равных» конкурировать с западным миром на основе заложенных в социалистической идее универсальных ценностей, которые делали его даже более приспособленным к XXI веку и к миру будущего, чем его исторического соперника.

Запад, не без интереса наблюдавший за этим столкновением мировоззрений и политических курсов внутри СССР, при всем благожелательном отношении к посулам Горбачева в своей практической политике следовал скорее громыкинской логике: аплодируя перестройке, но сохраняя при этом свой порох сухим на случай, если советский лидер или его преемники разочаруются в новом политическом мышлении так же неожиданно, как к нему пришли. (Надо полагать, узнав об августовском путче, многие западные политики порадовались, что в свое время не дали себя увлечь видениями Прекрасного Нового Мира. По мнению же помощников Горбачева (Г.Шахназаров), если бы Запад, и, в частности, «большая семерка» оказали в 1991 году Советскому Союзу ту помощь, о которой он просил в Лондоне, путча можно было бы избежать.)

...Расставание Рона и Майкла на лужайке перед Белым Домом, хотя и произошло, как год назад в Рейкьявике, с задержкой из-за того, что С.Ахромеев и П.Нитце до последней минуты согласовывали директивы для будущих переговоров, ни в чем не напоминало хмурое прощание перед домом Хофди. Тогда прорыв не состоялся из-за нежелания Рейгана пожертвовать СОИ и неготовности Горбачева развязать свой «пакет». В Вашингтоне, подписав договор о «евроракетах» и согласившись на переговоры о 50-процентном сокращении стратегических арсеналов, Горбачев предоставил американскому президенту

возможность самому удостовериться в том, что столь дорогая ему (и американскому бюджету) программа «звездных войн» неминуемо захлебнется в неразрешимых технических проблемах (это вскоре и произошло).

Оба лидера могли представить результаты саммита как личный успех: Рейган — похвастаться тем, что вынудил Советы согласиться с его формулой сокращения советской стратегической «триады», Горбачев — утверждать, что предложенное им движение к безъядерному миру практически идет по его графику. Но главным итогом было принципиальное изменение атмосферы советско-американских отношений. Если Америка встречала Горбачева с недоверчивым любопытством, как экзотическое политическое явление, то провожала с благодарностью, как человека, избавившего американское общество от угнетавшего его страха перед советскими ракетами, перед непредсказуемостью коммунистов, перед угрозой «империи зла», а в общем, перед русскими, которые могут в любой момент прийти без приглашения. Популярность его в эти дни среди американцев, если и не превзошла рейтинга их президента, то была выше, чем у основных кандидатов, собиравшихся менять Рейгана в Белом Доме, а его пресс-секретарь Марлин Фицуотер дорого заплатил бы за то, чтобы все забыли, как после саммита в Женеве он снисходительно назвал Горбачева «ковбоем из драгстора».

Между тем сами «русские» только начинали освобождаться от вбитого в них по шляпку официальной пропагандой убеждения, что не сегодня-завтра они могут стать жертвой империалистической агрессии или очередной провокации «поджигателей войны». Как свидетельствует горбачевский помощник А. Черняев, сам Михаил Сергеевич только после Рейкьявика поверил в то, что американцы не собираются воевать против СССР и не готовятся нанести по Москве обезоруживающий ядерный удар. Уверившись, что войны между СССР и США не будет, он как бы внутренне освободился и на все приставания военных отвечал: «Вы собираетесь воевать? Я не собираюсь, и, значит, ваши требования неприемлемы». Тогда Политбюро его в этом единодушно поддерживало.

Это начавшееся в Рейкьявике и продолжившееся в Вашингтоне обоюдное освобождение от страха, существовавшего уже

как бы само по себе и принявшего форму истинного «железного занавеса», выкованного из недоверия и взаимных подозрений, и стало началом конца «холодной войны». Есть разные мнения относительно того, когда она завершилась. Одни называют май 1988 года, когда Рейган, выйдя из Спасских ворот Кремля на Красную площадь, не побоялся сфотографироваться в сердце «империи зла» на фоне Мавзолея Ленина. Другие считают ее концом речь Горбачева в ООН в декабре 1988 года, где он заявил, что сила или угроза ее применения не должны служить инструментом внешней политики, и объявил об одностороннем сокращении — на полмиллиона человек — советских войск в Восточной Европе.

Для всей Европы «холодная война» окончательно закончилась с падением Берлинской стены и воссоединением Германии. По версии советской стороны (пресс-секретаря МИДа Геннадия Герасимова), «холодную войну» сообща похоронили на дне Средиземного моря Буш и Горбачев во время встречи на Мальте. По мнению американцев (госсекретаря Дж.Бейкера), она действительно осталась в прошлом, когда представители СССР и США вместе проголосовали в Совете Безопасности ООН в январе 1991 года за военные санкции против иракского режима Саддама Хусейна, вторгшегося в Кувейт. По-видимому, правы все, поскольку эти, как и многие другие не названные, события в целом составили ту критическую массу, сумму перемен, которая позволила мировой истории, долгие годы разделенной на разные потоки, слиться в единое русло. Мечтали об этом многие, верили в то, что это произойдет, единицы, поставил эту цель как практическую, реально осуществимую задачу один человек — Горбачев.

Дипломатический обозреватель гамбургского еженедельника «Цайт» К.Бёртрам писал: «Я был убежден, что «холодная война» и гонка вооружений никогда не кончатся. Свою задачу я видел поэтому не в том, чтобы содействовать прекращению «холодной войны», а в том, чтобы сделать ее более выносимой, спокойной, стабильной. Но Михаил Горбачев перевернул этот мир». В 1989 году журнал «Тайм» избрал Горбачева «человеком десятилетия», а Ричард Никсон не побоялся назвать его «человеком века».

В декабре 1990 года Горбачев не поехал получать присужденную ему Нобелевскую премию мира (он приехал в Осло и выступил с Нобелевской лекцией весной 1991-го). На торжественной церемонии его представлял зам. министра иностранных дел А.Ковалев. Почему советский президент уклонился тогда от почестей со стороны мирового сообщества, которые, бесспорно, заслужил? Главная причина, разумеется, — внутренняя ситуация в стране. К осени 90-го разрыв между внешнеполитическим триумфом Горбачева и все более драматичными последствиями его политики внутри Советского Союза стал очевидным. И запоздавшая Нобелевская премия только подчеркивала этот контраст. Кроме того, к этому времени уже и внешняя политика Горбачева стала терять внутреннюю поддержку — из самого выигрышного аспекта перестройки, дольше других вызывавшего почти единодушное одобрение не только населения, но и большей части его окружения, она вслед за другими сюжетами превратилась в поле ожесточенной политической борьбы.

Да и принципы нового мышления, сформулированные Горбачевым как аксиомы грядущего миропорядка в его речи в ООН, и первый среди них — отказ от применения силы, подверглись труднейшему испытанию на просторах трещавшей по швам советской империи. События в Тбилиси, Карабахе, Баку и Прибалтике, которые все труднее было квалифицировать как разрозненные инциденты, настойчиво ставили перед Горбачевым неприятный вопрос: применимо ли новое политическое мышление к внутренней политике, и если нет, то каковы критерии использования его постулатов — от свободы выбора до неприменения силы?

Всклокоченная реальность его собственной страны, которую, как выяснилось, значительно труднее реформировать, чем окружающий ее мир, вновь возвращала Горбачева к теперь уже заочному диспуту с классиком старого политмышления Громыко — тот, находясь в отставке, как пишет его сын Анатолий, твердил: «В кризисных ситуациях дозированное применение силы оправдано». И, разочаровавшись в своем «крестнике», о котором однажды в сердцах заметил: «Не по Сеньке шапка», резюмировал: «Если гордишься своим пацифизмом, не садись

в кресло руководителя великой державы». Конечно, легко сказать «в кризисных ситуациях», но как быть с политической головоломкой выхода из системного кризиса через перестройку — этот спровоцированный, задуманный, рукотворный кризис, — «созидательный хаос»?

Со всеми этими вопросами ему еще предстояло столкнуться в последующие, отведенные перестройке годы. Прощаясь с Рейганом и Вашингтоном, Горбачев имел еще основания считать, что время работает на него. И поэтому, когда на заключительной пресс-конференции кто-то из вездливых журналистов, нарушив приподнятую атмосферу, задал бестактный вопрос о внутренних разногласиях в советском руководстве, генсек неожиданно резко ответил: «Внутри Политбюро и ЦК нет разногласий, и могу вас заверить, что никакого раскола нет и не будет». Увидев удивленные лица журналистов, явно пораженных неожиданным пылом этой тирады, он, желая сгладить неловкость и как бы оправдываясь, добавил: «Может быть, я поддался эмоциям, но я искренен перед вами». Подозревать его тогда в неискренности не было оснований. Однако если бы тот же самый вопрос ему задали три месяца спустя, он, возможно, отвечал бы не так убежденно.

Глава 6 «ПАРТИЯ — ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО МНЕ НЕ ИЗМЕНИТ»

ПРОЙДЕТ ЛИ ВЕРБЛЮД ЧЕРЕЗ ИГОЛЬНОЕ УШКО?

Весной 1988 года на монолитном фасаде реактора Перестройки — горбачевского Политбюро — появились первые трещины. До этого времени мало из того, что там «варилось» и «клокотало», выплескивалось наружу, хотя споры в Ореховой комнате Кремля и в зале Политбюро случались нередко. Но Горбачеву удавалось относительно легко, опираясь на личную лояльность к нему членов партийного синклита, гасить разногласия. Еще совсем недавно он позволял себе высмеивать «потуги» западной прессы, которая «провоцирует нас, хочет перессорить, расколлоть перестройку. Запад нас уже разделил: Горбачев, дескать, за вестернизацию, Лигачев — за русификацию, Яковлев — вообще представитель масонских групп и космополитических интересов, а Рыжков — технократ и держится в стороне от идеологии». А уже зимой 1988 года вслед за журналистским дымом появился огонь. В принципе, Михаил Сергеевич должен был быть к этому готов — ведь пересказывал же он на Политбюро разговор академика Г.Арбатова с видным американским советологом, предупреждавшим: «Главные проблемы у вашего Горбачева впереди. Они проявятся, когда перестройка начнет от слов переходить к делу и затрагивать интересы людей».

В официальной хронологии перестройки 1988 год — переломный. Сам Горбачев характеризует его по-разному. Иногда

как начало ее второго этапа, конец «митинговой стадии», когда «пришли к пониманию того, что надо не улучшать, а реформировать систему». Иногда говорит откровеннее: «Собственно перестройка начинается с XIX партконференции». Первый или второй этап, в конце концов, не имеет значения, важно, что этот год обозначил новый рубеж — не столько даже в развитии ситуации в стране, сколько во внутренней эволюции самого Горбачева. (По понятным причинам, по крайней мере в первое время «начатая партией» перестройка послушно следовала за новым генсеком ЦК КПСС, как нитка за иглой, куда бы он ни повелел.)

Подведя, по его признанию, вместе со своими сторонниками «неутешительные итоги» 1987 года, он явно созрел для того, чтобы отбросить «костыли» ленинских указаний и цитат. Но при этом окончательно оттолкнуться от «пристани марксизма» и пуститься в самостоятельное плавание, к чему его все настойчивее подталкивала не укладывавшаяся в цитаты жизнь, не решался. А Черняев вспоминает, с каким облегчением Горбачев как-то сообщил ему: «Знаешь, Анатолий, перечитал я «Экономическо-философские рукописи 1844 года» Маркса. А ведь он там не отказывается от частной собственности!» Поделиться этим «открытием» с членами Политбюро генсек еще не отваживался.

Девизом нового этапа должно было стать «разгосударствление» партии, избавление партийного аппарата от надзора за деятельностью госорганов. Стряхнув функции государственного и хозяйственного управления, партия, превратившаяся в омертвевшую бюрократическую структуру, по замыслу Горбачева, должна была вернуть себе «живую душу» политического движения. Мог ли вчерашний секретарь крайкома, многоопытный партфункционер не понимать, что разделить партию и государство, сросшиеся за годы советской власти, как сямские близнецы, — значило рисковать, что ни один из них — ни партия, ни государство — не переживет этой операции. Ведь помимо партийных комитетов в стране, в сущности, не было других управляющих органов.

Он должен был отдавать себе отчет, что попытка перелицевать, вывернуть, как перчатку, наизнанку эту «Партию-государ-

ство», превратив для начала в «Государство-партию» (на том этапе о многопартийности Горбачев благоразумно не заговаривал), добиться после десятилетий однопартийной диктатуры, которая почему-то называлась советской властью, передачи реальных полномочий призрачным Советам — значило броситься с головой в море вопросов, не имевших тогда ответов. Да и был ли у него реальный шанс «уговорить» партийную номенклатуру, если не полностью отдать свою бесконтрольную власть, то хотя бы поделиться ею с государственными и хозяйственными органами, да еще согласиться подвести под нее, хотя бы задним числом, легитимную базу, пройдя через выборы? Ведь оторвать аппарат от властных позиций, вернуть затвердевшую чиновно-бюрократическую структуру в расплавленное состояние политического движения означало на деле порвать не только с уставом сталинского «ордена меченосцев», но и с ленинской концепцией партии «нового типа», перебежать от большевиков к меньшевикам, вернуться чуть ли не к изначальным, «катакомбным» временам коммунизма и эпохе, в которую российские социал-демократы ощущали себя связанными родством со своими европейскими собратьями.

Прав, выходит, оказался Егор Кузьмич Лигачев, который, поздно спохватившись, ахнул, обнаружив, что Горбачев «совершил переворот против марксизма-ленинизма и заменил его социал-демократизмом». Лишенная регалий государственной власти, реформированная по чертежам Горбачева партия должна была напоминать скорее партию Тольятти и Берлингуэра, чем Брежнева, Черненко или Андропова, с той только разницей, что итальянским руководителям было куда проще освободить свою компартию от пут 10 заповедей Коминтерна, чем Горбачеву, у которого в отличие от них за плечами был окостеневший бюрократический аппарат, намертво сросшийся с государством.

Кто знает, может быть, он и не ставил перед собой этой заведомо недостижимой цели и вновь «слукавил», намереваясь использовать организационно-административный ресурс партаппарата — единственно эффективной исполнительной власти в стране, чтобы его же руками демонтировать идеологическое партийное государство и превратить его в советское, то есть светское. Сам он утверждал, что хотел нейтрализовать аппарат,

помешать этому «монстру» превратить партию «профессиональных революционеров» в оплот антиперестроечной контрреволюции.

Сделать это Горбачев предполагал, опять-таки следуя непременно заветам Владимира Ильича. Тот в свое время допускал возможность «откупиться» от буржуазии, чтобы избежать гражданской войны. То, что не получилось у Ленина, собирався осуществить Горбачев, «откупившись» от партноменклатуры предложением совместить должности партийных секретарей и председателей местных Советов. Коварство этого внешне невинного предложения состояло в том, что для его осуществления от партсекретарей требовалась сущая бездельница: пройти через выборы. Так в 1988-м он начал заталкивать недоверчиво упирающегося верблюда государственной партии в игольное ушко политической демократии.

Верил ли сам в успех этой операции или попросту тянул время, как утверждают его нынешние критики из КПРФ, которым не удалось перебраться в рыночное «зазеркалье» (в отличие от немалой части номенклатуры, которая, браня и пиная своего генсека, тем не менее успешно распорядилась и подаренным кредитом времени, и предложением «откупиться», прибрав к рукам вместе с новой властью и здоровенные куски бывшей государственной собственности). Ответа на этот вопрос, боюсь, мы не получим, даже если спросим самого Горбачева. В лучшем случае ответ будет сегодняшним, а не тогдашним.

А. Яковлев вспоминает, что еще в конце 1985 года он написал Горбачеву записку в предложением разделить КПСС на две партии: либерального и консервативного направления, сохранив их в рамках одного Союза коммунистов. Тот, прочитав записку, ограничился лаконичным: «Рано». Напоминая об этом предложении, Яковлев признает, что были резоны и в суждениях Горбачева, считавшего, что «с тоталитарным строем на определенном этапе может справиться только тоталитарная партия. Однако, — добавляет он, — это было возможно только до тех пор, пока аппаратный слой партии поддерживал своего генсека».

Считать тем не менее, что уже тогда Горбачев замыслил, «попользовавшись» услугами партии, освободиться от нее и

запланировал переход от партийной диктатуры к своей личной путем введения «президентского режима», все-таки нет достаточных оснований. Не меньше обвинений выдвигают представители другого политического фланга, упрекая в том, что непростительно долго колебался, прежде чем решился на разрыв, мешкал и в результате роковым образом в очередной раз опоздал.

Однако в 1988 году до «развода» с возглавляемой им партией было еще далеко, и генсек, возможно, вполне искренне полагал, что его долг объяснить партийному воинству, что времена изменились, на дворе другая эпоха, и если партия к ней не приспособится, ее ждет политическая катастрофа. Для этого «крупного» внутрипартийного разговора и была задумана XIX партконференция.

Как опытный настройщик, Горбачев пытался добиться, чтобы все инструменты на будущем концерте звучали в унисон. Во время многочисленных встреч со своими недавними коллегами — первыми секретарями обкомов — он не переставал твердить: «Надо выработать новую правовую систему на основе концепции социалистического правового государства. Ведь, откровенно говоря, партия присвоила себе власть недемократическим путем. А потом себя и конституционно провозгласила как правящую... Самое большое беззаконие творится у нас в партийных комитетах, в обкомах — там первые нарушители законов... Такой власти, какую имеет у нас партия, нет нигде, даже в авторитарных режимах. Там руководителей ограничивает частная собственность. А у нас ограничитель только один: моя совесть и партийность».

Секретари угрюмо слушали своего начальника, рассказывающего им то, что они и без него знали, и из всего сказанного обращали внимание на две главные новости: первая — каждому из них предстоит пройти через выборы в главы исполнительной власти; вторая — срок их ставшей уже привычной номенклатурной жизни будет ограничен двумя мандатами по 5 лет. «Если уж кто дюже выдающимся окажется, тогда его тремя четвертями голосов можно и на третий срок. Главное, не думать, как же я сохраниюсь в системе. О стране надо думать».

Конечно, наивно было надеяться, что та самая партийная рать, начавшая, как уже почувствовал Горбачев, превращаться в главное препятствие для задуманной реформы, перестанет думать о себе и озаботится исключительно делами страны. И тем не менее хотя бы для очистки совести, перед тем как окончательно расстаться с партией, частицей которой он был практически всю сознательную жизнь, Горбачев считал, что должен дать ей шанс. Будучи сам человеком одной группы крови и общего жизненного опыта со своими партийными товарищами, он должен был представлять себе, как они им распорядятся. Речь определенно шла уже не о словах, а об интересах, и самое время было вспомнить мудрое предостережение американского советолога, приятеля академика Арбатова.

«ДАВАЙ ИХ ВСЕХ ОБЪЕДИНЯТЬ»

Готовя партию к будущей новой жизни и вероятной многопартийности, Горбачев должен был прежде всего приготовить сам к тому, что многопартийность возникнет для начала внутри собственной партии. Еще не начав собирать урожай перестройки, ему довольно рано пришлось пожинать плоды своего отступничества от правил, установленных его предшественниками. На своем личном опыте предстояло убедиться в том, что механизм функционирования модели власти был продуман до мелочей и, тронув любую его деталь, следовало ждать сбоев в работе всей Системы.

Каждый ее элемент — от репрессий сталинской эпохи, смягченных в хрущевские и послехрущевские времена, до провозглашенной еще Лениным непримиримой борьбы с фракционностью внутри партии — нес свою «полезную» нагрузку. Объявив «свободу выбора» опорным пунктом нового политического мышления во внешней политике, декретировав гласность и допустив хоть и «социалистический», но все же плюрализм мнений, Горбачев не должен был удивляться тому, что новыми правилами игры раньше сторонников воспользуются его противники (те, чьим интересам начала реально угрожать логика перестройки). Лексикон ГУЛАГа недаром отчеканил формулу, которая должна была бы служить предостережением не

только конвоируемым зекам, но и сменившим Сталина советским руководителям: «Шаг влево, шаг вправо приравнивается к побегу». Сделав сразу несколько шагов в сторону от ленинско-сталинской модели партии, новый генсек оказался на минном поле и обнаружил, что политические фугасы могут отныне взрываться у него за спиной или прямо под ногами — внутри еще вчера монолитного «ленинского» Политбюро.

По этой причине, а не из-за одних только принципиально разных подходов к экономической реформе «китайский путь» для перестройки был отныне заказан. Многочисленные критики, укорявшие Горбачева за то, что не избрал стратегию Дэн Сяопина, делают вид, будто не понимают, что важнейшим компонентом «китайской модели» были и показательно свирепое подавление студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь, и безоговорочное подчинение всех членов китайского руководства воле их лидера. Любые проявления разномыслия в окружении Дэн Сяопина, как, скажем, попытки завести речь о «советском пути» реформы и привлечь внимание к опыту перестройки, пресекались самыми жестокими методами, заимствованными у Мао Цзэдуна. (Нетрудно представить себе возможную судьбу главного редактора «Советской России» после публикации письма Нины Андреевой или генерала Макашова, публично оскорбившего своего главнокомандующего, последуй Горбачев их призывам поучиться у китайских товарищей.)

В возглавляемом же им Политбюро ситуация в первые месяцы этого переломного года начала все больше напоминать игру на расстроенном пианино. Последним моментом единения его членов была «двухминутка ненависти», сплотившая их во время расправы с Борисом Ельциным. Вспоминая октябрьский 1987 года Пленум ЦК, А.Яковлев пишет: «Горбачев был мрачен, сосредоточен, говорил мало. На него упорно нажимали, чтобы исключить Ельцина из партии. Столь же упорно он возражал против этого предложения».

Однако после устранения этого возмутителя спокойствия прежняя безмятежная атмосфера в Политбюро так и не вернулась. Своей в значительной степени спонтанной выходкой Ельцин продемонстрировал, что в партии действительно наступили новые времена, традиционные единогласие и обязательное

равнение на лидера ушли в прошлое. Правом на несогласие, которое он отвоевал достаточно дорогой ценой — если вспомнить публичную порку, заданную ему на пленумах сначала ЦК, а затем и Московского горкома, — вслед за ним смогли воспользоваться и те, кто его с демонстративным пылом осуждал. «Раньше все члены Политбюро были обязаны дружить, — рассказывает А. Яковлев. — Теперь выяснилось, что можно быть несогласным, если еще не с генсеком, то хотя бы друг с другом». Неожиданно, хотя на самом деле закономерно, первым дозволенным правом на внутривнутрипартийное диссидентство воспользовались представители наиболее ортодоксальных сил в КПСС, те, кто особенно остро почувствовал угрозу от явно выходящей из-под их контроля ситуации в стране.

Будущие радикально-демократические критики Горбачева в ту пору еще в своей массе молчали. Во-первых, им требовалось время, чтобы подрасти и обрести уверенность в тени подстрахованной А. Яковлевым гласности. Во-вторых, на том этапе у них еще не могло быть каких-то серьезных претензий к Горбачеву — инициатору таких демократических перемен в стране, дожить до которых большинство из них не надеялось. Будущие демократы едва поспевали за генсеком и жадно вычитывали из его речей и слушали по телевидению то, что еще вчера было для них «нетелефонным разговором».

Роль рупора первой антигорбачевской оппозиции взял на себя второй человек в партийной иерархии, слывший до недавнего времени одним из самых энергичных его сторонников, — Егор Лигачев. Так, задавая тон при обличении политической «незрелости» Ельцина на октябрьском 1987 года Пленуме ЦК, он защищал генсека: «Мы все уважаем Михаила Сергеевича. Я рад и счастлив, что работаю с ним». Однако уже на следующем Пленуме, в феврале 1988 года, посвященном, казалось бы, невинному вопросу реформы школы, Лигачев открыл свой фронт атаки. Защищая советскую историю от «очернительства» (через два месяца после многодневных дебатов в Политбюро вокруг текста доклада о 70-летию Октября), он декларировал в своем выступлении необходимость «классового воспитания» молодежи, обеспечения «высокой идейности» образовательного процесса и проявления «бдительности к идеологическому врагу».

Горбачев, как бы не расслышав предупредительного выстрела «охраны», продолжал свой «побег» в идейную крамолу. В своем докладе на этом же Пленуме он упорствовал в том, что в центре задуманных преобразований должен находиться «человек», а не «трудящиеся массы», что руководящая роль партии не дана раз и навсегда и, в очередной раз прикрываясь Лениным от «верных ленинцев», настаивал на необходимости предпринять еще одну «коренную перемену всей точки зрения на социализм».

Избалованный не снижавшейся всенародной поддержкой перестройки и еще не столкнувшийся с последствиями развязанного им «творческого хаоса», Горбачев был настолько уверен в своей способности усмирять бушевавшие вокруг политические страсти (через десять лет он назовет это «самоуверенностью»), что не придавал серьезного значения первым открытым столкновениям между членами своей команды. Ему казалось, что грандиозность общего замысла перестройки самодостаточна, чтобы нейтрализовать то, что он принимал за конфликты темпераментов и характеров. «Согласен, — говорил он Черняеву, — вежливых выражений у Лигачева не хватает. Но он честно беспокоится о деле, о перестройке. А что касается методов общения с людьми, то у него не все получается». Так же он успокаивал и главного редактора «Московских новостей» Е. Яковлева и председателя АПН В. Фалина, которым Лигачев по праву главного ответственного за идеологию устроил разнос на совещании главных редакторов: «Егор Кузьмич сказал мне, что в «МН» поднято много хороших тем. Так что он не видит все в одном темном цвете».

Кроме того, будучи не только по политической позиции, но и по натуре реформистом, человеком компромиссов, скорее «уговаривателем», чем «карателем», он искренне верил в возможность примирить спорящих, еще не осознав до конца, что их перепалки отражали не просто конфликты эмоций и амбиций, но столкновение принципиально разных идейных подходов и оформившихся интересов.

Еще осенью 1987 года он рассказал тому же Черняеву, что, отдыхая на юге, получил практически одновременно письма «от трех Егоров» — Лигачева, Яковлева и Арбатова (Георгий

тот же Егор). «Все три Егора озабочены одним и тем же. У всех тревога, что перестройка, не дай бог, захлебнется. Но в их позициях отражается невероятный диапазон различных мнений, споров, позиций — весь плюрализм нашего общества... И это, в общем, хорошо, неизбежно при таком повороте, который начался. Состояние смятения всегда сопровождает революцию, особенно у интеллигенции». И из этого вполне трезвого анализа следует совершенно неожиданный вывод: «В общем, пусть не паникуют. Давай, Анатолий, их всех будем объединять».

«Всех» объединить не получилось. Даже два прямых подчиненных генсека, между которыми он ради баланса разделил ответственность за идеологию, — Лигачев и Яковлев — не выполнили его прямое указание: запершись вдвоем на несколько часов, попробовать «снять» возникшие между ними разногласия. После этого разговора они разошлись уже окончательно непримиримыми противниками. Объявленная отныне война «алой и белой роз» внутри Политбюро еще не переросла в войну против генсека, она оставалась борьбой за него. Каждый лагерь рассчитывал, завоевав его на свою сторону, подавить сопротивление соперника. Горбачев, уже чувствуя, что в этом противостоянии проявляется растущее общественное напряжение, как мог, старался подавлять страсти, хотя это становилось все труднее и труднее.

Очередной и на этот раз уже не холостой залп с правого борта раздался, когда Горбачев и Яковлев отсутствовали в Москве, — один находился с визитом в Югославии, другой в Монголии и «на хозяйстве» остался «главный Егор» — Лигачев. 13 марта 1988 года в день отлета генсека орган ЦК КПСС газета «Советская Россия» опубликовала письмо ленинградского доцента Нины Андреевой под заголовком «Не могу поступиться принципами». И хотя текст размером в целую газетную полосу был опубликован в рубрике «Полемика», значение, которое придали статье в ЦК (на совещании, проведенном на следующий день, Лигачев «порекомендовал» редакторам газет обратить внимание на «полемическую статью в защиту социалистических идеалов, ТАССу было велено распространить ее полный текст по своим каналам, а руководителям других союзных республик, куда не поступала «Советская Россия», посове-

товали закупить часть тиража газеты или перепечатать статью в своих изданиях), не оставляло никаких сомнений — это была позиция партийного руководства или одной из его влиятельных фракций.

В предложенном в качестве «установочного» тексте мелькали хорошо узнаваемые и памятные еще по сталинским временам термины: «космополиты», «троцкисты», «контрреволюционные нации». С помощью ссылок на Черчилля брался под защиту незаслуженно «очерненный» Иосиф Сталин. По своему политическому звучанию этот дерзкий выпад ортодоксальной оппозиции представлял собой нечто среднее между доносом врага Лидии Тимашук, спровоцировавшей в 1952 году антисемитский процесс по делу «врачей-убийц», и появившимся в июле 1991 года в той же «Советской России» «Словом к народу», в котором была сформулирована платформа ГКЧП. На несколько дней, в отсутствие Горбачева, политическая жизнь в стране впала в оцепенение: приняв статью за руководство к действию, партийная номенклатура, предвкушая скорый выход из окопов, начала организовывать посылку с мест в Центр одобрительных «писем трудящихся», а сникшая московская интеллигенция обреченно готовится к возвращению «на кухню».

Вернувшийся из Белграда генсек застал «фрегат перестройки» опасно накренившимся на правый борт. «Заведенный» Яковлевым и паническими апелляциями демократических сторонников, он предпринял решительные шаги к подавлению бунта на корабле. Двухдневное заседание Политбюро, устроенное им для выяснения отношений внутри партийного руководства, превратилось в своеобразное «собрание по китайскому методу». Принужденный на нем к покаянию, Лигачев впоследствии в своих мемуарах обличал царивший там «расправный стиль», схожий с идеологической «охотой на ведьм» в сталинские времена, когда его самого в 1949 году обвинили было в симпатиях к троцкизму.

Каждый из членов Политбюро и Секретариата должен был высказать свое отношение к «манифесту антиперестроечных сил» (так была официально заклеимена эта публикация в редакционной статье в «Правде» от 5 апреля, написанной Яковле-

вым, «скрывшимся за анонимкой»). Одним, и в первую очередь самому Е. Лигачеву, пришлось оправдываться и доказывать свою «полную непричастность» к появлению статьи, другим, как, например, В. Воротникову, поторопившемуся назвать ее «эталонном», или В. Долгих — каяться и объяснять, что они невнимательно ее прочитали и проглядели антиперестроечный пафос.

Маршал Д. Язов, от которого не ждали развернутых идеологических оценок, выразил от имени командного состава армии возмущение тем, что вконец распутившаяся пресса, вместо того чтобы поднимать патриотические темы, «не перестает писать о Высоцком, а что он такого сделал?» И хотя итогом изнурительного марафонского заседания стало столь желанное для генсека единодушие, расчистившее путь подготовке к партконференции, никто уже не заблуждался насчет этого вымученного единства. «И с этими людьми надо двигать вперед перестройку!» — жаловался Михаил Сергеевич после заседания своим помощникам. Но «других писателей» у него не было. По крайней мере так он тогда считал.

Мир театра, поманив Михаила еще в школьные годы и едва не сбив с истинного политического пути, не оставлял его равнодушным и в последующие годы. И дело было не только в том, что он увлеченно и профессионально актерствовал (в хорошем смысле слова) с экрана телевизора и на сцене Кремлевского Дворца съездов, часами, на зависть Рональду Рейгану, держа в напряжении такую аудиторию, о какой не мог мечтать ни один великий актер. В сценичных театральных образах политического эпоса предстала перед ним и вся «историческая психодрама» перестройки. Он мог, например, ошеломить членов Политбюро, начав заседание с рассказа о том, что накануне был в театре, смотрел «Мизантроп» Мольера — «там все о нашей перестройке». Надо было быть по-настоящему одержимым этим проектом, чтобы высмотреть какие-то политические аналогии в достаточно легкомысленном и язвительном тексте французского классика XVIII века.

В другой раз Мольера мог с успехом заменить М. Шатров. Побывав на его «Большевиках», Михаил Сергеевич с подъемом

рассказывал коллегам: «После последних слов в зале тишина. А потом все встают и начинают петь «Интернационал». Вот к чему надо стремиться». По-шекспировски мощным выделось ему «гамлетовское» начало доклада перед участниками XIX партконференции 28 июля 1988 года: «Как углубить и сделать необратимой революционную перестройку? — вот коренной вопрос, стоящий перед нами».

По накалу страстей, выплеснувшимся эмоциям, сломанным ритуалам и нарушенным табу конференция и впрямь напоминала остросюжетную пьесу. Начавшись публичным выпадом писателя Виталия Коротича против сидящих в зале «взяточников», она включила в свой сценарий и неслыханные до того на партийных форумах призывы отправить в отставку руководство, и ельцинскую полупокаянную речь, закончившуюся просьбой о «прижизненной реабилитации», и брошенное ему Лигачевым: «Борис, ты не прав!», и финальный триумф Горбачева, выровнявшего под занавес чуть было не вошедшую в пике дискуссию.

Главное же, она бесповоротно покончила с мифом о монолитности рядов КПСС, вскрыв реальный плюрализм и неожиданную многопартийность советской политической элиты, до того времени закатанной в тесное консервное пространство однопартийного режима. «Конференция все это расшатала, — до сих пор с воодушевлением вспоминает Михаил Сергеевич. — Я стоял у руля во время этой бури все 10 дней и думал, что мы перевернемся. Причем многие делегаты были куда радикальнее меня. А теперь все только и говорят, что Горбачев был разрушителем. Но я знал, что только такая открытая позиция могла ослабить засилье номенклатуры».

С помощью подобной шоковой терапии он рассчитывал разбудить впавшую в политическую летаргию «огосударвленную партию» и сделать ее способной к конкуренции на открывающемся рынке подлинного, а не только социалистического плюрализма.

Часть растревоженной номенклатуры (вполне справедливо) в этом намерении генсека освободить партию от «несвойственных» ей функций («сейчас она держит у себя все — от встречи

с Рейганом до хомутов и картошки») и передать рычаги исполнительной власти от партийных комитетов к Советам усмотрела угрозу крушения мироздания. При этом больше всего пугала не возможная корректировка или даже полная ревизия идеологии — подавляющее большинство партийных чиновников давно не задумывались о значении произносимых с трибуны, в том числе ими самими, слов и не собирались, да и не были подготовлены к тому, чтобы ломать копыта в идеологических диспутах.

Смена привычных слов была опасна только потому, что предвещала уход прежнего комфорта, стабильности, разрушение устоявшегося порядка вещей и главной из них — Организации. В этом смысле ее рядовые представители были более проникательны, чем те, кто ими руководил и кому они уже не вполне доверяли, хотя еще и не решались перечить. Номенклатура скорее кожей, инстинктом, чем разумом, ощущала, что ее власть и, значит, благополучие покоятся, как писала немецкий философ Х.Арендт, исследуя тоталитарные режимы, уже не на притягательной силе идей и, стало быть, слов и лозунгов, а «исключительно на могуществе организации».

Понятно, что для делегатов конференции КПСС труды этого признанного эксперта по тоталитаризму XX века, не были настольными книгами. Стремясь защититься от идейной крамолы, режим, который они старались сохранить, ограждал от подобного чтения не столько потенциальных диссидентов (они давно научились обходить запреты), а своих убежденных сторонников и даже руководителей, лишая их тем самым необходимых инструментов трезвого анализа реальности. Отсюда и поразившая многих откровенная констатация Ю.Андропова: «Мы плохо знаем то общество, которое сами построили», и запоздалое признание А.Яковлева: «Когда мы начинали, мы сами иногда хвостика последствий не видели. Откуда было знать, что гласность приведет к разрушению того строя? Размельчит его, стащит с небес и об грешную землю — шмяк! Что за строй такой? Скелет какой-то разбившийся».

Проникательный В.Фалин, один из немногих людей из горбачевского окружения, читавших Х.Арендт, разглядел в XIX партконференции «переломный рубеж» не только для партии,

но и для всего советского общества — смену Системы. И терялся в догадках: означали ли предложения Горбачева переместить центр политической власти от партии к Советам только возвращение к изначальному «октябрьскому» проекту, или речь шла о расчистке площади для строительства будущего авторитарного президентского режима, скопированного с французского или американского. Однако и в том и в другом случае, как он считал, надо было скорее определяться, быстрее выходить из фазы двусмысленных попыток «объединить всех», признать, что в партии вызревают две непримиримые идейные платформы. «Признается это или нет, — написал он во время конференции в личной записке Горбачеву, — сути не меняет. Ничего не изменяет и то, что обе фракции говорят на внешне схожем языке. То обстоятельство, что делегации с готовностью аплодировали налево и направо, лишь усугубляет ситуацию, ибо в какой-то непрекрасный момент они пойдут за сильным... Отчего вы медлите, зачем вам нужен консенсус с Вашими оппонентами, которые готовы разбазарить перестройку оптом и в розницу? Несколько неверных движений, и программа революционного обновления уподобится еще одной красивой мечте».

К размежеванию сначала внутри партии, а позднее к уходу от нее к другой политической семье со все большей настойчивостью подталкивали генсека все, кто увидел в «нинандреевском манифесте» объявление открытой войны его версии перестройки.

О том, что у нее могло бы быть совсем иное начало и соответственно другое продолжение, недвусмысленно сказал в своем выступлении на конференции Е. Лигачев, который дал понять, что именно он с несколькими другими членами брежневского руководства подлинный «творец Горбачева», приведший его к власти. Вызов генсеку был брошен прилюдный, и многие ждали его реакции. Тот факт, что он не принял прямого боя, не снял с работы главного редактора «Советской России» и не дал публичной отповеди Е. Лигачеву, не говоря уже о том, что не пошел тогда на размежевание с консерваторами, многие восприняли как очередное проявление нерешительности, слабохарактерности, пагубной склонности к аппаратным компромиссам любой ценой.

Не только соскучившиеся по «твердой руке» решительного партийного вождя классические аппаратчики, но и демократ А.Яковлев считал, что, «не стукнув кулаком» перед лицом брошенного ему политического вызова, лидер ослабил свои позиции в партии, приученной к единоначалию, и, придав смелости оппозиции, разжег ее аппетит, а впоследствии критиковал за то, что тот «хотел играть генсека, но не был им по-настоящему. Он недооценивал своей мощи, когда стал Генеральным секретарем. Ведь он мог сделать почти все. Мог на пленуме, опираясь на самых, самых приближенных, ввести кого хочешь, освободиться от кого хочешь. И это бы все проглотили, может быть, даже с удовольствием...»

То, что Горбачев не «стучал кулаком», когда от него этого ждали, к чему подталкивали даже безоглядные сторонники и на что иногда явно провоцировали противники, конечно же, было особенностью характера человека, который, по наблюдению того же А.Яковлева, «очень отрицательно относился к репрессивной политике, иногда даже возбужденно реагировал на эту тему». Но, хотя в этом объяснении есть доля истины, реальные мотивы поведения Горбачева лежат глубже. При всей антипатии к привычной для партаппарата резкой, нередко хамоватой манере поведения, призванной подтверждать и утверждать верховенство руководителя, он отнюдь не был политическим вегетарианцем и непротивленцем (хотя при личном общении мог пасовать и даже теряться перед проявлениями бесцеремонности и откровенной грубости). Его тяга к компромиссам, неприятие показных, «решительных» жестов отражали осознанный выбор.

«Постепеновец» Горбачев, преклонявшийся скорее перед процессом, чем перед энергичным поступком или грозным административным разносом, верил, что только глубинные, плавные изменения придают происходящим переменам истинную основательность. И если, несмотря на выявившееся на партконференции острое противостояние двух тенденций — радикально-демократической и консервативной, — он не торопился раскалывать партию по обозначившейся внутренней меже, этому были свои причины. Во-первых, считал, что размежевание должно стать результатом естественной внутренней эволюции.

Во-вторых, для него КПСС в ту пору представляла не однородную темную массу — свинцовую тучу, нависшую над страной, а состояла как минимум из двух малосвязанных между собой партий: номенклатуры, превратившейся в подлинно паразитический класс, высасывавший из общества живые соки, и партийной «пехоты» — миллионов рядовых членов, продолжавших искренне верить в провозглашенные официальной пропагандой высокие цели. Ради этой второй партии, долгое время остававшейся для Горбачева истинной и желаемой, он был готов терпеть первую, даже когда политическая целесообразность и инстинкт самосохранения, а не только мольбы и советы его помощников, должны были бы подтолкнуть его к окончательному разрыву с ней.

«Я ему как-то говорю, — вспоминает А. Яковлев, — Михаил Сергеевич, с этой партией вам дальше совсем худо будет, все исчерпало себя. А он мне: «Ты не торопись, не торопись. Вот в ноябре соберем съезд и расколем партию. До ноября того 1991 года еще год был!» Тем более не готов был Горбачев раскалывать партию сразу после партконференции, когда вырванная в острой борьбе политическая победа и кажущаяся капитуляция консервативных оппонентов, а главное, еще относительно благополучная экономическая обстановка в стране давали основание надеяться на успех: что, изолировав безнадежных ретроградов, он спасет партию и выведет ее, как Моисей свой народ, из бесплодной пустыни административного социализма в долины обетованной земли его Перестройки.

Однако, доверившись «процессам», Горбачев, по существу, не сделал ничего для того, чтобы «вторая», перестроечная партия организационно оформилась. В результате, пока партия аппарата, вынужденная отступать под напором теснивших ее «прорабов перестройки», не только огрызалась, но и сплывалась под прикрытием Лигачева (разбив поначалу свой полевой штаб в его кабинете, а потом переместившись в созданную в 1990 году КП РСФСР), потенциальная партия Горбачева продолжала ждать звука его трубы. И, не дождав-шись, разбрелась в разные стороны. Ее конформистская часть, как и предсказывал В. Фалин, двинулась за более решительными и поэтому духовно более близкими ей агрессивными вож-

дями российской компартии. Ее реформисты попробовали было из подручного материала соорудить «демократическую платформу», а самые нетерпеливые, решив, что «генсек себя исчерпал» и не получив от него никаких «хлебных» предложений, отправились предлагать свои услуги в лагерь новой ельцинской оппозиции.

Генсек же, считавший, что, сдерживая ретроградов («держа собаку на поводке»), он выигрывает время и дает шанс приспособиться к новой жизни партийным демократам, спасая к тому же и тех и других от возможной «слепой революции», в итоге оказался не нужен ни одним, ни другим. Накрыв с головой своего инициатора, разбуженный им процесс пошел дальше.

В своей кадровой политике тем не менее Горбачев не полагался на один только «процесс»: недаром ведь четыре года отслужил заведующим отделом партийных органов в Ставропольском крайкоме. Когда требовалось, «мякотельный» генсек пускал в ход свои — по характеристике А.Громыко — «стальные зубы», в чем могли в свое время убедиться и Г.Романов с В.Гришиным, и разжалованный в 24 часа после приземления Матиаса Руста на Красной площади министр обороны С.Соколов, и отправленные в добровольную отставку после XIX партконференции 100 с лишним членов ЦК, да и сам А.Громыко, когда в сентябре 1988-го пришел и его черед покинуть Политбюро, уступив Михаилу Сергеевичу свой пост Председателя Президиума Верховного Совета. Всего же, по подсчетам статистиков перестройки, в общей сложности при Горбачеве сменилось практически четыре состава членов Политбюро, не говоря уже о менее значимых фигурах. Так что с формальной точки зрения несправедливо упрекать Горбачева в том, что он не в полную силу пользовался возможностью «выгнать, кого хочешь, ввести, кого хочешь». Да и упреки такие при ближайшем рассмотрении сводятся скорее к тому, что «менял не тех и не на того, кого надо». (Разумеется, у каждого из критиков был свой список «идеальных» кандидатов.)

Проблема заключалась в другом: чем чаще он менял членов ЦК, Секретариата или Политбюро, тем больше убеждался, что дело не в людях, а в их функциях. Достаточно было отправить на покой «стариков» брежневского призыва, набрать на их мес-

то новых, молодых, чтобы удостовериться: сама по себе смена поколений, с которой связывалось столько надежд в период правления «старократии» (расхожим анекдотом той эпохи было сообщение ТАСС: «Избрать такого-то членом Политбюро и похоронить у Кремлевской стены»), на деле почти ничего не решает.

Конечно, на его кадровые решения накладывали свой отпечаток и некоторые черты характера, и личные пристрастия. Он не призвал во власть, по примеру Брежнева, взамен днепропетровской ставропольскую «мафию», если не считать председателя Агропрома СССР В.Мураховского, но долго оставался привязан к некоторым персонажам, вроде И. Полозкова, с которым свела его жизнь еще в бытность секретарем крайкома. По тем же, скорее психологическим, чем политическим, причинам тянул, не желая окончательно рвать отношения, даже когда это напрямую вредило делу, с теми, с кем начинал перестройку и кому, видимо, внутренне считал себя обязанным, — Е.Лигачевым, Н.Рыжковым, А.Лукияновым.

Может быть, именно подмеченная З.Млынаржем самонадеянность человека, считавшего, что он «на кадрах собаку съел», привела его к роковым промахам либо в назначениях, либо в недостаточно решительных расставаниях с потенциально бесполезными или опасными людьми в своем окружении. Самые очевидные из них, которые Горбачев готов признать сегодня, — его «политические могильщики» 1991 года: члены ГКЧП и Ельцин.

Поначалу Борис Николаевич импонировал Горбачеву, когда в первые месяцы перестройки он «высматривал людей деятельных, решительных, отзывчивых ко всему новому». Кроме того, для очистки после устранения Гришина «конюшен» Московского горкома ему требовался не повязанный никакими московскими путами «варяг» со стороны. Хотя Горбачев был поначалу доволен ретивостью нового московского секретаря, взявшегося проветривать горкомовские коридоры, не считал его важной политической фигурой на своей шахматной доске. По словам дочери Горбачева, в ежевечерних домашних «разборах полетов» фамилия нового первого секретаря горкома почти не упоминалась. Понятно поэтому, что полученное Горбачевым на от-

дыхе летом 1987 года письмо, где Ельцин жаловался на притеснение со стороны Лигачева, командовавшего Секретариатом, Михаил Сергеевич воспринял как банальную размолвку, не заслуживавшую особого внимания, тем более в преддверии важного и политически деликатного для него события — празднования 70-летия Октября. Перезвонив Ельцину в сентябре и посоветовав «потерпеть», он посчитал для себя эту проблему на время закрытой.

«Выходка» Ельцина на октябрьском 1987 года Пленуме вызвала раздражение у генсека. Прозвучавшие в его выступлении глухие намеки на славословия в адрес Горбачева и на угрозу появления нового «культа» он воспринимал скорее как взрыв эмоций амбициозного свердловчанина, недовольного тем, что его не произвели в полные члены ПБ (как бывало раньше с первыми секретарями МК), чем как серьезную критику.

Поскольку за Михаила Сергеевича вступились практически все члены руководства, он мог позволить себе снисходительный и поэтому тем более оскорбительный для Ельцина тон: «Ведь известно всем, что такое культ личности. Это система определенных идеологических взглядов, положение, характеризующее режим осуществления политической власти, демократии, составление законности, отношение к кадрам, людям.

Ты что, настолько политически безграмотен, что мы ликбез этот должны тебе организовывать здесь?

...Надо же дойти до такого гипертрофированного самолюбия, чтобы поставить свои амбиции выше интересов партии, нашего дела! И это тогда, когда мы находимся на таком ответственном этапе перестройки».

После показательного разбора «персонального дела» Ельцина на пленуме Московского горкома, ельцинской попытки самоубийства с помощью канцелярских ножниц в своем кабинете и «великодушного» перемещения его на должность союзного министра вместо отправки на пенсию, тема Ельцина на время потеряла свою актуальность. Однако, не удержавшись от эмоций, Горбачев все-таки дважды припечатал смутьяна, пообещав в их «мужском» разговоре «больше не пускать его в политику» и позднее публично в выступлении перед свердловчанами отозвавшись об их земляке как о «конченом политическом деяте-

ле». (Когда сопровождавший его в поездке в Свердловск Г.Шахназаров попробовал было снять эту «излишне эмоциональную», на его взгляд, реплику из тассовского варианта текста, ему пришлось объясняться по поводу своей «излишней инициативы» не только перед Михаилом Сергеевичем, но и перед Раисой Максимовной.)

И когда вышедший из «комы» Ельцин появился на трибуне XIX партконференции, выступив с полупокаянием, поддержкой Горбачева и одновременно критикой Лигачева, генсек мог считать, что избранная им тактика себя оправдала. В свете «вольтовой дуги», которую создавали разные потенциалы этих двух псевдоантиподов, его собственный образ — человека, страхующего партию и страну от крайностей разномастных радикалов, смотрелся особенно выигрышно.

Фатальная историческая связь между этими тремя столь непохожими политиками, оказавшимися по прихоти судьбы в одной упряжке, подтвердилась и в дальнейшем: они вновь сошлись вместе на XXVIII съезде КПСС, чтобы разойтись окончательно. Для Ельцина его трибуна стала сценой, на которой он эффектно разыграл свой уход из партии, и трамплином для начала нового, главного витка своей политической биографии. Лигачев в этой же аудитории потерпел унижительное поражение: выставив свою кандидатуру на пост заместителя генсека (вопреки желанию самого Горбачева), он не получил поддержки даже у антигорбачевски настроенного зала. «Вольтова дуга» между двумя закадычными противниками — Ельциным и Лигачевым — погасла, и в значительной степени с этого момента центрист Горбачев, игравший во время их кулачного боя respectable роль рефери на ринге, оказался лишенным двух поддерживавших его, как планер, крыльев.

Если в своем отношении к Ельцину он признает за собой как минимум две «ошибки» (не опубликованную сразу же его речь на октябрьском Пленуме и отказ отправить за границу послом), то, что касается Лигачева, число их на порядок больше. Он, конечно, не забывал, чем был обязан этому человеку в марте 1985 года (и тем более не хотел, чтобы ему об этом напоминали). Однако в его отношении к «Егору» невыветрившаяся личная симпатия («Лигачев прямой человек, я его всегда за это

уважал, хотя он и сделал мне несколько подножек») сочеталась с хитроумным, как ему казалось, расчетом. В двуединой задаче, поставленной перед собой генсеком, — перелицевать партию по социал-демократическому лекалу и сдержать на поводке ее реваншистскую фракцию — Лигачеву была отведена роль «поводка». Даже его прямота, точнее сказать, прямолинейность, а нередко и грубость, выдаваемая за «партийную принципиальность», устраивали Горбачева до тех пор, пока все это направлялось на других, а сам Егор Кузьмич в главных вопросах соблюдал, если и не политическую, то хотя бы личную к нему лояльность.

И лишь выступление Лигачева на XIX партконференции с публичным предъявлением счета генсеку за обеспечение его избрания («делегаты должны знать, что возможны были и другие варианты») означало: прежний пакт между ними расторгнут. Сохранять в этой ситуации за ним фактический статус первого зама генсека в роли ведущего Секретариаты ЦК было неразумно, если не опасно. Кроме того, после скандала с «делом» Нины Андреевой (несмотря на то что Горбачев формально снял подозрения в причастности Лигачева к этой «антиперестроечной провокации») уже невозможно было придерживаться прежней формулы «расщепленной» ответственности за идеологию. Формула эта, несмотря на ее иезуитский характер, а может быть, благодаря ему, некоторое время вполне устраивала и Горбачева, и «подведомственную» Агитпропу советскую прессу: каждый из редакторов в зависимости от того, куда его влекла «партийная совесть», обращался к той цековской «крыше», которая ему больше подходила.

Однако после дерзости, которую позволила себе «Советская Россия», он решил положить конец этому «перестроечному плюрализму». «Разделенный на Лигачева и Яковлева Суслов» был вновь воссоединен, и на эту роль определен один из самых верных Горбачеву людей в ЦК Вадим Медведев. В то же время, вопреки ожиданиям «яковлевского крыла», жаждавшего реванша, голову Лигачева им не подарил. «Егора надо отодвинуть от идеологии, но сохранить в руководстве, — говорил Михаил Сергеевич, исходя, видимо, из того, что человека с его взрывоопасным потенциалом безопаснее держать при себе, чем да-

рить еще одного (после Ельцина) лидера своим оппонентам теперь уже с другого берега.

Вопрос о председательстве Лигачева на Секретариатах генсек тоже решил по-своему: вместо того чтобы заменить Егора Кузьмича другим «вторым» секретарем, он попросту вытащил из-под него кресло, практически ликвидировав Секретариат как «класс». Величественная и незыблемая Инстанция отныне перестала приводить в трепет государственный аппарат. Тем самым устранялся и повод для конфликтов между Лигачевым и Рыжковым, поскольку премьер, проникнувшись духом провозглашенной экономической реформы, все более болезненно реагировал на лигачевские претензии осуществлять партийное руководство экономикой.

И хотя с помощью этой операции формально самолюбие Лигачева было пощажено, кара за оскорбительный выпад против генсека на партконференции оказалась жестокой: Егору Кузьмичу было поручено курировать советское сельское хозяйство. Только Горбачев, сам прошедший через это испытание, мог уготовить такой отравленный подарок для своего еще недавно ближайшего сподвижника.

Неудивительно, что в последующие месяцы отношения между бывшими соратниками начали заметно ухудшаться. Их встречи, все более и более редкие, утратили прежнюю доверительность. Лигачев считает, что Михаил Сергеевич попал под вредное влияние Яковлева и его единомышленников. Во время одной из таких встреч, когда в перерыве между заседаниями Съезда народных депутатов СССР они шли по дорожкам Кремля, он предостерег генсека: «В вашем окружении есть неординарные люди. Они погубят вас». Однако все чаще и в публичных выступлениях, в частности в ходе избирательной кампании 1988—1989 годов, Егор Кузьмич давал понять, что истинный объект его критики — не привычные мишени — Яковлев и Шеварднадзе, а еще недавно неприкасаемый лидер Перестройки.

Начавшаяся двадцать лет назад во время поездки в «нормализуемую» Чехословакию дружба этих выращенных в одном партийном инкубаторе региональных секретарей закончилась публичным противостоянием на XXVIII съезде КПСС, где Горбачев

в лицо сказал Егору Кузьмичу, что не хочет видеть его своим замом. Когда в дни работы съезда они случайно столкнулись в фойе Кремлевского дворца, Горбачев сказал: «Знаешь, Егор, я голосовал против тебя». «А я в 85-м, когда выбирали генсека, голосовал за вас, Михаил Сергеевич», — парировал Лигачев.

Следующая их встреча состоялась уже много позднее — в другую эпоху: бывших № 1 и № 2 уже не существующей КПСС в 1995 году пригласили на конференцию в Геную. Горбачев, желая, видимо, окончательно завершить затянувшийся политический спор между двумя бывшими лидерами, победителем из которого вышел третий, в ответ на колкость Лигачева, задал вопрос: «А зачем вам понадобилась Российская компартия, Егор Кузьмич? Не для того ли, чтобы противопоставить партию мне?» На что тот, подтверждая горбачевскую характеристику «прямого» человека, честно ответил: «Чтобы оказать сопротивление политике, которую проводили вы и ваше окружение, Михаил Сергеевич!»

ПОБЕГ НА ВОЛЮ

Возобновившаяся сразу после XIX партконференции идейная конфронтация внутривластного руководства показала, что, несмотря на формальный триумф Горбачева, о внутреннем единстве в партии придется забыть. Ликвидация Секретариата, подлинного «теневого советского правительства», была осуществлена, разумеется, не только для того, чтобы отодвинуть на второй план Лигачева. Эта, казалось бы, исключительно аппаратная революция несла важнейшую политическую нагрузку: впервые со сталинских времен ЦК переставал быть директивным органом, а сама КПСС — фактически верховной «силовой структурой» советского государства. Генсек, несомненно, сознавал, что, выбивая из рук партийной бюрократии это орудие, он подрубает сук, на котором сидел и сам. Вряд ли поэтому можно считать случайным совпадением, что сентябрьский Пленум ЦК 1988 года, созванный сразу после его возвращения из отпуска, рекомендовал избрать Горбачева на освободившийся после отстранения Громыко пост Председателя Президиума Верховного Совета. И хотя внешне все выглядело так, будто по-

сле нескольких лет «игры в демократию» он вступил на привычный путь соединения высших партийных и государственных чинов (как было с Брежневым, Черненко и Андроповым), в данном случае ситуация была принципиально иной. Приобретая новую должность, он делал первый шаг к своему высвобождению из объятий родной партии и ее Политбюро.

Значило ли это, что В.Фалин, заподозривший Горбачева в намерении «низвергнуть строй, а не реформировать его», был прав, и что уже тогда генсек под влиянием Яковлева сделал для себя окончательный вывод: «недомогание партии перешло, — как он напишет позднее, — в неизлечимую болезнь»? И что соответственно единственным путем спасения реформы (и его собственного, как руководителя страны) становится подготовка «побега на волю» — к статусу избранного вначале парламентом, а впоследствии всенародным голосованием национального лидера? Иными словами, бегства от постоянно преследовавшего призрака хрущевского «увольнения» на очередном Пленуме ЦК.

Или все-таки, в то время, даже стремясь ускользнуть от одной — номенклатурной партии, Горбачев был искренен в своих попытках дать политический шанс «второй» — партии рядовых членов, тех, кто продолжал верить словам о социализме, его высоких целях и нереализованных возможностях и поэтому поверил в перестройку? Поведение Горбачева в последующие за партконференцией месяцы показывает, что внутренне он еще не был готов расстаться с идеей обновления партии. Иначе не продолжал бы упрямо, даже вопреки логике и требованию Российской компартии, усиливавшей реваншистскую активность, отвечать на «мольбы» своих советников поскорее расстаться со своим партийным саном односложным — «Еще рано». Не стал бы так радоваться, что среди избранных на I Съезд народных депутатов СССР доля членов партии достигала 85 процентов. Это было даже выше устанавливавшейся прежде квоты для «блока коммунистов и беспартийных».

Этим аргументом отбивался он сразу после выборов народных депутатов в марте 89-го от нападков членов Политбюро, разъяренных тем, что 30 секретарей обкомов и крайкомов, а в целом 20 процентов секретарей парторганизаций были забал-

лотированы. «Многие воспринимали это как конец света», — вспоминает Михаил Сергеевич. А тот факт, что в Ленинграде избиратели осмелились прокатить первого секретаря обкома, кандидата в члены Политбюро Ю.Соловьева, некоторые называли очередной (после Октября 17-го) питерской революцией. Тогда ему казалось, что разбуженная им «вторая» партия, пройдя через демократические выборы, выйдет на белый свет, как сказочный Иванушка, не сварившись в кипящем котле перестройки, а омоложенной и похорошевшей.

Вымученное избрание Ельцина в Верховный Совет на «подаренное» А.Казанником место представлялось тогда весьма «полезным», поскольку оттеняло его собственный триумф. Став Председателем Верховного Совета, он отныне был избавлен от обременявшего его «юридическую совесть» нелегитимного статуса лидера партии, узурпировавшей власть. Политический календарь страны больше не определялся партийными датами пленумов и съездов, а следовал ритму жизни возрожденного им парламента..

Однако надежды генсека на то, что не только ему самому, но и всей партии удастся прижиться в новом политическом грунте, быстро развеялись. Подобно пальме в гаршинском рассказе, на свою беду пробившей крышу оранжереи, чтобы вдохнуть свежего воздуха, и оказавшейся на морозе, не приспособленное к открытой политике реликтовое партийное дерево начало желтеть и чахнуть. Генсек, продолжавший окучивать и поливать его, лишь задним числом признал, что «авторитет КПСС рухнул, как только люди поняли, что господство партии больше не подкрепляется насилием».

Попытки расшевелить фракцию коммунистов на Съезде народных депутатов и в Верховном Совете закончились неудачей. Представлявшие партию его надежд депутаты, осознав, что мандатами обязаны самим себе и своим избирателям, а не Отделу оргпартрabоты ЦК, утверждавшему списки будущих избранников народа, начали разбредаться по двум противоположным лагерям: одни, подчиняясь генетическому коду, двинулись к традиционалистам и охранителям коммунистической ортодоксии, другие в отсутствие брачных предложений от своего генсека присоединились к «яростным» ра-

дикал-демократам, которых сам Горбачев сравнивал с фракцией «бешеных» в Конvente времен Великой французской революции.

Правда, тогда не только Горбачев, но и такие, не связанные с партией трибуны демократического крыла парламента, как Алесь Адамович, еще были готовы поверить в возможность чудесного перерождения КПСС. «Обновление партии необходимо, — обращался известный публицист и общественный деятель в те дни в письме генсеку. — Время покажет, найдется ли у нее внутренняя демократическая энергия, чтобы совершить прямо-таки вулканический выброс из самых глубин партии туда, наверх к Горбачеву».

Вулкан не проснулся. Уже через несколько месяцев после выборов, которые должны были сыграть роль адреналина, введенного в остановившееся сердце пациента, Горбачев пришел к выводу, что «никакие выдумки и ухищрения, включая допуск фракционности, не могут служить надежной гарантией против бюрократизации, окостенения».

«Всего лишь» за пять лет, прожитых в перенасыщенной грозным озоном атмосфере перестройки, лидер партии, безраздельно правившей в советской России с ленинских времен, пришел к выводам, перечеркивавшим модель исторического развития, которой более 70 лет следовала его страна. Если бы в годы своей учебы в университете он не изучал труды Монтескье и текст американской конституции, можно было бы предположить, что он самостоятельно, «стихийно» открыл ценность и универсальную применимость принципов разделения властей и системы властных сдержек и противовесов.

Отныне во взаимоотношениях генсека со своей партией превалирующей функцией становится «сдерживание монстра». Правда, удавалось ему это все хуже и хуже. На пленумы ЦК он приходил с тоской и обреченностью мужа, вынужденного из-за детей и сообща нажитого имущества возвращаться в дом к опостылевшей жене. Его первоначальное окружение все больше играло для него роль своеобразного защитного слоя, который, сгорая в плотных слоях атмосферы, призван предохранять от слишком высокой температуры спускаемый аппарат с пилотом.

А.Яковлев, не раз становившийся жертвой этой тактики, признает за Горбачевым, как за любым крупным государственным деятелем, право на «двойственность», без которой, по его мнению, вообще бы многого не было — ни комиссии по 1939 году, ни Комиссии по реабилитации жертв сталинских репрессий. «Он точно действовал, хотя по некоторым вопросам хотел быть в стороне. Если хорошо пойдет, можно присоединиться, не получилось — можно виновника найти. Ничего плохого для политика в этом я не вижу, — замечает Александр Николаевич, — я просто констатирую, что так было».

Его сменявшим друг друга сподвижникам выпала не слишком благодарная роль прикрывать, иногда ценой собственной карьеры или репутации, лидера Перестройки. Такое, конечно же, не могло доставлять удовольствие. Многие болезненно реагировали на то, что, подставляя их под обстрел, сам он переживал наиболее кризисные моменты («в тени» и не торопился публично вступаться за своих соратников, иногда отводя им роль «камикадзе»). Особенно уязвленными чувствовали себя те, кто обоснованно или нет претендовал не только на служебную и политическую близость к Горбачеву, но и на личные дружеские отношения. Примечательно, что в «предательстве», а то и в «измене», в том, что он вовремя не поддержал, не защитил от несправедливых атак, не заступился, не прикрыл в разных — иногда политических, а иногда личных — коллизиях, его обвиняли самые разные люди: Лигачев и Рыжков, Яковлев и Фалин, Лукьянов и Крючков и даже Янаев, угодивший в анналы истории в значительной степени по прихоти Горбачева. У каждого из них, подчеркнем еще раз, к когда-то «дорогому Михаилу Сергеевичу» был свой список претензий.

Лигачев помимо «оппортунизма и ревизионизма» не мог простить, что Горбачев не защитил его от наветов со стороны следователей Гдяна и Иванова, обвинивших его в коррупции в связи с расследованием «узбекского дела». «Нет Ленина, — вздыхал Егор Кузьмич, — он всегда защищал от нападок тех, кто рядом с ним работал». Шеварднадзе переживал из-за того, что Президент СССР так легко отдавал его на растерзание во-

енным и другим критикам их общей внешнеполитической линии, не поддержал публично в ходе обсуждения тбилисского кризиса. И он, и Яковлев безуспешно искали управы на Лигачева, который, не стесняясь, во всеуслышание обвинял их в предательстве. Фалин уличал его в политическом «нарциссизме», «звездной болезни».

У Яковлева, утверждающего, что «в личном плане обижаться ему на Горбачева грех», были особого рода претензии: став членом Политбюро, он, как выясняется, был уязвлен тем, что генсек не доверил ему выступить с ритуальным докладом на очередном ленинском юбилее, вроде того, с каким тот сам выступил в эпоху Андропова. Александр Николаевич, которому «было что сказать на эту тему», усматривал в этом ревность к себе со стороны официального «отца перестройки», опасавшегося, что его верный спичрайтер выйдет таким образом из его тени.

Другой счет предъявляют главному «изменнику» те, кто должен сам защищаться от обвинений в предательстве. Для В.Крючкова это «предательство» подтверждается тем, что он, «по оперативным данным» (имеется в виду, очевидно, подслушивание), в разговоре с Яковлевым признавался, что «внутренне чувствует себя социал-демократом». В.Болдин, оговариваясь, что не располагает конкретными уликами, считает, что этот «перерожденец» обслуживал своих «зарубежных хозяев»: «неспроста он пару раз разговаривал с Бушем с глазу на глаз, когда присутствовал только американский переводчик» (это утверждение опровергает бессменный переводчик Горбачева Павел Палашенко: было как раз обратное — один или два разговора в отсутствие его американского коллеги), а сразу после того как в Форосе восстановили связь, «бросился звонить американскому президенту». Наконец, А.Лукиянов уверен, что, «изменив партии, Горбачев предал самого себя, того, каким мы его знали в 80-е годы».

Нетрудно понять претензии тех, кто либо в ходе потрясений перестройки, либо задним числом обнаруживал, что был для него «средством», одним из «инструментов» осуществления своего замысла, который он брал в руки, когда требовалось, и без сожаления откладывал в сторону, когда тот ломался или

был нужен другой. Оглядываясь назад, не просто поверить, что многие из его открытых противников были какое-то время его сподвижниками, а может быть, и преданными сторонниками. Подозревать их всех в чинопочитании или в корыстных надеждах на личный успех в шлейфе нового лидера — значит упрощать историю и самих этих людей.

На чем же тогда взорвался первоначально сплоченный коллектив, разойдясь веером в разные, даже противоположные стороны и оставив того, кто, собрал их вместе, почти в полном одиночестве? Виновны ли в этом исторические обстоятельства, перегрузки перестройки, непредвиденные пороги, на которые налетела ее лодка, «непрофессионализм» рулевого или его личные качества?

Может быть, все-таки причина в той самой «двойственности» Горбачева, которая была хороша и необходима на этапе сбора союзников под векселя обещаний и которая сыграла роковую роль, когда пришлось делать выбор? А может быть, в слове «выбор» и заключен весь ответ? Прав, по-видимому, Яковлев, говоря, что в основе фактического раскола Политбюро в начале 1988 года лежали вопросы дальнейшего экономического развития: «То есть речь, как в 30-е годы, пошла о выборе пути развития».

Прав по-своему и А. Лукьянов, утверждающий, что Горбачев «изменил себе», точнее, изменял себя, стал другим в сравнении с тем, каким был в начале перестройки, а тем более до избрания на пост генсека. Какова, однако, была бы ценность руководителя страны в 90-е годы, если бы он политически и психологически оставался тем же, что и в начале 80-х, не говоря уже о 50-х, — времени, когда он и Лукьянов учились на одном факультете МГУ.

Но и для самого Горбачева уход или отдаление бывших соратников были серьезной проблемой. Лишаясь одного за другим многих прежних политических друзей и союзников, которых отбросила от него раскрутившаяся центрифуга перестройки, он утрачивал свой «защитный слой», прикрытые как справа, так и слева, и оказывался в положении черепахи без панциря, беззащитной перед нападением любого хищника.

Можно, конечно, в связи с достаточно распространенной ситуацией одиночества государственного лидера, особенно проводящего страну через полосу радикальных реформ или общенационального кризиса, задаться вопросом: а позволительна ли вообще политике роскошь естественных человеческих чувств, таких, как дружба? Что касается Горбачева, как минимум два его ближайших соратника — А.Яковлев и Э.Шеварднадзе — имели основания считать свои отношения с ним не только деловыми. Сам Горбачев как-то обронил: «Не знаю, как нас можно было бы разделить, ведь изначально проект реформы — это мы трое. Столько обсуждено, столько переговорено вместе!» Однако и отношения этих, столь близких людей оказались не защищены от кризисов недоверия и обоюдного непонимания. Многолетняя дружба не помешала Шеварднадзе, даже не предупредив, публично объявить о своей отставке в декабре 90-го, а самому Горбачеву никак не отреагировать на решение собравшейся в его отсутствие Комиссии партийного контроля об исключении из партии еще недавнего члена Политбюро ЦК КПСС А.Яковлева.

Однако осенью 1988 года, меняя местами членов тогдашнего руководства, он еще считал, что перестраивает высший эшелон власти, откликаясь на новую ситуацию в стране. Видимо, не сознавая, что, по существу, тасует одну и ту же колоду. Тем самым ограничивал свой выбор — не только кадров, но и политических вариантов продолжения реформы, и этим сужал возможности маневра. В то же время, замыкаясь в кругу привычных лиц и в рамках уже накатанных приемов, продолжая воевать с консерваторами внутри партии, Горбачев не сразу осознал до конца, что проведенные по его же инициативе первые за советскую историю свободные парламентские выборы многократно расширили поле политической борьбы в стране и отныне ему придется иметь дело с новыми партнерами, соперниками и оппонентами.

С появлением уже на I Съезде народных депутатов СССР демократической оппозиции в тылу перестройки открылся новый фронт. С этой поры о ней уже больше нельзя было говорить как о революции сверху: костер «творчества масс» занялся на славу, и его взметнувшееся пламя грозило опалить того, кто его разжег.

ПРИШПОРИТЬ «ТИГРА»?

Приняв облик «революции ожиданий», — так окрестил ее сам Горбачев, — перестройка пробудила в обществе самые разные надежды. Если для большей части населения они носили достаточно туманный характер веры в чудесный скачок в мир процветания по западным стандартам, то для наиболее динамичной части общества, не входящей в партийную номенклатуру, перестройка, как любая революция, означала прежде всего «массу вакансий». Поскольку Горбачев, исходя из разнообразных тактических соображений, медлил с объявлением нового, «горбачевского призыва» во власть, постепенно росло нетерпение тех, кто, наслушавшись его же выступлений, поверил в появление своего уникального шанса. Каждый распорядился этим шансом как сумел.

Значительная часть партаппарата, осознав, что перестройка вместо привычного кадрового обновления несет угрозу его благополучию, двинулась в сторону сталинистов из КПРФ, начало оформляться в агрессивную антиперестроечную силу. Большинство же рядовых членов, как демобилизованная армия, побросав амуницию и военную форму, сдавая партбилеты или просто прекращая платить членские взносы, в массовом порядке покидали партийные редуты. Утратившие перспективу общиться к союзной номенклатуре и освободившись от прежнего страха перед гневом Москвы, республиканские элиты развернулись в сторону отныне безопасных националистических и сепаратистских движений.

Развязавший всю эту стихию плюрализма Горбачев оказался, по словам известного американского журналиста Х.Смита, в положении «человека, оседлавшего тигра», для которого главная опасность — быть сброшенным с его спины. Став к тому же еще и руководителем парламента, он вместо дополнительной степени защиты, на которую рассчитывал, оказался, напротив, под перекрестным огнем. С одной стороны, от него, как от своего капитана, все более жестко требовала отчета партия, терпевшая политическое кораблекрушение, с другой — нетерпеливо толкали под руку радикальные оппозиционеры в парламенте. «Демократы, — как признавался один из их тогдашних

лидеров С.Станкевич, — своим экстремизмом рассчитывали удержать Горбачева в центре и не позволить ему уступить давлению партийных консерваторов».

Обратившись в экзотического политического кентавра — полугенсека-полуспикера — лидера одновременно консерваторов и радикалов, ему приходилось, понукая и прищипывая одних, осаживать и притормаживать других. Это было, по-видимому, захватывающим политическим и личным опытом для Горбачева и единственно эффективной тактикой продвижения реформы, окупавшей себя, по крайней мере до тех пор, пока ему удавалось, как на сеансе одновременной игры, побеждать на всех шахматных досках. Но чем дальше, тем с большим риском это было связано, и Горбачев должен был сознавать, что, оказываясь в зависимости от ходов соперников, рискует сам утратить инициативу. Теперь уже все чаще не он определял ритм и график перестройки, устанавливая их на основе собственного анализа, интуиции и оценки подготовленности страны к тем или иным нововведениям, а стихия разбухенной политики, свободная игра включившихся в нее разных политических сил и персонажей, из-за чего его роль становилась скорее реактивной, чем активной.

Входившие во вкус радикалы постоянно повышали свои ставки не только потому, что торопились поскорее оборвать нити, еще связывавшие страну с недавним тоталитарным прошлым, или окончательно оторвать от него самого Горбачева. Их все более громкие голоса и растущие амбиции заставляли его считаться с ними главным образом потому, что этот радикализм отражал нетерпение страны, начинавшей открыто и настойчиво требовать от перестройки и ее автора конкретных результатов. Так пришло время и Горбачеву испытать на себе воздействие рока, преследовавшего практически всех реформаторов: начатые из благих намерений и в ответ на общественные ожидания реформы, поскольку только сулят, но обычно не приносят чудес, лишь увеличивают число недовольных и нередко поворачивают их против самих реформаторов.

В 1988—1989 годы этот обозначившийся первый сбой в страстном романе благодарной страны с лидером Перестройки еще не был связан с реальным ухудшением экономического по-

ложения граждан и тем более с драматическими последствиями распада государства — это придет позднее. Пока же люди начали проявлять недовольство лишь тем, что надежды на быстрое улучшение жизни заставляют себя долго ждать. Жить, конечно, «стало веселее», но явно не лучше, хотя желать было позволено много больше, чем прежде. Этого оказалось достаточно, чтобы многие почувствовали себя обманутыми и несчастными. Эти подспудные сдвиги во взаимоотношениях новой власти и общества начали во все более бурной форме выплескиваться на поверхность еще и потому, что усилиями самих реформаторов ранее «немое» общество получило для самовыражения трибуну: сцену Кремлевского Дворца съездов, телеэкран и прессу.

Сразу несколько предостерегающих сигналов, подобно роковым письмам, выступившим на стене на пиру Валтасара, обозначили трещину, пробежавшую между Горбачевым и общественным мнением, готовым доселе безоглядно следовать за ним. Первым из них, вызвавшим, быть может, поэтому болезненную эмоциональную реакцию Горбачева, стала публикация в популярной газете «Аргументы и факты» в октябре 1988 года результатов опроса общественного мнения, к которым гласность начала приучать читателей. В нем рейтинг «отца Перестройки» впервые опустился ниже уже не только иконописных персонажей отечественной истории — Петра I и Ленина, с чем можно еще было бы и смириться, но и его политического союзника-оппонента академика А.Сахарова.

Со следующего года «отметки» Горбачеву начали выставлять не условные рейтинги газетных опросов, а голосование в парламенте. Только за год, прошедший между его избранием Председателем Верховного Совета весной 1989 года и выборами на пост Президента СССР в марте 1990-го, число голосовавших за него депутатов сократилось с 96 до 59 процентов, а само избрание президентом было в конечном счете обеспечено после патетических обращений к съезду таких общественных авторитетов, как А.Яковлев, А.Собчак, академики В.Гольдманский и Д.Лихачев.

Переживать собственно было не из-за чего. Ненормальными, и уже в силу этого эфемерными, были скорее предшествовавшая полурелигиозная экзальтация и фонтаны общественных

страстей вокруг перестройки и ее бесспорно выдающегося вождя. Тем не менее Горбачев, подтвердив, что произрастает из той же социальной почвы, что и остальное население, реагировал на приметы начавшегося охлаждения бурно и поначалу обиженно. Так из-за публикации в «Аргументах и фактах» потребовал было если и не высечь море, как персидский царь Ксеркс, разъярившийся на морскую стихию за то, что она разметала его суда, то головы (то есть отставки) главного редактора В. Старкова, на чем, впрочем, спустя несколько дней, остыв, не стал настаивать.

Так или иначе, в обстановке убыстряющегося (теперь уже в значительной степени под давлением радикалов) темпа общественной жизни, чтобы остаться во главе начатого им процесса, не оставалось иного выхода, как пришпорить «тигра», пытаться придать реформе черты перманентной революции. Для этого существовал один способ: расширение базы, фундамента реформ. Собственно говоря, к этой цели вели все его предшествующие шаги. Начав с обсуждения замысла перестройки в самом «узком кругу», куда первоначально входили Раиса и самые близкие единомышленники, Горбачев постепенно вытягивал на стремнину все более многочисленные и разнородные по представлениям о реформах и связанных с ней ожиданиях категории и слои общества. По его замыслу, именно демократизация перестройки, превращение ее из кабинетно-дачного проекта в «общенародное дело» должны были придать основательность переменам в стране и обеспечить им страховку от поворота вспять, гарантии необратимости.

По большому счету, эта стратегия себя оправдала, пройдя проверку в августе 1991 года, когда Москва, оставшись без пилота перестройки, интернированного в Форосе, самостоятельно справилась с пусть и полуопереточным заговором ГКЧП. Российский парламент, защитники Белого дома и вскормленная гласностью пресса подтвердили Горбачеву (и открыли для себя), что хорошо усвоили его уроки и больше не зависят от его повседневной опеки.

В то же время то, что Горбачев воспринимал как укрепление социальной базы своей революции, начавшейся без необходи-

мых, согласно учебникам истмата, «движущих сил», было на деле лишь расширением ее зыбкой политической опоры в виде разноперого ополчения, с охотой увязавшегося за лидерами на штурм бастионов опостылевшей власти. Изменением же и тем более построением нового социального фундамента реформы за счет появления целых слоев и категорий населения, реально, то есть прежде всего экономически, заинтересованных в ее успехе, пока, увы, не пахло.

Размышляя над причинами поражения перестройки, Михаил Сергеевич позднее назовет первой из них то, что в ее начале «было упущено немало времени для развертывания экономических преобразований. Затем, когда программа радикальной реформы была принята в 1987 году, не хватило терпения, настойчивости, решимости и воли обеспечить ее практическое осуществление...» В другой раз он выразился менее витиевато: «Экономические преобразования отстали от политических. Их не удалось развернуть в полную меру, а наши поиски мирного перевода тоталитарной экономики в демократическую захлебнулись». Иначе говоря, повторился печальный (с точки зрения тогдашней советской власти) опыт кавалерийского рейда Буденного на Варшаву: обозы и интендантские службы отстали, и наступление, предвещавшее «освобождение» Европы и европейскую, если не мировую революцию, провалилось. Однако были ли в реальности предприняты попытки осуществить эти самые «экономические преобразования»?

Основной причиной надо, видимо, считать, что экономические аспекты начатой реформы всегда оказывались подчинены главным — политическим и призваны были их обслуживать. Поэтому не один раз назревшие, если не перезревшие экономические решения отменялись или откладывались до лучших времен при первых признаках политических осложнений, а поскольку напряженность в стране не спадала, всерьез заняться экономикой руки у Горбачева не доходили. По этой же причине редко просчитывались вполне предсказуемые экономические последствия отдельных популистских акций, особенно если считалось, что они могут быстро окупить себя на политической ниве.

К таким пагубным с экономической точки зрения шагам, безусловно, следует в первую очередь отнести пресловутую антиалкогольную кампанию, оставившую гигантскую пробойну в финансовом днище перестройки, которую впоследствии так и не удалось залатать. Парадоксально, что проявивший беспрецедентную отвагу во всем, что касалось политической реформы, Горбачев необъяснимо робел перед некоторыми идеологическими табу, относящимися к реформе экономики. Как считает его бывший помощник академик Н.Петраков, экономический горизонт Горбачева поначалу вообще не простирался дальше ленинского нэпа. Особенно возбужденно реагировал он на предложение некоторых своих радикальных советников раздать колхозные земли в частную собственность. Сдерживала ли его в этом идейная приверженность социалистической ортодоксии, влиял ли незабываемый опыт крайкомовских лет, проведенных в ежегодных «битвах за урожай», или звучали отголоски опасливого потомственного колхозника, боявшегося вторжения на село стихии рынка, способной разрушить знакомый ему устоявшийся уклад жизни? Возможно, все вместе.

Так или иначе, даже осенью 1990 года Горбачев, отбиваясь от критиков в своем ближайшем окружении, повторял: «Я хотя и за рынок, но делайте со мной, что хотите, — против частной собственности на землю. Не могу зачеркнуть своего деда-коллективизатора». Укоренившееся во внуке коллективизатора предубеждение к возвращению земли в частную собственность звучало и в его недоверчивых оценках успехов китайской земельной контрреформы.

Однако Горбачев не был бы Горбачевым, если бы перед лицом реальности не жертвовал (в том числе и собственными) идеологическими амулетами и не предавал (как и положено «предателю») божков своей молодости ради обретенного им главного Бога — здравого смысла. В 1988 году после трехлетнего экспериментирования он отказался от попытки поднять на ноги «лежащее» советское сельское хозяйство с помощью «супертрактора» — Госагропрома — и впустил новое политическое мышление в экономику. Как и за странами Восточной Европы, он признал за крестьянством право на «свободу выбора» форм хозяйствования, дойдя в измене своим прошлым убежде-

ниям, правда, до «пожизненной аренды с правом передачи земли по наследству».

То же и с самой экономической реформой. Увлеченный своей «политической революцией», Горбачев поначалу величаво отвергал рекомендации обратить внимание на опыт Дэн Сяопина, начавшего «чистить рыбу» своего социализма не с политической «головы», а с экономического «хвоста», как и бейкеровские «советы постороннего». Д.Бейкер, сам в прошлом министр финансов США, вежливо втолковывал Горбачеву: «Политическую и социальную цену реформы лучше заплатить быстрее, а не растягивать на годы, и тем более не откладывать». Однако тот отмахивался: «Ждали двадцать лет, два-три лишних года ничего не изменят». Подробнее развивал и объяснял тому же непонятливому Бейкеру логику советских реформаторов Э.Шеварднадзе: «Когда Горбачев пришел к власти, никто из нас не представлял, с чем мы столкнемся в области экономики. Однако у нас в стране невозможно предпринять реальную экономическую реформу без реформирования политической системы, то есть без освобождения людей».

Только по прошествии этих драгоценных «двух-трех лет», ушедших на экспериментирование и с Госагропромом, и с госприемкой, и с самоуправлением на предприятиях, потраченных на успокоение — то ортодоксов антирыночников, то встревоженного повышением цен на хлеб и макароны населения («без совета с народом реформы цен не будет», — опрометчиво обещал генсек), Горбачев обратился к тому, что питало его как политика — крестьянскому рассудку: «Человеку надо дать поработать и заработать». «Дайте народу свободу, и будет продукция», — объяснял он в очередной раз Н.Рыжкову. И теперь уже завистливо вздыхал: «Удалось же китайцам за два года накормить миллиард населения».

Однако его новые экономические проповеди, не материализовавшись в практические действия, оставались платонически пожеланиями. Не только после Пленума 1987 года, но и позднее правительство Рыжкова, с которым Горбачев вплоть до конца 1990 года не хотел конфликтовать, «заматывало» разные варианты рыночной реформы, пустив напоследок на дно вместе с программой «500 дней» Шаталина—Явлинского не только

шанс хотя бы на психологическое преодоление барьера рынка, но и политическую перспективу восстановления тактического союза Горбачева с Ельциным. Тот же Н.Петраков вспоминает, как в феврале 90-го он вместе с коллегами подготовил проект новой экономической программы, которая должна была стать первым официальным документом первого Президента СССР. Документ понравился Горбачеву, он, «основательно над ним поработав», направил Н.Рыжкову, а тот в итоге положил его под сукно.

«Два-три года» решили многое. Природа, тем более экономических отношений, не терпит пустоты. Вместо формирования социальной базы перестройки в лице среднего класса из числа новых предпринимателей, торговцев, фермеров и интеллигенции в отсутствие ясных законодательных норм и внятной позиции государства по отношению к собственнику и собственности «новая экономика» перестройки ушла в подполье. Подобно американской эпохе «прохибишн» антиалкогольные импровизации реформаторов, руководствовавшихся, конечно же, благими намерениями, породили еще до появления российских «чикагских мальчиков», советскую «чикагскую мафию». В дальнейшем к алкогольной добавились нефтяная, алюминиевая, банковская и прочая «братва». За ними закономерно явилась и политическая.

Его расчеты на то, что удастся с помощью перестройки осуществить то, чего не добился Ленин с помощью нэпа — преобразовать военно-коммунистический, командно-административный социализм в «строй цивилизованных кооператоров», — явно не оправдывались. Первые же появившиеся на свет и отнюдь не цивилизованные кооператоры вызвали в общественном мнении, воспитанном пропагандой уравниловки и прославлением раскулачивания, ярость и агрессивное неприятие «рвачей». Когда на одной из встреч с населением Горбачев во время прямой телевизионной трансляции неосторожно задал собравшимся вопрос: «Так что же, закрыть нам кооперативы?», в ответ раздалось дружное: «Да! Да!»

Кооператоров тем не менее «не отменили», к счастью, не «раскулачили». Их застенчиво спрятали под крыло государственных предприятий, в результате чего, по мнению А.Яковле-

ва, «вместо того чтобы приучаться к самостоятельности, инициативе и ответственности, они превратились в присоску к госсектору, и насос для перекачивания безликих бюджетных денег в черный нал...»

В результате начатая с верхних этажей революция, под которую Горбачев попробовал подвести политическую и социальную опоры, оказалась на весьма шатком фундаменте. Проявившая интерес к политике, потянувшаяся во власть активная часть элиты сочла, что самый прямой путь к этой цели — присоединение к радикальной оппозиции Горбачеву. Динамичный слой новых предпринимателей, убедившись, что «серая» зона переходной экономики предоставляет уникальный шанс для обогащения, ринулся в полулегальный и нелегальный бизнес, втягивая в него за собой многих представителей государственной и партийной номенклатуры. Понятно, что такой сомнительный базис должен был неизбежно разложить и криминализировать «надстройку». В итоге, в то время как вершина Перестройки уходила все выше в заоблачные перспективы преобразования страны и мира, ее основание все глубже погружалось «под воду». С какого-то момента неизбежно и сам Горбачев должен был, не сознавая этого, стать не только жертвой развязанных им процессов, но и орудием в руках тех сил, которым он открыл двери к истинной, то есть экономической, власти и негласному политическому влиянию.

Помимо социальной базы в 1989—1990 годах начали подвергаться эрозии и политические опоры перестройки. Прежние сторонники и попутчики, уже не только члены Политбюро, но и представители интеллигенции, средства массовой информации, долгие другие сохранявшие благодарную верность Горбачеву, начали расходиться по противоположным лагерям. Что уж говорить о КПСС и тем более о пустившей побег от ее подпиленного ствола КП РСФСР, которые, естественно, не собирались стать партией президента. Советы, в которые он попытался вдохнуть жизнь, ни на какие попытки реанимации не отзывались. У генсека-президента, сосредоточившего в своих руках к 1990 году необъятные властные полномочия, помимо возможностей телеэкрана, не было под рукой передаточного механизма, с помощью которого он мог бы

если не единолично управлять страной, то хотя бы влиять на развернувшиеся процессы.

Единственной структурой, к которой теоретически перетекала отобранная у партии власть, был пока чисто символический «президентский режим». Но и эта, еще не успевшая прижиться и мало кому понятная властная конструкция подвергалась ожесточенным атакам с разных сторон — от радикалов в российском и союзном парламентах до смыкавшихся с ними в нападениях на «опасный авторитаризм» президента депутатов из группы «Союз».

Произошло все это парадоксальным образом именно потому, что Горбачев на самом деле добился поставленной цели. То, к чему он стремился, произошло: «процесс пошел». Реактор перестройки был запущен, и теперь никто не в состоянии его заглушить. Теперь уже и сам ее инициатор, двигаясь вперед, — дорога назад ему была заказана — не мог определенно сказать, выбирает ли он самостоятельно дальнейший маршрут или подчиняется толкающим в спину событиям.

Не случайно именно в этот период Горбачев впервые в кругу самых доверенных лиц заводит разговор о возможной отставке. «Дело сделано, — говорил он А. Черняеву. — Народ получил возможность самостоятельно выбирать и руководителей, и дальнейшую дорогу». От ухода Михаила Сергеевича удерживала надежда, что начавшийся процесс ему лучше, чем кому-нибудь другому, удастся ввести в рациональные рамки. Отголоски этих же настроений уловил его помощник, общаясь в эти дни по телефону и с Раисой Максимовной.

Оставался тем не менее у Генсека ЦК КПСС один серьезный долг уже не перед своей партией, а перед всей страной. В ситуации, когда новый, избранный на основе подлинных выборов и в силу этого легитимный парламент готовился реально взять в руки верховную власть, было необходимо, чтобы правившая до сих пор партия желательно добровольно и тем более без вооруженного сопротивления уступила ее народным избранникам. Никто, кроме Горбачева, подготовившего эту операцию и оставшегося номинально Верховным Главнокомандующим потерпевшей историческое поражение партийной армии, не мог подать ей официального сигнала к отступлению. Тот факт, что он

одновременно подписывал и принимал капитуляцию, несколько упрощал дело. Однако затягивать с публичным «характери» тоже не следовало — лучше взять инициативу на себя, чем оказаться в ситуации, когда партийное руководство принудит к этому очередной Съезд народных депутатов.

В феврале 1990 года Пленум ЦК КПСС выбросил белый флаг. «Начавшая перестройку» партия, понукаемая Горбачевым, сама выступила с предложением об изменении редакции пресловутой 6-й статьи Конституции СССР, юридически закреплявшей за компартией статус «ядра» советской политической системы. Открывшемуся через месяц II Съезду народных депутатов осталось «удовлетворить просьбу» КПСС о ее увольнении «по собственному желанию» с должности «руководящей и направляющей силы» советского общества.

Уже на I Съезде народных депутатов СССР в мае 1989 года страна, припавшая к телевизорам, была потрясена беспрецедентным зрелищем: перед открытием съезда партийные «небожители-олимпийцы», члены Политбюро КПСС с непривычной для них суетливостью разыскивали свои места среди остальных депутатов в зале заседаний, а не в президиуме на сцене Кремлевского дворца, в свое время задуманного и построеного как постоянная декорация для ритуальных государственных и партийных торжеств. II Съезд, приняв в марте 1990 года новую редакцию 6-й статьи, поместил КПСС в одном ряду с «другими политическими партиями», и теперь уже вся партия была вынуждена покинуть высшую национальную трибуну, которую привыкла считать своим наследным тронem.

Предал ли свою партию генсек, приведший ее к политической Цусиме? Или спас от унижения, а может быть, и от расправы, от предлагавшегося кое-кем Нюрнбергского процесса? Да и кто, в конце концов, кого предал, и не произошел ли внутри КПСС и тем более в КП РСФСР антигорбачевский и антиперестроечный переворот еще за год до путча, интернировавшего президента?

«Партия — единственное, что мне не изменит» — любил с выражением декламировать заученные со школьных времен строки Маяковского молодой секретарь Ставропольского край-

кома. 23 августа 1991 года последний генсек ЦК КПСС подписал в Кремле заявление о сложении с себя обязанностей руководителя партии, объясняя свое решение тем, что «партийное руководство не осудило путч и не призвало коммунистов защитить Конституцию». Поведение партийной верхушки во время путча в принципе не было неожиданным: Конституция без прежней 6-й статьи ценности для партии не представляла.

Однако окончательное, пусть запоздалое расставание Президента СССР со своим двойником генсеком и с партией, уже давно переставшей его признавать своим лидером, стало не только драматическим финалом многолетней истории КПСС, но и имело роковые последствия для всей страны и целостности Советского государства. Один из ветеранов литовской компартии рассказывал, что как-то в разговоре со Сталиным задал ему вопрос: «Зачем в Советской Конституции (официально величавшейся сталинской) записано право республик на выход из Союза? Для чего таким образом провоцировать сепаратистские настроения, ведь это может привести к расколу страны? «А вот чтобы этого не произошло, и существует единая партия», — ответил вождь. К августу 1991-го Советский Союз уже не был, конечно, такой же монолитной державой, как в ту эпоху, когда ею управлял Иосиф Виссарионович. И все же пока партийная скрепа существовала, она предохраняла государство от распада. После путча до официальной кончины Союза осталось четыре месяца. И только на эти четыре месяца президент Горбачев пережил генсека с той же фамилией.

СОХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАСПУСТИТЬ!

В СТАРОЙ КВАРТИРЕ

В ряду многих адресованных ему обвинений есть одно, на которое Михаил Сергеевич реагирует особенно болезненно: ответственность за развал Советского Союза. Тут он защищает решительно, всякий раз напоминая, что в этом вопросе «стоял насмерть», и из-за категорического несогласия с решением участников Беловежского сговора и Алма-атинского «саммита» распустить Союз ушел в отставку. Даже если оставить в стороне вопрос, был ли у него в этой ситуации выбор, речь идет об очевидном факте: Горбачев бился за Союз до конца, и не потому только, что его ликвидация лишала президента страны, а стало быть, и должности. Он был искренен, когда заявлял, что при условии сохранения «обновленного» Союза готов не выдвигать больше своей кандидатуры на пост главы государства.

И не одна только грустная перспектива председательствовать при «распаде империи», роль, от которой отказывался У.Черчилль, угнетала: предсказанные в его обращении к участникам встречи в Алма-Ате драматические внутривосточные и международные последствия распада СССР не только полностью сбылись, но и превзошли его собственные опасения. Без ответа, и теперь уже навсегда, останется главный вопрос: можно ли было этого избежать?

Когда Горбачева спрашивают, мог ли сохраниться Советский Союз, он отвечает решительно и убежденно: «Да, мог!», уточняя: в обновленной форме — «подлинной федерации» или «конфедерации» (что, заметим, далеко не одно и то же). Не по этой ли причине и сам термин «Союз», позволявший уходить в очередной раз от окончательного выбора между унитарным, хотя и современным государством и гибкой, зыбкой федерацией-конфедерацией, ему так нравился, что он держался за эту словесную оболочку едва ли не больше, чем за само содержание. Вообще, это было слово из его лексикона, дававшее возможность не рвать с прошлым, не «ломать через колено» память и патриотические чувства людей, выросших в Союзе поколений, защищавших его на войне, и одновременно не преграждавшее пути в будущее, к идеальному, евразийскому Союзу, достойному партнеру Европейского Союза. Утверждая, что такой Союз был возможен, он оперировал неопровержимым, хотя и некорректным аргументом: в подлинном Союзе, как и в «правильном» социализме, мы еще не жили. Давайте попробуем!

Историческую защиту Горбачеву облегчают заклятые и отныне неразлучные с ним противники-партнеры по драматическим событиям 1991 года. В открытой для любых вариантов формуле «Союз сохранить нельзя распустить!» именно они взяли на себя ответственность расставить в ней точки. Горбачев, конечно, прав, говоря, что зачатый и почти что выращенный им в пробирке новоогаревского процесса зародыш нового Союза в канун своего рождения был безжалостно убит августовским путчем. Прав и когда возлагает на беловежскую «тройку» и послушно поддакнувших ей республиканских парламентариев ответственность за то, что разбитую путчистами его хрустальную мечту — Союз Суверенных Государств (аббревиатуру ССГ некоторые расшифровывали как Союз Спасения Горбачева) — ему не позволили склеить.

Однако он сам себе противоречит, признавая: не кто иной, как Ленин продлил жизнь Российской империи с помощью революционной идеологии, «поддержанной, конечно, конницей Буденного и войсками Туркестанского округа». А если так, то как можно было сохранить эту последнюю мировую империю в



Для Запада чета Горбачевых стала символом новой, освобождающейся от своего прошлого страны.

Встретившись с Горбачевым в Лондоне еще в декабре 1984 г., в бытность его секретарем ЦК, М. Тэтчер с изумлением обнаружила вполне современного политика, с которым «можно было вести дела».



Визитом во Францию в октябре 1985 г. новый генсек начал свою пропагандистскую кампанию «наступления на Запад».

В декабре 1987 г. русские вторглись в Вашингтон.

Когда Рейган и Горбачев подписали договор о «евроракетах», зал, встав, устроил овацию.

Началом конца «холодной войны» одни называют май 1988 г., когда Рейган не побоялся сфотографироваться в сердце «империи зла» — на Красной площади. Другие считают, что ее похоронили на дне Средиземного моря Буш и Горбачев во время встречи на Мальте 2–3 декабря 1989 г.



К октябрю 1990 г. Горбачев и Коль окончательно договорились об объединении Германии, решив ключевую проблему мирного урегулирования в Европе.

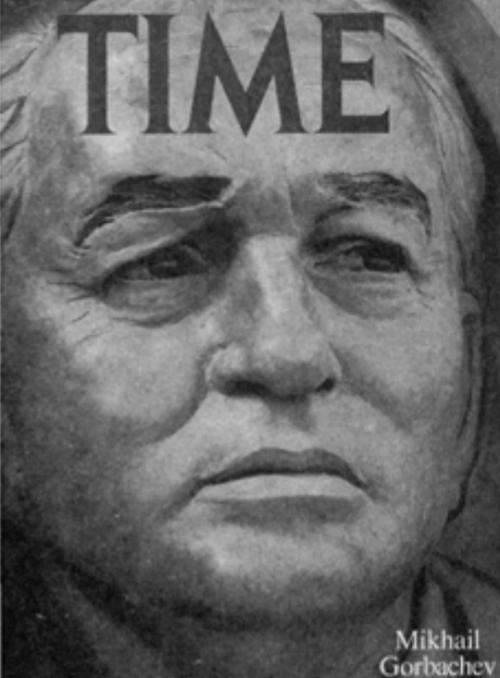


«Горбимания».



MAN OF THE DECADE

TIME



Mikhail
Gorbachev



Журнал «Тайм» называет Горбачева «человеком десятилетия».

Либеральные демократы, «прорабы перестройки» Г. Попов, А. Собчак, «архитектор перестройки» А. Яковлев, рупоры гласности и плюрализма В. Коротич и Е. Яковлев — верные союзники Горбачева в «романтический период» перестройки.



Однако уже в 1988–1989 гг. явно обозначился собой в страстном романе демократов с лидером перестройки, а после событий в Прибалтике в январе 1991 г. вчерашние единомышленники призывали отправить «кровавый режим» в отставку.

Первым серьезным сигналом демократизации режима стало снятие табу с вопросов выезда из СССР.



23 декабря 1986 г. после семилетней ссылки в Москву вернулся А. Сахаров.

Самым абсурдным символом первых шагов реформаторов стала антиалкогольная кампания, объявленная весной 1985 г.



Жить «стало веселее», но не лучше, многие почувствовали себя обманутыми и несчастными.



Полки в магазинах опустели.

*Чернобыль был первым «знаком беды»,
пометившим Перестройку в апреле 1986 г.*



*7 декабря 1988 г. — землетрясение в Армении:
погибло около 25 тысяч человек.*



*7 апреля 1989 г. — затонула подводная лодка
«Камсамалец»: погибли 42 человека.*



*3 июня 1989 г. — взрыв газопровода
возле железной дороги Уфа—Челябинск:
сразу погибло больше 400 человек.*

Крушение тоталитарного режима открыло шлюзы сдерживаемым до того националистическим и сепаратистским течениям. Демонстрации крымских татар в Москве летом 1987 г. проходили на виду всего мира и носили организованный характер.



27–28 февраля 1988 г. в Сумгаите произошел армянский погром: были зверски убиты 32 человека. В ночь с 8-го на 9-е апреля 1989 г. войска разогнали демонстрацию в Тбилиси, требовавшую выхода Грузии из СССР: 19 погибших, сотни раненых.

*13–15 января 1990 г. по Баку прокатилась волна антиармянских и антирусских погромов:
121 погибший, 700 раненых.*



*Силовые акции в Вильнюсе и Риге в январе 1991 г., направленные на то,
чтобы удержать Прибалтийские республики в союзном государстве,
обернулись взрывом сепаратизма.*

Уход из Афганистана был одним из приоритетов Горбачева. Еще в докладе на XXVII съезде КПСС в феврале 86-го он назвал эту войну «кровоточащей раной».



15 февраля 1989 г. последний советский солдат покинул Афганистан.

В декабре 1988 г. в ООН Горбачев заявил, что сила не должна служить инструментом внешней политики и объявил об одностороннем сокращении — на полмиллиона человек — советских войск в Восточной Европе.



Он не мог не сознавать, что падение Берлинской стены приведет к трещинам в стене Кремлевской.

13 марта 1988 г. «Советская Россия» опубликовала письмо

ленинградского доцента Н. Андреевой «Не могу поступиться принципами».

На совещании в ЦК КПСС Е. Лигачев (Горбачева в Москве не было) «порекомендовал» коллегам обратить внимание на этот «сигнал с места» в защиту социалистических идеалов.



ПРИНЦИПЫ ПЕРЕСТРОЙКИ: РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ МЫШЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЙ

Андреевой (1988 г.) ЦК КПСС в марте 1988 г. опубликовала письмо ленинградского доцента Н. Андреевой «Не могу поступиться принципами».

Письмо вызвало два вопроса: кто она и почему? Письмо было не просто опубликовано в газете, оно было опубликовано в газете «Правда». Это не только знак уважения к автору, но и знак уважения к идеям, которые он высказывает. Это не только знак уважения к автору, но и знак уважения к идеям, которые он высказывает.

Вопрос, что такое принцип? Принцип — это то, что не меняется. Принцип — это то, что не меняется. Принцип — это то, что не меняется.

Вопрос, что такое принцип? Принцип — это то, что не меняется. Принцип — это то, что не меняется. Принцип — это то, что не меняется.

Вопрос, что такое принцип? Принцип — это то, что не меняется. Принцип — это то, что не меняется. Принцип — это то, что не меняется.

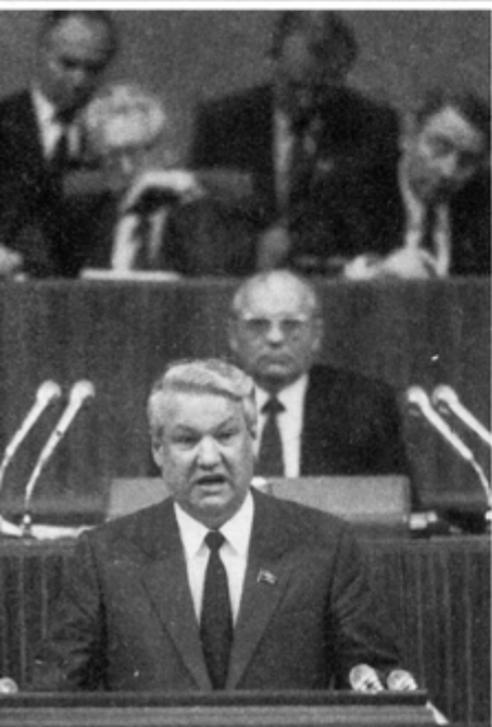
Вопрос, что такое принцип? Принцип — это то, что не меняется. Принцип — это то, что не меняется. Принцип — это то, что не меняется.

Вопрос, что такое принцип? Принцип — это то, что не меняется. Принцип — это то, что не меняется. Принцип — это то, что не меняется.



5 апреля «Правда» поместила редакционную статью (автор — А. Яковлев), в которой публикация была названа «антиперестроечным манифестом».

XIX партконференция (июль—август 1988 г.) покончила с мифом о монолитности КПСС, ясно обозначила противостояние двух тенденций — консервативной и радикально-демократической, стала шагом к многопартийности.



Вышедший из «комы» Ельцин выступил с полупоклоном, поддержкой Горбачева и жесткой критикой Лигачева, чем заслужил его реплику: «Борис, ты не прав!»



К осени 1990 г. разрыв между внешнеполитическим триумфом Горбачева и все более драматичными последствиями его политики внутри страны стал очевидным. Присужденную ему Нобелевскую премию мира он получать не поехал (с Нобелевской лекцией выступил в Осло лишь весной 1991 г.).

век крушения всех империй, да еще в новых, созданных им самим условиях — дискредитации ленинской идеологии и посаженной на конституционную цепь «непобедимой и легендарной» Красной Армии?

В вопросе об отношении к Союзу пролегла и главная межа, разделившая не только российскую историю в последнее десятилетие XX века, но и два принципиально разных политических характера лидеров этой эпохи — Горбачева и Ельцина. Один, не пережив (политически) распада прежней страны, хотя и в немалой степени приблизив его, предпочел расстаться с властью — «затонуть» вместе с союзным кораблем, другой ради возвращения во власть и восхождения на ее высшую ступень, не колеблясь, этим Союзом пожертвовал.

Парадоксальным, а может быть, как раз закономерным образом проблема сохранения Союза сыграла роковую роль в судьбе инициатора перестройки, да и самого этого процесса именно потому, что первоначальным проектом реформа союзного государства не предусматривалась: считалось, что «перестройка все уладит». Воспитанное михалковским текстом союзного гимна поколение реформаторов было искренне убеждено в том, что «союз нерушимый» действительно несокрушим, а национальный вопрос у нас разрешен раз и навсегда. Горбачеву и его окружению предстояло открыть, что при крушении тоталитарного режима не только вырвутся на поверхность сдерживаемые до того репрессивным аппаратом автономистские и сепаратистские течения, антирусские настроения «националов» и накопившиеся межнациональные обиды, но и общественная жизнь, и политическая борьба, разбухенные перестройкой, оденутся в национальные одежды. На смену декларативному и административному интернационализму советского строя, после того как рухнули его силовые подпорки, пришла не гармония дружбы народов, олицетворяемая знаменитым фонтаном на ВДНХ, а неукротимая стихия национальных комплексов и страстей. Главные «перестройщики», и прежде всего Горбачев, оказались к этому не готовы.

Слишком долго пытался он, игнорируя разогревавшийся национальный вопрос, держаться «позападного плана», согласно которому очередь до реформы Союза должна была дойти после

успешного завершения политического и экономического этапов. Недоумевал и раздражался, когда республиканские элиты хотели «получить все сразу», продолжал верить, что все многонациональное разноцветье российско-советской империи удастся подстричь под одну гребенку с помощью нового Союзного договора. И хотя его политическая гомеопатия уже явно не приносила результатов, Горбачев продолжал убеждать самого себя и других в том, что «народ и особенно рабочий класс» на всем пространстве от Прибалтики до Кавказа и Средней Азии не поддержат «националистов».

Недооценка национального фактора, причем даже не столько как спонтанного выражения настроений и чаяний населения, а как политического рычага борьбы за власть, обошлась ему дорого. Большую проницательность в этом проявил Е. Лигачев. Отбиваясь от стрел, летевших из горбачевско-яковлевского лагеря в сторону «консерваторов», он пытался переадресовать их на «националистов и сепаратистов», именно их объявлял подлинными «врагами перестройки». Примечательно, что из своего открытия политического потенциала национального фактора и сам Лигачев, и во всем «неправый Борис» в своем противостоянии с Горбачевым сделали, в сущности, одинаковые практические выводы. Один — бросив против генсека агрессивное националистическое крыло компартии РСФСР, другой — разыграв против Президента СССР карту национальных суверенитетов, прежде всего российского.

Размышляя о причинах запоздалой реакции на разгоревшийся у него за спиной пожар, Михаил Сергеевич нередко, бывало, выносил себе и своему окружению вполне трезвые и даже суровые оценки: «Главный враг, — делился он в разговоре по душам с тогдашним первым секретарем ЦК компартии Грузии Д.Патиашвили, — в нас самих. Тех, кому за 50, а то и за 60. Мы — дети своего времени, запрограммированные на методы работы, которые были тогда». Позднее он разовьет эту же мысль в своих мемуарах: «Мы заглядывали вперед, как бы высовываясь из окон, оставаясь туловищами в “старой квартире”. А значит, и поле обзора было ограничено».

Ограниченность обзора будет очень скоро оплачена горькими открытиями и упущенным драгоценным временем. Если в

1985 году в своей речи по случаю 40-летия Победы Горбачев, должно быть, вполне искренне подписывался под доставшейся ему в наследство доктриной «единой семьи советского народа», ставшего «новой социальной и интернациональной общностью», то несколькими месяцами позже, при редактировании новой программы КПСС уже предостерегал против «опасной формулы», прогнозирувавшей «слияние наций», населяющих СССР в единую «советскую», а в январе 87-го — всю критикувал ученых-обществоведов, рассуждавших о национальном вопросе в духе «застольных тостов».

Проблема тем не менее, как часто бывало у него, состояла не в правильных оценках, а в своевременных поступках. Слабым утешением может служить то, что не он один продолжал мысленно жить в старой советской «квартире». Даже варившиеся в гуще национальных проблем местные кадры, вроде Э.Шеварднадзе, исходили тогда из того, что «национальный вопрос в СССР окончательно разрешен», и совершенно не были готовы к тому, что он вспыхнет в драматической форме. И Горбачев, и Шеварднадзе слишком долго верили, что национальные конфликты, о которые начала все чаще спотыкаться перестройка, — это лишь досадное недоразумение, и их можно разрешить путем возвращения к «ленинской национальной политике». А в критические моменты — с помощью прямого «выхода к народу». Это удавалось в нескольких сложных случаях и самому Шеварднадзе, и Горбачеву, выступившему в ноябре 1988 года, когда ситуация в грузинской столице накалилась, с устным посланием к грузинской интеллигенции, «после которого люди на улицах Тбилиси плакали и обнимались».

Вот почему и в последующие месяцы он еще продолжал верить в возможность «комплексного решения» национальных проблем в общем контексте экономической и политической реформы и пытался заливать уже всю бушевавшие пожары в Карабахе, в Прибалтике и даже — в канун рокового для Советского Союза референдума — на Украине с помощью своих телевизионных выступлений, обращений к общественности или посланий к Верховным Советам республик.

Никто из членов нового руководства, разумеется, не прислушивался к репликам «человека из прошлого» — А.Громько, ко-

торый не забыл, как раньше обеспечивалось поддержание мира в «единой семье», и время от времени изрекал на заседаниях Политбюро: «Появится на улицах армия, будет порядок». Может быть, именно поэтому недооцененный национальный вопрос в итоге взорвал Союз, а мир получил теперь уже на опыте СССР, а не одной только Югославии, подтверждение блестящей формулы, отчеканенной польским журналистом-диссидентом А. Михником: «Национализм есть высшая стадия коммунизма».

Между тем разгоравшиеся язычки национального пламени должны были насторожить Горбачева. Они показали: растревоженные тем, что происходит в Москве, властные кланы в союзных республиках будут обороняться любыми средствами. «Хворост» антимосковских настроений — а этого всегда было вдоволь в союзных республиках — не требовалось даже специально заготавливать: достаточно было только поднести спичку.

Первым к этому легковоспламеняющемуся материалу ее поднес... сам Горбачев. В декабре 86-го, выпроводив «на заслуженный отдых» одного из старейших и наиболее влиятельных членов Политбюро — первого секретаря ЦК компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева (его даже не пригласили по этому поводу на заседание ПБ), он направил на его место знакомого секретаря Ульяновского обкома Геннадия Колбина, никогда не жившего в Казахстане. Несколько лет до этого он работал «вторым» у Э. Шеварднадзе в Грузии — этого опыта, по меркам Отдела оргпартработы, было вполне достаточно, чтобы справиться со спецификой любой союзной республики.

Решение Горбачева было по-советски безупречным и внешне логичным: ему требовалось завершить «зачистку» Политбюро от последних кадров, а всем известно, в какой мере «брежневизм» опирался на систему «договорных отношений» между республиканскими «боярами» и Центром. Первые секретари обеспечивали лояльность своих республик к Москве, в обмен на это ЦК сквозь пальцы смотрел на фактическое самодержавие, установленное ими в своих вотчинах.

Собственно говоря, начал разрушение этих опор брежневского режима еще Андропов, поручив Лигачеву приступить к

расследованию «узбекского дела», что было расценено как жесткое предупреждение Москвы не только ташкентскому «баю» Рашидову, но и остальным республиканским секретарям. Приступив к «своей» чистке в Казахстане, Горбачев не учел по крайней мере две вещи: первое — пытаться одновременно выкорчевывать режим, основанный на клановых связях и коррупции, и будить стихию общественных и политических страстей значило как минимум осложнять себе жизнь. Второе — заменить местного «крестного отца» в союзной республике, оставляющего в национальной почве обширную «грибницу», на присланного из другого региона «варяга» совсем не так же просто, как сделать это в Москве под присмотром Старой площади и Лубянки.

Результатом этого первого, явно не подготовленного вторжения горбачевской перестройки в зыбучие пески национальных проблем «реального социализма» стало двое убитых и около тысячи раненых во время разгона многотысячной толпы молодых казахов, которые вслед за «ветеранами войны и труда» вышли на улицы Алма-Аты, протестуя против назначения неказаха главой республики. За этими отнюдь неспонтанными беспорядками угадывалась уверенная рука если и не самого ответственного 73-летнего казахского руководителя, то тех, кто захотел показать Москве, что пакт лояльности республики по отношению к Центру может быть расторгнут.

После Алма-Аты немыслимые еще недавно драматические события на межнациональной почве возникали то в одном, то в другом регионе страны. Список жертв эпохи перестройки увеличивался по мере того, как не только люди, но и принципиально новые, неожиданные для Горбачева проблемы «вышли на улицы». Межэтнические конфликты, разжигаемые местными элитами, чтобы «показать зубы» и обозначить пределы влияния Центра, были лишь первым выбросом вулкана национализма, разбухшего перестройкой. Разнообразные оппоненты новой власти — от ультраконсерваторов до ультрадемократов — гораздо быстрее, чем она сама, осознали, что в многонациональной «законсервированной империи» национализм — универсальная политическая отмычка, дешевое общедоступное топливо, которым нетрудно

разжечь костер народных страстей, чтобы изжарить любую яичницу.

Следом за уличными и рыночными беспорядками пришла очередь политических демонстраций, и с этого момента, обретя политическую форму, национализм разной расцветки начал все более открыто бросать вызов проекту Горбачева. На предоставленную им сцену вторглись совсем не те актеры, которых он приглашал. Уже летом 87-го ее самовольно заняли те, кому нечего было терять, поскольку у них не было ни признанных прав, ни даже своей территории — тысячи крымских татар, потребовавших разрешить вернуться в Крым, откуда их депортировали в сталинские времена из-за обвинений в сотрудничестве с немецкими войсками. Поскольку демонстрации татар проходили на виду у всей страны и внешнего мира в Москве и носили организованный характер, их было трудно представить как выходки хулиганов или экстремистов. Михаил Сергеевич оказался перед выбором: или применить против демонстрантов силу, изменив принципам, провозглашенным им самим с трибуны и телеэкрана, или искать политическое решение. Так «замороженные» национальные конфликты и драмы репрессированных народов вторглись в политическую жизнь страны, перекраивая на свой лад повестку дня перестройки, ломая график, который хотел установить для нее Горбачев.

Для переговоров с татарами, вышедшими на московские улицы с транспарантами «Родина или смерть!» и расположившимися в сквере напротив здания ЦК, был выделен «главный советский переговорщик» — А.Громько. В его богатой дипломатической практике таких партнеров еще не было. Директивы, которые возглавляемая им комиссия получила на Политбюро, звучали вполне в духе нового времени, но были трудноосуществимы: «Мы должны признать право выхода людей на улицы со своими требованиями и лозунгами, — заявлял Горбачев, — однако в рамках закона. Экстремистские замашки необходимо пресекать, нельзя смешивать гласность со вседозволенностью. Но при этом нельзя отождествлять шантажистов с татарским народом».

Когда же Громько просил более конкретных указаний для возможных «развязок» на переговорах, дискуссия на Политбю-

ро, совершив полный круг и перебрав все варианты, — разрешить переезд в места прежнего проживания, выделить для них специально новую территорию, ввести квоты на расселение и прочее — возвращалась, как правило, в исходную точку, то есть «пока» оставить все, как есть. Выслушав мнения, Горбачев закруглял дебаты: «Уйти от этой проблемы не удастся. Все надо основательно продумать. Крым татарам мы отдавать не можем — слишком много там за прошедшие годы изменилось. Надо призывать людей стоять на почве реальности. Предлагаю создать комиссию...»

Дополнительным аргументом в пользу «статус-кво» было то, что вслед за крымско-татарской проблемой пришлось бы заняться переселением из Узбекистана в Грузию турок-месхетинцев, возвращением к своим бывшим домам высланных ингушей и немцев Поволжья... И хотя через пару недель крымских татар, утихомирив неясными обещаниями, без лишнего шума развезли по домам, стало ясно: их выступления будут иметь далеко идущие последствия.

КАВКАЗСКИЙ РОКОВОЙ КРУГ

Так и произошло. Уже в самом начале 1988 года, когда Горбачев был поглощен сведением счетов с консерваторами и расчерчиванием графика последующих этапов своей реформы-революции, едва поднявшееся над фундаментом строение Перестройки оказалось подожженным сразу с двух противоположных краев: вспыхнувшей ярким пламенем проблемой Нагорного Карабаха, за которой последовал армянский погром в Сумгаите, и набиравшим силы движением за независимость в Прибалтийских республиках. Вновь пролилась кровь, появились первые сотни и тысячи «беженцев перестройки», начались «этнические чистки» (бегство армян из Азербайджана и выдавливание азербайджанцев из Армении). Фасад декоративного панно, изображавшего «ленинскую дружбу народов», пошел крупными трещинами. Но самое страшное, как понимал выросший в предгорьях Кавказа Горбачев, состояло в том, что, едва отчалив от пристани, его корабль напоролся на рифы по существу неразрешимых вековых предрассудков и страстей.

Буквально накануне сумгаитского погрома 26 февраля он предпринял еще одну отчаянную попытку урезонить армянских национал-демократов, приняв в Кремле вдохновителей карабахского движения поэтессу Сильву Капутикян и журналиста Зория Балаяна. Их привел к нему А. Яковлев. Горбачев распекал националистов, которые «наносят удар ножом в спину перестройке». Уговаривал, заклинал не поднимать вопрос о присоединении Карабаха к Армении. Предупреждал: «Представляете, что будет с армянами в Азербайджане, — их там 500 тысяч!» Грозил: «Если погрузимся в омут распри и недоверия, история не простит». Напирал на особую моральную ответственность интеллигенции как духовного пастыря каждой нации.

В ту пору и сам Горбачев, и в еще большей степени Раиса почти религиозно верили в интеллигенцию, ее облагораживающую миссию и политический потенциал, считая ее представителей своими верными союзниками по демократической реформе. Не случайно в самые острые моменты армяно-азербайджанского конфликта он предлагал призвать на помощь политикам авторитет Самеда Вургуня, Расула Гамзатова, академика Виктора Амбарцумяна. Дальнейшее развитие этого, как и многих других межнациональных конфликтов на советском пространстве показало, насколько романтическими и даже наивными были представления Горбачева о поведении интеллектуальных элит. Как только речь заходила о межнациональных спорах, «рафинированные» интеллектуалы и убежденные демократы становились в бойцовскую стойку.

Как это часто бывало с собеседниками Горбачева, после двухчасовой беседы по душам Капутикян и Балаян поддались его обаянию, напору и аргументам. Прощаясь, уверяли, что преданы перестройке, верят слову ее лидера и обещали не обострять карабахскую проблему — в обмен на гарантии прав армян Карабаха. «Только не поднимайте территориальный вопрос», — прощаясь на пороге кабинета, повторял Горбачев. Удачно, завершившийся разговор, как это бывало, создал у него ощущение разрешенной проблемы. 27 и 28 февраля в Сумгаите произошел армянский погром.

«Кровораздел» Сумгаита (за два дня в городе были зверски убиты 32 человека, из них 26 армян) багровым рубцом пере-

черкнул моральную репутацию перестройки — несколько западных газет поместили рисунок, изображавший Горбачева с кровавым родимым пятном на лбу. Подобно боксеру, оказавшемуся в нокдауне, но устоявшему на ногах, он пытался сделать вид, что ничего непоправимого не произошло, призывал сохранять хладнокровие, предостерегал от расправ, предложил направить обращение к обоим народам. «Убийца необходимо привлечь к ответу, — говорил он на Политбюро. — Однако действовать надо уважительно и деликатно. Мы не должны нервничать». За сумгаитскими событиями он усматривал направленный лично против него заговор антиперестроечных сил и местной мафии, «проверку Горбачева».

Если на самом деле это и было так, то эту проверку его политика национального умиротворения явно не прошла. Годы спустя два разных и по характерам, и по политическим позициям человека, оба бывшие министры, один — обороны — Д.Язов, другой — внутренних дел — В.Бакатин независимо друг от друга высказались по этому поводу одинаково: безнаказанность погромщиков в сочетании с безответственностью и подстрекательскими призывами экстремистов и националистически настроенной интеллигенции вызвали в последующем эскалацию насилия и новые, еще более многочисленные жертвы.

Чтобы развести враждующие стороны, Горбачев прибег к своей излюбленной игре в «двойку», отправив от своего имени одновременно в Баку и Ереван Е.Лигачева и А.Яковлева. Поскольку каждый из них продолжал воевать с соперником, изложенные ими позиции Москвы оказались взаимоисключающими. В результате в той и в другой республике Горбачева стали воспринимать как человека, не способного держать слово. Чтобы избежать перерастания конфликта в вооруженное противостояние, глава государства принял решение ввести с августа 1988 года в Нагорном Карабахе прямое правление Центра, назначив своим «наместником» в Степанакерте Аркадия Вольского.

Был ли у него реальный план развязывания карабахского узла или он просто, как и в других случаях, надеялся, что страсти утихнут, горячие головы образумятся и все как-нибудь «рассосется»? Да и существовал ли вообще рациональный вы-

ход из карабахского тупика, «третий путь» — между возвращением к традиционным советским методам искоренения «буржуазного национализма» и горбачевским обещанием принять «любую формулу», о которой договорятся между собой лидеры двух республик? Вольский считает, что такой шанс был и, упустив его, Горбачев отдал инициативу в руки экстремистов. Сравнивая Горбачева и Андропова, он отмечает: «Михаил Сергеевич чудный, порядочный человек, сильный политик, но слабый государственный деятель. Ему не хватало духу стукнуть кулаком. Когда я обращался к нему из Степанакерта за помощью в кризисной ситуации, он мог в ответ сказать: “Решай сам насчет чрезвычайного положения”».

В ноябре 1989 года, безрезультатно завершив свою миссию, А.Вольский возвратился в Москву. Для Центра ее итог был равнозначен политическому фиаско.

К тому времени на национальной союзной карте тревожно мигали уже не только Карабах, а целая гирлянда красных лампочек. В ночь с 8-го на 9-е апреля 1989 года взорвалась ситуация в Тбилиси. Разгон войсками Закавказского военного округа и силами МВД демонстрации сторонников Звиада Гамсахурдиа, требовавших выхода Грузии из СССР и одновременно ликвидации автономии Абхазии, привел к многочисленным жертвам (19 погибших, главным образом женщин, и сотни раненых). Тбилисская трагедия переросла в острый московский политический кризис.

О том, что обстановка в грузинской столице накалена, Горбачев узнал, прилетев в Москву в 10 часов вечера из Лондона. Во время ритуального «выездного» заседания ПБ в здании «Внуково-2» он принял рапорт от председателя КГБ В.Чебрикова, в мрачных тонах обрисовавшего ситуацию и сообщившего о мерах, включавших директивы военным, которые в отсутствие генсека договорились предпринять собравшиеся днем у Лигачева члены ПБ. Выслушав «триумвират» в составе Е.Лигачева, В.Медведева и В.Чебрикова — «на хозяйстве» во время своего отсутствия Горбачев никого не оставлял, — он велел Э.Шеварднадзе и секретарю ЦК Г.Разумовскому, сговорившись с Д.Патиашвили, вылететь в Тбилиси. Поговорив со

своим преемником, который явно не хотел, чтобы ему «на помощь» летел московский десант, Эдуард Амбросиевич свой отъезд отложил и отговорил ехать Разумовского. Патиашвили решил использовать «выторгованную» отсрочку, чтобы урегулировать конфликт «своими силами». Ночью на площади перед Домом правительства, заполненной митингующими, пролилась кровь.

Счет за нее предъявлять оказалось некому: вернувшийся из-за границы Горбачев был не причастен к принятым в его отсутствие решениям. Уехавший на следующий день в отпуск Лигачев имел стопроцентное алиби. Шеварднадзе «не успел» к роковому часу. Спрашивать оставалось с орудовавших саперными лопатками солдат и их командиров.

Тем не менее случившееся нанесло авторитету Горбачева огромный ущерб. Начать с того, что тень тбилисских событий легла на торжественное открытие I Съезда народных депутатов СССР, собравшегося несколько недель спустя, омрачив его политический триумф. В самой Грузии апрельская трагедия перечеркнула политическую биографию Д.Патиашвили, оттенив лишний раз достоинства его предшественника Э.Шеварднадзе, но проложив при этом дорогу к власти его заклятому врагу и противнику союза с Москвой З.Гамсахурдиа. (Примерно так же два года спустя вильнюсские события превратят в героя и неоспоримого лидера литовской нации В.Ландсбергиса.)

В ближайшем окружении Горбачева тяжелый личный конфликт окончательно противопоставит Е.Лигачева, на которого как на одного из главных ответственных за эту трагедию укажет доклад парламентской комиссии Э.Шеварднадзе. Да и взаимоотношения главы государства с армейским начальством, почитавшим, что он «подставил» армию, несправедливо возложив на нее ответственность за кризис, спровоцированный политиками, с этой поры серьезно испортились...

Тернистый путь Горбачева по Кавказским горам не был бы завершен, если бы после Сумгаита, Степанакерта, Еревана и Тбилиси он не привел его в Баку. К драме января 1990 года Москву и Баку подталкивали и покинувшие Армению тысячи беженцев, осевших в бакинских предместьях в школах и пио-

нерлагерях, и углублявшийся конфликт вокруг Нагорно-Карабахской автономной области, и, разумеется, азербайджанские националисты, упрекавшие своих сограждан в том, что те отстают от армян и грузин, являясь послушными вассалами Кремля. Примерно за год до бакинских событий в мае 89-го под свежим впечатлением от тбилисской драмы генсек говорил на заседании Политбюро: «Мы признали, что и во внешней политике сила ничего не дает. А уж внутри тем более не должны и не будем к ней обращаться». Оповещая таким образом национал-экстремистов Кавказа, что «отныне применение силы со стороны Центра исключается», он, не желая того, поощрял, чтобы его ловили на слове или заставляли опровергать самого себя...

С конца 1989 года в бакинском воздухе пахло кровью. Кровь — издавна разменная монета политики. Когда на нее появляется спрос, за предложением дело не станет. Слишком многим в тогдашнем Азербайджане (и, видимо, в Москве) требовалось, чтобы пролилась кровь, появились жертвы. Одним — чтобы всколыхнуть таким образом общественное мнение и повернуть его против «репрессивного Центра». Примеры «Народных фронтов» в Грузии и Прибалтийских республиках показывали, что, чем острее и драматичнее противостояние с Москвой, тем больше возможностей у национальных элит рекрутировать новых сторонников. Другим было важно спровоцировать союзные власти на силовую акцию, чтобы смыть с азербайджанских националистов пятно сумгаитского погрома. Третьим хотелось преподать урок «серьезной» государственной политики Горбачеву, дать ему понять, что нерешительность и «слабовластие» (термин, пущенный в оборот Е. Лигачевым) в управлении таким государством, как Советский Союз, недопустимы и непростительны. Когда столь разные силы приходят к выводу, что завязавшийся политический узел способно разрубить только насилие, ждать его вспышки недолго — к услугам и политиков, и экстремистов всегда вдоволь фанатиков, всевозможных «фундаменталистов» и провокаторов.

Начиная с ноября почти по всему Азербайджану, и в особенности в его столице, шли нескончаемые митинги, организован-

ные Народным фронтом. Противостояние с союзной властью принимало все более вызывающие формы. Было предпринято несколько попыток разрушить пограничные сооружения на советско-иранской границе, начались перехваты дальнобойных грузовиков, курсировавших по дорогам, и остановки поездов. Власть, и местная, и союзная, взирала на происходящее, не двигаясь, как загипнотизированная. Бесчисленные заседания, шифровки в Центр и обратные звонки, призывы договариваться, «профилактические» увещевания лидеров Народного фронта, которые уже и сами теряли контроль над событиями. Переброшенный на всякий случай, в помощь местной милиции, дополнительный контингент войск МВД СССР (11 тысяч человек), не реагировал на происходящее: то ли из-за отсутствия команд, то ли из-за того, что азербайджанское руководство разделилось между теми, кто сочувствовал националистам, и теми, кто ждал, чем все кончится. Как и нетрудно было предугадать, все кончилось скверно.

13—15 января по Баку прокатилась лавина антиармянских и антирусских погромов. Но даже после этого Горбачев продолжал колебаться и оттягивать принятие, как он предчувствовал, рокового решения о введении армии. Д. Язов считает, что генсек хотел «отсидеться», «остаться незамазанным». Вероятнее другое: чем больше нажимали министры-«силовики», чем отчаяннее становились сводки заброшенного в Баку политического десанта во главе с Е.Примаковым, тем отчетливее он сознавал, что переход «Рубикона насилия» будет означать для него и для перестройки пересечение не только политического, но и психологического рубежа.

Только когда из Баку пошли сообщения о зверствах разбушевавшейся толпы (людей выбрасывали с верхних этажей многоэтажных зданий, обливали бензином и поджигали), когда перед осажденными зданиями ЦК и правительства воздвигли (символические?) виселицы, Горбачев покорился традиционной участи правителя империи — в Баку на усмирение беспорядков были откомандированы Д. Язов и В. Бакатин. Напутствуя их, В. Крючков и даже А. Яковлев говорили о необходимости преодолеть «синдром Тбилиси» и проявить «твердость». Министры потребовали не только устного поручения

главы государства, но и юридического мандата: указа о введении чрезвычайного положения. Горбачев попробовал было, как в случае с Карабахом, укрыться за фразой «будете действовать по обстановке», но, когда оба министра отказались без указа вводить войска, а из Баку, как с палубы тонущего корабля, раздался очередной SOS Е.Примакова, сообщившего о подготовке толпы к штурму, он решил: «Летите, указ придет следом». И, сняв телефонную трубку, сказал Лукьянову: «Анатолий, давай текст».

Прежде чем его подписать, сделал еще один, видимо, отчаянный шаг — позвонил человеку, от которого не мог ждать помощи, скорее имел основания подозревать, что тот не без злорадства наблюдает за происходящим, — Гейдару Алиеву. По словам самого Алиева, который в то время жил в Москве фактически под домашним арестом и присмотром КГБ, Горбачев, возложив на него ответственность за беспорядки в Баку, потребовал повлиять на события. Бывший член Политбюро, естественно, ответил, что не имеет никакого отношения к происходящему. Вряд ли отправивший его вслед за Кунаевым в отставку генсек мог ждать другого ответа.

Вечером 19 января в Баку был взорван энергоблок телецентра, и даже умеренные руководители Народного фронта, собиравшиеся призвать население, и прежде всего женщин и детей, уйти с улиц и площадей, утратили контроль над происходящим. Город остался во власти наступавшей армии и... стихии. Новая кровь забрызгала штандарт Перестройки и ее лидера. Кровь, которую желали и провоцировали наиболее экстремистские силы в разных политических лагерях и в которой отмылся от своих прошлых прегрешений Алиев, получивший возможность списать на «преступления» новых правителей накопленные за многие годы собственные грехи и открыть тем самым себе перспективу возвращения во власть.

В своих мемуарах Михаил Сергеевич пишет: «Урок, который я вынес из всей этой трагической истории: власть не в состоянии обойтись без применения силы в экстремальных обстоятельствах...» Эти слова в тексте книги подчеркнуты. Цена усвоенного им урока — по официальным сводкам — 121 погибший, 700 раненых и десятки «пропавших без вести».

СКОВАННЫЙ «БАЛТИЙСКОЙ ЦЕПЬЮ»

Январь 90-го вообще выдался для Горбачева тяжелым. В самый канун бакинской драмы он был вынужден не только мысленно, но и физически перенестись на совсем другой край империи, расплывавшейся, как ветхое одеяло, — в Прибалтику. Внеочередной Пленум ЦК, созданный в связи с решением съезда компартии Литвы отделиться от КПСС, «командировал» генсека в Вильнюс, чтобы он собственноручно навел порядок в мятежной парторганизации.

В Литву Михаил Сергеевич отправился с Раисой Максимовой в боевом и даже приподнятом настроении. Информация, которой снабдил его В.Крючков, возможно, уже тогда приступивший к подготовке следующего «вильнюсского января» — 1991 года, обнадеживающе расписывала растущее влияние «интернационалистского» временного ЦК компартии (на платформе КПСС) во главе с М.Бурокаявичусом, а подобранные В.Болдиным телеграммы с мест и обращения «трудовых коллективов» подтверждали, что не только русскоязычное меньшинство, но и многие литовцы «стоят за Союз».

Разумеется, поездка обещала быть непростой. Но такие политические вызовы, а эту поездку можно было сравнить с выходом к враждебно настроенной аудитории Верховного Совета или Пленума ЦК, тонизировали его. В таких ситуациях он мобилизовался и показывал свои лучшие качества лидера. Так, по крайней мере, было до сих пор. Горбачев настраивался, развязав «литовский узел», преподать урок высшего пилотажа не только заблудившемуся местному партийному руководству во главе с А.Бразаускасом, но и агрессивным критикам в Москве, обвинявшим его в попустительстве националистам и «слабости».

Собираясь в поездку, Горбачев говорил своему помощнику Г.Шахназарову: «Понимаешь, я просто не могу им уступить». Эта фраза отражала не только внутреннюю нацеленность на битву за Союз или браваду привыкшего к победам полководца, но и понимание жесткого выбора, перед которым он был поставлен своим собственным ЦК, возложившим на него эту «невыполнимую миссию». Проигрыш практически был неизбежен

при любом варианте ее завершения. Суть ситуации по-военному четко сформулировал в январе 1990 года Д. Язов: «Если одна из республик уйдет, Горбачев кончен, но если он использует силу, чтобы этому помешать, тоже».

Увы, на этот раз и, пожалуй, впервые в истории доселе триумфальной перестроечной кампании Горбачев, подобно Наполеону, неосмотрительно вторгшемуся в Россию, «отправившись за шерстью, вернулся стриженным». Вместо ожидавшихся в Москве «скальпов» националистов и доклада Пленуму о том, как удалось переубедить и примирить руководство местной компартии и целую республику, отговорив от «опрометчивого шага», он вынужден был демонстрировать своим консервативным тылам и общественному мнению России, что добросовестно использовал все возможные аргументы и политические способы удержания Литвы, а стало быть, и остальной Прибалтики в составе Союза и что следующим шагом может быть только применение силы.

По окончании поездки непривычно мрачному Горбачеву пришлось, прощаясь на аэродроме с Бразаускасом, лишь просить подождать с принятием решений о выходе из Союза «до выработки соответствующего закона». Угнетенность Михаила Сергеевича имела двойную причину: он не только не смог достичь первоначально поставленной цели, но и обнаружил, что разучился творить политические чудеса. Даже его противники, наблюдавшие по телевидению, как самоотверженно ратовал Горбачев за Союз, понимая, что вряд ли они смогли сделать это лучше, не злорадствовали, а союзники утешали. Выступая на продолжившем работу Пленуме, член ЦК, народный артист СССР М. Ульянов сказал: «Мы все видели, что Михаил Сергеевич рубить дрова не намерен, он не изменил своим убеждениям, понимая, что сила, насилие, репрессии не решат проблему. Но какой ценой удастся удерживать этот курс!»

По воспоминаниям А. Бразаускаса, узнав о решении XX съезда компартии Литвы, Горбачев дозвонился до него вечером, когда он с женой был в театре, и начал было распекать с металлом в голосе: «Что ты там наделал, Альгирдас?» В течение поездки (кстати, первого в истории КПСС визита генсека в Лит-

ву) его наступательное боевое настроение менялось. Поначалу он еще надеялся переубедить, переговорить, наконец, припугнуть своих собеседников и слушателей: «Хочу, чтобы вы размышляли. Уйдя из Союза, Литва сойдет на обочину истории...» Однако почти везде наталкивался на стену глухоты к своим аргументам и призывам. Когда он восклицал: «Не пришло время рубить канаты... Вы критикуете вчерашний день, вчерашнюю политику, вчерашние концепции...», литовцы знали — он не в силах гарантировать, что они не будут завтрашними. Психологический перелом, считает Бразаускас, наступил в канун отъезда, когда Горбачев, выступая перед интеллигенцией, уже в который раз спросил: «Так, что же, хотите уйти?» И в ответ услышал из зала солидарное и мощное «Да!»

В машине они ехали втроем — Горбачев, Бразаускас и Раиса. Все молчали. Потом Горбачев сказал, ни к кому не обращаясь: «Что с ними случилось?» И тут же без перерыва: «Надо бы выпить». Прощаясь на аэродроме, проронил, глядя в сторону: «Да, я вижу, вы сделали выбор». То, что наконец понял Горбачев, еще предстояло осознать той партийной московской власти, да и остальной стране, перед которой он нес ответственность за сохранение единого Союза. Да и сам Горбачев, видимо, вплоть до вильнюсских событий января следующего года еще не был готов окончательно признать свое политическое и личное поражение. Отсюда — весь набор средств давления на Литву (а через нее и на остальную Прибалтику), которые сам ли, или под нажимом обложивших его консерваторов предпринял в 1990 году.

Пересматривать убеждения, сложившиеся за многие годы, а тем более расставаться с иллюзиями всегда трудно. Далеко не все политики вообще на это способны. За свои «советские» представления о стране Горбачев держался с особым упорством и готов был отстаивать их с помощью всей подконтрольной ему государственной мощи. Еще в ноябре 89-го при обсуждении этой темы на Политбюро он предлагал удержать прибалтов в Союзе ценами на топливо. Когда за неделю до провозглашения сеймом независимости Альгирдас Бразаускас пришел к нему в кабинет в Кремле, Горбачев устало махнул рукой: «Идите, куда хотите. Но вы же бедные, у вас ничего своего нет. Как

вы будете жить без остального Союза, ведь придете с протянутой рукой!»

Позднее к экономическим обручам на союзную бочку попробовали набить юридические: в апреле 1990 года — через четыре дня после принятия литовским сеймом Декларации независимости — Верховный Совет принял давно обещанный Закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзных республик из СССР» с такой усложненной, как само название, процедурой «развода», которая делала отделение от СССР практически невозможным. Против Литвы были введены жесткие экономические санкции, предусматривавшие повышенные цены на нефть и газ и фактическое эмбарго на поставку некоторых жизненно важных товаров — вплоть до лекарств. Как бы спонтанно, трудовые коллективы ряда союзных предприятий заявили об отказе поставлять в эту республику свою продукцию.

Еще недавно не без лукавства восхвалявший Горбачева председатель Литовского сейма В.Ландсбергис заговорил было о том, что «по Кремлю ходит призрак Сталина», однако, после того как его достаточно жестко осадил его же американские покровители, а также Г.Коль с Ф.Миттераном, сдал назад. «Правда силой Горбачев нам никогда не грозил», — уточняет А.Бразаускас. И продолжает с явным сочувствием к бывшему советскому президенту: «Ему, конечно, было трудно разрешить основное противоречие: удержать единое государство, дав новые права республикам, ведь для этого у него не оставалось никаких рычагов и инструментов».

Проигрыш зимней литовской кампании 1990 года стал для Горбачева серьезным политическим и психологическим ударом. Следовало задуматься над этим уроком, ведь оставалась нерешенной головоломкой будущая судьба Союза. До поездки для него, типичного *homo soveticus*, как и миллионов его сограждан, СССР олицетворяла строка из гимна: «Союз нерушимый республик свободных», а Россия, разумеется, была первой «среди равных». Понятно, что в каждой из них могли быть свои экстремисты, а кое-где и «буржуазные националисты». Безответственные политики пытались играть на национальных стра-

стях, но они, безусловно, составляли меньшинство, тогда как «трудящиеся» не тяготились Союзом и должны были его ценить, а при необходимости защищать, как во время Отечественной войны.

Исходя из такого видения Союза, Горбачев имел все основания считать, что задуманная им демократизация, создавая условия для самовыражения большинства, позволяет изолировать экстремистов и, стало быть, «работает на Союз». Эта безупречная схема, как часто бывает со схемами в политике, не сработала практически ни в одной республике. К Прибалтике же она оказалась и вовсе неприменима. Обнаружилось, что, вопреки заверениям М.Бурокаявичуса, В.Крючкова и В.Болдина, не только «буржуазные националисты», но и почти все простые труженики отвергали этот, навязанный Сталиным в 1939 году, насильственный союз и стремились к независимости. Получалось, что в этом случае демократия из его союзника в обеспечении единства страны превращалась в противника. Инициатор перестройки оказался перед невозможным выбором: между углублением демократии, обеспечивающим свободное волеизъявление масс, и сохранением Союза.

В отличие от Закавказских республик, в Прибалтике к тому же не было выступлений вооруженных экстремистов и погромов, не лилась кровь (позднее ее прольют посланные из Центра части) и поэтому не находилось убедительных оснований прибегать к державной силе для восстановления «конституционного порядка». Национальное движение в этих республиках ставило Центру хитроумную ловушку — двинувшись не против течения перестройки, а по нему, заставляя Горбачева подтверждать делами собственные обещания, лишь на шаг опережая его график и заданный им темп движения. Но этого шага оказалось достаточно, чтобы в Прибалтике перестройка «сбилась с ноги».

Делегаты XIX партконференции от Литвы представляли почти в такой же степени компартию Литвы, как и «Саюдис», только что появившийся на свет. Возглавлявший его В.Ландсбергис, выступая осенью 1988 года на сессии Верховного Совета СССР, заявил: «Новая эпоха перестройки, связываемая с именем Михаила Горбачева, обретет смысл только тогда, когда ранее превращенные в ложь слова приобретут иное значение».

Под руководством этого профессионального музыканта и лидеров других Прибалтийских республик их сводный оркестр играл вроде бы по горбачевским нотам, но в несколько ускоренном темпе и этим расстраивал генсеку всю союзную симфонию. Когда он пытался умирить их пыл, сдерживать наиболее нетерпеливых призывами не забегать вперед и обещаниями создать новый настоящий Союз — Федерацию, «в котором мы еще не жили», то не учитывал по меньшей мере два обстоятельства.

Во-первых, для большинства политиков, да и жителей Прибалтики перестройка и само появление в Кремле такого руководителя выглядели как неожиданно появившийся просвет в облаках, «окно возможностей», которое в любой момент может захлопнуться. Основываясь на горьком национальном опыте, они лучше Горбачева представляли, чего можно ждать от имперской бюрократии и от союзной репрессивной машины, и потому психологически были лучше, чем он, подготовлены к тому, что «август 91-го» может наступить в любое время.

Во-вторых, до своей поездки в Литву Горбачев, по-видимому, просто не мог представить, что в составе Советского Союза есть республики, точнее говоря, целые народы, просто не желающие жить не только в старом сталинско-брежневском, но и новом горбачевском Союзе с Россией, и готовы заплатить за свое освобождение любую цену. Поэтому его попытки воздействовать на эстонцев, литовцев и латышей цифрами оказываемой помощи, данными о «полной зависимости» их экономики от остальной страны и пророчествами экономического краха не производили эффекта.

То, что этот очевидный для многих в Прибалтике и за ее пределами факт стал открытием для генсека ЦК КПСС, имеет свое объяснение. Выросший на многонациональной южной окраине России, да еще воспитанный безупречной по риторике интернационалистской идеологией, он многие годы считал Советский Союз естественной формой сожительства разбросанных по его территории больших и малых народов, перемешавших свои крови за долгую российскую и советскую историю.

Ему еще предстояло осознать историческую, культурную и, можно сказать, цивилизационную отстраненность прибалтов от

евразийской смеси православной и мусульманской культур. Не учел он и специфики их исторической памяти, в которой, в отличие от памяти других «советских наций», еще были свежи и реальный опыт существования в виде независимых государств, и шок от сталинского «аншлюса», который для многих, как ни чудовищно это звучало для русских, отнюдь не был предпочтительнее вероятного гитлеровского. Наконец, немаловажная экономическая особенность, на которую обращает внимание Арчи Браун: когда жители Прибалтики сравнивали свой уровень жизни с соседями, они заглядывали через забор Советского Союза не на соседствующие с республиками Кавказа и Средней Азии государства «третьего мира», а на процветающих финнов и скандинавов, мысленно представляя себя на их месте.

Приученный за годы партийной карьеры воспринимать всю территорию Советского Союза как равномерно покрашенную одной красной краской шестую часть суши, Горбачев не сразу осознал и особенности международно-правового статуса балтийских государств, аннексированных СССР на основе Пакта Молотова — Риббентропа, что так и не было признано США и некоторыми западноевропейскими государствами. Об этих уроках истории ему достаточно быстро напомнили не только новые парламенты в Вильнюсе, Риге и Таллине, единодушно денонсировавшие решения своих предшественников о вступлении в Союз, но и его внешнеполитические партнеры, и прежде всего американцы.

Не только стихийному интернационалисту Горбачеву, но и его более профессионально подкованным с точки зрения международного права советникам понадобилось время, чтобы удостовериться, что среди во всем равных советских республик есть «менее равные» или во всяком случае безнадежно утраченные для безоблачного общесоюзного будущего. Г. Шахназаров вспоминает, что поначалу, задумывая реформу Союза, новый генсек рассчитывал, разумеется, сохранить в нем все республики: «Потом, когда мы поняли, что с прибалтами из-за их настойчивости и внешнего давления, главным образом американского, это не получается, сказали себе: «Давайте удержим остальное, тем более что на остальных вроде бы ни вне, ни внутри никто не претендует. В этих терминах шел разговор. Амери-

канцы, кстати, давали ясно понять, что за вычетом Прибалтики остальной Союз — наше дело, и они не заинтересованы в его дестабилизации...»

Другой помощник А. Черняев, пишет, что для него самого момент прозрения наступил летом 1989 года, когда полуторамиллионная живая «балтийская цепь» соединила столицы трех республик. Одна пятая населения Прибалтики вышла тогда на улицу, чтобы с опозданием на 50 лет таким образом проголосовать против еще не найденных к тому времени секретных протоколов-приложений к советско-германскому пакту. «Я сказал тогда себе, что их уход из СССР можно остановить только танками».

«Балтийская цепь» захлестнулась на шее Горбачева. Смысл урока, преподанного ему в Литве, состоял в том, чтобы напомнить: свои политические чудеса, притом подлинные, без всяких кавычек, он мог творить до тех пор, пока разумом, инстинктом, интуицией, врожденным здравым смыслом угадывал (и предугадывал) направление хода истории, следовал ему и расчищал перед ней дорогу. Как только он начал забирать в сторону от ее невидимого фарватера, попробовал двинуться назад, волшебная сила ушла из его пальцев. Оказавшись перед тяжким для него выбором — продолжение перестройки или сохранение Союза, — Горбачев в тот момент выбрал Союз, надеясь, что ему удастся словчить и не пожертвовать при этом перестройкой. Так он встал на путь, который привел его к проигрышу того и другого. И опять-таки Вильнюс, роковой для него Вильнюс, на этот раз 1991 года, возвестил ему эту перспективу. Когда уже не только красные лампочки, а сирена тревоги оповестила, что он идет на рифы, Горбачев дал «полный назад». Но было поздно.

РУССКАЯ КАРТА

Разные по темпераментам Кавказ и Прибалтика стали в 1989—1990 годы первыми полюсами национальной напряженности на необъятном политическом пространстве перестройки. Как это свойственно любым империям (идеологическая империя, в которую из колониальной Российской превратился Советский

Союз, в этом смысле не стала исключением), окраины «пробудились» раньше, чем Центр. Пока Горбачев был занят тем, что тормозил своими призывами перестроиться российскую провинцию и аппаратную глубинку, республиканские элиты взяли резвый старт.

Народные фронты, возникшие в Прибалтике, как «великий почин» начали распространяться по всей территории СССР, захватывая вслед за Кавказом Молдавию, Среднюю Азию, и добрались до Украины, где в декабре 1989-го прошел съезд Руха. Поскольку изначально их лидеры заявляли о себе как об убежденных сторонниках и «законных сыновьях» перестройки, Горбачев в немалой степени под влиянием А.Яковлева, вернувшегося из своей прибалтийской поездки с успокоительным диагнозом — «идут активные перестроечные процессы», — относился к ним благодушно и даже поощрительно. «Народные фронты — это не оппозиция КПСС, — говорил он на Политбюро. — Надо просто идти в них работать, чтобы не отбросить во враждебный КПСС лагерь. Действовать надо уверенно, отсекай экстремистов, но не отождествлять с ними большинство, которое составляет 90 процентов. Куда они денутся? Перебьются! За нами — правда!»

Однако по мере того как «фронтовики» входили во вкус уже не одной только политической борьбы, но и отвоевывали позиции у государственной власти, а значит, у Москвы, тональность его высказываний стала меняться. Особенно после того, как, завоевывая на новых «горбачевских» выборах ведущие позиции в республиканских парламентах, представители «фронтов» начали бросать прямой вызов союзному центру. Дальше и быстрее всех в этом направлении продвигались все те же прибалты. Вскоре со своим решением о праве вето на союзные законы к ним присоединилась Грузия.

К 1989 году национальный вопрос перебрался в категорию основных политических приоритетов. Горбачев же, полностью поглощенный бурями, разыгрывавшимися в новорожденном союзном парламенте и политическим ледоходом в Восточной Европе, реагировал на потрескивание внешней оболочки Союза с явным отставанием. Поначалу он решил отделаться переносом на более ранний срок Пленума ЦК по наци-

ональному вопросу, до которого все не доходили руки. Его провели в сентябре 1989 года, но принятые им решения уже мало кого интересовали и, главное, почти ни на что не могли повлиять. И хотя формально вопрос о новом союзном договоре на Пленуме был поставлен, только следующей весной Горбачев заговорил о необходимости ускорить его разработку, чтобы «нейтрализовать желание республик уходить из СССР». Будущий Союз виделся ему разнообразным, позволяющим «держат одних за ошейник, других на коротком, третьих на длинном поводке». Сам же он активно подключился к этому процессу только весной 1991 года, когда жить Союзу оставалось всего несколько месяцев.

И все-таки главное, что просмотрел он в этот период, были не входившие во вкус республиканские сепаратисты, а пробуждавшаяся и, конечно же, поощряемая его политическими соперниками с разных флангов идея российского суверенитета. В принципе Советский Союз смог бы пережить подъем национального и регионального сепаратизма и даже «отпадение» отдельных плохо прижившихся «кусков», но только не измену союзной идее со стороны России.

Между тем именно эта, казалось бы, немыслимая перспектива обретала реальные очертания, став сначала психологическим и только потом уже политическим отражением обиды миллионов русских за то, что их записали в «оккупанты» в стране, которую они считали от века своим Отечеством, и в «колонизаторы» внутри империи, где они ни в чем не чувствовали себя привилегированной нацией. Да и высказал первым это чувство обиды на несправедливое отношение к русским не политик, а писатель Валентин Распутин. Выступая на I Съезде народных депутатов в июне 1989 года, он неожиданно бросил в лицо представителям республик: «А может, России выйти из состава Союза, если во всех своих бедах вы обвиняете ее и если ее слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления?»* Тогда эти слова многие, включая Горбачева, восприняли как простительное проявление эмоций творческого человека, далекого от политики. Разделить тради-

* Первый Съезд народных депутатов СССР. Стенографический отчет, М., 1989. Т. 2. С. 458—459.

ционную вековую Россию и Советский Союз, ставший после 17-го года ее законным наследником и, по существу, просто новой реинкарнацией, казалось попросту невозможным.

Но не прошло и года, как выяснилось, что в ситуации начавшегося распада прежнего многонационального государства его «титульная нация» — русские, ощутив и внутри страны, и на мировой арене угрозу своему наследному великодержавному статусу, начинают превращаться из «имперской нации» в этническую, «национальную». Привыкнув к положению неоспоримого «старшего брата», по отношению к которому «младшие братья» в советской семье ведут себя почтительно и боязливо, русские не могли не реагировать болезненно на «издержки» подлинного равноправия и тем более на обидные и незаслуженные, по мнению многих, попытки сведения исторических счетов с Россией со стороны националов. Этот накапливавшийся в российской народной среде агрессивный потенциал уязвленного национального самолюбия был достаточно быстро востребован политиками самой разной ориентации, и прежде всего горбачевскими конкурентами.

С русской, точнее говоря, российской карты против него практически одновременно, хотя и с разных сторон, зашли сразу два основных оппонента — Е. Лигачев и Б. Ельцин. При этом один обвинял в том, что он, попустительствуя националистам, разваливает Союз и тем самым разрушает историческое наследие русского народа, пуская на ветер завоевания нескольких поколений советских людей, обеспеченные их самоотверженным трудом и оплаченные лишениями и жертвами. Другой, напротив, в том, что генсек-президент недостаточно решительно рвет с прошлым и цепляется за архаичные структуры централизованного союзного государства с единственной целью — упрочить свою личную власть.

«Армию» Лигачева составила партийная номенклатура, убедившаяся в том, что дальнейшее продвижение по пути горбачевской политреформы, лишив ее власти и прикрытия государственного силового щита, оставит один на один с населением, которым она привыкла командовать, но с которым разучилась разговаривать. Его мстительного гнева она имела все основания бояться.

В «ополчение» Ельцина вошли разбуженные трубами перестройки, но не привлеченные Горбачевым к процессу перераспределения власти в стране советские «разночинцы» — журналисты, сотрудники научных институтов, прославившиеся впоследствии на министерских постах младшие научные сотрудники, преподаватели политэкономии, истмата и прочие обществоведы, а также просто активные и инициативные представители творческой интеллигенции и полулегального бизнеса, которым по разным причинам оказался заказан путь в номенклатуру. Главными преимуществами этой «легкой конницы» демократов перед закованными в аппаратные латы партийными «ратниками» были профессиональное образование, способность к выживанию в любой среде, воспитанная непростой советской реальностью, и, не в последнюю очередь, возраст. Кроме того, в отличие от партийных функционеров, терять им было практически нечего, приобрести же они могли, еще, может быть, того не зная, все.

Помимо синдрома национальной обиды и униженности в собственном доме, собирала людей вокруг Ельцина, поднявшего флаг защитника российских интересов, обывательская вера в то, что, избавившись от «нахлебников» в лице союзных республик, которых не только защищает, но и «кормит и поит» Россия, она сама сможет за 3—4 года войти в число наиболее развитых, процветающих наций мира. Эти раздававшиеся им направо и налево обещания в сочетании с умело эксплуатируемым имиджем чуть ли не репрессированного партийного «диссидента» и борца с аппаратными привилегиями позволили ему к весне 1990 года стать самой популярной политической фигурой в стране.

Горбачев наконец-то обнаружил зарождавшийся у него в тылу политический потенциал «русского вопроса». Верный своей методе скольжения вперед на «двух лыжах», он приурочил к проведению Пленума ЦК по национальной политике решение о создании Российского бюро в ЦК, которое сам же и возглавил, надеясь, что в очередной раз, раздвоившись, как Янус, сможет собственноручно нейтрализовать новые угрозы. Вслед за Ельциным и Лигачевым и он по-своему ис-

пользовал «русскую карту»: ввел в состав Президентского совета того самого В.Распутина, который пригрозил выходом России из Советского Союза. Однако, оставаясь Президентом союзного государства, видевшим свою главную миссию в его сохранении, он не мог так же успешно, как и в сфере политической реформы, одновременно исполнять роль Папы и Лютера: с одной стороны, охранять и оберегать целостность страны, а с другой — провоцировать русский национализм (даже в таком номенклатурном виде) в популистских, то есть разрушительных для Союза целях, как это делали его оппоненты.

Острая борьба за то, кому, в конце концов, удастся завладеть «российским плацдармом» — главной стратегической позицией, с которой открывались отличные возможности для обстрела союзного центра и «виды на Кремль», — развернулась на I Съезде народных депутатов РСФСР вокруг кандидатуры Председателя Верховного Совета. Из двух фаворитов — Ивана Полозкова и Бориса Ельцина — Горбачев сделал открытую ставку на первого не потому, что тот был действительно его креатурой: он справедливо видел в этом ортодоксальном партаппаратчике меньшую потенциальную угрозу для себя, чем в быстро набравшем популярность «новообращенном россиянине» Ельцине.

Но эту битву за более устраивавший его вариант Горбачев проиграл (так, кстати, не раз бывало, когда, поддавшись естественному искушению, он выбирал обманчиво «легкий» путь, как, например, позднее при собственном избрании президентом не всенародным голосованием, а гарантированным ему съездским большинством). Не помог и необычный, не предусмотренный протоколом его приезд на заседание съезда российских депутатов, чтобы вдохновить сторонников партийной кандидатуры. Последовавшее за этим избрание Б.Ельцина принесло последнему двойную победу, ибо произошло вопреки открытому нажиму Президента СССР.

Вместе с Горбачевым выборы своего ставленника на пост российского спикера проиграл и Е.Лигачев. Видимо, поэтому в преддверии XXVIII съезда КПСС негласно возглавляемая им и уже фактически автономная часть партии, не захватив парла-

ментского плацдарма, решила отбросить условности в отношениях с собственным генсеком. Так, на крестьянском съезде «куратор» сельского хозяйства Лигачев в открытую назвал президента предателем, развалившим страну и социалистическое содружество, и пообещал бороться до конца. А в июне 1990 года состоялся съезд антигорбачевской по духу и идейной платформе Российской компартии, на котором ее первым секретарем был избран И.Полозков. Участвовавший в его работе Михаил Сергеевич выслушивал грубости, «сносил не только грубости, а махровую дикость... отвечал на вопросы — провокационные, глупые, ехидные... — путанно, многословно, сумбурно, иногда не умея выразить того, что хотел, или, как всегда, боясь определенности, сознательно плутал, чтобы не было ясно», — вспоминает А.Черняев. Набравшему избыточное количество должностей Горбачеву не жаль было расстаться с чисто символическим и мало кому известным постом председателя Российского бюро ЦК КПСС. Но лиха беда — начало: с остальными ему предстояло расстаться в течение последующих полутора лет...

Несмотря на то что в их отношениях всегда «искрило», летом 1990 года Горбачев и Ельцин, переступив через инцидент с Полозковым, доказали, что они истинные политики, то есть люди, для которых личные симпатии и антипатии отступают перед государственными интересами. Именно тогда между ними завязался непродолжительный «летний роман», поводом для которого стала программа «500 дней». То, что и Ельцин, и Горбачев, который фактически как соавтор «влез» в ее редактирование, поставили под ней свои подписи, конечно, не могло радовать ту часть их окружения, которая тянула каждого из вожаков в свою сторону. Инициативу похорон программы взяло на себя правительство Н.Рыжкова — премьер и его зам Л.Абалкин пригрозили в случае ее принятия отставкой. К ним добавились руководители силовых ведомств, чей бюджет собирались существенно урезать, и возглавляемый теперь А.Лукияновым союзный парламент.

По мнению народного депутата СССР академика Ю.Рыжова, «на Горбачева в этот момент, очевидно, очень сильно надавили, а может быть, даже и поставили ультиматум». Он — один из

пяти сопредседателей межрегиональной депутатской группы, (МДГ) — рассказывал, что ему позвонил человек «из органов», знавший его еще по Московскому авиационному институту, и предложил встретиться конфиденциально у метро «Сокол». Во время пятиминутной встречи тот, не входя в подробности, «настойчиво посоветовал» в сентябре уехать из Москвы и вообще на время «пропасть из поля зрения». Тогда, говорит академик, я не придавал значения этому «товарищескому совету» и вспомнил о нем лишь в одно сентябрьское утро, когда позвонил приятель и сказал, что к центру Москвы движутся бронетранспортеры. Позднее последовало разъяснение, что происходила запланированная дислокация войск, подтянутых к столице для «уборки картофеля». Значит ли это, что августовский путч мог оказаться сентябрьским?

Так или иначе, столкнувшись с резкой оппозицией программе «500 дней» и своему тактическому «обручению» с российским лидером, он отступил, поручив академику А. Аганбегяну отразить в «президентской программе» основные элементы документа Шаталина — Явлинского и соображения Рыжкова — Абалкина. Как бывало и в прошлом, компромисс, вместо того чтобы удовлетворить всех, не устроил никого, а главное, подарил повод Ельцину уже в октябре заявить, что Горбачев «изменил прежней договоренности», что «его поведение рассматривает, как предательство», и отныне Россия свободна от обязательств и будет разрабатывать свои варианты экономической реформы. В своей речи в Верховном Совете РСФСР Б. Ельцин объявил, что республике предстоит выбирать из трех вариантов: отделяться от Союза, требовать от Центра создания коалиционного правительства или введения карточной системы, поскольку программа, представленная Горбачевым в союзный парламент, невыполнима. Это было официальным объявлением войны. Гипотетический брак расстроился, так и не дойдя до брачной церемонии, а с ним исчезли и шансы (если они вообще были) на «мягкую» реформу Союза при соучастии или как минимум без активного противодействия российского руководства.

На экстренном заседании Президентского совета Горбачев дал волю эмоциям, решив немедленно выступить по телевиде-

нию: «Этого спускать нельзя. Этот параноик рвется в президенты, а окружение науськивает его. Если смолчу, что народ скажет?» Его собственное окружение, в свою очередь, разделилось на два лагеря. А. Лукьянов, В. Крючков и Н. Рыжков «науськивали» своего президента не давать спуску Ельцину. Э. Шеварднадзе, В. Медведев, В. Осипьян, к которым потом присоединились помощники, уговаривали не поддаваться эмоциям и не терять самообладания. В конце концов остыв, он пришел к выводу, что «надо подняться над этой провокацией». Телевизионный «отлуп» было поручено сделать А. Лукьянову.

Убедившись несколько дней спустя, что российский лидер блефовал и его едва замаскированная угроза «поднять народ» на забастовки и демонстрации против союзного центра не реализовалась, Горбачев решил в очередной раз предложить ему мировую, поручив Болдину организовать их неофициальную встречу. По оценке самого Горбачева, хотя она и была «непростой», все-таки позволила ослабить напряженность. В. Болдин же, присутствовавший на встрече двух лидеров, считает, что она состоялась слишком поздно и уже ничего не могла поправить в их отношениях: «Ельцин не был способен перешагнуть через накопившиеся обиды и уязвленное самолюбие».

Подняв знамя антисоюзного восстания, Россия возглавила «парад суверенитетов», увлекая своим примером не только другие союзные республики, но и некоторые собственные автономии. Расчет был очевиден: «разберемся с союзной властью, а там будет видно». Подспудно же в головах членов ельцинского окружения, заглядывавшихся на Кремль, звучала фраза, неосторожно брошенная Михаилом Сергеевичем: «Куда они денутся?!»

Пока не дошло до полного разрыва с российским руководством, Горбачев мог относительно спокойно, если не насмешливо, реагировать на эпидемию деклараций о суверенитете, с которыми вслед за Россией после июня 1990 года выступили Украина, Белоруссия, Северная Осетия, Армения, Туркмения, Таджикистан, Коми, Карелия, Гагаузская республика, Удмуртия, Якутия, Приднестровье, Южная Осетия и Иркутская об-

ласть. Однако уже к октябрю вошедшие во вкус «суверены» начали помимо чисто декларативных политических заявлений принимать решения, которые не могли оставить безразличным союзный центр. Так, если объявление Татарией 15 октября национальным днем памяти погибших при защите Казани от войск Ивана Грозного можно было снисходительно проигнорировать, то заявление Народного фронта Молдавии о необходимости присоединения республики к Румынии или введенный Верховным Советом Казахстана запрет на проведение испытательных ядерных взрывов на полигоне в Семипалатинске, представляли собой прямой вызов авторитету и полномочиям главы государства.

Собственно говоря, поступая таким образом, новая власть в республиках лишь имитировала российскую, которая своими решениями, похоже, пыталась методом произвольного захвата «прирезать» себе дополнительную политическую территорию, отбирая ее у Центра. Возникло впечатление, что в ельцинском штабе был объявлен конкурс на такие популистские шаги, которые бы создавали политические проблемы Горбачеву и позволяли обойти его с «демократического» фланга. Так родились импровизации на тему фермерства в русской деревне, объявление о возобновлении празднования Рождества и обещание найти выход в затянувшемся споре с Японией о Курильских островах.

24 октября, чтобы положить конец половодью «суверенизации», Верховный Совет СССР принял закон, подтверждающий приоритет союзных законов над республиканскими и местными. И в этот же день, то ли дразня, то ли провоцируя Центр, российский парламент проголосовал за закон, устанавливающий на территории РСФСР приоритет республиканского законодательства перед союзным.

Возникла патовая ситуация, в которой Горбачеву оставалось либо смириться с дерзостью отпущенных им на волю республик и капитулировать, либо стукнуть по столу кулаком и напомнить своим подданным, что «он еще царь». Сделать это можно было, либо попытавшись вернуться в недавнее еще генсекское прошлое, к чему подталкивали некоторые партийные консерваторы из его окружения, либо мощным прорывом вперед

вернуть себе политическую инициативу. Из двух взаимоисключающих вариантов Горбачев выбрал... оба. Но поскольку совместить их было затруднительно, начал действовать, как водитель забуксовавшей в грязи машины: подал назад, чтобы потом с разгона преодолеть препятствие.

Взятый в кольцо очагов республиканской смуты, зажатый в тиски между правительством и Верховным Советом, разъяренными его заигрыванием с Ельциным, с одной стороны, и начавшими его открытую травлю за «консерватизм» радикал-демократами, с другой, осажденный обостряющимися экономическими проблемами и преследуемый призраком приближающейся холодной и, вероятно, голодной зимы, Горбачев решил «презимовать» в «блиндаже сильного государства».

Последним толчком, подвигшим его на такое решение, стала ноябрьская демонстративная обструкция со стороны депутатов Верховного Совета. Дискуссия «пошла вразнос». В критике «слабовластия» президента и требованиях его отставки начали сближаться антиподы — ортодоксы и радикалы. И вновь, как уже отмечалось, это чувство опасности мобилизовало и тонизировало Горбачева. Откликаясь то ли на паническую реакцию членов Политбюро, утверждавших, что ему предъявили ультиматум, то ли на «дружеский нажим» руководителей ряда союзных республик, а скорее всего, реагируя на близкую к открытому бунту атмосферу в зале заседаний Верховного Совета, он предстал наутро перед парламентариями в боевой раскраске «сильного лидера».

В непривычно короткой для него двадцатиминутной речи он в нескольких пунктах изложил программу предстоящей «военной кампании» под общим девизом укрепления исполнительной вертикали. Правительство преобразалось в работающий под непосредственным руководством Президента СССР Кабинет министров, Совет Федерации, объединяющий республиканских секретарей, повышал свой статус, а Президентский совет, раздражавший парламентское большинство количеством пригретых в нем «либералов» во главе с А.Яковлевым, распускался и уступал место «грозному» Совету безопасности. Именно этому «знаковому» шагу, символизовавшему готовность Горба-

чева порвать со своими духовниками-демократами и перейти под крыло охранников-государственников, с энтузиазмом аплодировала депутатская группа «Союз», еще накануне требовавшая его отставки.

«Нам придется поправеть», — сказал в своем окружении Михаил Сергеевич, выходя с заседания. Этот крен в сторону консерваторов он объяснял прежде всего самому себе тем, что страна оказалась не готова выдержать взятый темп преобразований, демократы проявили себя «безответственными критиканами», из-за чего центр настроений и ожиданий общества начал смещаться вправо. Соответственно за ним следовало передвинуться и тому, кто отвечал за сохранение общественного равновесия, — центристу Горбачеву. Тем не менее, несмотря на все его старания (как и его политического советника Г.Шахназарова) облечь новый курс в термины новой философии центризма, примиряющие на словах реформы и стабильность, «политический класс» слушал его вполуха. Номенклатуру, как всегда, интересовали не слова, а кадровые решения: кто уйдет и кого назначат.

Первой кадровой жертвой «нового курса» стал министр внутренних дел В.Бакатин, которого консервативная оппозиция уже давно обвиняла в мягкотелости и попустительстве («националистам»). Во время «очень душевного разговора» Горбачев объяснил ему, что пришел час уходить. Вторым, эффектно хлопнув дверью, заявив на Съезде народных депутатов под улюлюканье полковников из группы «Союз» о «надвигающейся диктатуре», ушел Э.Шеварднадзе. Наконец, после того как под Новый год из Конституции убрали упоминание о Президентском совете, без официальной должности и работы остались А.Яковлев, Е.Примаков, С.Шаталин, В.Медведев. Н.Петраков, чья должность помощника по экономическим вопросам в Конституции не упоминалась, решил не ждать «черной метки» и сам подал заявление об отставке. На очереди были новые назначения и новые имена, которые станут печально знаменитыми в августе 1991 года. Надвигался и сам 91-й год, последний на историческом веку Советского Союза и в политической биографии его первого Президента.

ПОБЕГ ИЗ «КРЕМЛАГА»

Кроме нескольких официальных титулов, унаследованных Горбачевым от своих предшественников — Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Верховного Главнокомандующего и других, — был еще один неофициальный, обычно никем не оспариваемый, — «императора». Правителя не мифологической «империи зла», изобретенной спичрайтером американского президента, а новой мировой — коммунистической. Ибо если споры насчет того, был ли Советский Союз цельным государством, или продолжал оставаться империей, не прекращаются и по сей день, то никто не оспаривает факта, что Москва с помощью политических, экономических и военных рычагов контролировала обширную зону мира. То, что население советской «метрополии» во многих отношениях жило беднее и труднее, чем в зависимых от нее государствах, не меняло существа дела, как и то, что целостность и внутренний порядок в этой империи обеспечивались не колониальной администрацией, а местными «братскими партиями» и интернационалистской идеологией. И хотя побег из соцлагеря — «Кремлага», как из любого другого, случались, они были успешными только тогда (а может быть, именно поэтому), когда на самом деле беглецы попадали не на волю, а в соседнюю камеру — пример Югославии и Китая это подтверждает. Настоящие же мятежи в его бараках, будь то в Берлине в 53-м, в Будапеште в 56-м или Чехословакии в 68-м, всякий раз безжалостно и эффективно подавлялись.

Конечно, Советскому Союзу и его тогдашнему правителю И.Сталину эта империя досталась прежде всего как трофей, оплаченный героизмом и миллионами жизней советских людей, отданных за победу над нацистской Германией и решающий вклад в освобождение Европы. А короновали вождя на владение и управление ею партнеры по «большой тройке», собравшиеся в Ялте в феврале 1945 года, У.Черчилль и Ф.Рузвельт. В июле—августе того же года в Потсдаме было завершено юридическое оформление сделки — раздела Европы.

По правилам почти сразу же начавшейся после этого «холодной войны», обладание своей империей (в лексиконе XX века

этот термин был заменен на зону влияния) было таким же необходимым атрибутом уважающей себя сверхдержавы, как ядерное оружие и остальной набор средств устрашения (сдерживания) противника. Именно поэтому советская держава, «отрывая от себя последнее», тратилась на содержание расширившейся семьи «братских стран», поскольку эти затраты, как и расходы на ВПК, проходили, в сущности, по «пиаровской» статье бюджета — «поддержание мирового статуса и имиджа».

К тому времени, как под контроль Горбачева перешли бразды правления и все кремлевские кнопки, Советский Союз с его надорвавшейся экономикой уже не мог позволить себе ни статуса второй военной сверхдержавы, ни ранга последней мировой империи. По мнению академика Н.Петракова, «третью мировую войну мы проиграли именно потому, что начали к ней всерьез готовиться, тратя от 75 до 80 процентов совокупных усилий национальной экономики на «оборонку» и содержание своих зарубежных клиентов в Восточной Европе и в «третьем мире». Вот почему новое политическое мышление, предполагавшее избавление СССР от бремени гонки вооружений и необходимости стратегического раздела мира с США, было отнюдь не плодом романтических мечтаний наивного провинциала, политика-любителя, оказавшегося у командного пульта атомохода под названием «Советский Союз», а результатом вполне трезвых и, увы, неутешительных подсчетов. (Что, кстати, объясняет, почему особенно на первом этапе перестройки принятие принципиальных решений Политбюро по этим вопросам было практически единодушным.)

Уже к закату брежневского правления стало ясно, что Советский Союз не может позволить себе ни нового расширения своей империи (что доказал Афганистан), ни даже сохранения ее прежнего влияния (что все более красноречиво демонстрировала Польша, где коммунистический режим теснили католическая церковь и «Солидарность»). Единственным способом сохранения, разумеется, временного, имперского сверхдержавного статуса для советских руководителей оставалось поддержание устрашающего облика для «внешнего врага» и грозного лика для обитателей соцлагеря. За тем и другим не скрывалось уже ни способности, ни решимости реально применить силу.

И хотя на внутренних «проговорах» в Ореховой комнате Кремля советское руководство пришло к вполне определенному решению — даже в условиях фактического захвата власти в Польше «Солидарностью» не может идти речь о повторении новой Чехословакии 68-го или Афганистана 79-го, то есть о военном вторжении, Брежнев, чтобы не «расхолаживать поляков», загадочно говорил первому секретарю ЦК ПОРП Станиславу Кане: «Вы должны справиться с вашей контрреволюцией сами. Войска мы не введем. Но если понадобится, то введем». Не желая разгадывать эти шарады и полагаться на благоразумие «старших братьев», сменивший Каню Войцех Ярузельский сам ввел чрезвычайное положение как гарантию от ввода в Польшу советских войск.

Понятно, что положение в соцлагере для Горбачева стало, в сущности, таким же срочным программным делом, как и снижение расходов на ВПК. В первые месяцы перестройки он говорил на Политбюро: «Дальше такое продолжаться не может. Мы просто надрываемся. В отношениях с соцстранами нам пора переходить на обоюдный интерес. Кроме того, мы не должны брать на себя ответственность за дальнейшее развитие их внутренней ситуации». Он, несомненно, имел в виду не одну только Польшу, но и полупридушенную режимом Николае Чаушеску и сапогом «секуритате» Румынию, и полунормализованную Чехословакию, и относительно процветающую ГДР, которая, как ласковый теленок, интенсивно сосала двух маток — СССР и ФРГ.

Некоторые из обвиняющих Горбачева в том, что «пустил по ветру» итоги Второй мировой войны, объясняют столь «легкое» отношение к уходу советских войск из ГДР и Восточной Европы тем, что он принадлежит к невоевавшему поколению. «Для Л.Брежнева, Ф.Устинова, А.Громыко (потерявшего на войне брата и немало других белорусских родственников) закрепленные в Потсдаме результаты войны были священны», — вспоминает о своих беседах с отцом Анатолий Громыко. Хорошо знавший Ю.Андропова его помощник А.Вольский считает: «Юрий Владимирович не отступился бы от ялтинского раздела Европы скорее из прагматических, чем идеологических соображений». По этой логике Горбачеву с его сомнительной для сталинских

времен анкетой — он и его родственники (дед и бабушка) провели несколько месяцев в Ставрополе под немецкой оккупацией — было проще, чем предшественникам из поколения фронтовиков, расстаться с той пол-Европой, которую советские солдаты «прошагали, проползли».

Однако с этим не согласны фронтовики из его ближайшего окружения. Аргументов у них тоже хватает. Первый — память об отце-фронтовике, которого Михаил Сергеевич обожал. Во время визита в Польшу он нашел госпиталь, где тот лечился после ранения. Кроме этого, у него, как и у большинства советских людей, свой поминальный список — скорбный столбик фамилий Горбачевых, выбитый на деревенском памятнике в Привольном, не позволявший забыть о трагедии войны. Не даром свой доклад, посвященный 40-летию Победы, Горбачев в какой-то момент читал со слезами на глазах.

Это то, что, естественно, объединяло его с предшествующими руководителями партии, как и со всеми пережившими и помнившими войну согражданами. Отделяло, наверное, понимание, что навечно заикливаться на прошлом нельзя никому, а тем более политикам. За послевоенные годы в мире, в Европе и Германии выросли новые поколения, которые не несут ответственности за горе, причиненное их отцами и дедами другим народам. «Да и мы, например, с Черняевым, фронтовики, — говорит Г.Шахназаров, — прекрасно понимали необходимость смотреть в будущее, хоть и сами воевали с немцами. Поэтому как могли поддерживали Горбачева в отходе от психологии “холодной войны”.» Вообще же разделительная линия проходила в этих случаях, как и во многих других, не по поколениям, а по убеждениям. Например, в германском вопросе самыми ревностными «фундаменталистами», считавшими, что немцев нельзя «выпускать из рук», были и цеховские и мидовские германисты. Для них даже Брежнев был слишком либерален. Горбачев же готов был двигаться вперед, не цепляться за прошлое не потому, что недооценивал национальные интересы, просто он оказался способен понять новую ситуацию. В конце концов, именно де Голль — вождь французского Сопротивления — стал «отцом» франко-германского сближения.

Не цепляться за прошлое для Горбачева означало прежде всего изменить характер взаимоотношений с руководителями стран Варшавского договора и СЭВ, отказаться не только от «доктрины Брежнева», превратившейся в гирию на ногах советской внешней политики, но и от навязывания другим большевистской модели социализма (особенно в условиях ее коренного пересмотра у себя дома).

На первом же совещании с руководителями этих стран в Москве в ноябре 1985 года (разговор должен был быть таким доверительным, что даже А.Яковлев и В.Медведев не были допущены в зал и подслушивали переговоры в кабине переводчиков) Горбачев объявил: отныне каждая партия и ее руководство несут полную ответственность за происходящее в собственной стране. Смысл сигнала был ясен: «На наши танки ради сохранения вас и ваших режимов у власти не рассчитывайте». Договорились, что содержание московских разговоров останется закрытым — надо было дать лидерам время для выстраивания своего внутреннего календаря реформ с учетом того, что предполагалось осуществить в Советском Союзе.

Не все участники совещания восприняли прозвучавшие предупреждения всерьез. Одни — потому, что хорошо изучили манеру каждого нового лидера начинать с этих ритуальных слов, а заканчивать командованием «младшими братьями», карой за строптивость и поощрением нефтью за лояльность. Другие — опять-таки зная советские порядки, не были уверены, что он действительно сможет осуществить все, что обещает, а если даже и решится, то ему не позволит это сделать свое же окружение. Искушенные знатоки кремлевских порядков без особых иллюзий воспринимали декламацию Горбачева, «держа в уме» вполне реальную перспективу, что завтра придется кивать и поддакивать кому-то другому, например Лигачеву.

Особенно скептически был настроен перевидавший многих советских руководителей болгарский лидер Тодор Живков. Он полагал, что хорошо их изучил и покупал полную свободу поведения у себя в стране такими показательными демонстрациями лояльности Москве, как согласование со Старой площадью текстов своих выступлений на пленумах ЦК БКП или периодическими напоминаниями о предложении включить Болгарию в со-

став СССР в качестве 16-й союзной республики. Неудивительно, что его личные отношения с новым советским руководителем с самого начала не заладились. По вполне понятным причинам не переносил Горбачев Николае Чаушеску. Раздражал его и Эрих Хонеккер, который не только не собирался вводить у себя перестройку, но и не скрывал своего неодобрения опасным поводом демократии, затопившим СССР и грозившим выплеснуться за его границы. Даже мудрый Янош Кадар, который, казалось бы, должен был радоваться тому, что к власти в Кремле наконец пришел человек, настроенный, как и он, придать социализму «человеческое и европейское лицо», поеживался и озабоченно расспрашивал В.Крючкова, знакомого ему еще с 1956 года, не «лихачит» ли советский генсек, «подстегивая» реформу на опасных исторических поворотах.

С понятной настороженностью следил за этими демократическими экспериментами, и особенно за стремительным сближением Горбачева с западными лидерами, Фидель Кастро, опасавшийся, что, увлекшись разменом фигур в блицтурнире с американцами, тот «сдаст» им Кубу. Заехав в 1989 году на остров Свободы после армянского землетрясения, Горбачев постарался, как мог, успокоить «команданте», объяснив, что «свобода выбора» не исключает выбора в пользу социализма. Фидель, не страдавший от «комплексов» лидеров восточноевропейских государств, где коммунисты пришли к власти благодаря Красной Армии, с такой расшифровкой нового политического мышления согласился.

Из всех руководителей стран соцсодружества он с самого начала выделял, пожалуй, только генерала Войцеха Ярузельского. Они не только симпатизировали друг другу, но и в своей внутренней политике продвигались к одной и той же цели: передаче государственной власти от монополично правившей партии демократически избранным институтам.

Однако при всем разнообразии оттенков своих отношений с лидерами отдельных «бараков» социалистического лагеря, личных симпатиях и антипатиях, когда ударная волна перемен, поднятая перестройкой, достигла Восточной Европы, Горбачев практически пальцем не пошевелил ни чтобы быстрее избавиться от одних, ни чтобы помочь сохраниться или прийти к

власти другим, включая его восторженных союзников-реформаторов. Прав он был или нет, но, во всяком случае, остался верен принципу, которым, однажды сформулировав его, то ли объяснял, то ли оправдывал свое непонятное многим бездействию: «Мы не вмешиваемся в их внутренние дела. Пускай разбираются сами».

«Разбираться самим» Горбачев предоставлял руководителям соцстран даже с теми их проблемами и историческими кризисами, к которым Советский Союз имел самое прямое отношение. Например, подавление антикоммунистического восстания в Будапеште в 1956 году и казнь «Пражской весны» в 1968 году. И в том и в другом случае на вопрос, почему он тянет с осуждением действий советского руководства в этих странах (что особенно контрастировало с его поведением), Михаил Сергеевич отвечал: «Не надо создавать дополнительные трудности для нынешнего руководства». В Венгрии это означало «побережь» Яноша Кадара, а потом сменившего его Кароя Гроса, в Чехословакии — «не обидеть» Густава Гусака и Милоша Якеша.

Конечно, не только застенчивая позиция советского руководства, не желавшего признать свою ответственность за совершенное, и не «запаздывание» Горбачева определили исход «бархатных» революций в большинстве стран Восточной Европы, приведших к власти не умеренных реформаторов, а антикоммунистическую оппозицию. Политический маятник, видимо, при всех обстоятельствах должен был уйти из одной крайней точки в другую. Тем не менее в этих вопросах сполна проявился присущий Горбачеву и не всегда окупавший себя прием: идти вперед, как бы на полшага позади спровоцированных самим событиям и процессов, под их прикрытием, как пехота за танковой броней.

Рациональное политическое объяснение этому у него было всегда наготове: надо, чтобы общество созрело и ощутило предлагаемую новацию как свою потребность, а не полученную сверху директиву. Однако этот рецепт не универсален и иногда, особенно в критических ситуациях, подрывает авторитет «плетущегося за событиями» лидера. Красноречивый пример — Катынь и секретные протоколы 1939 года. До сих пор

Горбачеву приходится объясняться и чуть ли не оправдываться, почему он, зная о существовании документальных подтверждений не своей, сталинской ответственности и за дележ Европы с Гитлером, и за расстрел польских офицеров, тянул с признанием этого, загоняя в «оборонительную» позицию участников советско-польской комиссии по «белым пятнам» истории и А. Яковлева с В. Фалиным, отбивавшихся от нажима прибалтов и межрегионалов в комиссии по изучению политических последствий советско-германского пакта 1939 года.

Напрасно подсылали к нему своих гонцов и приезжали сами, напрашиваясь на смотрины, кандидаты в местные «Горбачевы» из Восточной Европы. Чтобы предупредить его о том, что «группа товарищей» в Политбюро БКП созрела для отстранения от власти Живкова, приехавший вместе с ним в составе делегации его будущий наследник Петр Младенов под предлогом, что забыл надписанную Горбачевым книгу, «на минуту» вернулся в кабинет. Услышав от Младенова эту будущую новость, Михаил Сергеевич кивнул головой, но в ответ не произнес ни слова.

От мало-мальски официальных, да и от неофициальных контактов подобного рода он упорно то ли уклонялся, то ли увертывался. Напрасно глубоко и высоко внедренные в политическую элиту соцстран агенты КГБ и советские «комиссары» по вопросам безопасности, приписанные к руководящим эшелонам, давали понять, что готовы взяться за «рычаги влияния», предусмотренные как раз для подобных ситуаций. Напрасно Е. Лигачев с трибуны очередного пленума после посещения ГДР и Чехословакии бил в набат по поводу «сдачи позиций» мирового социализма и предательства Москвой своих друзей. Напрасно возглавляемый В. Фалиным Международный отдел ЦК докладывал генсеку свои соображения, как помочь «друзьям» благополучно пройти опасную зону турбулентности, куда они попали по милости «советских братьев», надумавших реформировать до недавнего времени безупречный социализм. Горбачев оставался поразительно, необъяснимо бесстрастен и невозмутим.

Конечно, если вспомнить, что происходило в 1989—1990 годах во «внутренней» империи, его можно понять: не до того. Сам он, однако, подводит под свое тогдашнее бездействие по-

литические аргументы: «Я ни в коем случае не хотел вводить «доктрину Брежнева» наоборот, навязывать «правильный» социализм. Главное свое влияние на ситуацию и направление перемен в соцстранах мы могли осуществить тем, что делали у себя. Так ведь, в сущности, и происходило. Тем более я не хотел предлагать в руководство этих стран новых «наместников» и, значит, опять перекладывать всю ответственность на Москву». Звучит безупречно. Как и его традиционный ответ на упреки в том, что «даром отдал» Восточную Европу, и особенно ГДР: «Отдал кому? Им же самим, их народам. Да и по какому праву мы должны были считать, что «приобрели» их навечно?»

Все, конечно, не так просто. И сегодня оппоненты могут обоснованно возразить: «отдал» восточных братьев Западу, прямиком в НАТО, которая проглотила их, не поморщившись и не подумав в порядке взаимности также продемонстрировать новое политическое мышление и проявить хотя бы вежливую сдержанность. Горбачев защищается, цитируя заверения большинства своих западных партнеров той эпохи — Дж.Бейкера, Дж.Мейджора, Ф.Миттерана и Г.Коля, которые официально заявляли, что в случае объединения Германии на условиях, предложенных Западом, «НАТО ни на дюйм не продвинется на восток». Вообще же, говорит он сейчас, если бы не развалили Союз, вопрос о расширении НАТО ни в одной западной голове никогда бы не возник. Претензии, стало быть, не к нему, а к тем, кто развалил. А это, как известно, путчисты Августа и заговорщики Беловежской Пуши. Президент же, до конца сражавшийся за Союз, тут ни при чем. Так ли это?

«ИГРА» В СОЮЗ

На вопрос, мог ли выжить Советский Союз, еще и сейчас, через 10 лет после его исчезновения, можно получить самые разные ответы. Одни будут говорить, что смерть этой последней империи, пережившей свой исторический срок, благодаря забальзамировавшей ее идеологии и эффективному тоталитарному режиму, с крахом того и другого была естественной и закономерной. Другие скажут, что эту архаичную «клетку», в которую были заключены не только разные нации, но и разные ци-

визации и, в сущности, разные исторические эпохи, давно следовало разрушить. Третьи, быть может, самые многочисленные, и среди них Горбачев, будут настаивать: Союз нужно и можно было сохранить. При этом убежденность третьих в своей правоте не ослабевает с течением времени, хотя и они со вздохом сожаления признают, что восстановить прежнее союзное государство уже невозможно. Как ни парадоксально, именно насильственная смерть Союза, убитого августовским путчем и добитого «контрольным выстрелом» в Беловежской Пуще, дает им если не дополнительные аргументы, то возможность отстаивать свою позицию. Ибо, напоминая, что СССР умер не естественной смертью, они получают возможность утверждать, что эта кончина не была неизбежной. Это предположение невозможно доказать, но теперь уже нельзя будет и опровергнуть.

Различие ответов объясняется и разными политическими взглядами отвечающих, и различным отношением к перспективе сохранения СССР в 1991 году — естественное стремление его президента сохранить Союз чуть ли не в любой форме и логичное желание представителей республиканских элит, начиная с российской, избавиться от них обоих (Союза и Горбачева). Объясняется оно еще и тем, что, произнося «Союз», они вкладывают в это понятие разное содержание, говорят о разных «Союзах». Одни — о Союзе реальном, просуществовавшем 70 лет, ставшем для многих естественной и закономерной, для других искусственно навязанной формой продолжительного и драматичного этапа российской истории. Горбачев же и, надо признать, редееющее число его сторонников имеют в виду Союз возможный, желательный, тот, «в котором мы еще не жили». Они говорят о нем столь же убежденно, как и о настоящем, «подлинном социализме», который мы, дескать, не успев построить, уже до неузнаваемости извратили.

В этом конкретном случае «отца перестройки» уже не стоит сравнивать с Томасом Мором. Его Утопия — это не еще не найденный остров, а конкретный политический проект, опирающийся на вполне определенную историческую реальность, на безусловный экономический интерес и рациональную политическую логику. Увы, он остался неосуществленным, и, может быть, это и является главным, исходящим от высшего авторите-

та — Истории — подтверждением того, что был неосуществим (других аргументов у нее нет).

Рассуждая как-то о факторах, которые свели и удержали в рамках одного государства совсем другую, но не менее разнородную, противоречивую реальность, чем СССР, — Соединенные Штаты Америки, — американский посол в Париже Ф.Рохатин назвал три главных: закон, доллар, дороги. Очевидно, что для России, будь то царской или советской, ни один из трех — о законе даже не стоит упоминать, дороги вошли в известный грустный афоризм, а деревянный рубль — эквивалент доллара, кстати, именно в последние годы правления Горбачева безоговорочно капитулировал перед «баксом» — фактором государственного строительства не был. Зато от века были другие, не менее эффективно послужившие Государству Российскому в прежние эпохи. Выделим опять-таки три: бюрократия, армия и неожиданный невнутренний фактор — внешняя угроза. Не она ли, как ни парадоксально для самой большой мировой державы, сплотила сначала саму Русь, а потом прибила к ней, подчас вернее, чем завоевательные экспедиции Ермака, Петра I и Екатерины II, целый пласт не только культурно родственных, но и не близких русским народов и наций. Последний из «приумножателей» империи — Иосиф Сталин сполна воспользовался смертельной угрозой нацистской агрессии для сплочения Советского государства, а после войны использовал для этой же цели тезис об империалистическом окружении.

Своей перестройкой Горбачев — из лучших ли побуждений, как пытался объяснить сам, из-за политической некомпетентности, как утверждал Громыко, или «изменнически» следуя подсказкам из-за рубежа, как считает один из инициаторов августовского путча О.Шенин, — вынул из каркаса Советского государства эти три главные скрепы. Партийный аппарат, сменивший царскую бюрократию, он лишил прежней монопольной власти. Армию ослабил сокращением расходов на оборону и «унизил», позволив третировать советские войска за рубежом и даже в ряде союзных республик как «оккупантов», да еще дискредитировал, использовав против гражданского населения для разрешения конфликтов в Тбилиси, Фергане и Баку. Новая разрядка в отношениях с Западом, лишив Советский Союз зака-

дычного «врага», обесценила усилия, которые вся страна ценой лишений и жертв прилагала, чтобы обезопасить себя от агрессии, считавшейся почти неминуемой, и обрушила сразу несколько надежно укрепленных бастионов той «осажденной крепости», куда заключила советское общество официальная антизападная пропаганда.

Он не мог не сознавать, что падение Берлинской стены неминуемо приведет к трещинам в стене Кремлевской. Во всяком случае об этом свидетельствует высказанная однажды, как это нередко бывало, о себе в третьем лице, мысль: «Единственное, что сделал Горбачев — отказался от насилия как основного средства осуществления государственной политики. Этого оказалось достаточно, чтобы государство развалилось». Однако если он отдавал себе в этом отчет, почему не отступал от замысла, «смертоносного» для судьбы традиционного централизованного государства? На что рассчитывал?

Трудно заподозрить Президента СССР, несмотря на все обвинения «гэкачепистов», в желании умышленно развалить возглавляемое им государство. Это подтверждают не только его публичные заявления. «Я участвовать в похоронах Союза не буду», — в очередной раз предупреждал он Ельцина и Назарбаева во время их тайной вечера в Ново-Огареве. Чтобы сохранить Союз ненасильственными методами, он готов был пойти почти на любые компромиссы с наседавшими на него республиканскими президентами: принять любое наименование и юридический статус — не федерации, так конфедерации, пойти, как Ленин, на свой «Брестский мир», подписав союзный договор с теми, кто согласится — если не с 15-ю или 12-ю, то хоть с 8-ю, даже с 5-ю республиками. И все во имя того, чтобы сохранить хотя бы оболочку союзного государства, которую потом собирался заполнить новым содержанием.

Отступая и маневрируя перед напором процессов дезинтеграции, явно вышедших из-под контроля, он продолжал заявлять, что видит выход не в возвращении к прежней жестко централизованной структуре, что было, кстати, возможно только ценой уже большой крови, а в эластичной, напоминающей Евросоюз формуле «организации» союзного пространства — с сохранением за Центром вопросов безопасности, внешней и со-

циальной политики и координации экономической деятельности.

Конечно, в такой умозрительной схеме, основанной на ссылках на «общую историю», абстрактных статистических выкладках и, главным образом, благих пожеланиях, изначально было много противоречий. Беря за образец Евросоюз, автор модели игнорировал, что этот строился «снизу», а не сверху, что это был процесс прежде всего экономического сближения полностью суверенных государств. Горбачев хотел построить свой Евразийский союз «сверху» на основе джентльменской договоренности между республиканскими элитами, то есть рассчитывал перейти от полицейско-бюрократического централизма к цивилизованной интеграции, сэкономив на чреватой огромными издержками фазе «разбегаания» советской галактики.

Он даже вознамеривался в очередной раз «обогнать» Европу, предлагая для новой союзной федерации-конфедерации не только общее экономическое пространство и не стесненное границами передвижение людей и товаров, но и верховную исполнительную власть — союзного президента, избираемого населением, а не, скажем, Парламентской Ассамблеей. Опирался он, агитируя за новый «мягкий» Союз, на существующий уровень интеграции, «превосходящей западноевропейский», объяснял, что «нерационально» ломать сложившиеся кооперативные экономические связи и «негуманно резать по живому» людские судьбы, разрушать семейные узы. Разумно ли разделять сложившуюся за долгие годы «советскую нацию», пусть и состоящую из целого букета народов, в условиях воссоединяющейся Европы, в частности Германии, и глобализации мира?

Были ли эти стройные чертежи Горбачева миражами, политической маниловщиной, причудливым, чисто русским сочетанием готовности довериться очередной научно-исторической догме с верой в чудеса? Еще один из вопросов, оставленных 1991 годом без ответа. Ясно лишь, что, рассуждая подобным образом, Горбачев планировал, как это теперь очевидно, игнорируя то, что в политике, особенно российской, игнорировать нельзя, — совокупную взрывную силу властолюбия республиканских элит и беспредела русской смуты. Пытался наложить кальку с чертежами европейского готического собора на «воро-

нюю слободку», на барские удельные рефлексы и байский национализм.

Значит ли это, что он, в сущности, не знал той страны, которую хотел одновременно раскрепостить, реформировать и, заставив одних скинуть мундиры надзирателей, других — робу заключенных, переодеть всех в скроенное по последней моде европейское платье? Скорее всего, он просто оказался, как и многие из его тогдашнего окружения, подлинным homo soveticus, воспитанным Системой и конкретной реальностью советским человеком, уверовавшим в то, что вся страна населена такими же, как он. Да и откуда было взяться на этой должности другому?

И все же отмахнуться от его видений, сказать, что задуманное им чудесное преобразование Союза невозможно, было бы упрощением. Легче всего, оглядываясь на прошлое, заявить, что все было предопределено, что рано или поздно попытки Горбачева жонглировать растущим количеством горящих булав закончились бы падением их всех, что нельзя бесконечно играть роль одновременно поджигателя и пожарного и что попытка определить на глаз объем критической массы ядерного вещества, избегая произвольной цепной реакции, в конце концов закончится взрывом. И все же, все же, все же... Чудеса, если вообще где и могут случаться, то только в политике, а тем более российской.

Никто не может сказать, как развивались бы дальше события, не произошли августовский путч, — ведь новый союзный договор был согласован и готов к подписанию. Даже если прежний страх ушел, инерция послушания Кремлю и сидящему в нем начальнику еще не выветрилась тогда из костей и спинного мозга республиканских лидеров, включая самого буйного из них Ельцина, и агрессивных критиков Горбачева из союзного Верховного Совета. Недаром вплоть до самого путча Горбачеву удавалось укрощать и тех и других, опираясь в одних случаях на авторитет общесоюзного мартовского референдума, когда более 73 процентов проголосовали за сохранение Союза, в других — на обещания значительно расширить рамки автономии союзных и даже автономных республик в рамках нового Союза.

В крайних же ситуациях он угрожал своей отставкой, и, как ни парадоксально, именно эта желаемая многими его противниками перспектива пугала их и заставляла отступать. Одних сдерживала вероятность острого конфликта при поиске устраивающего всех преемника, других — страх лишиться верховного авторитета, остаться без «отца». Не случайно именно в это ампула буквально заталкивали Горбачева и члены депутатской группы «Союз», и представители полярно противоположных течений московской интеллигенции — от откровенных сталинистов, вздыхавших по временам ждановских идеологических погромов, до либералов вроде социологов И.Клямкина и А.Миграняна, заявлявших, что провести страну от коммунизма к демократии способен только авторитарный лидер с «железной рукой».

После путча ситуация радикально изменилась. Горбачев продемонстрировал как тем, так и другим, что не готов выполнять роль Хозяина, по которому соскучились одни и которого вождедели другие, и не подходит для нее. Он и раньше всем своим поведением, тем, что позволил не бояться публично критиковать себя в парламенте на глазах у многомиллионной телеаудитории, тем, что терпел хамство оскорблявшего его и его Рису харьковского таксиста депутата Л.Сухова, может быть, в большей степени способствовал разрушению тоталитарного режима, чем своими политическими реформами. И заодно расшатывал основы империи, лишив ее императора.

После августа 91-го участь единого Союза была предрешена не только потому, что большинство союзных республик поспешило выступить с декларациями независимости: одни — в страхе перед неожиданно явившимся призраком неосталинской реставрации, другие — убоявшись, что место «компромиссного» союзного президента займет жесткий и бескомпромиссный президент российский. Страну еще можно было спасти, если бы сразу после путча к защите и возрождению СССР призвал пользующийся непререкаемым авторитетом национальный лидер. Хотя немалая часть советских людей еще и продолжала верить Горбачеву, они в своем большинстве уже не верили в него. На горизонте восходило новое политическое светило — Борис Ельцин, с которым многие жители России, посчитав себя обма-

нутыми перестройкой, готовы были связать надежды на очередное чудо и в чьи обещания собирались инвестировать, как в финансовую пирамиду политического Мавроди. Свои акции готов был вложить в победителя гэкачепистов и Запад, который в это время интересовал один вопрос: чей палец, Горбачева или Ельцина, будет нажимать на ядерную кнопку.

Именно об этом в лоб спросил «Майкла» его «друг Джордж» Буш на последнем мини-саммите в ноябре в Мадриде. Уверения главы Советского государства в том, что после нескольких дней форосского заключения он по-прежнему распоряжается «кнопкой», звучали неубедительно. Если бы Борис Ельцин решил в последавгустовские дни, даже приняв условия «игры в Союз», которые Центр из последних сил пытался навязать отныне уже формально суверенным союзным республикам, выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента СССР на предполагавшихся выборах, он, скорее всего, победил бы.

Никто не знает, что стало бы дальше с Союзом, но это была бы уже другая, не горбачевская глава его истории. Как написал позднее в мемуарах сам Ельцин, этот путь для него «был заказан». Он с отвращением отверг предложение своих хозяйственников въехать в служебную квартиру президента на улице А.Косыгина, откуда съехали Горбачевы, и не мог заставить себя сесть в его кресло. «Я психологически не мог занять место Горбачева», — пишет российский лидер, не подозревая, что лишь констатирует очевидное: с уходом со своего поста первого и последнего Президента СССР в завершившейся истории созданного государства это место останется занятым навсегда.

Глава 8 «ОН ЖЕ БОГ, А Я ОБЫЧНЫЙ...»

РУБАНОК ТВОРЦА

Человек — это стиль, — утверждают классики. Тем более человек публичный, политик. Что уж говорить о руководителе страны, да еще такой, как Россия, соединившей самодержавную царистскую традицию с большевистской, вождистской. Стиль поведения, особенности характера, темперамент, комплексы и капризы лидера принимали здесь облик государственной политики, напрямую влияли на повседневную жизнь и судьбы миллионов людей.

Как определить стиль Горбачева? Что добавить к тому, что многократно описано, что было у всех на виду и до сих пор еще не выветрилось из памяти? Ведь публичный политик, да еще такой распахнутый, как Горбачев, провозгласивший гласность, исповедовавший открытость, навязывавший себя стране и миру с трибуны, с экрана, казалось, уже просвечен насквозь, обсужден, перемыт до последней косточки, разобран на атомы. Отображенный в тысячах зеркал, миллионах субъективных восприятий, ославленный молвой и пересудами, растиражированный, как матрешка с его изображением, он так же, как она, неузнаваем.

Да и идет ли речь об одном и том же человеке? Наверное, даже те, кто упрекает, распакает Горбачева за переменчивость, непостоянство, «непредсказуемость» (о которой, явно не стова-

риваясь, сокрушались такие разные люди, как А.Громыко и А.Яковлев), согласились бы с тем, что истинный политик не может не меняться. Как же было не меняться Горбачеву по мере того, как драматически менялись, в том числе благодаря его шагам и поступкам, и руководимая им страна, и окружающий мир? Скорее справедливо другое выдвинутое против него обвинение, что на каком-то этапе лидер менялся недостаточно быстро, утратил реакцию, начал отставать от им же спровоцированных перемен и процессов.

Михаил Сергеевич не раз говорил, что за годы перестройки «прожил как бы несколько жизней» и, значит, перед нами за это время прошло несколько Горбачевых, похожих друг на друга, как единоутробные братья, но уж никак не клонированных. Хотя различались они, почти как один и тот же художник в его разные «периоды», в каждом оставалось и сохранялось что-то неизменное, отличавшее его от остальных, — индивидуальный генетический код, «нравственный стержень».

Каков истинный, подлинный, принадлежащий самому себе, а не всему миру Горбачев, знает, наверное, только он сам, да еще знала Раиса Максимовна. «Всего я вам все равно не скажу», — предупредил он как-то окружающих, разгласив, в сущности, всего лишь не писаное, но обязательное правило, которому следуют все истинные политики. Но нам всего и не надо, ведь судят о политиках (и судят их самих) не по сокровенным, затаенным мыслям и помыслам, а «по делам их», как велит Библия, иначе говоря, по результатам, по следу, прочерченному очередной, мелькнувшей на историческом небосклоне пусть и яркой, но все равно рано или поздно падающей звездой.

Физики-ядерщики по таким оставленным в ускорителе следам воссоздают характеристики и особенности поведения — рисуют портрет невидимой для глаза и неуловимой частицы атома. Поступим, как они, соберем из разных свидетельств и впечатлений совокупный «след» Горбачева, и тогда, может быть, сложив разные черты, как на фотороботе, приблизимся к его истинному облику. Поскольку у каждого из окружавших его людей свой ракурс и угол зрения, свой уровень, с которого он разглядывал и оценивал «натуру», себе-

рем для начала отзывы совпадающие, а значит, скорее всего, объективные.

И друзья, и недруги Михаила Сергеевича признают за ним несколько бесспорных качеств. Одно из них — удивительная работоспособность. Готовые сегодня ставить ему любое лыко в строку Е. Лигачев, В. Болдин и бывший «прикрепленный» телохранитель В. Медведев в один голос твердят: рабочий день у генсека-президента, начавшись с утра, продолжался за полночь, до часа, половины второго. По словам Медведева, его шеф не терял ни минуты — уже в машине по дороге в Кремль разбирал и просматривал бумаги, начинал обзвон по телефону нужных людей. Болдин говорит, что ежедневно докладывал в среднем по 100 документов, часть из которых Горбачев, уезжая в 8—9 вечера, брал с собой домой, возвращая наутро с пометками и резолюциями. Бумаги читал допоздна, мог позвонить с вопросом или поручением в 11 и в 12 часов ночи. Как-то признался: если бы не Раиса Максимовна, напоминавшая, что пора отдыхать, мог бы сидеть до 3 утра. С годами, видимо, накапливалась усталость, начались отступления от установленных правил. Часть бумаг возвращал непрочитанными — для сдачи в архив. Другие отдавал, не заглянув в них: «Это я знаю». Что он читал дома помимо болдинской папки, оставалось неизвестным. Наутро мог, например, огорошить первого посетителя словами: «Знаешь, вчера ночью изучал, как Ленин подходил к продналогу».

К зарубежным визитам и встречам с визитерами, особенно на первых порах, готовился тщательно, перелопачивая кипы бумаг, уточняя, переспрашивая то, что его интересовало, у помощников и ответственных разного уровня, «гоняя» по несколько часов в своем окружении идеи и варианты ведения переговоров. Однако постепенно и во внешних делах начал слушать других вполуха, уставать от деталей и подробностей, которые прежде цепко впитывал в память, сводить обсуждение стратегических вопросов к коротким формальностям и рассылке документов «для информации». К приходу второстепенных иностранных гостей специально уже не готовился, не всегда помнил имя очередного визитера и в беседах нередко импрови-

зировав, правда, как уверяет А.Черняев, всегда на тему и, как правило, «блестяще».

Непременные полторачасовые прогулки с женой после возвращения домой превращались в продолжение работы. «Обсуждаем все, — бесстрашно признался Горбачев американскому телеобозревателю Т.Брокау. Тот, не поверив, переспросил и снова услышал: «Все!»

А.Лукиянов рассказывает: когда он напоминал Михаилу Сергеевичу в конце рабочего дня о каком-то неотложном деле, тот часто говорил: «Я тебе перезвоню». Это означало, считает Лукьянов, что вопрос будет обсуждаться в «семейном Политбюро с Раисой». Потом, ближе к ночи, он обязательно звонил, как и обещал, и сообщал о своем решении.

Даже на отдыхе на юге, вспоминает В.Медведев, время, которое Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна не посвящали плаванию, а плавали они обычно вместе, и прогулкам по горам, отдавалось работе и чтению, причем читать, даже загорая на пляже, Горбачев все чаще предпочитал стоя: давали себя знать радикулитные боли в спине. Приученный своим прежним патроном Брежневым к регулярным выездам на охоту, охранник, искренне жалея нового генсека, говорит, что тот за все годы выбрался на охоту всего один раз и вообще «не имел страстей».

Между тем именно работа и была подлинной страстью «трудоголика» Горбачева. «Избыточная» активность натуры в сочетании с развитым чувством долга и очевидным политическим честолюбием превратила его в человека, подчинившего всю жизнь осуществлению амбициозного реформаторского замысла. «Вы прямо родились генсеком», — в восхищении сказал как-то Горбачеву, переступив отведенные служебные рамки, его «прикрепленный».

Каким же все-таки изначально был проект, так захвативший эту деятельную и эмоциональную натуру? В ответе на этот каверзный вопрос сходятся практически все его бывшие сподвижники, даже если выражения выбираются разные: проекта, как такового, не было. Было рожденное пониманием того, что «дальше так жить нельзя», желание все улучшить, исправить, «привести в божеский вид». «Никакой глобальной харизмати-

ческой идеи у Горбачева не было, — считает А. Черняев. — Хотелось по-крупному чего-то нового».

Без честолюбия, разумеется, ни дельных политиков, ни выдающихся реформаторов не бывает. Вспомним признание самого Горбачева: «С детства хотелось всех удивить». Удивить, однако, можно по-разному. Его программа-минимум, по свидетельству А. Яковлева, близко сошедшегося с Михаилом Сергеевичем в Канаде в 1983 году, заключалась в нескольких словах: «неприятие сталинщины, милитаризма, бюрократии, государственной коррупции и преклонение перед законностью». Увы, чтобы добиться ее выполнения в России, понадобится не одно поколение реформаторов.

Высокомерные и крепкие задним умом критики объясняют Горбачеву (сейчас!), что начинать реформу без комплексного проекта и генерального плана было безответственно: нельзя отправляться в плавание, да еще беря на себя ответственность за целую страну, без карты и лоции. Топчут нашего реформатора авторитетные оппоненты: он был «человеком, неспособным к концептуальному мышлению», и потому скатился до уровня банального прагматика, считает Г. Корниенко, бывший первый зам. министра иностранных дел. Пощипывают вдогонку расставшиеся с ним прежние соратники: «Какого-то цельного плана, схемы действий у Михаила Сергеевича не было, — заключает бывший министр внутренних дел и член Президентского совета В. Бакатин. — Плыл по течению. Оказался не Дэн Сяопином, а таким, как мы все».

А. Лукьянов, работавший заместителем заведующего Общим отделом ЦК еще при Андропове и служивший при Горбачеве, не упускает случая сравнить этих двух руководителей: «Андропов прежде, чем принять какое-то серьезное решение, не только обдумывал его несколько недель, если не месяцев, и «приме-рял» варианты, проверяя реакцию разных людей, но и рисовал на бумаге целую «елку» — схему возможных последствий от задуманного шага, просчитывая их иногда на 15—20 ходов вперед. Горбачев слишком многое делал импульсивно».

Защищаясь от резонеров-критиков, осаждающих его все годы после отставки, Горбачев даже не напоминает, что подавляющее большинство стратегических решений в перестроеч-

ную эпоху отражало либо единодушное мнение руководства, либо долго вырабатывавшийся компромисс. Чтобы добиться такого единодушия, он не жалел ни усилий, ни времени и, по словам В.Болдина, мог в канун очередного непростого Пленума потратить не один час на встречи с наиболее «трудными» секретарями обкомов, разъясняя, уговаривая, выслушивая их, — словом, заходя «выпуская пар» из сомневающихся и недовольных.

У него — другая генеральная линия защиты: «Моя позиция с декабря 1984 года — чтобы как можно больше людей все знало и участвовало в принятии решений, которые их касаются. Вот что я вкладываю в ленинскую формулу «живое творчество масс». Планировать до мелочей, расписывать до деталей — чепуха всё это. Ничего все равно не получится. Задачу решает политический исторический процесс. Выбрать направление, ориентиры, да. Это задача для политика».

В этой реплике, как и в другой, облюбленной им формуле «Социализм — это не конечная цель, а постоянное приращение нового», Горбачев неосторожно проговаривается. Не Ленин на самом деле, как бы он ни клялся его именем, — его Бог, а процесс. А у Процесса другой пророк, не Ильич, а Э.Бернштейн, для которого цель — ничто, зато «движение — все». Да, собственно, Горбачев и сам не слишком отрекшился от этого еретического утверждения, а распростившись с постом генсека ЦК КПСС, даже позволяет себе похвалить и других ревизионистов, принципиальных ленинских противников — К.Каутского и О.Бауэра. Размышляя в 1995 году над итогами перестройки и сменивших ее радикальных реформ, он пишет: «Нужно идти, улавливая здоровые тенденции, вызревшие из самого исторического процесса, пытаться освоить и укрепить, но не насиловать и не подталкивать историю».

Отводя истинным реформаторам-реформистам и, следовательно, самому себе подобную нарочито приземленную, чуть ли не обслуживающую роль толкователя истории, криптолога, расшифровывающего ее письма, Горбачев отнюдь не скромничает. За смиренной готовностью служить рубанком в руке Творца сквозит амбиция, если не гордыня. Пусть речь идет о том, чтобы сыграть роль слуги, но зато у самого Провидения.

Для него он готов стать инструментом, наместником, пророком. Нет, не случайно многие западные биографы сравнивали его по твердости веры в свою миссию с немецким реформатором Мартином Лютером. Не случайно, видимо, и он сам признается, что из многих престижных премий, которыми удостоен, больше всего ценит награду имени другого Мартина Лютера — американского проповедника ненасилия — М.Л.Кинга. Обожествляя Процесс, стихию истории, исторический, если не Божий, промысел, Горбачев отнюдь не использует его как прикрытие или индульгенцию, отпускающую грехи политикам... «Историю, конечно, нельзя расписать в деталях, — рассуждает он, — но она не фатальна. Она оставляет место для прорывов, исторических инициатив, то есть немалое поле деятельности для личностей».

В оценке места политиков в истории Горбачев с уверенностью человека, которому оно обеспечено, не боится поспорить со своими учителями. «Марксизм велит не переоценивать роль личности в истории. Я сейчас другого мнения. История движется крупными инициативами и, значит, крупными людьми. Теми, кто, как сказал, кажется, Гете, способны ухватить ее за полу и благодаря этому что-то сделать. Тут нужны и интуиция, и анализ, в общем, никуда не денешься, — неординарные личные качества, то есть та самая личность». От общего, как и учит диалектика, он переходит к частному, то есть к самому себе: «Говорят, например: «Ну что ваш Горбачев! Все и так было готово, и без него бы произошло». Но ведь надо было рискнуть поднять руку на такую машину!»

Потеснив, таким образом, исторический материализм и отвоевав у классиков и у непреложного хода истории пространство для собственного вклада, он не уклоняется и от оплаты своего входного билета в историю: «Но раз история не фатальна, значит, не освобождает и от ответственности. И поэтому я признаю, что во многих крупных вещах мы промахнулись».

В чем состояли эти промашки, признанные им самим, сегодня уже достаточно хорошо известно. Их перечень — отставание с рыночной реформой, с разделением партии, недооценка национального фактора — стал уже, в том числе и благодаря Горбачеву, частью официальной истории перестройки, в кото-

рую признания этих сбоев вошли наряду с перечнем исторических достижений. В последние годы экс-президент, продолжающий, естественно, размышлять над несчастливой судьбой своего детища, и над своим (а также чужим, в частности, китайским) опытом реформ, добавил к этому списку упущений несколько существенных дополнений: «Надо было найти другие оптимальные решения для номенклатуры. Мы ее в целом заклеямили как консервативную, даже реакционную среду. А ведь это, куда ни посмотри, элита. Не надо было ее целиком отталкивать. Тут мы не додумали».

Главный же вопрос, на который, похоже, у него самого нет ответа: был ли оптимальным избранный темп преобразований? Иногда Михаил Сергеевич соглашается со своими радикальными критиками, что едва ли не с самого начала реформ он начал «отставать». И даже повторяет за другими: «Надо было быстрее, смелее, решительнее...» В других случаях приводит в свое оправдание высказывание французского политолога Л.Марку, обеляющее его: «Она была права, когда говорила, что мы взяли слишком быстрый темп. Общество не успевало переваривать обрушивавшиеся на него изменения».

Иногда за одни и те же грехи его критикуют те, кто стоит на принципиально противоположных позициях. Например, за нерешительность, колебания, хроническое отставание от событий практически в одних и тех же выражениях одновременно осуждали и хранитель коммунистической ортодоксии Е.Лигачев, и его антипод А.Яковлев, и «отмотавший» свой срок в лагере за инакомыслие К.Любарский. Другое дело, что каждый из них хотел от Горбачева решительности в осуществлении прямо противоположной политики. Яковлев упрекает своего шефа в том, что его «смелые намерения далеко не всегда становились практическими делами». Для Любарского Горбачев — это человек, который «сопротивлялся действительно радикальным переменам: введению частной собственности на землю, радикальной экономической реформе, противился отказу КПСС от монопольного права на власть». По мнению Лигачева, забота об историческом облике «удерживала Горбачева от решительных необходимых, хотя и непопулярных мер. Это оборачивалось бедами, нарастанием противоречий, способствовало обо-

стрению ситуации». Парадокс в том, что, подталкивая его к решительным и «непопулярным мерам», каждый имел в виду свое: радикальные демократы — разрешение на продажу земли и отпуск на волю цен, а консерваторы — твердости в отношении национал-экстремистов и «очернителей» из «безответственной» прессы.

«Нерешительность» Михаила Сергеевича объяснялась не только сознательным уклонением от выбора между этими взаимоисключающими курсами, чтобы обеспечить изменение страны через эволюцию, а не принуждение, и тем более, не дай бог, конфликт или взрыв, а тем, что считал — в каждом из этих подходов содержится своя, пусть частичная, правда. Как написал главный редактор «Нового времени» А. Пумпянский в своей статье «Ода нерешительному вождю»: «Для него это был выбор не между Добром и Злом, но между двумя разновидностями Добра».

А вот сам Горбачев, рассуждающий о решительности в политике: «Я себя не отношу ни к слабым, ни к слабонервным. Больше того, по природе я радикал. (Из-за ершистости Раиса нередко звала своего Михаила «ежиком»). — А.Г.) Если я тянул или маневрировал — значит считал, что быстрые действия нецелесообразны. Это не означает, что я всегда был прав. Кроме того, решительность и волю я оцениваю отнюдь не по тому, как люди выражаются, какой напускают вид: решительность и воля политика состоят в том, чтобы оставаться верным своему выбору и шаг за шагом при любых осложнениях следовать ему».

Выбрать оптимальную скорость движения для общества, пребывавшего в глубокой спячке, точнее, намеренно погруженного правителями в безопасный для них анабиоз, было еще одной непростой задачей. Требовалось подобрать начальную передачу, с которой можно было относительно плавно, без драматических рывков стронуть общество с места. Потом, по мере того как оно разгонялось, следить за тем, чтобы вовремя переключить передачи. Дело осложнялось тем, что к рычагу скоростей, а также к педалям газа и тормоза одновременно тянулось несколько рук и ног.

Кроме того, сам Горбачев не хотел, чтобы страна, которую он надеялся приобщить к соучастию в его проекте, постоянно тащилась за инициаторами реформ на буксире. Отсюда частые остановки, оглядки на отстающих, стремление, как у сопровождающей стадо пастушеской собаки, обежав его, вернуться назад и удостовериться, что никто не отстал. Именно забота Горбачева о том, чтобы избежать разделения общества на ведущих и ведомых, решительный авангард и увлекаемую им инертную массу, боязнь потерять кого-то по дороге приводили, особенно в последние годы, к тому, что он пытался вывести практически несуществующий «общий знаменатель» и, нередко убеждая себя, что ориентируется на большинство, подстраивался под шаг арьергарда, замыкавшего колонну.

Оправданием ему вполне могло служить почерпнутое из Библии изречение Иакова: «Я пойду медленно, как пойдет скот и как пойдут дети». Но было очевидно, что не только нетерпеливый авангард, но и значительная часть населения, разбуженного революцией обещаний, скорее ждали от своего пастыря, что он поведет их на очередной «штурм неба», как обещал своим последователям Карл Маркс, чем предложит унылую дальнюю дорогу. Попытка же Горбачева привести за собой «в землю обетованную» всех, готовность ради этого сдерживать нетерпеливых и подгонять отстающих вызывали неудовольствие и тех и других.

Его попытки определить на ощупь фарватер движения все чаще воспринимались как поиск компромисса любой ценой. «Более всего сил положил Горбачев на сохранение Центра. Каждый раз он вынужден был уступать, но только тогда, когда было уже поздно и уступка не имела значения», — пишет К. Любарский.

«Он исповедовал правило: принимать меры, когда обстановка не то что созрела, а перезрела. Ждал, чтобы яблоко упало на землю, и только тогда принимал меры по ликвидации последствий, — вторит ему столь же требовательный Е. Лигачев. — Всякий раз, когда в стране происходили острые события, он реагировал с опозданием, поскольку стремился, чтобы остроту ситуации оценило все общество». То, что в устах Лигачева звучит осуждением, Михаил Сергеевич готов принять за компли-

мент. Другое дело, что к его, видимо, сознательному стремлению по возможности избежать разрыва общественной ткани и этим аргументом оправдать решение притормозить на крутом вираже примешивалось вполне объяснимое желание самому удержаться в водительском кресле, сохранить роль лидера реформы, которая все откровеннее бросала вызов и правящей партии, и самому рулевому. Поскольку точных инструментов измерения скорости эволюции общества не было, скорость движения приходилось устанавливать на глазок, что, как известно, открывает простор не только для интуиции, но и для самообмана.

Горбачев мог поэтому в начале перестройки с готовностью принять абсолютную лояльность вымуштрованного партийного аппарата и иждивенческие комплексы населения, иначе говоря, органическую несамостоятельность советского общества за выражение единодушной поддержки ему и его проекту. Больше того, в тех условиях он был вынужден пользоваться этой неразвитостью, чтобы, опираясь на гарантированное ему послушание, внедрить в реальную жизнь страны максимальное число перестроечных новаций. Таким образом, поначалу незрелость гражданского общества работала на него.

Но достаточно быстро ресурсы общественной покорности исчерпались, и в отсутствие ожидавшихся чудес привитое обществу иждивенчество повернулось своей агрессивной стороной против инициатора реформ. Так роман населения с перестройкой начал перерастать в их конфликт. Возложив на себя роль посредника, даже если так для себя ее не формулировал, отбирающего у партии власть, чтобы передать ее пробуждающемуся обществу, рано или поздно Горбачев должен был обнаружить, что эта миссия по определению носит временный характер. И по мере того, как дело успешно продвигалось, расширялось поле возможных коллизий и столкновений между инициатором перестройки и теми, кого она была призвана освободить и облагодетельствовать. Ведущий и ведомые утрачивали изначальные иерархические отношения «отца и детей» и, закружившись в вальсе реформ, не только менялись местами, но и могли наступать друг другу на ноги.

Наиболее наглядно это проявилось в конце 80-х годов, когда усилилась напряженность между Горбачевым и до сих пор поддерживавшей его прессой гласности, а также обострились отношения с «так называемыми демократами». Еще в январе 1987 года на Пленуме ЦК он с пылом проповедовал: «Нам нужна гласность не только для того, чтобы осуждать прошлое, но и для нашего движения вперед. Народу нужна вся правда... Нам, как никогда, нужно сейчас побольше света, чтобы партия и народ знали всё, чтобы у нас не было темных углов, где бы опять завелась плесень...»

Однако уже в октябре следующего года на совещании в ЦК КПСС с руководителями средств массовой информации, творческих союзов, вспыхив из-за публикации недостаточно комплиментарного опроса общественного мнения, он потребовал отставки главного редактора «Аргументов и фактов», грозил-ся пересмотреть весьма прогрессивный Закон о печати, который незадолго до этого с большим трудом прошел через Верховный Совет. Еще через год в атмосфере наскоков на Горбачева Верховный Совет, при его явном благоволении, пошел дальше публичных разносов в ЦК, одоблив Закон об уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства президента.

Тон общения с редакторами к тому времени заметно изменился. На совещании в сентябре 1989 года Горбачев распекал самых непонятливых: «Мы по колено в бензине, а вы бросаете спички. Гласность не должна превращаться во вседозволенность — она призвана укреплять общество... Пресса должна объединять и мобилизовать людей, а не разъединять их, не порождать чувства обиды, неуверенности в себе...»

К счастью, Горбачев не пошел дальше увещаний и угроз, не изменил закон о печати, не стал карать за оскорбление президента и не снял, как грозился, с работы главного редактора «Аргументов и фактов» В. Старкова (хотя места главного редактора тогда лишился В. Афанасьев, возглавлявший все более агрессивную «Правду»). Позднее, возвращаясь к истории с законом о печати, Михаил Сергеевич сам признал, что «погорячился» и что обидчивость для политика вообще «непростительная роскошь».

«ЧТО ВЫ ЧИТАЕТЕ, ПРИНЦ?
— СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА...»

В этой сомнительной ситуации, в конечном счете, открывавшей простор тому, к чему подсознательно, а может быть, и осознанно стремился Горбачев, — свободной игре различных сил на советской политической сцене и выявлению реального потенциала каждой из них, — ярко проявилась проповедническая, миссионерская особенность его натуры. И одновременно явно обозначился зазор между Словом и Делом перестройки. Противопоставление одного другому не всегда оправдано, тем более в данном случае. Масштаб исторического Дела и конкретных перемен, произведенных в советском обществе за годы его правления, трудно переоценить. Кроме того, как справедливо говорил он сам, слово, особенно в начале перестройки, часто становилось реальным делом, когда предпосылкой разрыва с прошлым и поэтому главной задачей политики было обнаружить ложь, на которой покоилась прежняя система. Недаром такие разные ее противники, как А. Солженицын с его памфлетом «Жить не по лжи», пражские реформаторы 1968 года, А. Сахаров и В. Ландсбергис, призывали вернуть первоначальный смысл словам, которыми эффективнее, чем любая другая, прикрывала свою тоталитарную сущность коммунистическая идеология.

Не стоит забывать, что и сама советская власть прекрасно отдавала себе отчет в подрывной (как позднее выяснилось, во взрывной) силе несанкционированного вольного слова. Один из официально провозглашенных в послехрущевские времена «ревизионистов» Лен Карпинский, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ, был исключен из партии из-за подготовленной им, хотя и не предназначенной для публикации статьи под названием «Слово — тоже дело», в которой подчеркивал: «Создались реальные предпосылки к тому, чтобы толкнуть режим колебанием слов».

Слово стало по необходимости первым инструментом Горбачева и из-за специфики его проекта и избранных методов осуществления. Именно словом, разъяснением, проповедью перестройки он рассчитывал привлечь на свою сторону обще-

ственное мнение, увлечь за собой сомневающихся и даже переубедить противников. Немецкий писатель Стефан Хейм в своей статье «Президент Лир», размышляя об августовском путче и причинах поразительной близорукости генсека-президента в отношении его организаторов, написал: «Он понадеялся, что в ходе общего процесса эти ребята сами изменятся, если он, Горбачев, набравшись терпения, будет внушать им необходимость перестройки и окажет на них небольшое давление с помощью гласности. Тогда они увидят, что все, что он сделал, было сделано в их же интересах, на благо всего государства, в интересах его и их партии».

Но в изначальном упоре на слова, начиная с его первого удавшегося публичного выступления в Ленинграде в мае 85-го, которое он, повинувшись политическому инстинкту, предложил целиком показать по ТВ, закономерно проявились и специфические свойства его натуры. Как отмечалось, еще в комсомольские годы в Ставрополе он обратил на себя внимание старших товарищей умением складно и без бумажки выступать в любой аудитории и почти на любую тему. Очевидные ораторские способности, образность речи, искренность и эмоциональность, отражавшие его убежденность, явно выделяли его из косноязычной партийной массы.

Его южнороссийский говор, не всегда правильные ударения, изобретение собственных слов (типа «радикалист») и переименование на свой лад трудных фамилий (даже ради своего друга Шеварднадзе не был готов «ломать язык») добавляли в его речь, как приправу, сочность, хотя и нередко давали повод для уничижительных реплик московских интеллектуалов. Михаил Сергеевич знал об этих своих речевых дефектах, иногда его не стеснялись поправлять помощники, надо думать, пыталась следить за речью мужа, как следила за его галстуками и костюмами, и Райса. Однако из-за своих оговорок Горбачев не комплексовал, как не комплексовал и из-за своих крестьянских корней: «Ну что вы от меня хотите, ребята, — говорил он своим седым помощникам, — я оттуда. У нас так говорят». Хотя выводы для себя делал.

С годами развилась у Горбачева и другая особенность: склонность рассуждать и размышлять вслух. Именно в разгово-

ре, в беседе, в выступлении (даже редактируя тексты своих будущих речей, он любил читать их вслух помощникам), прислушиваясь к звучанию слов, определял убедительность тезисов, находил новые оттенки и аргументы, да и просто набредал на неожиданные идеи и замыслы. Один из хрестоматийно известных таких примеров, о котором часто вспоминает он сам, — Рейкьявик. После удручающего расставания с Рейганом он в угнетенном настроении шел на встречу с журналистами, задавая себе один вопрос: «Что им сказать?» Но, оказавшись перед прессой, смотревшей на него с сочувствием и надеждой, перед телекамерами и, стало быть, перед всем миром, начав говорить, Горбачев, как артист на сцене, на глазах у всех буквально преобразился, уверовав сам и внушив своим слушателям веру в то, что проигранное сражение можно превратить в предпосылку к победе в войне (в данном случае в «войне холодной»).

Так же происходило на многих партийных и парламентских дебатах. Его ораторский дар обезоруживал и завораживал не только скептиков, но и политических оппонентов, тем более что верный своему курсу на всеобщее примирение, он мог в одной речи найти слова, удовлетворявшие даже самых ожесточенных противников. «Как верно говорил Горбачев о положении партии и средствах массовой информации, — вздыхает в своих воспоминаниях Е. Лигачев. — Раньше, при Брежневе, говорили одно, а делали другое. Теперь (при Горбачеве) говорили правильно, «обманных петель» не было, но мало что делали...»

Помимо митингового, импровизированного устного слова любил и ценил генсек и более строгое — письменное. Считал, что оно дисциплинирует, «приводит в порядок» мысль, подчиняет ее рациональной и политической логике. Был первым «послесталинским» советским руководителем, напоминает А. Яковлев, который «сам писал, умел диктовать, править». И именно Яковлев, которого подозревали в авторстве чуть ли не большинства текстов выступлений Горбачева, свидетельствует: «Все говорили чужие речи. Горбачев — свои».

Роль Слова и соответственно политиков-ораторов в революциях хорошо известна. Однако она быстротечна. После трибунов, как правило, приходит пора диктаторов или просто «мясников», и те, кто не могли трансформироваться из одних в дру-

гие, как, скажем, Ленин, сами становились жертвами воспламенной ими революции, как Габриель Мирабо или Лев Троцкий. Революция, растянутая в реформу, о которой мечтал Горбачев, к тому же в конце XX века, а не в его начале, и тем более не в конце XVIII, не грозила классическими революционными свирепостями. Но она несла в себе едва ли не большую с политической точки зрения опасность, о которой неоднократно в своих бесчисленных выступлениях предостерегал сам Горбачев, — ее «забалтывания» и, стало быть, девальвации, если не дискредитации. «Поскольку ему приходилось выступать по многу раз на одну и ту же тему, — даже с некоторым сочувствием говорит А. Лукьянов, — он не мог не повторяться, тем более что излагал в принципе одни и те же мысли. Это стало постепенно надоедать, потом раздражать». Но дело было даже не в явно избыточном самотиражировании, о котором пусть достаточно робко, но все-таки начали говорить Горбачеву его самые преданные сторонники и помощники, советуя выступать «короче и энергичнее». Раиса Максимовна, пыгавшаяся, как могла, защитить своего Михаила Сергеевича от критиков, писала в книге «Я надеюсь»: «Его многословие — от желания быть понятым». И добавим, — от веры в то, что это возможно.

Однако даже самые убедительные слова, которые он вплоть до финала перестройки мог находить, обращаясь к своим слушателям, в отсутствие перемен к лучшему оборачивались против того, кто их произносил. Разливаясь в докладах и выступлениях, бурля в теледебатах, выбрасываясь на поверхность фонтанами слов, Революция Перестройки постепенно превращалась в видеоряд, в коридор бесчисленных зеркал, в каждом из которых отражалось лицо ее неумолкающего инициатора. И этот зеркальный коридор все дальше уводил его самого от реальности в очередной раз поднятой на дыбы страны.

Оправданы ли тем не менее те суровые обвинения в уходе от практических дел в слова, которые критики выдвигают против Горбачева? Ведь даже для них он остается прежде всего человеком неоспоримо свершенного Дела: для одних — «наломавшим дров», разрушившим «великое государство», для других — осуществившим грандиозную реформу. Не он ли — автор решительных формулировок: «неделание — это преступле-

ние. Пусть ошибки в делании, когда люди хотя бы стремятся что-то сделать!» Он — безусловный сторонник наполеоновского: «сначала ввязаться в драку, а там будет видно» и одновременно стихийный изобретатель формулы, которая стала девизом адептов современной экономики: «делать, думать, учиться!»

В каждом из этих утверждений есть доля истины. Однако стоило бы наложить очевидные особенности натуры Горбачева на кальку времени, хронологию его проекта. Как и положено любой революции, у перестройки был свой митинговый, трибунный этап. Трудно было бы найти для него лучшего лидера, чем Горбачев. Но как только революция начала перерастать в реформу, понадобились иные, тоже, кстати, в значительной степени присущие ему качества: политического стратега и аппаратного тактика, знатока государственно-партийной машины и хозяйственника (к сожалению, советского толка).

Однако больше, чем от личных, положительных или отрицательных, качеств лидера перестройки, ее успех зависел на новом этапе от двух факторов: наличия спаянной команды и эффективного механизма управления государством. О плачевной судьбе команды, точнее, нескольких сменивших друг друга составов, речь пойдет впереди. Что же до механизма управления страной и процессами, развернувшимися в ней, нельзя забывать: взрыватель, в известном смысле, был заложен в саму конструкцию, ибо задуманная реформа не могла осуществиться без демонтажа главной опоры системы — властного партийного аппарата. Поэтому пользоваться рычагами этой хорошо отлаженной машины Горбачев мог только в течение ограниченного времени, пока она его слушалась. Налегая на успокаивающие номенклатуру слова, генсек-президент делал-таки «обманные петли» в расчете на то, что количество накапливающихся в обществе перемен успеет перевалить рубеж нового качества.

С механизмом управления не возникало проблем, пока он созрел для подлинно реформаторского замысла и еще не было четкого представления, куда нацелить эту махину. Когда же он сформулировал для себя концепцию и стратегическую цель реформы и сокрушение всевластия аппарата стало одним из приоритетов, то, что могло служить орудием осуществления

реформы, превратилось в ее тормоз и главную силу сопротивления.

Многие из тех, кто поначалу разделял замысел перестройки, сегодня обвиняют Горбачева в том, что он разрушил, спалил старое здание, которое еще худо-бедно могло послужить, не построив вместо него нового жилища. Но, во-первых, ни другого места для этой постройки, кроме занятого прежней, ни другого строительного материала, кроме элементов старых конструкций и скреплявших их и исправно служивших прежней власти «винтиков», у него не было. Во-вторых, еще только нарождавшаяся к тому времени политическая и профессиональная элита — будущая номенклатура — не собиралась упускать возникший шанс и отнюдь не горела желанием из одного только чувства благодарности добровольно и бесплатно обслуживать президента после того, как отпала необходимость в подневольном труде на генсека.

Руководители союзных республик, кстати, недвусмысленно дали это понять уже весной 1990 года, когда ему понадобилась их поддержка при голосовании на II Съезде народных депутатов вопроса о введении поста Президента СССР. Тогда от их имени выступил Нурсултан Назарбаев, потребовавший ввести президентскую модель и в республиках, чтобы «снять уже наметившиеся противоречия между идеей президентства и стремлением республик к расширению своей самостоятельности».

Вспоминая о навязанной ему тогда «торговле», Михаил Сергеевич удрученно признает: «Не буду скрывать, в мои расчеты, конечно же, не входило создание президентских постов в союзных республиках. Это наполовину обесценивало все приобретения, которые мы связывали с повышением авторитета центральной власти. Соглашаясь дать Москве дополнительные прерогативы, республики тут же требовали “своей доли”. Но делать было нечего... Поистине тогда (в который раз!) я убедился, что политика есть “искусство возможного”».

В результате, едва выскользнувший из тесных объятий Политбюро, тянувшего его назад, президент столкнулся с весьма прохладным приемом со стороны новых, им же созданных властных структур, которые, перестав бояться Старой площади, не видели оснований оставаться в подчинении у Кремля.

Построить на демократическом фундаменте здание новой власти, по эффективности не уступающей прежней тоталитарной, оказалось (на том этапе) недостижимой задачей. Зачатый в постоянно сужавшемся пространстве между собственным прошлым, которому изменил, и зачатый им будущим, которое его уже высокомерно отвергало, он метался между Сциллой и Харибдой, надеясь не просто проскользнуть между ними, как Одиссей, а совершить невозможное — развести сшибающиеся скалы, заполнить собой щель между ними, предотвратив таким образом их столкновение. И поскольку ни на одну из них невозможно было опереться, последней надеждой избежать катастрофы оставались слова.

КОМАНДА, С КОТОРОЙ МНЕ НЕ ЖИТЬ...

У каждого лидера и политического вождя, как у Христа, есть свои апостолы. У Наполеона — его маршалы, у де Голля — соратники по Сопротивлению, «исторические голлисты», у Фиделя Кастро — экипаж «Гранмы», с которым он высадился на Кубе и ушел в горы Сьерра-Маэстра. Поскольку Горбачев не десантировался в Кремле и не захватывал Москву, как Фидель Гавану, а пришел к власти конституционным (по меркам советского режима) путем по воле большинства Политбюро, своего преданного экипажа у него не было, и по ходу плавания предстояло сменить несколько команд. Как ни парадоксально, чем больше ему приходилось оглядываться на товарищей по коллективному руководству, особенно на первом этапе перестройки, маневрировать, идти на вынужденные компромиссы, тем удачнее и точнее оказывались его кадровые решения. И наоборот, по мере того как Горбачев утверждал свою власть и окружал себя людьми, полностью обязанными ему своим карьерным взлетом, тем менее надежным становился круг его сотрудников и тем больше личного «брака» допускал он при новых назначениях. Еще до августовского путча, организованного теми, кто благодаря ему попал «в князи», ближайšie соратники Горбачева нередко недоумевали по поводу его кадровых импровизаций и предрекали неминуемо связанные с этим политические провалы. Однако вообразить тогда себе почти класси-

ческий латиноамериканский путч — pronunciamento — в Москве вряд ли у кого хватило бы фантазии.

С течением времени и к обсуждению своих кадровых ходов Горбачев все меньше привлекал прежних конфиденентов, ограничиваясь в лучшем случае молчаливым выслушиванием их предложений и оставляя окончательное согласование кандидатур для советов с В.Болдиным (и, конечно же, с Раисой). Может быть, и тут плохую услугу ему оказала пресловутая самоуверенность, от которой предостерегал студенческий друг Зденек Млынарж и в которой задним числом покаялся сам: он был искренне убежден, что в кадровых вопросах, как и в сельском хозяйстве, «собаку съел». Когда особенно настырные помощники все-таки решались подступить к нему со своими сомнениями или даже критикой какого-нибудь очевидного для них непродуманного или запоздалого кадрового решения, Михаил Сергеевич, как правило, отмахивался: «Ничего, ничего, не драматизируйте. Как раз и правильно было опоздать. Вот теперь, сами увидите, все в самый раз».

Еще одной, все более явственно проявлявшейся чертой его стиля поведения была уязвлявшая многих его сторонников небрежность в отношениях с теми, в чьей преданности ему не приходилось сомневаться. Он мог щедро тратить время, терпение и немалые ресурсы своего обаяния на то, чтобы привлечь, переманить на свою сторону колеблющихся и скептиков или нейтрализовать противников. Бывал в таких случаях собран и мобилизован, точно подбирая слова и даже мимику, когда общение и дебаты происходили на публике, и не успокаивался до тех пор, пока не завоевывал собеседника или аудиторию.

Впечатления о первых встречах с ним у большинства — превосходные. «Выглядел человеком внимательным, быстро реагирующим на аргументы, общительным, склонным к шутке, — вспоминает Н.Петраков. — Не было обычного разговора «снизу вверх», как при встрече с обычным функционером. Чувствовалось, что он готовился к встрече, знаком с разными точками зрения и что в общих чертах проблема ему понятна. После первых же вводных слов сразу можно было переходить к реальной работе».

«Суть стиля Горбачева была проста, — свидетельствует А.Черняев, — быть самим собой, не надуваться, не важничать, уважать людей, заставлять себя их выслушивать, словом, быть демократом». Правда, когда речь шла о «своих», тех, кого не надо было убеждать и кому все равно было «некуда деться», он расслаблялся, мог небрежно отмахнуться, а то и на время забыть о существовании, перестать замечать, как привычный предмет домашнего обихода, что для многих было, пожалуй, самым тяжелым испытанием. От этого впитанного им с крайкомовских времен номенклатурного барства, которое в его случае было сильно смягчено доброжелательной натурой и природным демократизмом, страдали многие, самые расположенные к Горбачеву люди, особенно из числа его приближенных — А.Яковлев, А.Черняев, Г.Шахназаров, В.Бакагин, С.Шаталин, Н.Петраков, В.Фалин. Им действительно было некуда деться. Для большинства, особенно людей в возрасте, он все равно оставался подарком судьбы, неожиданно материализовавшейся надеждой увидеть на своем веку какое-то очеловечивание бездушной репрессивной системы и подтверждение того, что и в этой стране, оказывается, возможно осуществить нечто рациональное.

Свои обиды и претензии к человеку, которому в силу этого они были благодарны в буквальном смысле по гроб жизни, обычно высказывали друг другу, сетовали на то, что тот разбрасывается, не дотягивает, грешит многословием, непоследователен, переменчив, «в меру открыт, в меру коварен» (выражение Яковлева) и вообще исчерпал себя, но грудью вставали на его защиту каждый раз, когда чувствовали, что он и сама перестройка, а стало быть, их мечта подвергаются опасности. Да и чисто человеческих оправданий, при его неимоверной занятости, нашлось бы сколько угодно. В крайнем случае, когда в человеческом плане им становилось неважно, а в профессиональном — они не видели отдачи от своих усилий, могли решиться на отставку, которая все равно не означала разрыва, даже когда сопровождалась публичными заявлениями, вроде открытого письма С.Шаталина в «Комсомольской правде» или патетического выступления Э.Шеварднадзе на Съезде народных депутатов. Да и потом, когда Горбачев после путча действительно оказался в беде и обратился к своим бывшим спод-

вижникам за помощью, косвенно признавая этим свою неправоту, они без колебаний, кто из личной привязанности, а большинство — в силу преданности совместно начатому делу, в надежде еще хоть немного продвинуть его вперед, возвращались к нему, даже зная наперед, что неизбежный и, скорее всего, плачевный финал не за горами.

От Горбачева вообще было не просто уйти: по своему характеру, по природе он — «собиратель людей». Начав еще в университетские годы свое «собирательство», он продолжил его в ходе партийной карьеры, считая, что от каждого может почерпнуть что-то интересное или полезное. Ему хотелось, чтобы все попавшие в его орбиту люди, часто полярные по взглядам и темпераментам, «жили дружно», он искренне верил, что общий проект реформы, сулящий захватывающее будущее стране, и он сам, как его воплощение, смогут их примирить. Поэтому, за редкими исключениями, когда к тому, чтобы распрощаться с кем-то, его подводила логика менявшейся ситуации или политической борьбы, Горбачев не брал на себя инициативы «рассставания», а скорее наоборот, чувствуя, что может потерять сподвижника или полезного союзника, начинал вновь проявлять к нему внимание. Может быть, в этом сказывались унаследованные черты селянина, складывающего про запас в чулане разную утварь и инструмент, зная, что в хозяйстве все когда-нибудь пригодится.

Поэтому члены его команды, надумавшие всерьез уходить, делали это, не ставя его заранее в известность, как Н.Петраков и Э.Шеварднадзе, объяснявший потом свое поведение боязнью, что тот его «в очередной раз отговорит». Так уже было, когда он под впечатлением событий в Тбилиси завел с генсеком разговор об отставке. Не успевший дать волю своему первому импульсивному порыву уйти после вильнюсской драмы А.Черняев (написанное им заявление несколько дней пролежало в сейфе, ключи от которого забрала с собой предусмотрительно «заболевшая» секретарша) потом признавался, что «упустил момент» и вновь попал в мощное поле притяжения Горбачева и его замыслов.

Эта черта «собирателя» и «примирителя», хотя во многих случаях позволяла сглаживать и смягчать неизбежные в усло-

виях обострившегося политического противостояния конфликты и расширяла его возможности для маневрирования; чем дальше, тем чаще оборачивалась своей негативной стороной. Стремясь избежать или хотя бы оттянуть закономерное размежевание, иначе говоря, уклоняясь от назревшего выбора не столько между людьми, сколько олицетворяемыми ими позициями, Горбачев терял время, не осознавая, что оно у него ограничено.

Он не желал, не хотел рвать даже с теми, с кем на деле разошелся и чье дальнейшее присутствие в близости от него начинало наносить ему прямой урон, а то и представлять опасность. В первую очередь это касалось оставшихся в его тени и в полной мере пользовавшихся двусмысленностью ситуации, услугами аппарата и цековскими телефонами лидеров созревшего консервативного реванша — Е. Лигачева, И. Полозкова и тогда еще малоизвестного функционера Отдела пропаганды Г. Зюганова. Но это относилось также и к будущим могильщикам его проекта «плавной реформы» системы и союзного государства из тогда еще не сформировавшегося лагеря новообразованных «демократов».

Когда после злополучной эпопеи с разжалованием Ельцина помощники наперебой советовали ему отправить этого потенциально опасного и честолюбивого соперника куда-нибудь послом, он беспечно, но вполне убежденно отвечал: «Ну что вы, ребята, так нельзя. Он же политик. Его нельзя так просто выкидывать из политики». Больше того, понимая, что в обстановке накалявшихся между ними отношений любой инцидент с Ельциным бросал бы тень на него, Горбачева, наказывал шефу КГБ: «Смотри, если хоть волос упадет с его головы, будешь отвечать». Сам Михаил Сергеевич объяснял свое великодушное, на грани всепрощения, отношение к даже открытым противникам не столько рационально просчитанной позицией, сколько характером: «Я — человек либеральный. Не могу людям мстить».

И сегодня, несмотря на роковую роль в историческом поражении его проекта, какую сыграли такие собранные им в одну команду персонажи, как Лигачев или «предавший» его Лукьянов, он старается быть непредвзятым. «Егора я всегда ценил

за прямоту. У меня и сейчас остались к нему человеческие симпатии, хотя, начиная с письма Нины Андреевой, он действовал у меня за спиной... Что касается Лукьянова, он, хотя сейчас и отрешивается от этого, сыграл огромную роль в юридической огранке реформы. В августе его увела вбок претензия на значительную политическую роль. А он для этого не подходит. У него много талантов, но 25 лет провел в коридорах Верховного Совета и соками реальной жизни не питался. Вот и получился московский интриган и бюрократ, а не политик».

Терпимость, граничившая временами со всеядностью и нежеланием без крайней нужды обострять отношения с людьми или конфликтовать с ними («Я понимаю, есть люди, которые себя выработали, но нельзя допускать неуважения к ним. Мы не мельница, которая перемалывает и выбрасывает людей. Они по 30—40 лет вкальвали»), конечно же, шла больше от натуры, чем от политического расчета, ибо ослабляла и даже подрывала привычный для России статут и авторитет национального и государственного лидера. «Другой бы на его месте, — говорит Г.Шахназаров, возвращаясь к истории с Ельциным, — мог бы просто дать понять: я ничего не знаю, и, если он сам свернет себе шею, это его проблема. Горбачев считал даже разговоры об этом недопустимыми».

Однако оборотная сторона этого затягивавшегося прощания с унаследованным от прошлого окружением — его неготовность расчистить площадку для нового поколения политиков. Это он вполне мог бы сделать, отнюдь не прибегая к сталинским чисткам. Тот же Шахназаров рассказывает, что в начале 1991 года он с помощью академика О.Богомолова организовал у него в институте встречу с политиками «новой волны» — Г.Поповым, П.Буничем, С.Станкевичем, А.Мурашевым, которые после смерти Андрея Дмитриевича Сахарова не слишком уютно себя чувствовали в роли ельцинской политической «пехоты». «Они сказали, что готовы пойти «под Горбачева». Единственным выдвинутым условием было, чтобы он размежевался со своим Политбюро и подал им какой-то знак, что он на них рассчитывает. Я рассказал об этом зондаже Горбачеву, тот не сказал ни да ни нет, а потом эту тему за-

мотали. Ребята мне звонили, спрашивали о его реакции, но он тогда не решился. По-видимому, эта публика не внушала ему большого доверия».

Примечательно, что некоторое время спустя, в начале весны 1991 года, уже совсем другие «адъютанты» Ельцина — Р.Хасбулатов и П.Вощанов вошли в контакт с Г.Янаевым и некоторыми другими будущими путчистами в горбачевском окружении и повели разговоры о том, что президент «явно выработался» и больше не тянет, а потому дальнейшее его пребывание на посту становится для всех обременительным. Горбачев, узнавший об этом шевелении за его спиной уже после путча, поведал, что о настроениях Янаева «верный Руслан» сообщил Ельцину, но тот тогда ему ничего не сказал.

По мере истощения политического заряда перестройки и обострения ее внутренних противоречий началась эрозия команды Горбачева, а сам он, при том что рабочий день по-прежнему до отказа был заполнен встречами, телефонными звонками и приемом посетителей, незаметно для себя из «собираателя» интересных людей, «души общества», постепенно превращался в одинокого человека. Его последней истинной командой, единственными членами экипажа, в которых он мог быть уверен, как в самом себе, оставались, пожалуй, только Раиса Максимовна и рано повзрослевшая и разделявшая с отцом его заботы дочь Ирина.

В чем-то это одиночество было неизбежным, даже неотвратимым. На него обрекала, во-первых, должность и верховная власть, которая, как и положено в России, даже вопреки его искреннему стремлению изменить вековые традиции, продолжала тяготеть к абсолютной. Это не могло не сказаться на отношениях Горбачева с окружением, включая и близких ему людей, оказывавшихся в силу логики государственной машины власти в положении не только его соратников, но и подданных. Вторым фактором, объективно усугублявшим политическую и личную изоляцию Горбачева, было по-своему заложенное в избранную им судьбу одиночество реформатора, — человека, сознательно отказывающегося выбирать между противостоящими лагерями, ищущего компромиссы, пролегающие между оппонентами и

антагонистами «третьи пути», и уже потому чаще всего отвергаемого и теми и другими.

«Счастливых реформаторов не бывает», — не раз повторял он полюбившуюся формулу, находя в ней, видимо, и утешение, и оправдание непривычному для него одиночеству. «Политики — несчастные люди, — жаловался он в интервью журналисту «Новой газеты» Ю.Щекочихину, — то опаздывают, то времени не хватает для принятия решений, и уж тем более для исследования ситуации и обдумывания». Эти особенности статуса почти любого верховного правителя, особенно в странах с авторитарной традицией, утяжелявшие шапку любого российского Мономаха, наложенные на специфические черты его натуры, начали уже с конца 1989 года превращаться в политические проблемы. Под их тяжестью и без того перегруженный корабль Перестройки проседал уже ниже ватерлинии.

Склонность генсека к велеречивости нередко превращала заседания Политбюро в сеансы его монологов. Конечно, жаловались на его невнимание, на то, что он не слушает «ничьих» (разумеется, прежде всего их) советов, именно те, кого Горбачев поначалу, по очевидным политическим соображениям, отлучал от себя и кто ревниво следил за тем, как вокруг него складывается новый круг советников и советчиков. Приученный к коротким ритуальным церемониям одобрения заранее согласованных текстов, да к тому же начинавший сдавать физически, А.Громыко нередко начинал на них подремывать, тем более что за советами к нему практически не обращались. Возвращаясь домой, он жаловался сыну: «С коллегиальностью в новом руководстве все хуже. Горбачев многое делает в одиночку, скрывая свои, как ему кажется, хитроумные шаги от товарищей по партии». И, изменяя привычной взвешенности выражений, выносил своему выдвиженцу суровый приговор: «Боюсь, что мы живем в условиях вождизма в новом обличье». О вождизме с намеками на угрозу нового культа, как мы помним, говорил Б.Ельцин уже на октябрьском 1987 года Пленуме ЦК, не побоявшись спровоцировать всеобщее негодование.

Достаточно быстро отправленный в отставку многолетний генсековский помощник по международным вопросам А.Александров-Агентов сокрушенно замечал: «Михаил Сергеевич

считает, что он ни в чьих советах не нуждается». Затаил обиду на него и Г.Алиев, без лишних сантиментов отправленный на пенсию, объяснявший свою отставку тем, что новый руководитель не готов терпеть в своем окружении «крупные фигуры». Однако постепенно со стремительно раскручивавшейся центрифуги перестройки начали слетать не одни только брежневские, а уже и собственно горбачевские кадры, его первоначальная рать.

Люди, пришедшие им на смену, не делили с ним общего прошлого и не разделяли в той же мере, как перестройщики «первого призыва», изначальные мотивы и надежды. С ними Горбачев мог вроде бы считать себя свободнее: никто из новеньких не мог бы одним своим присутствием, как Громыко, или громогласно, как Лигачев, напомнить, кому он обязан своим избранием на пост руководителя партии. В их присутствии он мог не стесняться, как при Яковлеве и Шеварднадзе, говорить о себе в третьем лице. Окружив себя теми, кто в принципе был всем ему обязан (Петраков без лишних церемоний назвал их «лизоблюдями»), Горбачев получил аудиторию, которая выслушивала его и с ним соглашалась, а не спорила. Уже одно это позволяло не особенно с ними церемониться, однако он заблуждался, думая, что может их не бояться. Тем самым глава партии и государства ставил себя в зависимость не от тех или иных позиций и мнений (они таковых не имели или предпочитали не высказывать), а от их личной лояльности ему (В.Болдин утверждает, что как-то в самолете Раиса Максимовна предложила ему поклясться в верности Михаилу Сергеевичу). И стало быть, от их личных моральных качеств, а не убеждений.

По отношению к этим людям, все больше игравшим роль обслуживающего персонала, Горбачев как настоящий «сеньор», отвечающий за своих вассалов, мог вести себя даже более лояльно, защищая их от критики, как это было с Г.Янаевым и В.Павловым и чего он практически не делал в отношении А.Яковлева, Э.Шеварднадзе или Е.Лигачева (в эпоху нападков на него печально известных Т.Гдляна и Н.Иванова). Сыграла роль и начавшаяся «наверху» смена поколений. Распростившись со «стариками» и начав расставаться со сверстниками,

Горбачев незаметно для себя из самого молодого члена Политбюро, которым привык себя считать, превратился в патриарха, и это тоже приближало его осень.

Всегда знавший, «что надо докладывать», В.Крючков ублажал успокоительными реляциями о «всенародной поддержке» перестройки на местах, завоевывая таким образом доверие и этой своей целенаправленной информацией-дезинформацией подталкивая Горбачева в нужную для себя сторону. Примечательно, что даже В.Чебриков, порядочность которого Михаил Сергеевич всегда высоко ценил, предостерегал не принимать на веру все, что Крючков ему «подсовывал». А.Яковлев, которому Горбачев однажды показал донесения руководителя Комитета госбезопасности, подтверждает: «В них был сплошной подхалимаж. Одни восторги и в адрес Горбачева, и в отношении Раисы Максимовны. С положением в стране у него было все в порядке. Он, как к наркотику, приучал Горбачева к позитиву, знал, что тот вдохновляется похвалами, становится зависим от них. И тут же внедрял информацию о своих оппонентах. В частности, о Шеварднадзе. Играл на ревности Михаила Сергеевича к его популярности, к тому, как того принимали. Наверное, что-то докладывал и обо мне, но Горбачев мне это не показывал».

С помощью информации, ежедневно поставляемой к кремлевскому столу, председатель КГБ В.Крючков и руководитель президентского аппарата В.Болдин стремились расправиться со своими соперниками, возбуждая в Горбачеве подозрительность и ревность. Коварные приемы Яго возрождались в маневрах высокопоставленных интриганов. В результате президент начал подозревать в «копании под него» тех, на кого указывали клеветы, которые действительно плели за его спиной сети заговора. Как рассказывает В.Бакатин, «в один прекрасный день Горбачев вдруг начал спешно разыскивать меня и Яковлева после того, как Болдин доложил ему, что мы вместе с начальником Генштаба Моисеевым будто бы пошли по грибы (чем я отродясь не занимался)...» Когда же Яковлев в начале лета 1991 года «почувяв, что они что-то затевают», попытался обратить внимание президента на будущих заговорщиков, тот отмахнулся: «Брось ты, Александр. У них не хватит ни решимости, ни

мозгов, чтобы на что-то подобное решиться». В итоге, как в античных или шекспировских трагедиях, разыгралась, увы, слишком известная мизансцена: люди, которых «царь» пригласил и возвысил, его предали, те же, с кем он обращался небрежно и, уж во всяком случае, не бережно, ему не изменили и в трудный час выручили, забыв про обиды.

Что же случилось? Почему человек, органически чуждый московскому номенклатурному «болоту», всего за 3—4 года пребывания у власти так изменился даже в глазах самых близких и без лести преданных ему людей? Оказался ли вес штанги, которую он вознамерился поднять рывком — реформа не только системы, но и, как выяснилось, целого общества — неподъемным даже для его крестьянского хребта, да и вообще для одного человека? Или и его цельная натура не устояла перед корродирующим воздействием абсолютной власти, не только придавливающей человека к земле своим весом, но и разъедающей изнутри? А может быть, банальное испытание медными трубами первых успехов и всемирных восторгов оказалось труднее пройти, чем преодоленные им огонь и воду? Почему даже преданный А. Черняев горько замечает: «Великий человек не сумел удержаться на уровне своей великости»? Или просто вышли на поверхность, на всеобщее обозрение скрытые до того и, возможно, неведомые ранее ему самому слабости и изъяны характера?

Находятся и те, кто, переиначивая на русский лад французское «шерше ля фам», говорят: «Во всем виновата Раиса. Это она из-за своих непомерных амбиций, задавшись целью слепить великого человека из обыкновенного, сыграла роковую роль в судьбе своего мужа и целой страны». Психологи, заинтригованные неординарной личностью Горбачева, давали свое объяснение происшедшему. Известный психиатр профессор А. Белкин писал осенью 1991 года, что многое в поведении Горбачева могло быть объяснено проявлением присущего многим выдающимся политикам «нарциссизма», то есть не банального комплекса самолюбования, а неординарной «окажды признания», которая феноменально обостряет все способности, «придает личности необычный блеск, позволяет далеко выходить за границы обычных человеческих возможностей». Одна-

ко та же личность в периоды кризисов и неудач начинает, защищаясь, воздвигать «бастионы психологических приспособлений», позволяющих вынуть из своей души занозу, недовольство собой, чувство стыда, досаду на самого себя и перенести на кого-то другого. «Это они — недостойные помощники или коварные противники — виноваты в том, что не получается так, как я задумал, что результат не соответствует ожиданиям».

Оказавшись в такой ситуации, даже чрезвычайно сильная личность произвольно стремится к тому, чтобы сменить окружение, понизить его уровень, с тем чтобы сохранить свое неоспоримое превосходство. «Светило не нуждается в дополнительной подсветке, исходящей из других источников, — писал, “анатомизируя” поведение Горбачева как медицинский случай, упомянутый профессор. — Ему вполне хватает самого себя. Предназначение же окружающих — отражать его всепроникающие лучи». О «нарциссизме» в своем толковании пишет и решительно разошедшийся на последнем этапе с Горбачевым В.Фалин: «Горбачев впечатлял своей незаурядностью. Он мог развиваться в выдающуюся личность, если бы не страдал (столь пагубным для политика) нарциссовым синдромом. Его окончательно испортила власть».

Наверное, во всех этих разнообразных и даже разноречивых объяснениях, наряду с естественной пристрастностью, есть какая-то доля правды. В сумме они вполне могут объяснить, почему все произошло так, как произошло, но не дадут ответа на немаловажный вопрос: а не могло ли все закончиться иначе?

Перебрав версии друзей, врагов и психоаналитиков, вспомним о политике. Косени 1990 года Горбачев действительно оказался в одиночестве. Его метания от одного политического фланга к другому уже не отражали, как прежде, хитроумную тактику «гения маневра». Это были реактивные и импульсивные попытки нащупать уходящую из-под ног центристскую позицию — фарватер общественных настроений, который непрерывно менялся, как у реки с быстрым течением. В результате он поочередно становился заложником то одного, то другого политического лагеря. Сознательно избранная им позиция уклонения от однозначного выбора между все дальше расходящимися общественными полюсами уже теряла свое оправда-

ние, а главное, эффективность, и все больше воспринималась как проявление личной нерешительности. К этому надо добавить органическую неспособность пойти «ва-банк», в отличие, например, от Ельцина, поставить все на кон и действовать, не задумываясь о последствиях. Хотя в иррациональной российской ситуации, как свидетельствует история, нередко именно такое бездумное (а то и безответственное) поведение, создавая новую реальность, в случае успеха позволяет совершить прорыв в новое политическое качество.

Как ни толкали Горбачева в сторону «решительных действий» с самых разных сторон — от радикал-демократов, требовавших разрыва с «товарищами по Политбюро», до Крючкова, настаивавшего на «чрезвычайных мерах» ради спасения партии и страны, — он упорно уклонялся. Даже получая дополнительные властные полномочия — в какой-то момент, по его собственному признанию, больше власти было только у Бога — он ими практически никогда не пользовался. «Зачем Горбачеву эти новые полномочия, — восклицал в украинской Раде Л.Кравчук, — ведь он не использует даже те, что у него есть!»

Некоторые политики считают огромной удачей, что у руля оказался не человек однозначного выбора, решительный и бескомпромиссный, как Ленин, знающий лучше других, «как надо», а такой, как Горбачев, гибкий, уклончивый, тяготеющий к компромиссам и к тому же в традициях российского интеллигента и, кстати, в соответствии с советом Карла Маркса, все подвергающий сомнению. На одном из пленумов ЦК генсек, не удержавшись, даже заманил его участников в психологическую ловушку. «А что, — неожиданно сказал он, обращаясь к залу, — наверное, вы все думаете, не пора ли, наконец, генсеку проявить характер?» И стукнул по столу сжатым кулаком. Зал зааплодировал. Горбачев разжал кулак: «Вот, оказывается, чего вы хотите. Только в кулак и верите». Члены ЦК пристыженно умолкли, но вряд ли простили ему эту провокацию. Стоит ли после этого удивляться одиночеству, постигнутому человека в момент, когда первая часть его проекта завершилась, контуры будущего общества были вчерне обозначены, но оказалось, что для следующего этапа у него нет

ни продуманной программы, ни подходящей команды, ни попросту достаточно сил.

Накануне заключительного дня работы XXVIII съезда КПСС, который Горбачев неимоверным напряжением воли и сил смог обратить в свою очередную тактическую победу, зашедший к нему поздно вечером В.Болдин застал шефа одиноко сидящим за столом: закрывшись от всех, он собственноручно составлял список членов ЦК нового созыва. Ироничная история, как будто в насмешку, предоставила ему возможность своей рукой вписать имена тех, кто через год составит его расстрельный взвод. Поэтому, когда он в возмущении бросил в лицо прибывшей в Форос депутации гзачепистов: «Кто вы такие? Кого представляете?», они с полным правом могли бы ему ответить: «Вас, Михаил Сергеевич».

Защищаясь от этих тяжелых для его самолюбия обвинений, Горбачев любит напоминать, что даже у Христа среди его двенадцати апостолов нашелся предатель. «Так ведь он же Бог, а я обычный...» — говорит он с искренним или притворным самоуничижением. Среди его апостолов последнего набора в предателях оказалось большинство. Кроме того, у Христа не было ни своего КГБ, ни разветвленной службы информации. Хотя, с другой стороны, именно эти службы и «сдали» президента, вышедшего из-под их контроля.

Выступая на одном из коллоквиумов, посвященных истории перестройки, В.Крючков признал: тот факт, что КГБ «проглядел» Горбачева, — один из крупнейших «проколов» этой организации за всю ее историю. В августе 1991 года она предприняла попытку исправить свою оплошность.

Глава 9 1991: ХРОНИКА ОБЪЯВЛЕННОЙ КАТАСТРОФЫ-1

ТОРМОЖЕНИЕ В НЕБЕСАХ

Конец 1990 года выдался безрадостным. В Кремле и на Старой площади — президент-генсек продолжал пользоваться обоими кабинетами — атмосфера становилась все более гнетущей. Это было тем более заметно по поведению Горбачева еще и потому, что до сих пор его природный оптимизм и поразительная психологическая устойчивость позволяли ему в любых критических ситуациях не только самому сохранять самообладание и хладнокровие, но и заряжать своей энергией и уверенностью других. Не раз, когда даже его помощники или советники были близки к нервному срыву, когда, казалось, реформаторский курс полностью обречен, он поражал их безмятежным спокойствием и неизвестно на чем основанной вере в конечный успех. «Брось, Георгий, — успокаивал он экспансивного Шахназарова, — не переживай, увидишь, все образуется».

Некоторые эмоциональные натуры, вроде В.Бакатина, воспринимали его непробиваемую нервную броню как свидетельство неглубокости. Другие, например А.Яковлев, восхищались, как у него хватало выдержки и терпения «выслушивать всякий вздор» и сносить обидные, а то и оскорбительные выпады в свой адрес только ради того, чтобы, позволив всем выговориться, завершить-таки дискуссию на своих условиях. «Он может

то, чего я не могу. Меня бы и на 15 минут общения с ними не хватило», — признавался тот после особо яростного натиска со стороны секретарей обкомов и генералов, который пришлось выдержать Михаилу Сергеевичу на очередном Пленуме ЦК.

Иногда западные визитеры, пораженные его хладнокровием и оптимизмом, спрашивали у Горбачева, откуда такая выдержка, и он обычно называл три «системы защиты»: «Во-первых, наверное, все-таки, родители такой наследственностью наградили. Спасибо им. Во-вторых, помогает уверенность в том, что я делаю нужное дело. Ну а в-третьих, семья, Раиса Максимовна — это мой надежный тыл». Его истовый и одновременно исторический оптимизм и в самом деле представлял причудливую смесь непоколебимой «лютеровской» веры в собственную правоту — «на том стою и не могу иначе» — и природной крестьянской уверенности, что рано или поздно проливной дождь или засуха сменятся хорошей погодой и вложенный в землю труд принесет свои плоды.

Однако к зиме 1990—1991 года даже «стратегические резервы» горбачевского оптимизма, похоже, были на грани истощения. То, что раньше достигалось легко, играючи, перестало получаться. Все валилось из рук. Очередные тактические победы, которые он продолжал одерживать, — будь то избрание президентом на Съезде народных депутатов или усмирение консервативной оппозиции на XXVIII съезде КПСС — достигались все большей кровью за счет уступок, жертв и таких компромиссов, которые наполовину лишали их смысла. И все чаще трудно было определить, как называть эти полууспехи — трудными победами или поражениями, которых едва удалось избежать. Тем более что в их цену приходилось все чаще включать новые жертвоприношения.

После того как из окружения Горбачева ушли, разойдясь в разные стороны, многие из тех, кто прошел с ним первые годы перестройки, на его шахматной доске вместо крупных (хотя и своенравных) фигур остались главным образом пешки. И ему ничего не оставалось, как начинать двигать их в ферзи. Так в политические деятели крупного ранга попали Г.Янаев, В.Павлов, А.Лукиянов, Б.Пуго и даже В.Болдин, которого Михаил Сергеевич, видимо, успев позабыть плачевную политическую

траекторию другого «портфельносца» — К. Черненко, попробовал было ввести в свое новое «Политбюро» — Совет безопасности.

В конце 1990 года он оказался окруженным совсем новой свитой, состоявшей, по сути, из малознакомых людей, назначенных на ключевые посты, как правило, по советам и подсказкам других, а не исходя из собственного опыта и съеденных вместе «пудов соли». Политические «гувернеры» Горбачева, — А. Черняев и Г. Шахназаров, сохранявшие беззаветную преданность своему питомцу, с беспокойством отмечали в этот период «атрофию» его политических качеств и заметное снижение уровня требований, предъявляемых к окружающим. «Перестает чувствовать серость в материалах, которые ему готовят», — помечал в своем дневнике, словно лечащий врач в карте больного, А. Черняев. Он же объяснял уход Горбачева «в себя» комплексом затравленности, тем, что он стал объектом нападков с разных сторон, становившихся все более яростными, именно в силу безнаказанности.

«Сегодня в «Правде» подборка писем, брызжущих слюной на перестройку и Горбачева», — фиксировал в дневнике помощник общественную температуру сентября. Ноябрь: «Правые в ярости из-за присуждения ему Нобелевской премии». И тут же выпад с другого фронта: «В Московских новостях» «прорабы перестройки» — Е. Амбарцумов, А. Адамович, Ю. Карякин, Ю. Афанасьев, А. Гельман — требуют отставки Горбачева. В Верховном Совете, управляемом Лукьяновым, за отставку попеременно выступают и проельцинские межрегионалы, и сформировавшаяся как противовес им группа «Союз». К их выпадам он относился спокойно, как к закономерным и, в сущности, заслуженным. Нападки же «демократов» — в октябре съезд «Демократической России» потребовал в резолюции отправить в отставку президента, правительство и Верховный Совет — воспринимал болезненно, как предательство».

На деле же очередное поколение демократических «разночинцев», не переварив российской истории и демонстрируя, видимо, врожденную неспособность извлекать уроки из опыта, демонстрировало симптомы, похоже, неизлечимого заболевания русской интеллигенции — нетерпения. В начале века его

продиагностировали «Вехи». Юрий Трифонов вынес его в название своего романа, посвященного террористам-народникам, убившим царя-реформатора Александра II. «Да, начинается путь на Голгофу», — делает пометку А. Черняев. Подтверждение этого грустного вывода не заставило себя ждать. К «плевкам» в прессе и нападкам в Верховном Совете, заменявшим камни, добавился выстрел из ружья. Во время праздничной демонстрации, посвященной 73-й годовщине Октября, слесарь из Ижевска А. Шмонов, выхватив из-под плаща двустволку, пытался выстрелить в Горбачева, стоявшего на Мавзолее. После суда и медицинского обследования он был признан больным и помещен в психиатрическую лечебницу.

Главными авторитетами, двумя «серыми кардиналами» в новой команде, стали В. Крючков и А. Лукьянов. Именно от них поступала к нему — чаще всего через Болдина — большая часть информации. Этих двух, в принципе весьма разных по жизненному опыту и по служебной карьере людей помимо их нынешней должностной зависимости от Горбачева соединяла и другая более глубинная связь — лояльность и ностальгическая привязанность к тому, кто одно время был, а может, и оставался для них истинным «патроном» — Ю. Андропову, за которым один — Крючков — неотлучно следовал, как тень, еще со времен драматических венгерских событий 1956 года, другой был при нем первым замом заведующего Общим отделом. Горбачев думал, что под прикрытием этих бывших андроповских адъютантов сможет чувствовать себя в относительной безопасности после того, как левые «бросили» его (сами демократы считали, что все произошло наоборот). Но поскольку «приближенные» контролировали поступающую к нему информацию и, следовательно, в значительной степени его поступки, Горбачев фактически оказался под их надзором, если не под конвоем.

Переживая тем не менее из-за «развода» с демократами, конечно же, более близкими ему по духу и по «крови», он успокаивал себя тем, что это временное охлаждение, поскольку противоречит политической логике, и нетерпеливым радикальным соратникам надо просто дать время осознать, что правы не они, а он. Такой момент прозрения для некоторых из них наступил,

увы, уже когда Горбачев, в том числе не без их содействия, оказался не у дел...

И все-таки в канун надвигавшегося 1991 года его больше угнетала не навязанная обстоятельствами и Верховным Советом чуждая ему команда, которая жала, как жесткий ботинок, а неясность дальнейшей судьбы перестройки. Торможение реформ он рассматривал как вынужденную тактическую паузу, полагая, что консерваторы дадут ему возможность отогреться в их лагере, перевести дух и набраться сил для нового реформистского наступления, ничего за это не потребовав. Он считал, что и вся страна, и он сам заслужили передышку: сделано за пять с половиной лет немало, и свалившиеся на людей «судьбоносные перемены» по правилам классических реформ следовало переварить. Всего лишь за два года, прошедших после XIX партконференции, страна пережила фактическую смену политической системы — ликвидацию монопольного правления компартии и первые в жизни трех поколений советских людей свободные выборы.

Что уж говорить о переменах на международной арене: уходе из Афганистана, подписании договора о ликвидации «евро-ракет» и сметенной Берлинской стене, открывшей дорогу не только объединению Германии, но и возвращению всех стран соцлагеря, включая Советский Союз, в современный мир и во всеобщую историю. Проблема заключалась в другом: если в «макрополитике» благотворные сдвиги казались неоспоримыми, на «микроуровне» — в повседневной жизни советских граждан — положение не только не улучшалось, но все стремительнее деградировало.

Горбачев, казалось, забыл, как еще в хрущевские годы, когда колесил по райцентрам Ставрополя, объясняя необходимость разоблачения культа личности, открыл один из тех законов, которые нельзя забывать политику: «люди меряют своих руководителей не идеологическими формулами, а тем, что они приобретают и теряют». Той холодной зимой 1990—1991 года страна явно созрела для того, чтобы напомнить ему эту политическую аксиому.

Конечно, такую ситуацию можно и нужно было предвидеть. Еще в разгар, казалось, неостановимого триумфального ше-

ствия Перестройки, скептики, как, например, итальянец М.Скимберни, бывший президент концерна «Монтэдисон», предостерегал: «Единственная опасность для Горбачева — пустые магазины и недовольство потребителей, которое неизбежно спровоцирует общее брожение». Да и сам генсек на заседаниях Политбюро в канун чуть ли не каждого нового года предупреждал: «Этот год решающий. Если не изменим положения со снабжением, нам надо уходить».

Очередной «решающий» год заканчивался, а положение со снабжением изменялось только в худшую сторону. Горбачев, надо думать, сознавал, что изменить чудесным образом ситуацию в экономике за один год или за 500 дней нереально. Но, боясь нанести политический ущерб имиджу перестройки, не решался, особенно после розданных авансов, назвать вслух цену, которую людям придется за нее заплатить, а может быть, боялся признаться в этом и самому себе. Как завзятый либерал, он готов был положиться на стихию, на «невидимую руку» только не рынка, а политики, которая сама в конце концов должна установить в стране гармонию и навести порядок. Однако, поскольку ожидаемое чудо — превращение воды в вино, а слов о процветании в экономический подъем — откладывалось, а магазинные полки угрожающе пустели, приходилось, смиряя гордыню, идти на поклон к Западу и тем своим партнерам, кому еще недавно рекламировал свой величественный замысел нового мира и проповедовал заповеди нового политического мышления.

Уже к весне 91-го едва ли не главной его заботой стало: где достать валюту на закупку продовольствия. Чем дальше, тем больше график его встреч и даже зарубежных поездок составлялся с учетом шансов получить кредиты. Так, согласие на неожиданный для многих заезд советского президента в Южную Корею, по окончании визита в США, было дано после подтверждения корейцами готовности пожертвовать на перестройку 2 млрд. долларов. При очередной встрече с госсекретарем Дж.Бейкером, закончив политическую часть переговоров, Горбачев «между делом» заметил, что в этот «трудный для советской экономики период» кредит в несколько миллиардов долларов был бы очень кстати. Тот обещал подумать и спустя несколько дней сообщил ему через посла, что король Саудовской

Аравии готов «войти в положение» и выделить кое-какую помощь. Так же, в признательность за дипломатическую поддержку в противодействии иракской агрессии, повел себя и эмир Кувейта. Было, однако, ясно, что эти «подавания» неспособны кардинально решить проблемы распадавшейся советской экономики. В марте на закрытом совещании в Кремле Горбачев был вынужден констатировать: «Через 2—3 месяца кормить страну будет нечем».

А. Черняев описывает сюрреалистическую картину того времени: он, помощник Президента СССР, на персональной машине с «мигалкой» и оборудованием для шифрованных переговоров с Кремлем объезжал московские булочные в напрасных поисках хлеба. Если так обстояло дело в столице, нетрудно представить, что творилось в провинции, и понять: угроза бастовавших шахтеров начать всеобщую стачку была не «провокацией» противников перестройки, как объяснял Горбачев, а приговором, который готовились вынести ей те, в чьих интересах она в принципе была задумана.

Другим поводом для депрессии президента было угрожающее состояние Союза. После карабахских, тбилисских и бакинских событий и неудачной поездки Горбачева в Литву стало ясно, что прежний Союз трещит по швам, до нового еще далеко, и в него мало кто верит. Сохранить союзное государство, не возвращаясь к сталинской национальной политике, можно было, только заручившись хотя бы формальной легальной поддержкой — мандатом большинства населения, который мог ему подарить общесоюзный референдум. Принципиальное решение о его проведении было принято, оставалось так сформулировать вопрос, выносимый на всенародное голосование, чтобы с помощью положительного ответа (в таком не было оснований сомневаться) самым что ни на есть законным образом «дать по рогам» вошедшим во вкус «автономистам и сепаратистам». Однако раньше весны организовать референдум было невозможно, а до весны еще надо было дожить.

Больше всего тревожила обстановка в Прибалтике. Лидеры трех республик, пережив политический нажим Центра, «наезд» Генерального секретаря и фактическую экономическую блокаду, считали, что больше им уже ничего не грозит, и верили, буд-

то от вожденной и выстраданной независимости их отделяют уже не годы, а месяцы. «Презрев нахмуренные брови Москвы», они явились в ноябре 1990 года в Париж на подписание Хартии для новой Европы, рассчитывая занять места в зале на авеню Клебер рядом с другими членами ОБСЕ. Только ультимативный протест Президента СССР, заявившего Ф.Миттерану, что, если прибалтов не удалят из зала, никакого подписания не будет, заставил организаторов переместить нетерпеливых гостей на галерею для наблюдателей и журналистов.

После возвращения Горбачева в Москву В.Крючков, Д.Язов и Б.Пуго принялись с удвоенной энергией обрабатывать его, убеждая, что и в Прибалтике не все потеряно, что «здоровые силы», если им только оказать минимальную поддержку из Центра, «приведут в чувство» зарвавшихся националистов. «Трудящиеся», по имевшимся у председателя КГБ данным, должны были их с энтузиазмом поддержать («наши опросы, — вспоминал он, — давали от 70 до 75 процентов в пользу сохранения союзного государства»). Осложнить акцию по «нормализации» обстановки могли, конечно, международные протесты. Горбачев не мог пренебрегать мнением своих европейских и особенно американских партнеров, от которых все больше зависело выживание советской экономики. Однако к январю карты международной политики легли вроде бы благоприятно. Американцы были заняты подготовкой карательной операции против Саддама Хусейна — срок ультиматума, предъявленного ему Советом Безопасности ООН, истекал, и Буш был крайне заинтересован, чтобы СССР не пересмотрел свою позицию. Ради этого он готов был на время закрыть глаза на восстановление Москвой «конституционного порядка» в Прибалтике при условии, что до применения силы дело там не дойдет.

Тем более что еще в октябре Горбачев через Дж.Мэтлока заверил Дж.Буша: «Хотя мы на грани гражданской войны, но я не изменил направления движения». После встречи на Мальте Буш сказал в своем окружении, что доверяет своему советскому коллеге.

В этой ситуации Горбачев, уверовавший в то, что страна ждет от него политики «сильной руки», под нажимом Крюčkова, Пуго (сам прибалт, значит, знает, что рекомендует) и Язова,

озабоченного фактической осадой размещенных там военных гарнизонов, в конце концов сдался. И примерно как год назад, когда сказал Бразаускасу «идите, куда хотите!», махнул рукой: попробуйте, посмотрим, на что способны ваши «здоровые силы». Большого от него и не требовалось. Независимо от результата запланированной акции в Вильнюсе, начало операции по пленению Горбачева можно было считать успешным.

ЯНВАРЬ. ВИЛЬНЮС: «ЗНАЛ, НЕ ЗНАЛ?»

Поздно вечером 13 января 1991 года (все-таки не зря у «чертовой дюжины» дурная слава) тогдашний министр внутренних дел Литвы Мисюконис дозвонился на квартиру своему бывшему коллеге — Бакатину. И сообщил, что в Вильнюсе организовано настоящее побоище с участием армейских частей и прибывшей из Москвы группы «Альфа». Спецназ при поддержке танков штурмовал вильнюсский телецентр, который защищала безоружная толпа. По сведениям министра, уже погибло больше десяти человек. Связаться с Пуго, Язовым или Крючковым невозможно, их телефоны не отвечают.

Взволнованный Бакатин бросился звонить Горбачеву на дачу. К его удивлению, тот воспринял драматические новости спокойно: «Не нервничай, Вадим. Мне уже докладывали. Твои литовцы сильно преувеличивают. Обстановка в городе накалилась из-за стычек между отрядами рабочих с националистами. Кое-кто пострадал, но самоуправства со стороны военных допущено не будет. Я дал команду разобраться». Экс-министр понял, что президент пересказывает ему кагэбэшную версию событий.

К утру выяснилось, что на самом деле ситуация намного хуже, чем ее изобразил руководитель всезнающего ведомства и, видимо, чем сам мог прогнозировать. В результате штурма телецентра погибло 13 мирных жителей. Вокруг литовского парламента выросли баррикады. Никому до сих пор не известный Комитет национального спасения во главе с секретарями ЦК компартии Литвы на платформе КПСС требовал смещения В.Ландсбергиса и введения в республике прямого президентского правления. Это, по всей видимости, и было изначальной

целью всего топорно сработанного сценария, в соответствии с которым «спонтанные выступления» рабочих отрядов, выступавших против сепаратистов, должны были привести к столкновению с полицией, лояльной официальным властям, что давало повод для вмешательства союзной армии и ОМОНа.

Однако ход этой спецоперации, возглавить которую из Москвы еще 10 января скрытно прибыли два генерала — Валентин Варенников и Владислав Ачалов, подтвердил, что советский КГБ образца 1991 года недалеко ушел в профессиональном отношении от американского ЦРУ, спланировавшего высадку «здоровых» антикастровских сил в заливе Кочинос в 1961 году. Во-первых, самих антисепаратистов оказалось на порядок меньше — всего несколько сот человек вместо ожидавшихся тысяч. Во-вторых, будто стремясь ни в чем не отстать от своих незадачливых американских коллег, московские стратеги, как и те, не учли разницу во времени, из-за чего танки и «Альфа», предназначенные для подавления «уличных беспорядков», прибыли к месту действий на час раньше, чем они начались.

В результате этих ночных столкновений Горбачев получил наутро сразу тройную политическую проблему: острый конфликт между союзным центром и практически всей Прибалтикой, резкое осложнение отношений с США и, естественно, обострение политической ситуации в Москве — не только бурное возмущение и без того критично настроенных к нему демократов, но и явный разброд в стане его до сих пор лояльных сторонников. Отличие его положения от того, в каком оказался Джон Кеннеди после фиаско в заливе Свиной, состояло лишь в том, что он, как уверял всех, не участвовал в планировании этой неуклюжей акции и не давал на нее согласия. «В январе 1991 года, — рассказывает он, — на меня оказывали мощное давление, требуя ввести в Литве президентское правление. (Он не уточняет, кто на него «давил». Все и так достаточно ясно: в те дни он сам ссылаясь на десятки телеграмм от «трудовых коллективов и из воинских частей», которыми его через Болдина заваливали Крючков и Лукьянов.) Они знали, что Горбачев на это не пойдет, и поэтому за моей спиной затеяли штурм телецентра. Рассчитывали повязать меня кровью». Это объяснение, впрочем, не только не обеляло его в глазах общественного

мнения, скорее усугубляло личную ответственность. Если военные операции такого масштаба могли организовываться силовыми структурами «за его спиной», вставал закономерный вопрос: кто на самом деле руководит страной?

Уже наутро в кремлевской приемной президента собралась встревоженная одновременно драматическими событиями в Литве и двусмысленностью его собственной позиции депутация в составе В.Бакатина, А.Яковлева, Е.Примакова и В.Игнатенко. Дождавшись приема после часового сидения, они начали наперебой объяснять Горбачеву то, что теперь ему и так было понятно. Акция, направленная на то, чтобы «припугнуть прибалтов», остудить их сепаратистские амбиции и тем самым удержать в рамках союзного государства, по крайней мере до намеченного на март референдума, не просто провалилась, а обернулась своей противоположностью. «Уши» Центра и его ответственность за ее малограмотное исполнение были выставлены напоказ. Хуже того, вся операция, призванная продемонстрировать стране новый мускулистый облик «сильной власти», грозила роковым образом подорвать авторитет президента. Михаилу Сергеевичу предстояло не только расхлебывать ее последствия в самой Прибалтике, но и искать политический выход из свалившегося кризиса.

Собравшиеся в его кабинете доброхоты наперебой рекомендовали очевидные и, конечно же, разумные ходы, которые должны были «минимизировать ущерб» от вильнюсской драмы: выступить с четким политическим заявлением, отмежеваться и от вышедших из-под президентского контроля «силовиков», и от комитетов национального спасения, самоназначивших себя выразителями воли литовского народа, и даже немедленно полететь в Вильнюс и выразить сочувствие семьям погибших. Иначе говоря, поступить нестандартно, как, например, Вилли Брандт, неожиданно для миллионов немцев вставший на колени перед памятником евреям, уничтоженным в Варшавском гетто. Одним этим поступком он сделал больше для искупления немцами своей вины перед жертвами, чем любые речи и подписанные дипломатические документы.

Горбачев слушал их, кивал, соглашался. Создалось впечатление, что он и сам зажегся идеей поездки в Вильнюс, велел го-

товить текст выступления, попросил предупредить Ландсбергиса. И все же, как вспоминает В.Бакатин, во время этого разговора «он был не похож на самого себя». Из-за того ли, что знал о планировавшейся операции больше, чем готов был признаться? Или осознавал, что попал в политическую ловушку? В.Крючков на вопрос, был ли Горбачев посвящен в планы КГБ и армии в Вильнюсе перед событиями 13 января, отвечает вопросом: «Неужели вы думаете, что мы могли пойти на военное вмешательство, минуя его? Какой бы он ни был президент, — это немыслимо». Бакатин, проработавший министром внутренних дел с Горбачевым несколько лет, убежден: в свои подлинные намерения министры-«силовики» Горбачева не посвящали. «Сказали что-нибудь вроде: — Надо с этим безобразием кончать, у нас там есть люди, они все сделают грамотно. — Конечно же, о возможных жертвах никто не обмолвился, зная патологическую осторожность Горбачева во всем, что связано с насилием». Принимавший в свое время участие в урегулировании последствий карабахской, тбилисской и бакинской трагедий, он категоричен: «Обвинения Горбачева чуть ли не в их организации — полнейшая чушь. В вопросе о применении силы Горбачев — абсолютный антипод Ельцину. Тот вначале бьет, а потом думает».

А.Яковлев подтверждает: «Он действительно очень отрицательно относился к репрессивной политике. Даже возбуждался из-за этого». Задержавшись в кабинете Горбачева после ухода остальной делегации, он был свидетелем, как тот «буквально кричал по телефону на Язова: «До чего мы дошли. У нас танки по стране без ведома министра обороны могут ездить?!» Было слышно, как маршал на другом конце провода (рядом с ним был В.Крючков) оправдывался: «Михаил Сергеевич, это не наши танки. Немедленно разберемся».

По словам Горбачева, сценарий вильнюсской операции глава госбезопасности выстроил самолично: «Несколько лет спустя меня разыскали бойцы из «Альфы», которых туда направили, и рассказали, что перед штурмом телецентра им показали написанный от руки карандашом приказ от моего имени, который потом разорвали. Кто-то из них догадался собрать и сохранить клочки бумаги. Так меня хотели втянуть в авантюру». Как тут

не вспомнить одно из последних патетических выступлений в Верховном Совете Алеся Адамовича, одного из беззаветных сторонников Горбачева и одновременно его бескомпромиссного критика. В декабре 1990 года, выступая сразу после подавшего в отставку Э.Шеварднадзе, он предостерег: «Михаил Сергеевич, вокруг вас одни эполеты. Они развяжут бойню и вытрут об вас свои руки, испачканные в крови».

Тем не менее в дни, последовавшие за вильнюсской драмой, слово «авантюра» Горбачев не употреблял. Назначенная было поездка в Литву не состоялась. Позднее он объяснил это тем, что его отговорил все тот же Крючков: «Сказал, что не может гарантировать безопасность». В какой форме шеф КГБ сформулировал предостережение — как заботу о главе государства или в виде ультиматума, неизвестно.

Понятно, что президент должен был думать не только о спасении своей репутации перед прибалтами, но и о сложном и хрупком балансе сил в своем московском окружении. Поехать с покаянием в Литву — значило публично отмежеваться не только от руководителей силовых структур, но и от военных, считавших, что выполняют его приказ. Верховный Главнокомандующий не мог себе этого позволить. «Ты понимаешь, Анатолий, — говорил он во время очередной беседы по душам Черняеву, — не мог я так просто отмежеваться и осудить. Ведь это армия». Сам его многолетний помощник не находит однозначного ответа: «Знал или не знал Горбачев?» Считает, что, может быть, он «втайне от себя хотел, чтобы что-то подобное случилось», рассчитывая, разумеется, на другой исход и, видимо, не представляя тогда всей убогости исполнения.

Некоторые справедливо полагают, что именно во внутренней раздвоенности Горбачева, в которой он пребывал после ноября 1990 года, с тех пор как решился примерить на себя наряд «сильного руководителя», и кроется ответ на более важный, чем «знал, не знал?», вопрос: почему он так долго выжидал, прежде чем высказал свою оценку событий?

Один из ответов: «Не мог до конца поверить в полное политическое и организационное фиаско по-своему логичной схемы, предложенной (навязанной) ему истинными инициаторами вильнюсской «авантюры»: прижать сепаратистов, ограничить

суверенитет Прибалтийских республик с помощью «дозированного» применения силы, а еще лучше — одной ее угрозы. Недаром еще за несколько дней до вильнюсской драмы он грозно, почти как Брежнев Станиславу Кане, говорил премьер-министру Литвы Казимере Прунсене: «Наведите порядок сами, чтобы этого не пришлось делать нам!»

Официально признать поражение этой тактики — значило, не успев приступить к реализации только что избранного нового курса «сильной руки», расписаться в неудаче и подтвердить победу его в то время заклятых противников — разрушителей Союза, националистов, не просто одолевших с помощью безоружной толпы (в которой, как утверждают, были тем не менее таинственные снайперы) супервооруженную армию и натренированных для спецопераций профессионалов, но и переигравших его на его же поле позаимствованными у него же политическими методами.

Другой вариант ответа: «растерялся», был подавлен, дал запугать себя возможным недовольством военных; в очередной раз колебался перед необходимостью однозначного выбора, навязанного последствиями его же решений (или уклонения от них). Тем более что выбирать в январе после Вильнюса стало куда труднее, чем до этого: выбор предстояло делать между армией (и КГБ) как силовой опорой разваливавшегося государства, и армией политической, которая из разношерстного, но послушно следовавшего за ним ранее войска успела превратиться в раздробленные отряды, постоянно атаковавшие друг друга и его самого.

Даже в рядах его «личной гвардии» после Вильнюса началось брожение. Беззаветно преданные, как наполеоновские ветераны, помощники перестали его понимать и, хуже того, отказывались ему верить. В принципе Горбачев и не мог ждать от них полного понимания: слишком разные функции и степени ответственности их разделяли. От советников не требовалось ничего, кроме советов, от президента ждали решений. Хорошо понимая специфику его государственной функции, помощники до сих пор, как правило, безропотно «входили в его положение», и не из-за того только, что были подчиненными. Скорее наоборот, работали на него потому, что разделяли главную цель

его проекта и верили, что не заблуждаются на его счет. События в Вильнюсе, точнее, невнятная и непонятная реакция на них президента, поколебали эту уверенность. «Вы обрекли себя на политику, цели которой можно достигнуть только силой. И тем самым вошли в противоречие с провозглашенной Вами философией. Не узнаю и не понимаю», — написал в эти дни А. Черняев в своем заявлении об отставке, которое не успел вручить президенту.

После недельной паузы, растянувшейся в политическую вечность, Горбачев стряхнул с себя наваждение и, преодолев соблазн политики «решительных мер», осудил антиконституционные выходы провокаторов из компартии М. Бурокаявичуса и применение армией силы против гражданского населения. (Правда, политическую значимость этого выбора во многом обесценило то, что сделан он был после очевидного провала силового сценария.) А. Черняев мог с облегчением записать, что Михаил Сергеевич «не изменил принципиальному курсу, а просто неудачно сманиеврировал». Бескомпромиссный советник выразился слишком мягко.

По своим разрушительным для репутации и авторитета президента последствиям недельное выжидание стало эквивалентом его десятидневного молчания после чернобыльской катастрофы. С той только разницей, что случившийся в самом начале самостоятельного политического плавания чернобыльский «сбой» можно было списать на безжалостность стихии и неопытность капитана, а на вильнюско-рижские утесы (через неделю после штурма телецентра в Литве подведомственный Б. Пуго ОМОН атаковал здание МВД в Риге) Горбачев направил корабль сам. И хотя в конечном счете прибалтийские рифы остались позади, пробоины на обоих бортах заделать как следует не удалось.

Особенно болезненно восприняли эти события московские демократы. Одни, как Святослав Федоров, панически возвещали, что кремлевская власть, вдохновляясь опытом большевиков, готовит для высылки главных демократических «теноров» — Собчака, Попова и его самого — если не «философский пароход», то наверняка какую-нибудь баржу. Другие, еще недавние громогласные «прорабы перестройки», обличали по радио и те-

левидению его «клику», а «Московские новости» опубликовали на первой странице заявление 30 членов своего Совета учредителей с призывом отправить «кровавый режим в отставку».

Если обидные эпитеты, которыми награждали Горбачева вчерашние единомышленники, не могли не портить ему настроения, то бурная активность Ельцина, не упустившего своего шанса, должна была заставить осознать масштаб политического ущерба, нанесенного ему захлебнувшимся походом на Вильнюс. Безусловно, неуклюжая акция московских спецслужб, угодивших в силки, расставленные для них литовскими сепаратистами (те потом признавались, что рассчитывали спровоцировать Москву — по тбилисскому сценарию — на применение вооруженной силы против гражданского населения, чтобы повлиять на международное общественное мнение), стала очевидным подарком председателю сейма В.Ландсбергису. Он сразу сравнил силовую акцию в Вильнюсе с вторжением С.Хусейна в Кувейт. Однако в не меньшем политическом выигрыше оказался и Ельцин, отправившийся с «миссией солидарности» от имени России в Вильнюс и Таллин. Политический «прокол» союзного президента позволил его оппоненту не только резко поднять свою популярность в Прибалтике, но и набрать столь нужные очки в Москве. После этого он почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы с нового, «вильнюсского плацдарма» уже в феврале заявить, что страна присутствует при «агонии режима Горбачева», и потребовать его отставки.

Существенно, а может быть даже непоправимо, осложнив отношения со своими «критическими союзниками» слева, если использовать сахаровскую формулу, Горбачев обнаружил, что и его попытка нащупать опору справа не увенчалась успехом. Разозленные неудачей, продемонстрировавшей их «профессиональную непригодность», «силовики», конечно же, должны были объяснять свой провал «предательством» Горбачева. Удостоверившись в том, что президент — не только «слабак» («свинцовая шинель советской власти легла на слабые плечи комсомольского вожака», как выразился склонный к поэзии А.Лукьянов), не готовый идти до конца, иначе говоря, пролить кровь, чтобы поставить на место республиканских вождей, но и ненадежный главнокомандующий, способный в случае неудачи

«сдать» свои войска, они должны были после вильнюсской репетиции сделать для себя выводы. В их глазах он не прошел «проверку на прибалтийских дорогах», и потому главную операцию по спасению союзного государства предстояло готовить и осуществлять без президента, изолировав его, чтобы не мешал, а в случае сопротивления — и против него. «Один из нас должен будет уйти», — сказал в своем окружении весной 1991 года В.Крючков.

Никого на самом деле не испугав, призрак режима «сильной руки» вместо искомой стабильности вызвал дестабилизацию почти на всех фронтах — от политического до социального, усиление напряженности в парламенте, 300-тысячную демонстрацию протеста в столице и новую волну шахтерских забастовок. Вместо желаемого усиления Союза этот курс ускорил «отпадение» Прибалтики и ухудшил отношения Центра с республиканскими элитами, начиная с российской. (В РСФСР 77 процентов избирателей, сказав «да» Горбачеву на референдуме о судьбе Союза, поддержали и Ельцина, проголосовав за введение в республике президентской власти.) Даже популистская попытка подыграть обывателю с помощью развернутого премьер-министром В.Павловым наступления на «теневиков» и предпринимателей провалилась: нелепая и неподготовленная акция по обмену (изъятию) крупных денежных купюр вызвала такое же раздражение и озлобление населения, как и антиалкогольный абсурд 1985 года.

Сам Горбачев после Вильнюса и в особенности после чуть было не разыгравшегося кровопролития в Москве, куда в марте были стянуты для противодействия ожидавшимся «общественным беспорядкам» около 50 тысяч военных, зачеркнул для себя путь к режиму «сильной руки», на который его загалкивали «новые лейтенанты». Однако верный своей стратегии (и натуре), он не хотел демонстративно рвать с плотно опекавшим его силовым окружением до тех пор, пока не будет подготовлен новый плацдарм.

Не поехав в Вильнюс, он уступил В.Крючкову, конечно же, не из-за опасения за собственную безопасность, а из-за нежелания публично отречься от тех, на кого еще до недавнего време-

ни готов был опереться. И хотя они не только подвели его, но и показали, что тянут за собой в политический тупик, он не торопился или не решался поставить их на место. Отвечая тем, кто считал, что, уволив виновных за вильнюсскую авантюру министров, можно было избежать августовского путча, Горбачев говорит, что в тогдашних условиях, «не раскрутив» Ново-Огарево, он только бы ускорил приближение путча.

Даже в самозащите глава государства предпочитал полагаться не на еще имевшиеся у него силовые атрибуты власти, а на политический процесс. «Он хотел всех их поменять на основе нового Союзного договора, — утверждает Г.Шахназаров. — Но, будучи невысокого мнения о масштабе этих политиков, он недооценил их рефлексы самообороны».

«Был ли у меня страх перед КГБ? — отвечал Михаил Сергеевич уже осенью 1991 года на вопрос «Литературной газеты». — Нет. Теперь могу сказать то, чего раньше бы не смог. Я знал их силу и должен был их переиграть». До окончательного выяснения отношений между ним и ответа на вопрос, кто кого переиграет, оставалось всего несколько месяцев.

ГОРБАЧЕВ И ПУСТОТА

В апреле 91-го в Москву по согласованию с Дж.Бушем приехал Ричард Никсон. Ветеран американской политики, испытавший триумф двукратного победителя президентских выборов и унижение отставки, наверное, лучше других мог измерить температуру кипевшей страстями Москвы и шансы Горбачева удержать в руках руль управления государством. Никсон побывал в Кремле, встретился с президентом, заверившим, что перед ним «прежний Горбачев», прошелся по ключевым фигурам в его окружении, пообщался с Ельциным. Заключение от «инспекционной поездки», переданное им в Белый Дом, звучало неутешительно: «Советский Союз устал от Горбачева».

Шесть лет, прошедшие со времени его избрания генсеком, неизнаваемо изменили и одновременно изнурили страну. Ожидаемое чудо процветания и стабильности постоянно откладывалось, магазины пустели, а каркас Союза стал угрожающе трещать. Состоявшийся 17 марта референдум, несмотря на

свой запрограммированный успех, служил слабым утешением Горбачеву и был уже неспособен затормозить процесс начавшегося распада советской империи. От участия во всенародном голосовании отказались 6 из 15 союзных республик, а непризнанный Центром «опрос» населения, проведенный в Прибалтике, не забывшей январские события, показал, что число сторонников независимости превышает там 90 процентов. Главное же, референдум не успокоил политический шторм, волны которого с разных сторон захлестывали капитанский мостик государства, где одиноко возвышалась фигура внешне невозмутимого капитана.

Никсон увидел чрезвычайно запутанную картину: «голову» генсека-президента требовали и левые, и правые, и радикал-демократы, и консерваторы. Создавалось впечатление, что его отставка позволит не только разрешить основные проблемы страны, но и примирить противостоящие политические лагеря. При ближайшем рассмотрении выяснялось, что это не совсем так: каждый из них связывал с уходом Горбачева такое развитие событий, которое предполагало устранение соперников.

Б.Ельцин, уличавший Президента СССР в «диктаторских наклонностях», настаивал, чтобы верховная власть была передана Совету Федерации, иначе говоря, синклиту республиканских президентов, главой которого, естественно, стал бы будущий президент тогда еще советской России. Буйный лидер парламентской группы «Союз» полковник В.Алкснис, горделиво называвший себя «ястребом», вдохновляясь опытом выступлений «здоровых сил» в Литве и Риге, требовал введения в стране чрезвычайного положения и передачи власти Комитету национального спасения, где «не должно быть места ни для Горбачева, ни для Ельцина».

В.Крючков, встретившись с Никсоном, намекал американскому гостю, что Верховный Совет, «уставший» от споров между Ельциным и Горбачевым, может взять власть в свои руки, и давал непривычные в устах председателя КГБ советы американцам «присмотреться» к А.Лукиянову. Словно подслушав их разговор, группа «Союз» тоже вскоре завела речь о том, чтобы «исчерпавший себя» президент передал бразды правления либо А.Лукиянову, либо Г.Янаеву.

Политическая «интифада» между различными лагерями была в полном разгаре, пропагандистские камни летели как бы через голову Горбачева в обоих направлениях, попадая главным образом в него. Если чикинская «Советская Россия» публиковала статью, уличавшую Ельцина в связях с «чеченской мафией», то полторанинские СМИ обвиняли Горбачева в том, что он рассчитывает с помощью реакционного союзного парламента и генералитета «задушить» демократию и физически устранить Ельцина. Никсон, начитавшийся накануне этой поездки в Москву русских философов и справок о России, рассказывая о своих впечатлениях, вспоминал Н.Бердяева и искал объяснения увиденному в неодолимой тяге к «самоистреблению», захватившей московскую политическую верхушку.

Дело, однако, объяснялось не мистикой русской души или, на первый взгляд, иррациональным поведением конфликтующих соперников. Осада союзного президента строилась в соответствии с вполне определенной политической логикой. Разбуженный-таки им процесс реформ, преобразуя страну, привел к появлению не одних только противостоящих друг другу «ястребов», но и к выходу на сцену могущественных политических «семей», отстаивавших принципиально разные интересы. С одной стороны, речь шла о клане традиционной партийной, хозяйственной и военной бюрократии, обслуживавшей централизованное имперское государство и жившей за его счет, с другой — о новых, разбуженных трубами перестройки экономических и политических игроках и республиканских элитах. Под прикрытием лозунгов перестройки в ее экономической и юридической «тени» формировалась социальная и финансовая база нового постсоветского общества. Стихия теневого рынка и теневой политики рвалась на поверхность и... во власть. Конфликт между этими разными силами, претендовавшими на монопольный контроль над гигантской страной, от власти над которой, по непонятным для них причинам, неожиданно и добровольно отказывался московский «царь», становился неизбежным.

Горбачев мешал и одним, и другим: тем, что, как мог, затягивал выяснение отношений между ними, надеясь предотвратить окончательную «разборку», и избежать, увы, привычных для

России столкновений крайностей и мордобоя. Как рефери на ринге, он старался заставить противников следовать цивилизованным правилам игры, хотел научить их оглядываться на закон и общественное мнение. Наконец, уже самим своим романтическим проектом очеловеченного, «гуманного» социализма, чуждого в равной степени и казарменной системе, и рыночной анархии, поскольку этот идеальный «средний» вариант не устраивал ни ту ни другую сторону: каждая, рассчитывая перетянуть одеяло на себя, готова была его разорвать. Чтобы получить возможность свести счеты (а может быть, и договориться), им требовалось избавиться от Горбачева, и ради этого они готовы были объединиться в атаках на него.

Вслед за радикал-демократами и Верховным Советом на своего генсека пошла войной возглавляемая им партия. Нельзя сказать, что ему до этого не приходилось выслушивать от «товарищей» по Политбюро и ЦК резких и обидных слов, а то и оскорблений. Первый открытый бунт, как вспоминает Горбачев, произошел на заседании Политбюро весной 1989 года после выборов народных депутатов СССР, на которых избиратели прокатали 35 членов ЦК. На последующих пленумах температура дебатов все чаще поднималась до точки кипения. Но верный избранной тактике укрощения аппаратного «монстра», генсек терпел нападки и находил всякий раз способ так «закруглить дискуссию», что единство партийных рядов, которое Ильич завещал хранить как зеницу ока, оставалось хотя бы формально непоколебимым.

Однако 24 апреля 1991 года, когда на объединенном Пленуме ЦК и Центральной контрольной комиссии КПСС на него в открытую и явно спланированную атаку пошло едва ли не большинство областных секретарей, он, изменив своей привычной линии, неожиданно, даже не попросив слова у председательствующего, встал из-за стола президиума и, пробормотав: «Ладно, хватит, сейчас всем отвечу!», пошел к трибуне. В притихшем зале, не привыкшем видеть генсека в ярости, раздались возгласы: «Перерыв, перерыв!» «Я коротко, — сказал Горбачев. — Успеете пообедать». И отчеканил: «Я должен констатировать, что около 70 процентов выступивших на Пленуме

заявляют, что уровень популярности и авторитет Генерального секретаря упали чуть ли не до нуля. Считаю, что в таком состоянии оставлять человека и партию нельзя. Это просто преступно. Предлагаю прекратить прения и решить вопрос о замене генсека и о том, кто займет его место между съездами. И кто смог бы к тому же устроить те 2—3 или 4 партии, которые сидят сейчас в этом зале... Ухожу в отставку!»

Среди участников Пленума возникло замешательство. Был объявлен перерыв, во время которого состоялось заседание Политбюро ЦК. О его решении — «Исходя из высших интересов страны, народа, партии, снять с рассмотрения выдвинутое Михаилом Сергеевичем Горбачевым предложение о его отставке с поста Генерального секретаря ЦК КПСС» — сообщил В.Ивашко. Пленум при 13 «против» и 14 воздержавшихся согласился с формулировкой Политбюро. Итак, отставку Горбачева не приняли, а он сам не настаивал, рассчитывая, что на внеочередном съезде в ноябре, расколов КПСС, сможет изгнать из нее большую часть ретроградов. Тем не менее тогда он действительно созрел, чтобы «хлопнуть дверью», еще и потому, что у него уже было куда уйти. Накануне Пленума, 23 апреля в Ново-Огареве после нескольких неудачных попыток ему удалось запустить механизм выработки нового Союзного договора, собрав вокруг себя лидеров девяти республик (три Прибалтийские республики, Грузия, Молдавия и Армения, не участвовавшие в референдуме о судьбе Союза, в Ново-Огарево не явились).

Предложенная им формула 9+1 стала его последним шансом спасти федерацию. У президента-генсека оставался нерастроченным последний политический капитал: властные полномочия единоличного правителя союзного государства. Республиканские вожди, не решавшиеся бросить Москве такой же открытый вызов, как прибалты и три другие «диссидентские» республики, готовы были поторговаться относительно перераспределения власти и собственности в рамках «мягкой» федеративной структуры. В обмен на передачу им значительной части полномочий они соглашались сохранить контроль Центра над внешней политикой и обороной, общесоюзный двухпалатный парламент и должность президента. Главное же, — брали на себя обязательство не покушаться на примат союзных законов

над республиканскими и на священное для Горбачева слово «Союз».

Гораздо меньше козырей оставалось у него для торгов с западными коллегами. После подписания соглашений по ядерному разоружению, вывода советских войск из Афганистана, разрушения Берлинской стены и объединения Германии у Запада не оставалось сколь-нибудь серьезных требований к советскому президенту, а стало быть, и причин с ним торговаться и «входить в его трудное положение». Неожиданно развалившийся в марте 1991 года Варшавский договор — на церемонию его бесславных похорон он послал в Будапешт вице-президента Г. Янаева — лишал едва ли не последнего аргумента, с помощью которого еще можно было настаивать на снижении «на равных» с Западом уровня военного противостояния и сдерживании экспансии НАТО.

В новой ситуации уже не Горбачев был больше нужен западным друзьям, а они ему — для спасения перестройки на главном фронте, где она терпела все более очевидное поражение, — в экономике. За прошедшие шесть лет ему так и не удалось ни убедительными аргументами, ни подаваемым примером обратить западных политиков в приверженцев нового политического мышления. Когда советский лидер приехал на заседание «большой семерки» в Лондон в мае 1991 года, с ним, поскольку выступал в роли просителя экономической помощи, и обошлись, как с просителем: любезно, но безразлично.

Домой он вернулся, в сущности, с пустыми руками. Его утверждение, что мир в целом только выиграет, если начатая им реформа получит экономическую поддержку Запада, как это сделали американцы с послевоенной Европой, предложив «план Маршалла», не тронуло сердца прагматичных членов «семерки», и в частности Дж. Буша, который, видимо, больше доверял впечатлениям Никсона, чем обещаниям «друга Майкла». За его спиной маячил призрак уже новой «русской угрозы», на этот раз не ядерной, а русского хаоса, и Запад отнюдь не был уверен, что Горбачев, в значительной степени спровоцировавший его, способен даже при финансовой поддержке с ним справиться.

После событий в Прибалтике американцы, как бы демонстрируя появившиеся на его счет сомнения, отложили советско-американский саммит. Это произошло впервые с 1960 года, когда из-за сбитого над Советским Союзом американского самолета-шпиона сорвалась запланированная встреча Хрущева и Эйзенхауэра. А американский министр обороны Ричард Чейни заявил, что «основная угроза соседям СССР в будущем может исходить больше от неспособности советского руководства удержать под контролем события внутри страны, чем от умышленных попыток расширить свое влияние за ее пределами с помощью военной силы». Он не открывал большого секрета. Не говоря уже о том, что в намерения советского президента, естественно, не входило распространять «доктрину Горбачева» за рубеж, как «доктрину Брежнева»: к тому времени у него не было возможностей (и прибалтийские, и московские события это лишний раз подтвердили) опереться на силу и для наведения элементарного порядка даже в собственном, а не в изобретенном им «общеевропейском доме».

Президент больше не апеллировал к творческой инициативе масс и не призывал вслед за Лениным «не бояться хаоса». И того и другого оказалось в избытке. Ему пришлось переходить на совсем другой, непривычный и неубедительно звучащий в его устах словарь «государственника». «Реформа возможна только в условиях порядка, а не анархии», — объяснял он, выступая в Москве в «горячем» январе 91-го. «Дезинтеграция, распад связей, срыв производства приведут к тому, что потребуются вообще крутые меры. Этого мы не можем допустить. Из хаоса будут вырастать уже диктаторские методы и формы правления, — предостерегал в феврале в Минске. «Надо остановить процессы митинговщины и стачек. Счет времени идет буквально на дни и недели», — восклицал он в апреле в Хабаровске.

Предупреждая страну (вслед за Шеварднадзе) о «грозящей диктатуре», Горбачев, по крайней мере после плачевного опыта Вильнюса, ею уже никого не шантажировал, — просто предостерегал и пытался найти выход из углублявшегося противостояния. В Минске предложил создать «коалицию центристских

сил». В Хабаровске, оценив к этому времени потенциал Ельцина, быстро набравшего (в очередной раз не без его помощи) политические очки, заговорил о «советско-российской коалиции»: «Если с российским руководством наладится нормальное взаимодействие, все пойдет, как надо, если же нет — последствия будут опасными».

Собранная им в Ново-Огареве «большая девятка», в которую согласился войти Ельцин, давала возможность попытаться вывести из пике союзный самолет едва ли не у самой земли. Расчеты Горбачева, казалось, начали оправдываться. Девять республиканских лидеров плюс один советский президент совместно обратились с призывом к бастующим шахтерам прекратить забастовку. Еще недавно призывавший к ней российский лидер самолично отправился в Кузбасс, чтобы залить пожар, в который до этого подливал горючее. Проект нового Союзного договора после бесконечных препирательств в новоогаревском особняке все-таки удалось согласовать. И еще одно свидетельство виртуозного тактического мастерства Горбачева: он смог убедить согласиться с ним практически всех. Союзные республики пришли, казалось бы, к немыслимому компромиссу с собственными автономиями. Верховный Совет СССР — А. Лукьянов так же участвовал в «новоогаревских бдениях» — проголосовал в его поддержку, поручив своему спикеру принять участие в церемонии подписания. И даже угрожающе зарычавший было на Генерального секретаря Пленум ЦК вроде бы смирился с неизбежным, и, повинувшись жезлу дрессировщика, послушно уселся на указанную им тумбу. Казалось, что 20 августа, в день подписания Союзного договора Горбачеву можно будет с чистой совестью выйти на поклоны к публике. Видимо, этот оказавшийся на расстоянии вытянутой руки предстоящий триумф, породив у него чувство наконец-то обретенной безопасности, и привел к непростительной потере бдительности. Потому что к своим «хищникам» он не должен был даже на мгновение поворачиваться спиной...

Вполне оправданно предупреждая страну (и мир, поскольку делал это и в своем выступлении на «семерке» в Лондоне) о возможной катастрофе и вероятной (не своей) диктатуре, Гор-

бачев в практическом плане вел себя на удивление беспечно, ничего не предпринимая для того, чтобы обезопасить себя от неожиданностей. В очередной раз ему казалось, что чудесным образом найденное политическое решение своей рациональностью развеет сгустившиеся тучи и разрядит ситуацию. Иначе не объяснить, почему он не следовал логичным выводам своего же анализа и отмахивался от поступавших к нему предупреждений, сигналов и знамений.

Еще в апреле, во время визита в Японию, А. Яковлев передал ему личную записку: «Насколько я осведомлен, да и анализ диктует такой прогноз, готовится государственный переворот справа. Наступит нечто подобное неофашистскому режиму. Идеи 1985 года будут растоптаны, Вы и Ваши соратники — преданы анафеме. Последствия трагедии не поддаются даже воображению». Горбачев то ли не придавал значения этому тревожному сигналу, то ли посчитал, что, заключив сразу по возвращении домой «пакт о ненападении» с Ельциным и другими республиканскими вождями, он тем самым обезопасил себя от любых угроз.

Однако в начале лета он получил от Дж. Буша через Дж. Мэтлока сигнал о сговоре за его спиной правых. Сам посол Мэтлок говорит, что, когда к нему поступила от Гавриила Попова эта информация, он, как и положено дисциплинированному дипломату-чиновнику, передал ее «наверх», присовокупив свой комментарий, в котором сообщал, что не может всерьез воспринимать угрозу переворота — сама идея представлялась абсурдной, настолько очевидным для него был провал подобной акции.

Видимо, этой же рациональной логикой руководствовался и Горбачев, воспринимавший как «паникерство» реакцию своих помощников на вызывающую демонстрацию, устроенную в Верховном Совете Б. Пуго, Д. Язовым, В. Крючковым и В. Павловым, которые потребовали для правительства чрезвычайных (в сущности президентских) полномочий. Вопреки советам публично одернуть, а еще лучше уволить фрондеров, он произнес успокоительную речь в Верховном Совете и удовлетворился поспешным покаянием премьера, заявившего, что его «неправильно поняли».

Мысленно Горбачев уже распрощался со всей этой досаждавшей ему командой: в соответствии с формулой обновленного Союза после подписания Договора сокращались сами должности, которые занимали вздумавшие ему дерзить глава правительства и его министры. Как видно на примере Лигачева, он предпочитал избавляться от мешавших ему людей «мягко» — не увольняя, а убирая из-под них стулья. По этой же причине небрежно отнесся и к последнему политическому «предупреждению», которое направила ему правая оппозиция, опубликовав опять-таки в «Советской России» написанное Г.Зюгановым коллективное «Слово к народу» с призывом к патриотам отобрать власть у «безответственных» политиков и парламентариев.

На последнем, июльском Пленуме ЦК, когда Горбачев представил программу своей будущей, уже явно не коммунистической партии и объявил о предстоящем внеочередном съезде, который должен был оформить ее развод с большевистским крылом, секретари обкомов уже больше не спорили с ним и не пытались свергать. Они тоже мысленно уже распрощались с ним и потому вызывающей овацией приветствовали почти что тронную речь того, кто в их глазах был достоин занять высший пост в партии, — А. Лукьянова. Сам Анатолий Иванович позднее подтвердил, что «здоровые силы» в партии вовсе не намерены были покорно идти на закляние в ноябре согласно горбачевскому календарю, а собирались «поставить вопрос о замене Генерального секретаря на внеочередном Пленуме ЦК в сентябре. И Горбачев, видимо, знал об этом». Знал или нет, неизвестно, во всяком случае, уже находясь в Форосе, он обсуждал с тем же Лукьяновым по телефону процедуру предстоящего подписания Союзного договора, исходя из того, что тот примет в ней участие...

Такими позиционными маневрами разных политических «семей» завершился июль 1991 года. Экземпляры будущего договора отправили в переплетную. Протокол торжественной церемонии, назначенной на 20 августа, был разработан, и Горбачев, считая, что главный, самый трудный перевал преодолен и дальше начнется спуск в долину, решил, что он и Раиса Максимова заслужили хотя бы пару недель отдыха. Перед самым отъездом он пригласил на ужин в Ново-Огареве Б.Ельцина и

Н.Назарбаева для обсуждения будущей совместной жизни, — перевыборов парламента и президента, предстоящих назначений и, разумеется, увольнений. Новая «тройка» пребывала в эйфорическом настроении. Восклицания и реплики трех лидеров, а также эпитеты, которыми они награждали своих, как им казалось, поверженных противников, разносились через открытые окна далеко по территории госдачи. Хотя, надо думать, даже если бы окна были закрыты и начальник охраны Горбачева Ю.Плеханов не находился, как ему и положено, в соседнем помещении, В.Крючков с В.Болдиным все равно получили бы исчерпывающую информацию об их намерениях. Как выяснилось потом, в сейфе руководителя аппарата Президента СССР хранились пленки подслушанных разговоров.

На самом деле воевать с генсеком на Пленуме никто не собирался, потому что на открытые политические бои с ним его противники больше не отваживались. «Как те, так и другие, — почти как победитель, вспоминает Михаил Сергеевич о неделях, предшествовавших путчу, — соревновались друг с другом, так как не могли в рамках легальности, публично перед обществом и миром избавиться от Горбачева. Он стал им поперек горла. Поэтому действовать они могли только как интриганы».

В первую очередь именно из-за этого, а не из-за одного только благодушия или беспечности президента вся страна оказалась обреченной на путч. А.Черняев считает, что в августовской катастрофе много случайного: «Не поехал бы Горбачев в отпуск, не было бы никакого путча». Возможно, было бы что-то другое со сходным результатом. Парадоксальным образом именно путч, дополненный в декабре «беловежским сговором», сделал Горбачева жертвой человеческого предательства и политической несправедливости, спас его как подлинно историческую фигуру...

Хотя, конечно же, нельзя не согласиться с мнением горбачевского помощника: не стоило ему в августе уходить в отпуск при всей накопившейся усталости. «Бросить бы все, — говорил он Черняеву. — Но на них ведь бросить придется. Мелкая, пошлая, провинциальная публика». В устах ставропольчанина последний эпитет звучал особенно убийственно. Отдохнуть от этой «публики» ему удалось ровно две недели.

АВГУСТ. «ФОРОССКАЯ КЛЕТКА»

3 августа Горбачев, вернувшись домой непривычно рано, в 7 вечера, сказал Раисе Максимовне: «Завтра летим в Крым. Насколько получится. Если сейчас не отдохнем, то неизвестно, когда...» Разместившись на форосской даче — «золотая клетка», идеальное место для ареста, даст ей потом профессиональную оценку охранник Горбачева В.Медведев, — по заведенному Раисой ритуалу утвердили распорядок дня, провели контрольное взвешивание. Сутки делились на три главных занятия: отдых — плавание, прогулки по горам, чтение; работа — телефонные звонки, подготовка речи церемонии подписания Союзного договора и давно задуманной статьи (брошюры) о переломном этапе перестройки (А.Черняев и Г.Шахназаров были под рукой — отдыхали в санатории неподалеку); и сон. «Приоритет, — вспоминала Раиса Максимовна, — отдавался сну».

Улетая, Горбачев оставил «на хозяйстве» за себя двоих: вице-президента Геннадия Янаева, второе лицо в государстве по Конституции, и зама по партийным делам Олега Шенина, недавнего секретаря Красноярского крайкома, которого он явно привечал (официальный заместитель генсека Владимир Ивашко готовился к операции). Шенина он «открыл» во время недавней поездки в Сибирь — своими решительными ухватками тот напоминал Е.Лигачева, с которым пришлось расстаться и которого, как считал Горбачев, надо было кем-то заменить.

Перед тем как подняться по трапу, Михаил Сергеевич дал понять Шенину, что оставляет его за старшего в команде, бросив мобилизующее: «Не расслабляйтесь. Отслеживайте обстановку. Если что, действуйте по ситуации». Что-то в этом же духе сказал Янаеву, условился с Лукьяновым, что тот вернется с Валдая к 19-му на подписание Договора. На других провожавших взглянул рассеянно. Неожиданностей и сюрпризов от этих людей он не ждал, поэтому они ему были неинтересны. Большинством из них все равно предстояло пожертвовать после подписания Союзного договора.

Заботили же Горбачева в этот момент не провожающие на аэродроме, а новообретенные политические союзники: республиканские президенты, и прежде всего Ельцин. Зная перемену

чивый характер российского лидера, он не мог быть до конца уверен, что их принципиальный уговор насчет Союза, даже скрепленный застольем в Ново-Огареве, продержится до 20 августа. У него были основания этого опасаться: ельцинские советники, кто скрытно, как Г.Бурбулис, а кто публично, как Ю.Афанасьев и Г.Старовойтова, отговаривали его подписывать Союзный договор, считая, что «имперский центр» в лице Горбачева в очередной раз обведет демократов вокруг пальца. Да и сам Ельцин не упускал случая показать окружающим, что на «второй роли» при союзном президенте он долго оставаться не намерен. Последний раз он продемонстрировал это, воспользовавшись приездом в Москву Дж.Буша, когда демонстративно явился в Кремль позже и даже отдельно от Наины (ее поручалось сопровождать Гавриилу Попову), а потом вверх в транс «протокольщиков» двух сверхдержав, когда, опередив хозяйна — Горбачева, предложил ошеломленной Барбаре Буш проводить ее к столу, накрытому в Грановитой палате. Не удовлетворившись этим, в разгар официального обеда, взяв под руку Н.Назарбаева, российский президент на глазах всего зала подошел к «главному» столу сообщить американскому президенту, что подлинными гарантами будущей демократии в новом Союзе будут лидеры России и Казахстана.

Чувствуя продолжающиеся и даже усиливающиеся колебания Ельцина относительно подписания Союзного договора, он звонил ему из Фороса и последний раз, 14 августа, минут сорок обсуждал с ним эту тему, стремясь застраховаться от возможных сюрпризов. Ельцин снова подтвердил свое согласие участвовать в церемонии после того, как исчерпавший все политические аргументы Горбачев дал ему понять: хотя президент России будет, как остальные республиканские лидеры, сидеть за столом в алфавитном порядке, но при съемках и трансляции церемонии по телевидению он займет место в центре...

Может быть, именно из-за всех этих треволений, связанных с хрупкостью достигнутого соглашения, первым вопросом, который он задал явившейся в Форос 18 августа около 5 часов пополудни депутации в составе О.Шенина, О.Бакланова, В.Варенникова, В.Болдина и Ю.Плеханова (которого он тут же выс-

тавил за дверь), был: «Кто вас послал?» За сорок минут, прошедшие с того времени, как начальник его охраны сообщил, что к нему из Москвы прибыли гости, и моментом, когда те появились в его кабинете, он успел убедиться, что все телефоны, включая стратегическую связь Верховного Главнокомандующего, отключены, собрал семью и предупредил близких: надо готовиться к любому развитию событий — от «хрущевского» варианта до чего-то более драматичного.

Понятно, что одним из первых, кого он логично мог заподозрить в желании «нейтрализовать» его в Форосе, был Ельцин, еще недавно с таким пылом требовавший его отставки. Представить, что руку на него подняли сорвавшиеся с ниток марионетки — те, кто был ему обязан не только должностью, но и известностью, и самим существованием в политике, вроде Шенина, Янаева, Павлова, он не мог даже в дурном сне. Как не мог сразу поверить в измену людей, которых привык за долгие годы считать членами самого близкого круга: Болдина, Плеханова, начальника личной охраны Медведева. (Раису Максимовну больше всего ранило то, что этот буквально сросшийся с их семьей, всегда корректный и невозмутимый офицер не только без колебаний оставил своего подопечного руководителя в критической ситуации, но даже не зашел попрощаться перед отъездом.)

«Больше всего меня потрясло предательство», — говорил потом Горбачев. Записывая на листке бумаги под диктовку Бакланова список членов ГКЧП, он не мог сразу поверить в отступничество Лукьянова и поставил вопросительный знак против его фамилии и Язова. «Может быть, они, не спросив, вписали его имя», — высказывал он сомнения А. Черняеву, интервьюированному вместе с семьей Горбачева.

Формально государственный переворот начался примерно с 16.30 в воскресенье, когда с санкции В.Крючкова из самолета, подлетавшего к крымскому аэродрому Бельбек, Ю.Плеханов дал указание специальному телефонному коммутатору, обслуживавшему президента, отключить на даче все виды связи, в том числе доступ к «ядерной кнопке». Даже если отвлечься от политических аспектов переворота, остается фактом, что на

73 часа национальная безопасность СССР и ядерный потенциал второй мировой сверхдержавы оказались без контроля. Вице-президенту Г.Янаеву, к которому на это время, согласно Конституции и указам ГКЧП, отредактированным А.Лукияновым, отошли полномочия Президента, «кнопку» лучше было не доверять. В те самые часы, когда Плеханов эвакуировал из Фороса отвечавших за нее офицеров, члены ГКЧП, собравшиеся в Кремле в кабинете Павлова, подливая вице-президенту со всех сторон, доводили его до «кондиции», убеждая взять на себя обязанности главы государства. Не в лучшем состоянии, с точки зрения обеспечения обороны Отечества, находился большую часть этого времени и премьер-министр В.Павлов. Оглушив себя изрядной порцией спиртного, то ли от страха, то ли создавая себе алиби, он начал свое первое заседание Кабинета министров утром 19 августа бодрой репликой: «Ну, что, мужики, будем сажать или будем расстреливать?»

Фактически же путч начался на две недели раньше, на следующий день после отлета Горбачева в Форос, когда на городской «даче» КГБ — объекте «АВС» — собралась оперативная «пятерка»: Крючков, Язов, Бакланов, Болдин и тот самый Шеннин, которому Горбачев поручил «отслеживать ситуацию». Заговорщики торопились. В их распоряжении было не так много времени — до 19 августа, дня запланированного возвращения президента в Москву. Цель задуманной акции формулировалась лаконично: не допустить подписания нового Союзного договора.

Первый вопрос, на который предстояло ответить: кого еще взять в компанию? Крючков, прошедший в предшествующие недели основную подготовительную работу, встречаясь с потенциальными соучастниками или обзванивая их (он единственный мог это делать, не опасаясь подслушивания), назвал В.Павлова, Г.Янаева и А.Лукиянова. Привлечь Б.Пуго, В.Тизякова и В.Стародубцева решили на следующей встрече, состоявшейся уже с участием В.Павлова 17 августа на том же объекте «АВС». Председатель КГБ был уверен в их согласии и готовности «пойти на чрезвычайные меры».

А.Черняев считает, что путч получился «любительским» и несерьезным (хотя и трагическим по политическим послед-

ствиям), потому что был сымпровизирован за 3—4 дня группой людей, перепуганных предстоящим увольнением. Это не так. «Аналитики» КГБ заранее получили команду начать разработку концепции и проекты основных документов будущего ГКЧП. Сам Крючков проводил осторожный зондаж кандидатов на «вербовку» еще с весны. В.Фалин рассказывает, что имел с ним «странный» телефонный разговор — председатель КГБ выяснял его отношение к «неадекватному поведению» Горбачева, которое «всех беспокоило». После того как Фалин, высказав со своей стороны озабоченность тем, как генсек-президент решает некоторые международные вопросы, предложил обсудить накопившиеся претензии с ним самим, Крючков прекратил разговор и больше не звонил.

Примерно в это же время и Янаев начал проходиться по поводу того, что президент «переутомился» и его «подводит голова». Он обмолвился об этом даже в общении с иностранцами во время поездки в Индию. С кем еще делился своей «озабоченностью» шеф Госбезопасности, установить уже трудно. А.Яковлева, например, «интриговал» вопрос о возможных контактах в дни, предшествовавшие путчу, между ним и Б.Ельциным. Известно, во всяком случае, что сценарий, разработанный КГБ, предполагал два варианта мер в отношении российского президента: один «мягкий», предусматривавший, что с Ельциным удастся договориться либо о нейтралитете, либо о взаимодействии против Горбачева; другой «жесткий» — в случае, если тот заупрямится: изоляция на военном объекте «Медвежьи озера» либо в Завидове.

Предложить Ельцину выбор между плохим и худшим должен был кто-то из членов ГКЧП во время «мужского разговора», который планировалось провести с ним все в то же воскресенье, 18 августа прямо на аэродроме — сразу после его возвращения из Алма-Аты. Чтобы сделать его более стоворчивым (и иметь возможность сразу перейти к жесткому прессингу), самолет российского президента предполагалось посадить не во Внукове, а на военном аэродроме в Чкаловском. Однако по неизвестным причинам приказа на этот счет диспетчерам не поступило, и ничего не подозревавший, «разогретый» прощанием с казахским лидером Ельцин под бдительным контролем сле-

дившей за ним и на все готовой «Альфы» проследовал из Внукова к себе на дачу...

Горбачеву, естественно, ничего об этом не было известно. В разговоре О.Бакланов несколько завуалированно сообщил ему, что Ельцин то ли уже арестован, то ли вот-вот будет. Не знал он того, что А.Лукиянов, за которым, переусердствовав, послали на Валдай целых три вертолета, должен вот-вот прибыть в Кремль и для его встречи, вопреки обыкновению, отправили два «ЗИЛа-115», выезжавших до сих пор только в случае приезда президента. Главное же, что ему не было определено известно: кто на самом деле руководит всей операцией в Москве, каковы истинные намерения ее инициаторов и как далеко они намерены пойти в осуществлении своей «авантюрной затеи».

Сначала О.Бакланов, а потом и перебивший его В.Варенников предъявили Горбачеву ультиматум: или он сам подписывает документы о введении «президентского правления», иначе говоря, чрезвычайного положения в республиках Прибалтики, Молдавии, Армении, Грузии и «отдельных областях» Украины и РСФСР; или передает свои полномочия вице-президенту Янаеву и отходит в сторону, пережидая, пока ГКЧП сделает за него необходимую «грязную работу». Генерал с военной прямоотой уточнил: «Придется уйти не в сторону, а в отставку». Горбачев взорвался: «И вы, и те, кто вас послал, — авантюристы. Вы погубите себя — это ваше дело. Но вы погубите страну, все, что мы уже сделали. Передайте это комитету, который вас послал».

Добавив несколько крепких выражений в адрес самозванного комитета и идеи чрезвычайного положения, Горбачев, понимая, что окончательные решения будут принимать люди в Москве, пославшие к нему «парламентариев», видимо, не терял надежды, что, приструнив их и одновременно разъяснив бесперспективность замысла, еще сможет выправить ситуацию, пока события не приняли рокового оборота: «Вы хоть спрогнозируйте на один день, на четыре шага — что дальше? Страна отвергнет, не поддержит ваши мерь», — кричал он, обращаясь через головы приехавшей «пятерки» к лидерам ГКЧП, ждавшим его ответа на ультиматум, надеясь их вразумить. При этом, пока ему не была известна реакция «москвичей» и оставался хотя бы те-

оретически шанс рационального выхода из этого абсурда, он вовсе не хотел раньше времени обращать себя в жертву и разыгрывать Сальвадора Альенде. Кроме того, он нес ответственность за тех, кто находился рядом. Хотя семья — Раиса, Ирина и зять Анатолий — поддерживали его в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не поддаваться шантажу, он обязан был помнить, что отвечает не только за себя, но и за жену, дочь, за внучек. Наверное, поэтому при прощании с «парламентерами» ГКЧП был внешне спокоен, подал им руку (на что потом они напирали, как на едва ли не главную деталь, уличающую его в соучастии).

Из его кабинета депутация вышла понурой: обговоренный сценарий, столкнувшись с непредвиденно жестким отпором Горбачева, обнаружил свою полную непригодность. Расчет на то, что, поднажав на него, можно будет вновь разыграть вильнюсский вариант теперь уже в Москве, не оправдался. Хотя организаторы путча теоретически предусматривали такой поворот событий, но одно дело рассуждать о «решительных мерах», которые придется применить, в том числе и к «взбеленившемуся» президенту, другое — начать их осуществлять. Еще не успев начаться и споткнувшись о Горбачева, путч соскочил с колес, проложенной для него стратегами ГКЧП, и стал сползать к откосу.

Было решено действовать по заготовленному «жесткому» варианту. Забрав с собой в Москву личного президентского охранника В.Медведева и заблокировав «ядерную кнопку», Ю.Плеханов оставил вместо себя своего зама В.Генералова и распорядился о полной изоляции президента от внешнего мира. Гаражи с машинами и аппаратами связи в них были опечатаны и взяты под охрану автоматчиками, въезд и выезд с дачи были закрыты, по внешнему периметру установлена новая охрана, и с моря «объект» прикрыли сторожевые корабли, с аэродрома в Бельбеке эвакуированы вертолет и резервный самолет президента. На «золотую клетку» повесили увесистый амбарный замок.

Чуть позднее, отрабатывая утвержденный сценарий, тот же Ю.Плеханов потребовал от начальника Четвертого главного уп-

равления Д.Щербаткина представить медицинское заключение о нарушении мозгового кровообращения у президента и о необходимости ему соблюдать постельный режим. Эти документы должны были поступить от врачей до начала пресс-конференции членов ГКЧП вечером 19 августа. Но и не дожидаясь его, в своих достаточно путаных объяснениях случившегося перед встревоженными депутатами, представителями союзных и автономных республик и поднятыми по тревоге министрами Янаев, Лукьянов и Павлов, изображая скорбь на лицах, рассказывали о «драматическом состоянии» президента. Увлекаясь враньем, добавляли подробности о «не отходящей от его постели» Раисе Максимовне и фантазировали о причинах столь внезапного несчастья. В.Крючков в разговоре по телефону с лидерами Киргизии, Белоруссии и Украины — А.Акаевым, Н.Дементеем и Л.Кравчуком — ссылаясь на тяжелое заболевание президента и якобы уже имеющееся заключение врачей. А.Лукьянов, «объясняясь» с Р.Хасбулатовым и И.Силаевым, чтобы уйти от детальных расспросов, сам перешел в атаку на демократов: «Это ваш Ельцин ввел Горбачева в нервный шок». Депутатам союзных республик спикер заявил, что у него есть медицинское заключение о болезни Горбачева, в котором написано «такое, чего обнародовать нельзя».

Только в своем кругу путчисты называли вещи своими именами. Когда Янаев, вызванный Крючковым в Кремль 18 августа, узнал, что ему в связи с «болезнью Горбачева» предстоит взять на себя президентские полномочия, он поинтересовался: «Что все-таки с Михаилом Сергеевичем?» — на это последовал ответ: «А тебе-то что? Мы же не врачи. Сказано же, болен! И вообще, сейчас не время разбираться. Страну спасать нужно!» Приехавший уже после него А.Лукьянов вопросов о болезни президента почему-то не задавал.

Тем временем «больной» Горбачев с его избыточной энергией, очередными задуманными планами, с проклюнувшимися надеждами на выход, как ему представлялось, из самого тяжелого кризиса перестройки, оказался в положении всадника, выброшенного на полном скаку из седла, приговоренного, может быть, к самому тяжкому для его деятельной натуры наказанию — пытке ожиданием. Когда после ухода «москвичей» Раи-

са Максимовна и Ирина вбежали к нему в кабинет, у них оборвалось сердце: в комнате никого не было. Готовые к худшему, женщины бросились на балкон — Горбачев стоял там и казался даже спокойным. В конце концов, в сложившейся ситуации он сделал все, что мог, и повлиять на дальнейшее развитие событий было уже не в его власти. Оставшись без привычных источников информации — ему пришлось довольствоваться маленьким транзисторным приемником, принимавшим передачи, по счастью, «разглушенной» русской службы «Свободы» — телевизор заработал только на второй день заточения, — Горбачев узнавал новости о событиях не только в Москве, но и... о самом себе из угрюмых, как сводки Совинформбюро, реляций ГКЧП. Очутившись за тройным кольцом оцепления, он оказался в положении Наполеона на острове Эльбы, правда, с одной существенной разницей: чтобы «высадиться на континенте» и вернуться в столицу, ему, в отличие от французского императора, приходилось рассчитывать не на свою «гвардию», а на политических соперников.

Мог ли он попробовать «прорваться на волю», как судачили потом критики, упрекавшие его в «бездействии»? «Как бы это выглядело? — спрашивает Ирина, пережившая рядом с отцом эти страшные дни. — Карабкаться через горы с женой и двумя малолетними внуками? Или оставить нас с мамой и детьми заложниками, а самому ринуться в расставленную почти наверняка на этот случай ловушку? И облегчить путчистам их задачу, подставив себя под «случайную пулю»?

Горбачев делал то немногое, что в состоянии делать заточенный в четырех стенах узник, даже если три стены — горы, а четвертая — море: заявлял протесты В.Генералову и вручал ему для передачи в Москву свои требования о восстановлении связи и присылке самолета, записывал на видеопленку, в подтверждение своего политического алиби, тайком даже от оставшейся ему верной охраны свое опровержение распространяемой ГКЧП версии событий. И еще, как можно чаще появлялся на балконе дачи и на пляже, чтобы хотя бы с моря наблюдавшие за Форосом моряки видели, что, вопреки официальным сообщениям, он жив и здоров. Кстати, возможно, даже такая, бесильная демонстрация сыграла определенную роль, поскольку,

как установило следствие, группа военных моряков всерьез обсуждала возможность десантироваться на берег и вызволить из заточения президента.

Защищаясь от обвинений в государственной измене, организаторы переворота и во время следствия, и на суде, и особенно после амнистии в своих обрастающих деталями интервью говорят о «самоизоляции» Горбачева, о том, что у него якобы оставались возможности связи по каким-то еще работавшим телефонам. Один утверждает, что он мог «пойти в гараж и позвонить из машины», другие не верят, что у президента не было столь доступного ныне «мобильника». Смысл этих утверждений понятен: слишком многих политических недругов (и не только из лагеря путчистов) устроило бы, окажись он связан с путчем, предстань перед миром, пусть даже косвенным, соучастником или соорганизатором.

Конечно, вместо того чтобы отвечать за «попытку захвата власти», как сформулировало обвинение следствие, путчистам лучше было изобразить себя «идеалистами», защитниками союзного государства, которые «предприняли действия против Президента СССР, но исключительно в интересах Родины» (версия В.Крючкова), или людьми, считавшими, что выполняют мандат общенародного референдума в поддержку Союза (версия А.Лукиянова). Но еще лучше, если окажется, что и сам Горбачев «немножко путчист», поскольку-де намеренно удалился в Форос, чтобы руками сторонников Союза расправиться со своими соперниками — демократами, начиная со своего главного политического оппонента Б.Ельцина.

Одна версия здесь противоречит другой, но это далеко не единственное противоречие в истории августовских событий. «В путче нет логики, — считает В.Бакагин, — ни в действиях одной, ни другой стороны». Придется, видимо, принять его утверждение как самое близкое к истине и признать, что, подобно русскому бунту, «советский путч», будучи столь же бессмысленным, мог вполне оказаться еще и... бесполезным, вернее, пагубным для его же организаторов.

Что касается Горбачева, то его политическая и историческая ответственность за августовские события и без того достаточно велика, чтобы пытаться «пришить» еще и соучастие в уголов-

ном преступлении только для того, чтобы дополнительно замарать в глазах обывателей. Дотошное следствие разобралось во всех нюансах фюрорской истории и утверждает категорически: никакой связи, включая стратегическую, у Президента СССР после ее отключения Ю.Плехановым примерно в 16.30 18 августа и до ее восстановления по его требованию прилетевшим в Крым Крючковым не было. Маловеерам стоит перечитать выдержку из письма бывшего шефа КГБ, написанного Горбачеву из Лубянской тюрьмы 25 августа: «Когда Вы были вне связи, я думал, как тяжело Вам, Раисе Максимовне, семье, и сам от этого приходил в ужас и отчаяние...»

Все демарши интернированного президента не могли изменить главного в его положении: впервые в жизни с того момента, когда он сам выбрал юрфак МГУ и соответственно свою судьбу, она оказалась не в его собственных, а в чужих руках. Прежде всего, путчистов — людей, которых он выбрал сам, но на чью порядочность и даже на чей здравый смысл, как выяснилось, не мог положиться. Больше того — его политическое будущее, а может быть, и жизнь зависели теперь от поведения и отношения к нему тех, кто в последнее время превратился в его активнейших критиков и политических соперников. С ними, с их решимостью противостоять путчу приходилось теперь связывать последние надежды. Устоит ли российский президент перед посулами или угрозами путчистов, обратится ли так же, как в январе, к армии с призывом не повиноваться «преступным приказам» и не применять оружие против гражданского населения? (А ведь тогда, узнав о подобном обращении Ельцина к военным, Горбачев бросил в сердцах: «Да он просто рехнулся».) Теперь президент мог полагаться лишь на демократов и их сторонников, которые вчера требовали его отставки, а сейчас, опоясав живой цепью Белый дом, стали главной безоружной силой, заставившей маршала Язова отдать войскам ночью 20 августа приказ «Стой!» Он надеялся на демократическую прессу, которая безжалостно нападала на него зимой, а в августе, не колеблясь, выступила в его защиту и бросила вызов введенной ГКЧП цензуре и запрету на выход в свет и в эфир. Все они совместными уси-

лиями остановили путч и вызволили своего президента. Но и сам он был в числе одолевших путч, поскольку первым, не зная, естественно, ничего о своей дальнейшей судьбе, безоговорочно сказал «нет» шантажу ГКЧП.

В своем флоросском затворничестве Горбачев, конечно же, не знал, окажет ли вообще какое-нибудь влияние на «авантюристов» его отказ от пособничества им. Не знал, что когда вернувшиеся из Фороса парламентареры рассказали, как Горбачев «возмутился» и «обиделся» (по выражению Язова), это привело прежде хорохорившихся заговорщиков в смятение. Да и свыше были «дурные знамения»: надо же, чтобы у машины, на которой О.Бакланов возвращался по ночной Москве с аэродрома, лопнуло колесо прямо напротив Лефортовской тюрьмы, где он и оказался через несколько дней.

Первым вопросом приехавшего в Кремль Лукьянова, которому Крючков немедленно уступил председательское место, был: «Ну, что Горбачев?» Павлов и Янаев, перебивая друг друга и матерясь, принялись рассказывать о том, что произошло в Форосе. «А у вас есть план?» — задал второй вопрос Председатель Верховного Совета. «Нет», — признался Язов. «Есть», — сказал Крючков. С этой минуты, хотя, как потом выяснилось, слишком поздно, Лукьянов начал рисовать для себя «андроповскую елку» возможных вариантов. Он отверг предложение возглавить ГКЧП: представитель законодательной власти должен остаться вне его, так как по Конституции (ее текст он предусмотрительно захватил с собой) замещать недееспособного главу государства должен вице-президент. «Если вы хотите, чтобы я вам помог, я могу написать заявление о том, что предлагаемый новый Союзный договор неконституционен». Что он и сделал той же ночью, в результате чего наутро указы ГКЧП были опубликованы вместе с его заявлением в качестве их юридического обоснования. (Позднее Анатолий Иванович изменил дату на тексте своего заявления, чтобы создать впечатление, будто оно написано за несколько дней до путча и независимо от него.) Правда, и самим путчистам он тогда объяснял, что их акция останется неконституционной затеей, по крайней мере до тех пор, пока ее не одобрит Верховный Совет, который он пла-

нировал созвать 26 августа. Понятно, что к этому времени и депутатам, и спикеру уже было бы ясно, следует ли задним числом оправдывать путч, или, напротив, осуждать, официально превращая его организаторов в преступников.

По-разному повели себя, узнав об отказе Горбачева санкционировать создание ГКЧП, и другие его члены. Болдин твердил, что Горбачев все равно «этого не простит», и дожимал еще колебавшегося Янаева самым страшным для него самого аргументом: «Нам теперь с вами назад дороги нет». В последующие дни он почел за лучшее укрыться в больнице от настигавшего уже самих путчистов спровоцированного ими вала событий. Павлов тоже буквально намеренно вывел себя из строя мощной дозой спиртного, вызвавшего гипертонический криз.

Свою игру повел и Крючков. Он отказался от «крайнего сценария», выработанного в недрах его ведомства. Не решившись «завернуть» самолет с Ельциным в Чкаловское, он не дал команды о его задержании и на даче, хотя люди «Альфы» туда были направлены. Более того, в какой-то момент даже обсуждал по телефону с Ельциным вопрос о возможности своего «политического» выступления перед депутатами российского Верховного Совета, а позднее именно с ним согласовывал направление в Форос самолета с А.Руцким и И.Силаевым. (Несмотря на заверения Крючкова, до самого момента посадки в Бельбеке этот самолет держали на мушке службы ПВО, готовые его сбить и ждавшие лишь, что по радиосвязи прозвучит обговоренный пароль — «Акула».)

...До поздней ночи 20 августа подчиненные министров-силовиков вели подготовку к операции «Гром» — вооруженному штурму Белого дома со «стрельбой на поражение», задачей которого, согласно подготовленному сценарию, было «пробить проход для “Альфы”», чьи бойцы должны подняться на 5-й этаж, локализовать Ельцина и переправить его в Завидово. Вину за предполагаемые жертвы имелось в виду возложить на «безответственные и экстремистские действия российского руководства». (Позднее примерно этот сценарий будет успешно реализован уже самим Ельциным при штурме Белого дома в октябре 1993 года.)

Наиболее решительно — «идти до конца», не считаясь с возможным кровопролитием, — были настроены О.Бакланов, В.Варенников и присоединившийся к штабу ГКЧП С.Ахромеев, прилетевший в Москву после 19 августа. Только после того как под гусеницами бронетранспортера случайно погибли первые демонстранты, заместители Крючкова, Язова и Пуго, объехавшие ночью «театр» предполагаемых действий, обнаружили, что вокруг Белого дома находится примерно 50—60 тысяч человек и что при штурме будет пролито «море крови» (по выражению А.Лебеда). Когда об этом доложили министру обороны Д.Язову, маршал-фронтовик сказал: «Стрелять не дам!» — и, уже не советуясь с остальными членами ГКЧП, отдал приказ о выводе войск из Москвы. Приехавшим на следующее утро его переубедить О.Шенину, В.Крючкову и О.Бакланову, к которым позднее присоединился Лукьянов, он заявил: «Мы проиграли. Умели нашкодить, надо уметь и отвечать. Полечу к Михаилу Сергеевичу виниться».

На этом путч кончился. Полтора часа, упрекая друг друга в нерешительности, «комитетчики» проспорили, «перегрызлись», — потом скажет Д.Язов, — как пауки в банке», и, наконец, решились лететь к Горбачеву. На этот раз объясняться отправились не «порученцы», а главные застрельщики: В.Крючков и Д.Язов. А Лукьянов и В.Ивашко вылетели в Форос тем же самолетом, но «отдельно» от членов ГКЧП, потому что им «не в чем было каяться». Впоследствии Анатолий Иванович будет одним говорить, что именно он настоял на выводе войск из Москвы, когда почувствовал, что законодательной власти «пора брать управление событиями на себя». В разговоре с другими — презрительно отзовется о членах ГКЧП как об «авантюристах», назовет путч «заговором обреченных» из-за того, что он был организован «помощниками». Очевидно, он имел в виду помощников Андропова — В.Крючкова и его команду, людей, привыкших выполнять чужие указания и неспособных, как их шеф, идти по избранной стезе до конца. Примечательно, что, в сущности, такое же суждение высказал и Г.Шахназаров, разумеется, не сожалевший, что все кончилось холостым залпом: «Если бы во главе этой команды оказался человек решительный, не заботящийся о последствиях, способный дать команду

стрелять в толпу, как, например, Ельцин, может быть, у них бы и получилось...»

Горбачев, запертый в Форосе, разумеется, не знал о том, что происходило за кулисами путча. «Мы сидели, как в яме», — вспоминает Ирина. Поэтому, когда по радио объявили, что в Крым направляются Язов и Крючков, пообещавший журналистам предъявить доказательства недееспособности Президента СССР, они не знали, к чему готовиться. Первое, что в этой ситуации пришло им на ум, — в ближайшие часы Горбачева будут приводить в то состояние, которое было под диктовку КГБ указано в медицинском заключении у Четвертого управления. Именно в этот момент у Раисы Максимовны случился острый гипертонический криз, который поначалу даже Ирина и ее муж Анатолий, сами врачи, приняли за микроинсульт. Нарушилась речь, почти отнялась половина тела...

На территорию дачи В.Крючкова, Д.Язова и О.Бакланова, как и три дня назад, привел Ю.Плеханов. Но перед домом их остановила вооруженная охрана, предупредив, что будет стрелять. Напрасно зам. начальника «девятки» В.Генералов, который еще недавно грозил горбачевским телохранителям судьбой охранников Н.Чаушеску, матерясь, кричал на них: «Опустите оружие, щенки! Не позорьте меня!» Пообещав Горбачеву, что будут с ним до конца, они были настроены решительно. «Эти будут стрелять», — мрачно подтвердил Ю.Плеханов, когда телохранители отказались пропустить и «отдельно» прилетевших А.Лукьянова и В.Ивашко.

В ответ на просьбу В.Крючкова принять его Горбачев потребовал включить связь. После некоторых колебаний и оговорок, что это займет не меньше получаса, шеф КГБ отдал команду. Арестованный Горбачев вновь стал Президентом. Первый, с кем он связался, был Ельцин, потом комендант Кремля и несколько республиканских лидеров. Почувствовав, что штурвал власти опять в его руках, он позвонил Дж.Бушу, чтобы подтвердить: вторая ядерная сверхдержава снова стала управляемой.

(Несостоявшийся член горбачевского Совета безопасности В.Болдин впоследствии усмотрит в этом звонке желание Горбачева поскорее связаться со своими западными «патронами».)

Тем временем на дачу прибыла российская делегация — А. Рущкой и И. Силаев, а также прилетевшие вместе с ними из Москвы Е. Примаков и В. Бакагин. В их присутствии Горбачев согласился выслушать Лукьянова и Ивашко. Те объяснили, что «они ни при чем», и оправдывались за бездействие парламента и ЦК: В. Крючкова, Д. Язова и О. Бакланова, которых он принять отказался, под охраной отвезли на аэродром. Ю. Плеханов, сидя в машине рядом с В. Генераловым, раздраженно буркнул ему: «Собрались трусливые старики, которые ни на что не способны. Попал, как кур в ошип». На следствии В. Генералов вспоминал, что его бывшие начальники выглядели, «как нашкодившие пацаны». Особенно жалко, «как прапорщик в повисшем ките-ле», смотрелся маршал Язов.

В Москву с форосской дачи, которая, к счастью, не стала еще одним «домом Ипатьева», Горбачевы возвращались на самолете российской делегации. Внушек уложили спать на полу. В соседнем салоне под присмотром охраны фактически в качестве заложника летел главный организатор «путча помощников» — Крючков. Его взяли в этот же самолет из предосторожности, чтобы никому из его подчиненных не пришла в голову идея произнести-таки в радиозфире зловещее слово «Акула».

Морок путча развеялся. Горбачев избежал того, чего боялся все эти годы, — «хрущевского варианта». Однако за эту бесспорную победу ему пришлось расплатиться помимо непоправимого политического ущерба и другой, непомерно высокой для него ценой — здоровьем Раисы. Надо было видеть ее глаза, когда она спускалась, прижимая к себе внучку, по трапу самолета, вызволившего их из форосского плена, — это были глаза смертельно раненного человека.

«Если кому-то нужно было убедиться в том, что для Горбачевых путч был тяжелейшим не только политическим, но и психологическим ударом, — рассказывает следователь Генпрокуратуры Л. Прошкин, записывавший месяц спустя показания Раисы Максимовны, — достаточно было посмотреть на нее в сентябре. Мы час готовились с ней к тому, чтобы начать вспоминать о событиях тех трех дней, и потом столько же времени успокаивали ее после того, как она все рассказала...»

В один из дней сразу после возвращения из Крыма Михаил Сергеевич, придя домой, застал заплаканную жену: она сожгла всю их переписку. Не могла перенести, что чьи-нибудь чужие руки и глаза могут обшаривать их общее, только им двоим принадлежавшее прошлое. «Мы ведь все последнее время жили как бы в чужом доме, — вспоминает Ирина. — Все висело на тонкой ниточке. Не знали, какая из властей — КГБ или демократы — в него вломятся». Сама она вслед за матерью тоже уничтожила дневники, которые вела несколько лет. Если Раиса Максимовна сожгла переписку с мужем после путча коммунистов, ее дочь — в предчувствии неминуемой отставки отца и прихода к власти ельцинской команды. «Я стараюсь стереть из памяти некоторые особенно тягостные воспоминания, — говорит она. — И мне это удается. Я практически не вспоминаю Форос. Так спокойнее жить. Наверное, это защита от пережитого стресса. Мой способ выжить. У мамы, по-моему, это не получилось...»

Глава 10 1991: ХРОНИКА ОБЪЯВЛЕННОЙ КАТАСТРОФЫ-2

«ДРУГОЙ» ГОРБАЧЕВ

Из форосского плена президент вернулся, как он сам не раз говорил, другим человеком. И дело было не только в нем самом, в том, что он пережил и передумал за время крымского заточения. Он стал другим — «человеком, похожим на Горбачева», — для собственной страны. Во-первых, потому, что за эти дни, пройдя на волосок от гражданской войны и пережив испуг от появления танков в Москве, а потом эйфорию после поражения путча, она сама неузнаваемо изменилась. Во-вторых, другими стали взаимоотношения между Горбачевым, бывшим до путча неоспоримым «хозяином в доме», и теперь уже номинально возглавляемым им государством.

В глазах многих именно он нес ответственность за случившееся, приблизив к себе будущих путчистов и превратившись фактически в их заложника еще до того, как они интернировали его на форосской даче. Да и своим освобождением он оказался обязан главным образом не собственным действиям (хотя, разумеется, его решительный отказ принять ультиматум заговорщиков спутал все их планы), а неожиданному для гэкачепистов сопротивлению демократических сил и населения, показавшему, что нового варианта закрытого Пленума ЦК КПСС, как в октябре 1964 года, или бескровного государственного переворота им организовать не удастся.

После Фороса Горбачев превратился в политического должника своего заклятого соперника Бориса Ельцина, благодаря чьему решительному поведению он вновь оказался в Кремле. Все эти роковые промахи президента, новый ущербный статус сильно ударили по его авторитету правителя. Ведь в сознании российских (и советских) граждан веками складывалось представление о национальном руководителе, как о помазаннике Божьем, о дарованном свыше «отце родном», независимо от того, носил ли он царскую мантию, или титул генсека.

Главное же, после августовского потрясения принципиально изменилась его политическая роль в обществе. Ушли в прошлое времена, когда с начатой им перестройкой и с ним самим миллионы людей связывали надежды на быстрое и чудесное преобразование их жизни. Идеологическое раскрепощение, пьянящий воздух перемен и дарованные сверху политические свободы не могли служить бессрочной компенсацией за резкое падение уровня благосостояния и рост напряженности в обществе. Август же показал, что перестройка («заблудилась») и ее дальнейшее продвижение сулит уже не розовые перспективы (сам Горбачев назвал свои первые годы у власти «розовым периодом»), а хмурые будни и драматические проблемы. Ее инициатор и вдохновитель, еще недавно воспринимавшийся почти как Мессия, утратил прежний ореол святости и репутацию непогрешимости.

Не выглядел он незаменимым и в своей родной стихии — политической среде. До путча центрист Горбачев, хотя и подставлял бока под обстрел с обоих флангов — радикалов и консерваторов, — но препятствовал, как уже говорилось, их прямому столкновению и воспринимался каждой из противоборствующих сторон как ключевая фигура, которую надо завоевать на свою сторону, а не устранить. Одна популярная газета этой эпохи изобразила Горбачева канатоходцем, идущим с завязанными глазами, которому собравшиеся внизу зрители кричат: «Давай чуть-чуть влево!» и «Давай немного вправо!»

Партийная номенклатура пасовала перед ним всякий раз и отступала, когда он грозил своей отставкой не только из-за комплекса чиновничества, въевшегося в сознание аппаратчиков,



1990 г. Михаил Горбачев становится Президентом СССР.

Пять лет «революции обещаний» неузнаваемо изменили и одновременно измурили страну. Заканчивался очередной «решающий» год, а чудо стабильности и процветания снова откладывалось...

XXVIII съезд КПСС (июль 1990 г.) Горбачев с неизмеримым напряжением сумел обратить в очередную тактическую победу, усмирив на время консервативную оппозицию ценой уступок, жертв и компромиссов.



По Москве прокатилась волна митингов, организованных демократической оппозицией под лозунгом «Демократия в опасности!»



Для Ельцина съезд стал сценой, на которой он эффектно разыграл свой уход из партии, и трамплином для начала главного витка своей политической карьеры.



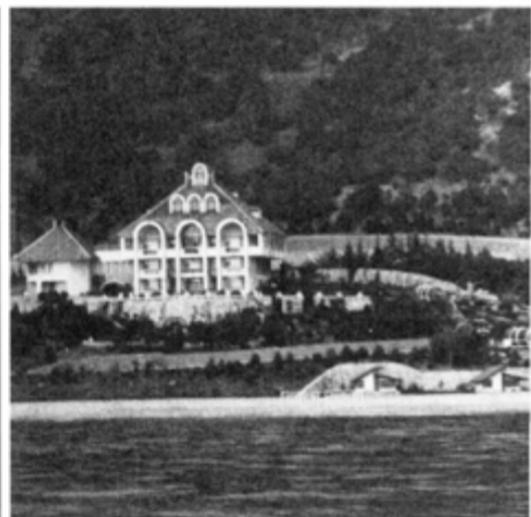
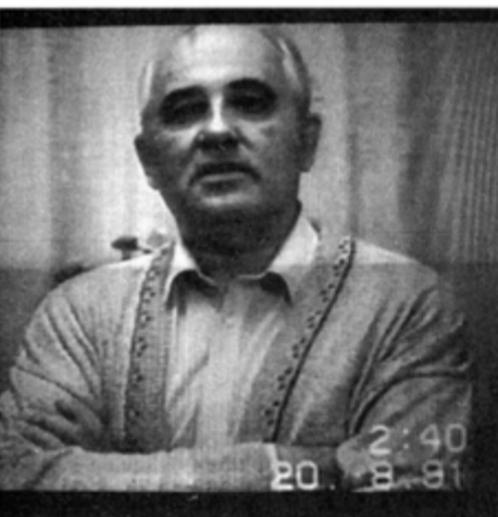
Двадцатилетняя дружба Горбачева и Лигачева закончилась их публичным противостоянием, когда генсек в лицо сказал Егору Кузьмичу, что не хочет видеть его своим замом.

Нелепая акция по обмену денежных купюр, затеянная премьер-министром В. Павловым весной 1991 г., вызвала крайнее озлобление населения.



Угроза бастовавших шахтеров начать всеобщую стачку была приговором перестройке тех, в чьих интересах она в принципе была затеяна.

Москва, 19 августа 1991 г. Пресс-конференция членов ГКЧП (слева направо)
А. Тизякова, В. Стародубцева, В. Пуго, Г. Янаева, О. Бакланова.
«Опереточный путч», «заговор обреченных»...



Интервью на Форосской даче президент тайком от всех записал
на видеопленку опровержение распространенной ГКЧП версии событий.

Заместители Крючкова, Язова и Пуго, объехавшие ночью 20 августа «театр» предполагаемых действий, обнаружили, что на защиту Белого дома встали 50–60 тысяч человек. Тогда министр обороны гекачепист Д. Язов сказал: «Стрелять не дам!»

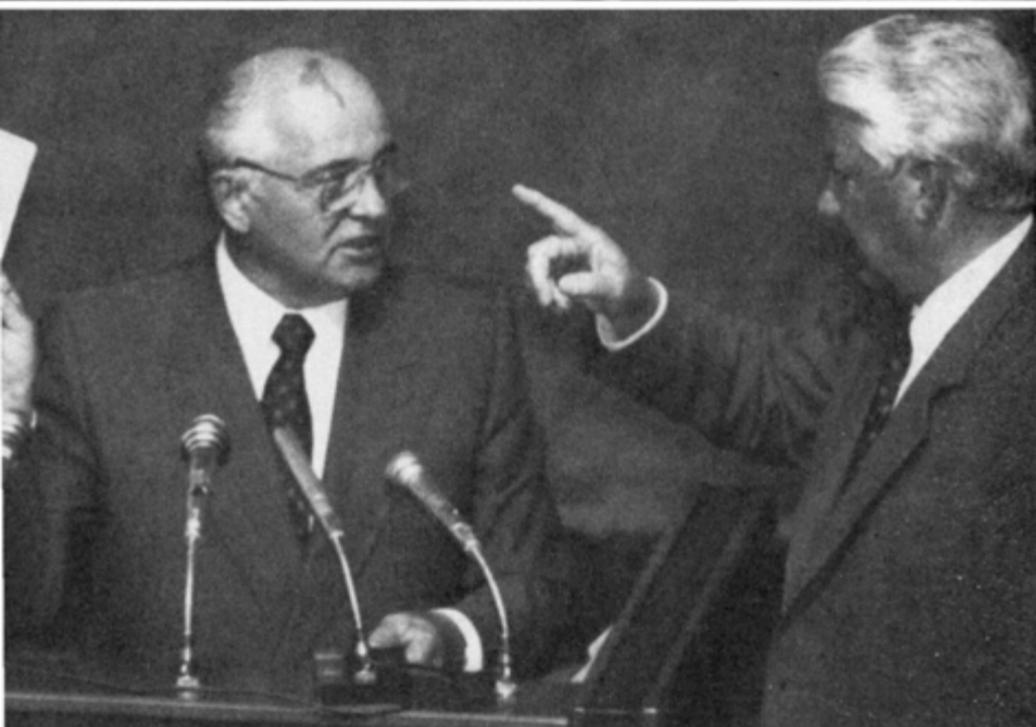
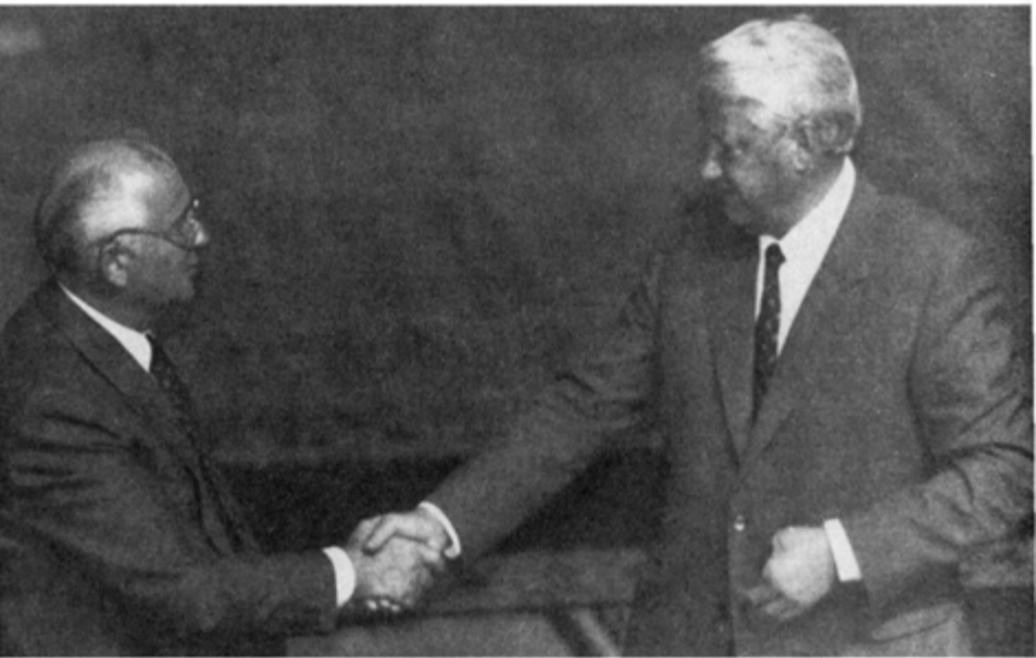


Несмотря на то, что защитники Белого дома скандировали «Пре-зи-ден-т!», Горбачев был им уже не нужен.



20 августа Горбачевы вернулись в Москву с Форосской дачи, которая, к счастью, не стала еще одним «домом Ипатьева».

*Из Фороса президент вернулся другим человеком, в другую страну.
В глазах людей именно он нес ответственность за случившееся,
приблизив к себе будущих путчистов.*



*Прилюдное унижение, которому Ельцин подверг Горбачева
в российском парламенте 22 августа, многие восприняли как цену,
которую пришлось заплатить Президенту СССР за возвращение в Кремль...*

Политическая ответственность руководства КПСС за августовскую драму дорого обоилась партии. Отречением 23 августа от своего поста генсек подписал этой партии приговор.



24 августа на Манежной площади прошел траурный митинг в память о погибших в дни переворота трех молодых москвичих.

Горбачев бился за сохранение Союза до конца. 14 ноября 1991 г. он предоставил возможность Борису Ельцину объявить журналистам: «Договорились, Союз будет!» Однако уже 25 ноября тот без лишних объяснений отказался подписать уже согласованный проект союзного договора.



В открытой для любых вариантов формуле «Союз сохранить нельзя распустить» беловежская тройка — Л. Кравчук, С. Шушкевич и Б. Ельцин расставила знаки препинания, тайно подписав ночью 8 декабря соглашение о создании Содружества Независимых Государств.

20 декабря в Москве тысячи людей протестовали против сепаратной сделки в Беловежье, требовали не допустить распада СССР.



На алма-атинском блиц-саммите главы 11 республик подписали 21 декабря Декларацию о создании Содружества Независимых Государств. Советский Союз прекратил свое существование, не дожив нескольких дней до своего 69-летия.

Тэд Коппол, ведущий обозреватель американской телекомпании Эй-би-си, который снимал последние дни советской власти, сказал, что уход Президента СССР останется для него примером политического и личного достоинства.



Журналисты из американской Си-би-эс поставили вопрос в лоб: «Вы не считаете, что Ельцин и другие лидеры республик вас унижают?» В ответ — демонстративная отрешенность, явно используемая для защиты раненого самолюбия: «Я оставляю это на совести этих людей».

«Сдача» Кремля Ельцину состоялась 23 декабря.

25-го декабря Президент СССР, заметно волнуясь, произнес перед телекамерами свою речь об отставке. 1991 год, оказавшийся роковым для коммунистического режима и советского государства, заканчивался...



Не только сам Михаил Горбачев, может быть, не лучшим образом распорядился выпавшим ему историческим шансом, но и советское общество, в особенности его политическая элита и интеллигенция, да и мир в целом не использовали в полной мере «шанс Горбачева».

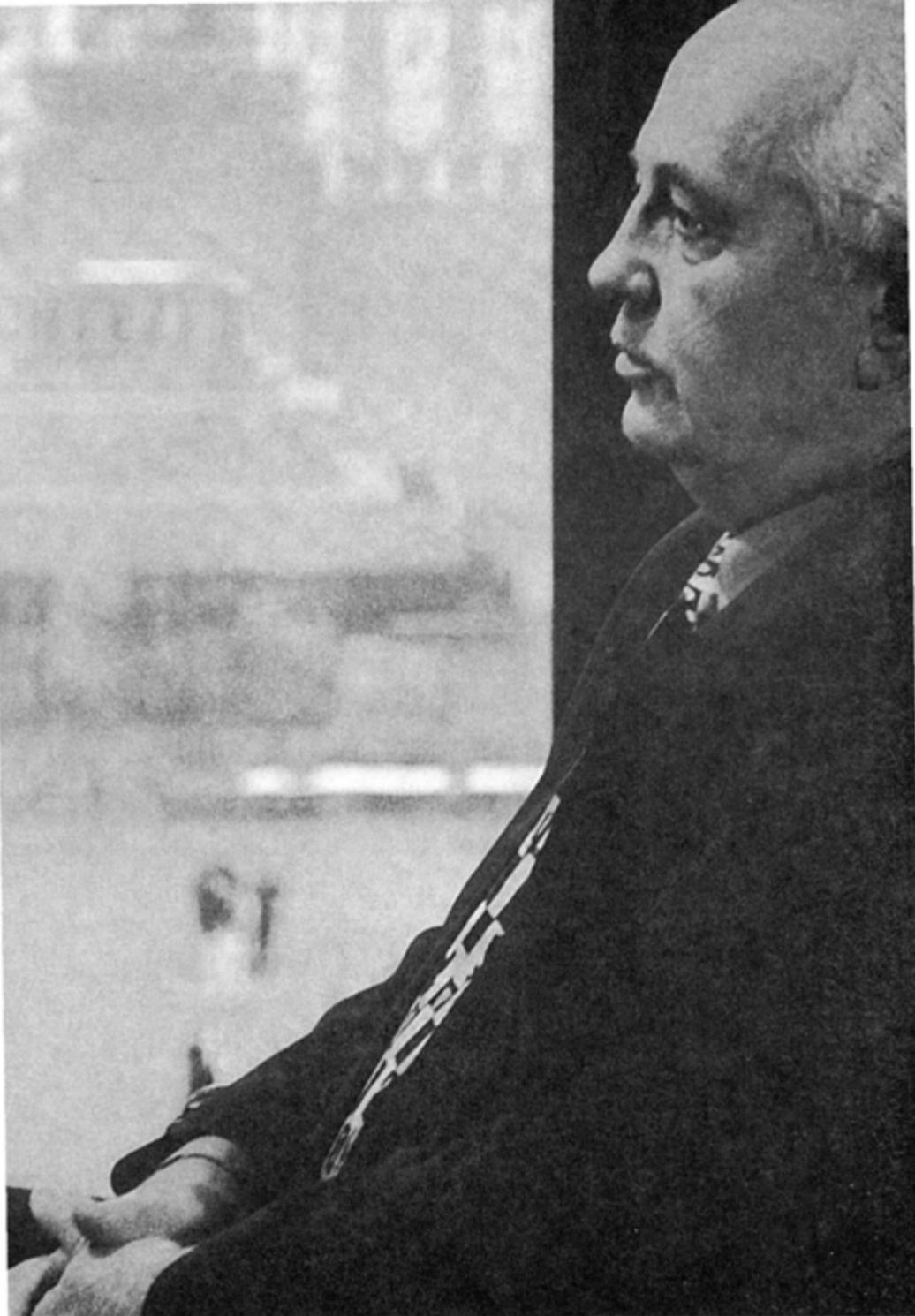
*Ельцин с подозрением отнесся к созданному Горбачевым Фонду, считая, что он может стать «гнездом оппозиции».
На фото: рядом с Горбачевым его верный соратник Г.Шахназаров.*



Психологические причины пойти на президентские выборы в 1996 г. были важнее политических. Горбачевым двигало стремление высказаться, объясниться с теми, кто в свое время в него верил.



Чуда, в которое до последней минуты верили отец и дочь, не произошло. 20 сентября 1999 г. Раиса Максимовна скончалась...



Жизнь прошла? Но какая из них, — ведь Михаил Сергеевич не раз говорил, что за годы перестройки прожил несколько жизней. Конец XX века останется эпохой Горбачева уже потому, что он сокрушил царившую на половине земного шара и казавшуюся незьблемой Систему.

но и из-за боязни остаться в случае его ухода один на один с обществом, взбудораженным перестройкой и утратившим почтение перед властью.

Точно так же и радикалы как в Москве, так и в национальных республиках откровенно делали ставку, по крайней мере до вильнюсских событий, на то, что Горбачев удержит «на поводке» сводную темную рать партийного и репрессивного аппарата государства: не будь его запрета, она давно бы разметала самых отчаянных по тюрьмам и психбольницам, а более осторожных загнала бы обратно на кухни. Именно под горбачевским прикрытием планировали радикал-демократы и дальше наращивать свое наступление на позиции беспорядочно отступавших, хотя и огрызавшихся правых, оттесняя вместе с ними и самого генсека-президента.

Обуздывая партию, манипулируя общественным мнением и управляя государством, как колесницей, запряженной львами, он ухитрился «протащить страну» через такие необратимые перемены, которые в конечном счете и позволили ей самостоятельно, уже без его участия, одолеть путч. Так получивший необходимую прививку организм справляется с опасной инфекцией.

Однако, вскрыв начавший воспаляться внутренний нарыв и сведя лицом к лицу два враждебных политических лагеря, путч поломал теоретически безупречную горбачевскую схему. Подтвердив своим фиаско, что страна необратимо изменилась, выйдя из сферы притяжения прежнего режима, он одновременно вдребезги разбил вторую, более амбициозную часть горбачевского проекта: его мечту радикально реформировать старую систему, не прибегая для этого к насилию и революции. И пусть августовский заговор, как и победившая его революция в Москве, во многом имел театрализованный и символический характер (не учебники ли истории придают впоследствии титулы Великих событиям, которые могут в жизни носить карнавальный, а то и опереточный облик), вместе с победой ново-рожденной российской демократии он обозначил проигрыш Горбачевым его важнейшего пари: ставки на постепенные, эволюционные изменения. При этом он сам, твердивший как закливание, что людей не надо «ломать через колено», оказался в

значительной степени ответствен за то, что стране, которой он обещал благополучную и достойную жизнь, сначала августовские путчисты, а потом беловежские «зубры» сломали позвоночник. Почему так произошло, могли ли события пойти по лучшему или, быть может, худшему варианту, и кто, кроме Горбачева, виновен в происшедшем, — тема для отдельного исследования.

Сам же он из человека, дерзко замахнувшегося на историческую традицию, в одночасье стал жертвой собственного замысла. Низвергнутый «непредвиденными обстоятельствами» с трона или попросту оступившийся и потерявший корону монарх в глазах своих подданных, даже если они участливо подберут ее и помогут водрузить на место, перестает быть самодержцем. Повторная коронация, как второй брак, — невесте не положено надевать белое свадебное платье.

Несмотря на то что защитники Белого дома, узнав о его возвращении в Москву, скандировали «Пре-зи-дент!», на самом деле прежний Горбачев был им не нужен. Перестав эффективно выполнять роль графитового стержня, опущенного в ядерный реактор спровоцированной им самой новой русской смуты, он исчерпал значительную часть своей миссии. Оставалось или сойти с политической арены, или найти для себя новую роль...

В уходе со сцены даже самых выдающихся политических актеров нет ничего необычного. От политической, как и от обычной смерти не застрахован никто. И наступает она иного политика в самый неурочный час, когда тот ее не только не ждет, но считает этот акт неоправданным и несправедливым. Рассчитывать на признательность народов своим выдающимся национальным лидерам не приходится. Когда общество чувствует, что утратило потребность в своем вчерашнем вожде или кумире, оно равнодушно от него отворачивается. Черед памятников и восторженных мемуаров приходит позднее, когда тех, кому они посвящаются, уже нет в живых.

На нашей памяти такие политические колоссы XX века, как У.Черчилль и Ш. де Голль, были безжалостно отправлены на покой, как только нации, возглавляемые ими в критические времена, осознали, что больше не нуждаются в их услугах.

В аналогичной ситуации в августе 91-го оказался и М. Горбачев. И если он не был готов смириться с перспективой ухода, то вовсе не потому, что не успел «прочувствовать» масштаб перемен, происшедших в эти августовские дни в Москве и отозвавшихся во всех союзных республиках; и не из-за естественного для профессионального политика влечения к власти, а прежде всего из-за усиленного катастрофой Августа стремления продолжить спор с Историей, довести до успешного результата свой замысел, доказать собственной стране и миру, что «все еще возможно», и тем самым оправдаться за то, что произошло.

При этом он понимал, что в новых экстремальных условиях, чтобы снять с мели потерпевший крушение корабль Перестройки, потребуется «другой Горбачев», и собирался доказать, что способен им стать. Но прежде чем явиться стране в облике нового Президента, нужно было окончательно распрощаться со старым Генеральным секретарем...

В Кремль мы добирались с разных концов Москвы пешком. Проезд в Центр был закрыт, улицы, прилегавшие к Красной площади, пустыньны и чисто выметены, и только патрули на перекрестках, одетые в непонятную форму, напоминали о недавнем путче. Встретились у Лобного места, где еще три дня назад стоял, повернув ствол к Спасской башне, десантный танк, и через проходную у Спасских ворот прошли на территорию Кремля. Нас было немного — группа членов ЦК, избранного на последнем партийном съезде. Мы подготовили текст заявления, в котором призывали руководство партии признать свою политическую ответственность за августовскую драму и объявить о самороспуске Центрального Комитета. Перед обнародованием этого текста мы решили вручить его генсеку.

По пустым и гулким коридорам здания бывшего Совнаркома нас проводили до приемной Горбачева. На жаргоне охраны, которым она пользовалась при своем «радиобормотании», этот стратегический пункт кремлевской топографии назывался «Высота». Уселись за круглым столом в Ореховой гостиной, примыкающей к приемной президента. Эта небольшая комната была традиционным местом заседаний «узкого круга» членов

Политбюро, где «проговаривались», то есть решались самые серьезные и щекотливые вопросы. Здесь в ноябре 1979 года Л.Брежневым, Ю.Андроповым, Д.Устиновым и А.Громыко принималось решение о вводе советских войск в Афганистан. И здесь же в декабре 1991 года в ходе десятичасовой встречи Горбачеву предстояло обсудить с Ельциным условия своей отставки, завершив видимостью мира личный поединок двух людей, жертвой которого стала расколота, как орех, страна.

В августе столь скорая отставка президента еще представлялась немыслимой, — и Горбачеву, вновь захватившему свою «Высоту», и Ельцину, успевшему сделать несколько заявлений о готовности тесно сотрудничать с «новым» Горбачевым, и тем более нам, самозванно занявшим в Ореховой места членов уже давно распавшегося «узкого круга» Политбюро.

Он вошел в сопровождении члена Президентского совета Вадима Медведева. Мы встретились впервые после возвращения Михаила Сергеевича из Крыма, и меня поразили контраст между его прекрасным южным загаром, видом здорового, отдохнувшего человека и непривычным выражением лица. «Южные», с живым блеском глаза, на которые чаще всего обращали внимание те, кто впервые встречался с ним, как бы потухли и выдавали серьезную внутреннюю перемену, прошедшую с ним всего за одну неделю: он потерял прежнюю несокрушимую уверенность в себе, которой так заражал своих сторонников и подавлял оппонентов.

Прочитав текст, кивнул в знак одобрения и, в свою очередь, протянул нам пару листков бумаги: «Это мое заявление о сложении с себя полномочий генсека и указы о взятии под государственную охрану помещений партийных комитетов и другого имущества — типографий, партшкол, санаториев. Нельзя, чтобы в нынешней горячке из-за того, что проштрафилось руководство, пострадали ни в чем не повинные люди. Не дай бог нам скатиться к стихии венгерских событий 56-го года. Да и без всякой политики, из-за безвластия, просто под шумок у нас и разломать, и растащить все могут запросто», — объяснил Михаил Сергеевич смысл указов.

Разговор, естественно, зашел о судьбе партии. «Они сами перечеркнули шанс ее реформировать, который я им оставлял

до последнего дня. У меня совесть чиста», — он как бы заранее защищался от обвинений в том, что, будучи руководителем партии, от нее отступился. «Ведь они же предали своего генсека, не потребовали ни встречи со мной, не собрали Пленум ЦК». Что означало в его тираде «они», было трудно понять, ведь член Политбюро О.Шенин и секретарь ЦК О.Бакланов были в составе делегации ГКЧП, которая отвезла в Форос генсеку «черную метку».

«А кто, по-вашему, мог остановить путч, Михаил Сергеевич, после того как эта машина покати́лась?» — спросил я Горбачева. «Два человека, — не раздумывая, ответил он, — Лукьянов, как спикер парламента, и Ивашко, как второй человек в партии, который замещал меня в мое отсутствие». Мне вспомнились еще недавние политические бои на XXVIII съезде КПСС, когда, добившись учреждения поста заместителя Генерального секретаря, он был вынужден, вопреки своим обычным правилам, сделать публичный выбор между двумя кандидатами на этот пост: Егором Лигачевым, предложившим самого себя, и Владимиром Ивашко. «Интересно, — подумал я, — а как бы повел себя в этой же ситуации Лигачев?»

Конечно, в тот августовский вечер, когда в Ореховой гостиной вызволенный из форосского плена антикоммунистами генсек сводил политические счета с отступившейся от него партией, было бы бестактно задать еще один неприятный вопрос: «Не была ли выжидательная позиция руководства КПСС, лишённого, кстати, связи с Горбачевым, в каком-то смысле повторением его собственной позиции в разгар вильнюсских событий в январе этого же года?» По иронии истории семь месяцев спустя он сам оказался в ситуации, сходной с литовской, и вынужден был настраивать свой приемник на волну Би-би-си, чтобы узнать, когда и чем кончится «молчание ягнят» на Старой площади и в Верховном Совете. Так, эхо Вильнюса отозвалось в Форосе безжалостным напоминанием морального категорического императива: «Поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали с тобой». Хотя кто и когда из политиков ему следовал?

Но если напоминать о Вильнюсе в Ореховой было неуместно, то другой сюжет, имевший прямое отношение к заявлению,

которое он собирался подписать, мы обсудили: вопрос об отставке с поста генсека. Идея ухода Горбачева с высшей партийной должности уже не раз обсуждалась. Соратники советовали ему воспользоваться избранием главой государства, чтобы окончательно освободиться от оглядки на партийный аппарат. Горбачев верил, что для подготовки этой операции еще есть время до конца года, но не учел, что его противники тоже умели считать.

Многим казалось, что, согласившись на апрельском Пленуме остаться генсеком, он совершил ошибку и упустил, быть может, последнюю возможность выскользнуть из железных объятий товарищей по партии до того, как они поломают ему хребет. Такой уход, кстати, позволил бы ему сразу догнать по популярности своего главного соперника — Бориса Ельцина.

Вовремя не выпрыгнув из кабины локомотива партийного поезда, на всех парах летевшего в тупик, и продолжая предпринимать отчаянные попытки затормозить его или перевести на безопасный путь, Горбачев потерял драгоценное время и политическую инициативу и оказался, в конце концов, под обломками сошедшего с рельсов состава. Заявление о сложении им с себя функций Генерального секретаря должно было помочь ему выбраться из-под них...

...Внеся в подготовленный текст несколько изменений, возникших по ходу обсуждения, Горбачев еще раз прочитал нам теперь уже окончательный текст. Получилось, что именно под сводом Ореховой гостиной, многие годы собиравшей на сокровенные встречи членов высшего советского партийного руководства, впервые прозвучало официальное отречение ее последнего генсека.

В тот день никому из присутствовавших на этой скромной церемонии не пришло бы в голову провести параллель между тем, что происходило на наших глазах в Кремле, и отречением от престола последнего российского императора в вагоне царского поезда на псковском разъезде. Полный энергии Горбачев отнюдь не походил на деморализованного Николая, да и наша депутация, хотя и состояла из своего рода разочаровавшихся «монархистов», явно не имела полномочий Шульгина и Гучкова. Если в чем-то мы их и напоминали, так, пожалуй, в наивной

вере, что такими символическими жестами еще можно установить контроль над стихией политических событий.

...Месяц спустя я вошел в кабинет Горбачева, когда оттуда вышел раскрасневшийся министр иностранных дел Испании. Он был явно возбужден — то ли закончившейся встречей с советским президентом, то ли полученным сообщением о том, что вылет в Мадрид откладывается из-за незначительного повреждения его самолета, столкнувшегося на рулевой дорожке в Шереметьево с самолетом голландского коллеги. В эти сентябрьские дни 1991 года в столице собрались «все флаги»: здесь проходила запланированная задолго до путча Международная конференция по «человеческому измерению», проще говоря, по правам человека, и крупнейшие западные политики ухватились за эту возможность взглянуть своими глазами на Москву, пришедшую в себя после августовского инфаркта.

Помимо этого естественного мотива был и другой: засвидетельствовать Президенту СССР, вернувшемуся к исполнению своих обязанностей, поддержку и солидарность западных столиц. Особенно усердствовали посланцы тех лидеров, которые «дрогнули» в дни путча и, узнав о фактическом его смещении, либо заняли выжидательную позицию, либо выразили, как Франсуа Миттеран, готовность иметь дело с «новыми советскими властями».

Зато те, кто, как Джордж Буш, не бросил «дорогого Майкла» в беде, имели основание считать, что внесли свой вклад в победу российской демократии. Госсекретарь США Джеймс Бейкер, прибывший для участия в конференции, привез в подарок Горбачеву из Вашингтона почти как боевую реликвию американский флаг, который, по его словам, развевался над куполом Капитолия в день, когда «мы все за Вас молились» (позднее стало известно, что еще один флаг со столь же «героическим происхождением» был чуть ли не в тот же день вручен американцами Ельцину).

«Ты знаешь, — как бы продолжая уже начатый разговор, сказал Горбачев после того как мы поздоровались, — ведь Бейкер чуть ли не извинялся за то, что они не верили мне, когда я их предупреждал об опасности контратаки наших консервато-

ров». Горбачев явно имел в виду ледяной душ, которым встретили его в мае этого года в Лондоне. Тогда он обосновывал свой патетический призыв поддержать перестройку ссылками на то, что без финансовой страховки со стороны Запада переход СССР к рыночной экономике ударит по благосостоянию миллионов людей и активизирует его противников. Однако лидеры «семерки» уже смотрели поверх головы Горбачева на восходившую звезду Ельцина, а одна английская газета назвала выступление Горбачева на саммите попыткой пошантажировать Запад угрозой коммунистической реставрации. Американский президент сказал тогда о речи Горбачева своему помощнику по национальной безопасности генералу Б.Скоукрофту в привычной техасской манере: «Этот парень всегда так хорошо продавал свой товар, но, по-моему, на этот раз он был не в ударе».

Теперь, после августовского путча, едва не оборвавшего демократические реформы, Бейкер, признавая задним числом правоту Горбачева, воздал должное его политической стратегии: «Только теперь мы в полной мере осознали масштаб трудностей и опасностей, с которыми вам пришлось ежедневно сталкиваться. Стала понятной и тактика, избранная вами для нейтрализации консервативных сил в стране, тревожившая Запад, но, как видим, оправдавшая себя». Пересказывая свою беседу с госсекретарем США, Горбачев теперь уже как бы для себя повторял аргументы, объясняющие и, стало быть, оправдывающие его поведение в преддверии путча и потому хоть в какой-то мере ограничивающие личную ответственность за то, что не смог его предотвратить.

Августовская драма и реальностью общей угрозы, и счастливым завершением создала условия для его примирения с бывшими демократическими союзниками, ставшими в последние месяцы соперниками. Основой для этого стало демонстративное братание двух президентов — союзного и российского, которые в эти дни не уставали заверять мир, страну и друг друга в готовности отныне рука об руку трудиться для укрепления демократии, прошедшей через тяжелое испытание. Видимо, еще не осознав в полной мере открывшихся перед ним новых перспектив, Ельцин публично подтвердил готовность возобно-

вить новоогаревский процесс выработки Союзного договора. Прилюдное унижение, которому он тем не менее подверг Горбачева в российском парламенте, многие воспринимали как цену, которую пришлось заплатить Президенту СССР за возвращение в Кремль, и одновременно как плату за страх, который смогли за два дня своей авантюры нагнать на всю страну горе-путчисты.

Оба президента некоторое время так часто появлялись вместе, дав даже совместное на два голоса интервью Си-эн-эн, что начали походить на Ивана и Петра Романовых, деливших, как известно, хоть и непродолжительное время, один, специально сконструированный для такой нестандартной ситуации, царский трон. Увлечшиеся этим необычным политическим зрелищем западные аналитики даже прогнозировали совершенно сюрреалистическую поездку обоих лидеров в Нью-Йорк и их совместное (!) выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Однако зрителям этого спектакля в Москве было понятно, что развязка очередной кремлевской коллизии не может быть иной, чем три века назад. Оставалось лишь узнать, кто из двоих окажется новым Петром.

Как ни странно, в течение нескольких недель и даже месяцев ответ не был очевиден, хотя, наверное, и предreshен. Дело в том, что после августовского землетрясения политический пейзаж страны представлял собой груды руин. Опоры, на которых покоился старый советский режим — партия, КГБ и армия, — были дискредитированы путчем и фактически обвалились. Здание новой парламентской республики, над проектом и фундаментом которой так усердно несколько лет трудился Горбачев, обрушилось, погребя под обломками многоэтажный советский парламент — ведь его глава и значительная часть депутатов оказались на стороне путчистов. Формирование союзного государства, недавно зачатое в Ново-Огареве, завершилось «выкидышем». Путч спровоцировал «преждевременные роды», и в результате поспешно принятых большинством национальных республик деклараций о независимости на свет появилось сразу несколько суверенных государств, объединить которые даже в обновленную федеративную структуру было теперь сложнее.

И все же, едва переведя дух после пережитого испытания, Горбачев, как Сизиф, обхватив обеими руками глыбу Союзного договора, скатившуюся к подножию горы, начал вновь толкать ее вверх по склону. Сошедшая вниз августовская лавина оставила после себя широкую просеку, и на какое-то время показалось, что на его пути даже меньше помех, чем прежде. Ему больше не могли открыто противостоять ни партноменклатура, распинавшая его на пленумах ЦК, ни агрессивное и уже непослушное большинство Съезда народных депутатов. На противоположном фланге радикал-демократы, осознавшие, что главной мишенью путчистов был все-таки Горбачев, а не Ельцин, похоже, были готовы воздать должное его мужественному отказу подчиниться ультиматуму ГКЧП. В этой новой ситуации сложилось впечатление, что у Горбачева не осталось серьезных политических противников и ему не с кем больше бороться, кроме... самого себя.

В ситуации, когда новые обстоятельства лишили его прежних оправданий и отговорок, предстояло продемонстрировать стране, каков же истинный Горбачев. Тот, которому наконец нет необходимости маневрировать, заключать противоестественные тактические союзы, оглядываться на «правых», чтобы не дать им растерзать «левых», и притормаживать темпы преобразований в ожидании не поспевающей за ним страны. Это новое испытание стало для него едва ли не более трудным, чем флорская драма.

Человек, нацеленный на постепенные реформаторские преобразования, убежденный «эволюционер», отвергающий лихость и безоглядность профессиональных революционеров, оказался вынужденным состязаться в радикализме с теми, кого еще вчера сам называл экстремистами. Политик-центрист, мастер компромиссов, непревзойденный примиритель крайних точек зрения, ухитрявшийся убеждать людей с прямо противоположными взглядами, что сможет отстоять их позиции лучше, чем они сами, он оказался в ситуации, когда на посредников не было спроса.

И хотя радикальные поступки и популистские обещания скорых перемен не только противоречили еще недавним его позициям, но и претили натуре, ему не оставалось ничего другого,

как включиться в навязанную новыми обстоятельствами чужую игру. Страну захлестнула стихия нетерпения, и, чтобы сохранить свое положение политического лидера, он должен был ее возглавить. К тому же надо было торопиться — лимит времени, отпущенный ему замешательством после путча его соперников, стремительно таял. Удалившийся на юг и в очередной раз впавший в прострацию, Ельцин мог вернуться в Москву со дня на день. Горбачев понимал, что должен встретить его уже не как подобранный ельцинской командой капитан потерпевшего крушение корабля, а как человек, вновь по праву занявший место у штурвала.

Его еще недавно закадычные западные друзья наблюдали за этими усилиями советского президента с нескрываемым скептицизмом. Дж.Бейкер вспоминает, что вскоре после путча говорил своему президенту: «Дни Горбачева сочтены, если только он не станет большим демократом, чем Ельцин, что маловероятно», на что осмотрительный Буш заметил: такого политика, как Горбачев, рано полностью списывать со счетов.

Как бы подслушав эту дискуссию за океаном, он попытался за несколько недель наверстать отставание от Ельцина, которое накопилось со злополучной осени 1990 года — момента, когда их недолговечный политический союз, возникший на основе подписанного обоими проекта экономической реформы «500 дней», был де-факто расторгнут Горбачевым. Казалось, в эти недели он был готов вытащить из «загашника» все до сих пор откладывавшиеся смелые идеи, все революционные начинания и радикально звучащие термины.

Встречаясь в Кремле с банкирами и предпринимателями, Михаил Сергеевич заверял в готовности всячески поддерживать частную инициативу и защищать интересы российского бизнеса и самих бизнесменов при условии, что те будут «читать уголовный кодекс». Чтобы убедить, что это не просто слова, было объявлено о создании при Президенте СССР Совета по поддержке предпринимательской деятельности. Еще один такой Совет был обещан аграриям, на встрече с которыми Горбачев, весьма скептически относившийся к предложениям о передаче земли в частную собственность, показал себя сторонником «всех форм эффективного хозяйствования» на селе, включая и

фермерское. Любимым выражением, которое он как заклинание повторял в эти дни, похоже, в первую очередь самому себе, было: «Хватит переминаться с ноги на ногу. Надо активно двигаться вперед».

Между помощниками развернулось негласное соревнование: кто предложит Горбачеву самую неординарную встречу, «озвучит» с его помощью отвергнутую в свое время или отложенную до лучших времен оригинальную идею. «Социальный заказ» был очевиден: президенту надо было заполнить собой политическое пространство, хотя действовать приходилось все чаще в пространстве виртуальном, воображаемом, поскольку рычаги управления реальными событиями слушались его все хуже и хуже.

Одним из способов восстановления его статуса лидера союзного государства было общение с зарубежными партнерами. Он охотно принимал в Кремле иностранных визитеров, часто разговаривал по телефону с Г.Колем, Дж.Мейджором, Ф.Гонсалесом, что позволяло не только занимать первые страницы газет и телеэкран, но и помогало самому поддерживать душевный комфорт и внутреннее равновесие — Горбачев чувствовал себя при деле, ибо, по мере того как реальная власть перетекала к Ельцину, даже рабочий день было все труднее заполнить. Оправданием ему служило то, что в ходе этих переговоров он пытался если не решить, то хотя бы смягчить проблемы страны, стремительно входившей в кризис.

На выручку подоспел Дж.Буш, направивший ему, как в старые добрые времена, когда погоду в мире определяли две сверхдержавы, «на согласование» новые американские предложения по ядерному разоружению. Параллельно эти же предложения были переданы американцами и Ельцину, но пока ядерной «кнопкой» распоряжался советский президент, ясно было, что ответа ждут от него. В ответном письме Горбачев развил идеи Буша и тут же предложил провести очередной советско-американский саммит в какой-нибудь нейтральной стране (кто-то из помощников, размечтавшись, назвал было Азорские острова, но место встречи оставили на усмотрение американцев). Понятно, что такой новый «Рейкьявик» или «Мальта» не только восстановил бы международное реноме Горбачева, но и помог

оттеснить обратно на республиканский уровень Ельцина, незримо присутствовавшего даже во время его телефонного тет-а-тет с Бушем. Судя по всему, именно по этой причине американцы, не желавшие, чтобы их втягивали в «передел» установившегося после августа баланса сил в Кремле, проигнорировали это предложение.

Горбачев, надо думать, и сам хорошо понимал, что окончательное выяснение отношений с российским президентом может произойти только дома, в личной политической дуэли, и что ни Буш, ни Мейджор, ни Миттеран при всех симпатиях к нему, а часто и явном предпочтении перед Ельциным не решат за него эту проблему и ни в чем не смогут помочь. Главной же его слабостью в заочном споре с Ельциным было даже не то, что один оказался жертвой августовского путча, а другой вышел из него победителем, а разный уровень легитимности. В то время как его соперник был убедительно избран президентом реально существующего, хотя и не до конца оформившегося Российского государства, Горбачев, сделавший возможными эти выборы, но сам так и не решившийся предстать перед избирателями, возглавлял более чем символическую союзную структуру, авторитет которой откровенно ставили под сомнение входившие во вкус «самостийности» республиканские лидеры.

В этой ситуации «догнать» Ельцина он мог, только вновь обзаведясь собственным государством и выиграв в нем выборы. Вот почему на одном из первых же после августовских совещаний с помощниками он завел разговор о необходимости ускорить проведение президентских выборов. В условиях, когда не только текст Союзного договора, но и концепция нового государства еще не были согласованы между республиканскими вождями, эта идея выглядела нереальной. Кроме того, ущерб, нанесенный авторитету Горбачева даже провалившимся путчем, был настолько велик, а накопившаяся у людей усталость от перестройки и ее инициатора так ощутимы, что шансов выиграть такие выборы у него практически не было. Об этом, выбирая, разумеется, максимально тактичные выражения, сказали почти все помощники, порекомендовав сначала укрепить экономическую базу Союза с помощью межгосударственного эконо-

номического соглашения, а уже затем нахлобучить на эту конструкцию политический Союз.

Рассуждения их были убедительны и логичны — именно так строился в Европе сначала Общий рынок, а потом Европейский Союз. Однако они не учитывали отчаянного цейтнота, в котором находился Горбачев, чувствующий под ногами не почву, а таящую льдину. Скорее даже не разумом, а инстинктом политика он ощущал, что с каждой уходящей неделей аппетит к власти у республиканских элит возрастал, привычка жить в едином союзном государстве ослабевала, а с ней и надежда на его сохранение.

Новоогаревский процесс, как машина с заглохшим мотором, катился вперед по инерции и то лишь потому, что дорога вела под гору. Завести двигатель можно было впечатляющим политическим импульсом, для которого требовалось как минимум согласие его партнеров по Госсовету. Скорее всего, именно поэтому Горбачев неожиданно для многих вдруг сменил приоритеты и, хотя экономическое соглашение уже можно было подписывать, объявил: «Будем форсировать политический Союз».

Не берусь сказать, что повлияло тогда на его решение: то ли предложение Н.Назарбаева подписать в Алма-Ате Договор об экономическом сотрудничестве на уровне премьер-министров (без союзного президента), то ли желание поймать на слове Ельцина, вдруг поддержавшего скорейшее оформление политического Союза. Так или иначе, выбор был сделан, стрелка переведена, и кремлевский состав на всех парах понесся по новоогаревскому маршруту, который однажды уже привел страну к путчу, а теперь упирался прямо в Беловежскую Пущу.

Решив форсировать заключение Союзного договора, то есть официальное воссоздание единого государства, Горбачев по причинам, прямо противоположным тем, что породили роковой Август, спровоцировал, в сущности, тот же результат: заговор своих противников ради его свержения. Если в августе против него восстала партийная бюрократия и силовые структуры союзного государства, разъяренные перспективой разрушения Центра, то в декабре именно попытка воссоздать центральные

структуры вызвала мятеж теперь уже республиканской номенклатуры...

Орудием окончательного сокрушения крепостных стен союзного государства был избран, как писал итальянский историк Дж.Ботта, «российский таран». Под «тараном» он подразумевал вполне конкретную фигуру — Бориса Ельцина. Его конфликт с Горбачевым, разросшийся из личного противостояния в бескомпромиссную политическую войну, сыграл в конечном счете фатальную роль как для судьбы бывшего Советского государства, так и для исхода того уникального исторического эксперимента, который получил название «Перестройка».

Осенью 1991 года судьба Советского Союза, а с нею и миллионов его граждан во многом определяли личные отношения этих двух людей одного года рождения, с параллельно развивавшимися партийными карьерами, поднявшимися один за другим, хотя и разными путями, на вершину государственной власти и избравшими для своей страны принципиально разные варианты развития и реформы.

Много исторически неизбежного и мистически предопределенного в роковой встрече, столкновении и изнурительном для всей страны противоборстве этих двух антагонистов, контрастных натур и разных, хотя и неразделимых ипостасей русского национального характера. Начиная от перевода первого секретаря из свердловского обкома в Москву по настоянию будущего ельцинского заклятого врага — Егора Лигачева, которого поддерживал Горбачев, и кончая их прощанием в Ореховой гостиной, расположенной между кремлевским кабинетом первого Президента СССР и Музеем-квартирой В.И.Ленина.

«Путч-91», жертвами которого они чуть оба не стали, сблизил их после периода нараставшего отчуждения. Однако противоречие политических интересов, помноженное на нестыковку характеров и личную неприязнь, начало их разводить сразу после короткого тактического перемирия. И хотя, по всей видимости, конфликт между позициями двух лидеров в силу самой логики развития ситуации в стране был неизбежен, тогдашнее окружение российского президента — Г.Бурбулис, М.Полторанин, С.Шахрай, А.Козырев — сделало в эти месяцы все для

того, чтобы он принял острую и антагонистическую форму. «Когда говоришь с Борисом один на один, — вроде бы нормальный человек, готов слушать чужие аргументы, с ним можно договориться. Как выйдет за порог и попадет под влияние своей команды, будто другой человек», — сетовал Горбачев.

Команда Ельцина справедливо усмотрела в курсе на ускоренное подписание Союзного договора опасность того, что Президент СССР сможет с помощью политических маневров, в этом он оставался непревзойденным мастером, отобрать у них вместе с лаврами победителей путчистов и шансы окончательно обосноваться в Кремле. Естественно поэтому, что, наблюдая политическую реанимацию Горбачева, ельцинское окружение нетерпеливо поджидало возвращения своего лидера с юга (некоторые даже пытались пробиться, правда, безуспешно, с этой тревожной информацией к нему в место, где он «расслаблялся» после августовских треволнений).

Пробудить у него прежние комплексы подозрительности и недоверия, заново разжечь конфликт между «двумя медведями», оказавшимися после путча в одной кремлевской «берлоге», труда не составляло — слишком много горячего материала накопилось за последние годы в их отношениях.

Но при всей кажущейся сегодня неумолимой логике, которой было подчинено поведение этих двух исторических персонажей, трудно избавиться от странного ощущения иррациональности, характеризовавшей их отношения. Это замечание, разумеется, в большей степени относится к картезианцу Горбачеву, гордившемуся тягой к логике и системному анализу событий, чем к импульсивному, издавна бравировавшему своей непредсказуемостью Ельцину. Всякий раз, когда речь заходила о свердловчанине, о необходимости реагировать на его поведение, горбачевский компьютер как бы «зависал» или давал сбои.

Оказавшись тем не менее в одной шлюпке после августовского кораблекрушения союзного государства, оба президента некоторое время гребли в одну сторону. Однако уже в сентябре на только что заштукатуренном фасаде советско-российского единства проступили трещины застарелого соперничества. Проявляясь поначалу в демонстративных жестах российского президента, подсказанных его окружением, они выглядели на-

рочитыми и вызывающими. Так Ельцин прервал свой затянувшийся «отдых» после путча только один раз, чтобы вместе с Назарбаевым, совершив «точечный» налет на Карабах, «навсегда закрыть» эту проблему. Смысл этой демонстративной акции в духе его неожиданных «наездов» на московские магазины в «горкомовскую» эпоху был очевиден: противопоставить решительность новой российской власти бессилию союзного центра. Позируя перед телекамерами, Ельцин отчеканил, разве что не по-латыни, фразу, достойную римского императора: «Только великим деятелям под силу великие решения» — и вернулся заканчивать свой отдых в Сочи, оставив, разумеется, воз карабахских проблем на прежнем месте.

Чуть позже, желая, видимо, обозначить на мировой карте появление нового независимого от СССР субъекта международного права, российский президент объявил мораторий на испытания ядерного оружия на территории России. В этот раз его явно «подставили» советники: они упустили из виду, что этот мораторий, объявленный Горбачевым еще 5 октября, к тому же по согласованию с Ельциным, действовал уже несколько недель на всей территории Союза, включая, естественно, Россию.

Другой эпизод, противопоставивший российское и союзное руководство, был потенциально гораздо более взрывоопасным. Речь шла о только еще обозначившейся проблеме Чечни. В ответ на провозглашение Джохаром Дудаевым в ноябре 1991 года независимости (после «парада суверенитетов», который год назад российское руководство само спровоцировало, в этом декларативном жесте не было ничего экстраординарного) Ельцин объявил на ее территории чрезвычайное положение, а вице-президент генерал А. Руцкой двинул на усмирение республики войска российского МВД. Назревал военный конфликт.

Узнав об этих решениях, Горбачев попробовал связаться с Ельциным. Все происходило в тогда еще праздничные ноябрьские дни, российский президент «отключился» и был недоступен. Чтобы избежать столкновения, пришлось действовать экстренно через Верховный Совет Российской Федерации и его спикера Р. Хасбулатова, что вызвало возбужденную реакцию Ельцина, расценившего это как вмешательство в его дела. «Раз

вы критикуете Россию, мы будем отвечать», — заявил он на заседании Госсовета. Дело шло к тому, что вместо российско-чеченского придется улаживать российско-советский конфликт. Понадобилось все дипломатическое искусство Президента СССР, чтобы успокоить Ельцина. «Все зависит от того, какую кассету в него вставит его окружение», — сокрушался Михаил Сергеевич после едва не сорвавшегося заседания.

При всей их неловкости, а иногда и курьезности сигналы, исходившие от российского руководства, должны были настоятельно Горбачева как признаки вызревавшего в его недрах, как и в душе Ельцина, общего стратегического замысла — курса на принципиальный развод с Центром, то есть на разрушение союзного государства. Горбачев же в эти осенние дни направил всю свою энергию и тактическое мастерство на то, чтобы, собрав-таки вместе президентов теперь уже официально независимых республик, попробовать доводами разума, логикой экономической рациональности, эмоциональными призывами и даже ссылками на мнение западных политических авторитетов убедить их в целесообразности сохранения, точнее говоря, реанимации смертельно раненного СССР, пусть и под другим названием — Союза Суверенных Государств.

С доверчивостью, непростительной для опытного политика и характерной скорее для не желающего поверить в неотвратимость печальной развязки неизлечимо больного человека, Горбачев принимал незначительные тактические победы на заседаниях Госсовета за продвижение к завоеванию решающего стратегического рубежа, не сознавая или боясь признаваться самому себе, что имеет дело с линией горизонта. Может быть, именно поэтому он с такой жадностью ловил обнадеживающие реплики Ельцина — тот вплоть до ноября принимал активное участие в обсуждении структуры будущего Союза, приносил на каждое очередное заседание поправки к тексту Договора и даже одергивал скептиков, иронизировавших насчет неблагозвучности названия ССГ, говорил: «Ничего, привыкнут».

Вот почему с таким облегчением, веря, что самое трудное позади и что страшная перспектива распада государства миновала, после очередного заседания Госсовета в Ново-Огареве 14 ноября Горбачев воспринял достигнутую наконец-то догово-

ренность о создании единого «конфедеративного демократического государства». Стараясь не выдать внутреннее ликование, скромно отойдя в сторону, он предоставил возможность Борису Ельцину громогласно объявить журналистам: «Договорились, Союз будет!» Цена этой сентенции российского императора, как вскоре выяснилось, была не выше его изречения по поводу Карабаха.

ДЕКАБРЬ. МОСКВА. УХОД

Была ли на самом деле у Горбачева возможность вернуть к жизни захлебнувшийся в августовском путче проект обновленного Союза с помощью искусственного дыхания в виде заседаний Госсовета? Он утверждает, что была, и никто не может ему запретить в это верить. Однако, чтобы это произошло (теоретически чудо такого оживления еще было возможно), требовался не только «другой» Горбачев, но и много других составляющих этой почти невыполнимой миссии: другие республиканские вожди, другой Ельцин с другим окружением, другой настрой населения, разочаровавшегося к тому времени в перестройке, — иначе говоря, другая страна. Но такая страна, возможно, и не нуждалась бы в перестройке.

Главное же, у президента еще формально существовавшего СССР не осталось в руках практически никаких рычагов управления государством. «После августа, — говорит Горбачев, — позиции мои были крайне слабы. Очень тяжело мне было». «Потешный» путч, увы, с реальными жертвами, дискредитировав партию, КГБ и армию, лишил его традиционных для советского лидера инструментов власти. Именно официальные руководители этих трех «китов», на которых покоилась советская держава, — О.Шенин, В.Крючков и Д.Язов, возглавив путч, политически убили их, превратив в орудия заговора. А.Лукьянов, стреноживший Верховный Совет, помешал едва вылупившемуся на свет парламенту сыграть спасительную для страны (и самого себя) роль защитника Конституции. Не многим достойнее повел себя и Комитет конституционного надзора во главе с безусловно порядочным, но явно растерявшимся С.Алексеевым.

К этим разрушительным последствиям путча, за которые несли ответственность руководители опорных институтов союзного государства, добавились подкопы под него со стороны республик. Еще с июня 91-го после своего избрания президентом Б.Ельцин, явно подавая пример остальным местным лидерам, заявил, что Россия прекратит перечисление собираемых налогов в общесоюзный бюджет. Ценой невероятных усилий в ходе выработки нового Союзного договора Горбачеву удалось вернуть в его текст понятие федеральных налогов, необходимых для обеспечения деятельности союзных структур. Путч обрушил эту, и без того хрупкую, конструкцию, выбил из рук последнее оставшееся у Горбачева орудие защиты самой идеи единого федеративного государства — результаты мартовского референдума. «Если не будут приняты чрезвычайные меры, — мрачно пророчествовал В.Крючков в своем известном выступлении на июльской сессии Верховного Совета, — наше государство перестанет существовать». Из-за принятых им и его сообщниками чрезвычайных мер оно буквально развалилось.

К ноябрю тем не менее неунывающий «ванька-встанька» Горбачев чуть было не оживил «усопшего». Переработанный текст договора с учетом всех одобренных торжественных деклараций о независимости дали согласие подписать главы девяти республик — больше, чем до путча. Вернулся на Смоленскую площадь и приступил к ремонту сильно пострадавшего фасада советской внешней политики министр иностранных дел «розового периода Перестройки» Э.Шеварднадзе. На горизонте вновь, как в оптимистическую пору первого новоогаревского процесса замаячила дата торжественной церемонии возможно подписания договора. И с ней неслышно, как тень, вернулся призрак очередного антигорбачевского заговора. Потому что оставлять в живых Союз для республиканских элит, отведавших после августа нестесненную Центром свободу, означало добровольно надеть на себя хомут, вернув Москве подаренные путчем поводья. В то же время большинство было готово и даже заинтересовано сохранить союзные связи и в качестве их символа — Горбачева. И только у Ельцина и его окружения были другие приоритеты. В отличие от других республиканских вождей основные счета у него были не с Центром как та-

ковым, а с Горбачевым и носили прежде всего личный, а не политический характер. Кроме того, только он мог реально претендовать на пост союзного президента, что объективно превращало противостояние этих двух людей в непримиримый конфликт. Да и в целом элита «первой среди равных» России в противоположность остальным республикам не имела политических претензий к «имперскому центру» еще и потому, что по крайней мере на том этапе рассчитывала, взяв Кремль, сама занять его место. В записке «о российской стратегии», подготовленной для Ельцина осенью 1991 года, Г.Бурбулис предупредил, что Горбачев настраивает республики против России, и одновременно успокаивал: избавившись от Союза, Россия не утратит своей возможности властвовать над ними, республики «никуда не денутся» (в сущности, он заимствовал горбачевский тезис), все равно к нам придут, приползут, попросятся.

К ноябрю более чем странная ситуация — с двумя лидерами во главе одного государства — уткнулась в развилку. Выдвинутый Августом на передний план Ельцин должен был либо вернуться в шеренгу остальных глав республик, признав лидерство Горбачева, либо бросить ему вызов. А времени в обрез. Поджимал не только жесткий график выработки Союзного договора, по мере удаления от августовского триумфа постепенно тускнел героический имидж Ельцина, а в буднях повседневной политики соперничать с государственным талантом и тактическим мастерством Горбачева ему было намного труднее. Эти перемены в политическом и персональном балансе сил почувствовали чуткие иностранцы, и один за другим, следуя к тому же своим личным предпочтениям, начиная с Буша, стали вести дела с привычным для них Горбачевым, все более явственно пренебрегая непонятным и к тому же регулярно исчезающим из поля зрения, «уходившим в себя» российским президентом. Тянуть дальше, по мнению ельцинского окружения, было уже просто опасно: Горбачев имел реальные шансы выиграть партию. Когда удалось довести до сознания Ельцина неизбежность и срочную необходимость разрыва с союзным президентом, вопрос о его низложении и, стало быть, о роспуске Союза превратился в практическую задачу. Для ее решения оставалось подобрать беспроигрышную тактику.

Для начала Борис Николаевич сорвал «стоп-кран» уже было разогнавшегося новоогаревского процесса, без лишних объяснений отказавшись подписать уже согласованный и подготовленный к рассылке в республики проект Союзного договора. Уязвленному таким вероломством Горбачеву и недоумевающим главам других республик, считавшим вопрос уже решенным, на заседании Госсовета 25 ноября было сказано, что текст договора надо «пообсуждать» в комитетах Верховного Совета РСФСР. Тем не менее открыто декларировать свою новую стратегическую цель российская команда еще не решалась. Стать открытым инициатором развала единого государства, да еще в ситуации, когда большинство республик отнюдь не стремились «на волю», российскому лидеру было не с руки. Для того чтобы волейболист Ельцин мог окончательно «погасить» бесконечно разыгрываемый мяч, пробив все выставленные блоки, ему требовалось, чтобы кто-то искусно подал его над сеткой.

Эту роль взялся выполнить его украинский коллега — будущий президент Л.Кравчук: благо 1 декабря на Украине должны были состояться выборы президента и референдум по вопросу о независимости. Любые принципиальные решения Госсовета относительно будущего Союза, с точки зрения ельцинской команды, требовалось поэтому «подвесить» до этой даты. Будто на «купленном» матче, руководители «славянской тройки», сговорившись заранее о результате, начали откровенно тянуть время. «Михаил Сергеевич, — успокаивал выходявшего из себя Горбачева Председатель Верховного Совета Белоруссии С.Шушкевич, — ну что вы так переживаете. Дайте нам еще недельку. Через неделю, увидите, все подпишем». Нескончаемые дискуссии на Госсовете, пошедшие по очередному кругу, все больше походили на недавние заседания пленумов ЦК.

Между тем российское руководство хладнокровно перекрывало один за другим краны финансового обеспечения союзного государства, объявляя чуть ли не каждый день о переводе под свою юрисдикцию новых секторов экономики. Выплата Россией платежей в союзный бюджет окончательно прекратилась, что сразу оставило без денег не только московское чиновничество, но и других бюджетников — от учителей до военнослужащих. Выяснилось, что для захвата банков необязательно штур-

мовать Зимний (или Кремль), российскому президенту достаточно издать указ: в соответствии с ним 28 ноября под российскую юрисдикцию было переведено более 70 союзных министерств, Гохран и даже Госбанк. Поскольку это вызвало взрыв негодования у руководителей республик, Ельцин «на время» вернул банк обратно.

Словно не замечая этого, Горбачев продолжал на сессиях Госсовета настойчиво взбивать обволакивавшую его со всех сторон зыбкую политическую «сметану» в надежде, что рано или поздно ощутит под ногами твердую опору. В действительности он уже толкал воду в ступе. Президент принимал дипломатов, банкиров и журналистов, выбивал из членов большой «семерки» запоздалые кредиты и ревниво следил за тем, как его работу освещают телевидение и пресса, хотя на самом деле территория союзного государства, съезжившаяся, как шагреновая кожа, уже, в сущности, совпадала с пространством его кабинета, приемной и прилегающей к ней Ореховой гостиной. Журнал «Тайм», провозгласивший Горбачева в 1990 году «Человеком десятилетия», опубликовал интервью с ним под заголовком «Президент без страны». Все больше изолируемый Кремль, ворота которого готовился разнести «российский таран», в эти дни походил на форосскую дачу: если на подступах к «Высоте» — кабинету Горбачева — службу несла его личная, союзная охрана, то въезд и выезд с территории Кремля контролировали уже российские службы.

В один из ноябрьских вечеров, решив отметить 38-летие своей свадьбы и заодно отвлечься от новоогаревской «тягомотины», Михаил Сергеевич отправился с женой в театр на «Мартовские иды». Отвлечься не получилось. Заговор против Цезаря, предательство друзей и измена соратников, — как пересказывал на следующий день свои впечатления Горбачев, — пьеса оказалась «буквально из нашей жизни». Только он и Раиса думали, что речь в ней идет о пережитом в августе, на самом же деле — о еще предстоявшем им декабре.

После украинского референдума, естественно, одобrivшего «незалежность», советская драма быстро двинулась к развязке. Еще накануне и даже в самый день голосования Горбачев, надеясь повлиять на его результат, дал пространное телеинтервью

украинским журналистам, где вспоминал о своих русско-украинских корнях, убеждал сохранить Союз. Интервью передали по союзному телевидению. Увы, эффект от этого выступления был не большим, чем от записанного ночью в Форосе обращения к советским гражданам.

После Л.Кравчука, объявившего об отказе Украины подписать Союзный договор, в игру вступил С.Шушкевич. Его роль заключалась в том, чтобы успеть за неделю расстелить перед Ельциным красную дорожку и... накрыть стол в Беловежской Пуще. Об остальном — проектах документов о роспуске Союза — позаботилась российская «передовая группа» в составе Г.Бурбулиса и С.Шахрая. Перед поездкой в Минск на «давно запланированную» российско-белорусскую встречу Ельцин пришел к Горбачеву «посоветоваться, как убедить Украину присоединиться к Союзу», поскольку Кравчук обещал подъехать и «рассказать о референдуме». Два президента достаточно быстро договорились о том, как «надавить на украинцев». Оба заявили, что не мыслят себе Союза без Украины. Только потом выяснилось, что в эту формулу каждый вкладывал свое содержание. Мало кто обратил тогда внимание на мимоходом брошенную журналистам ельцинскую фразу: «Если не получится, придется подумать о других вариантах». Уже позднее, рассказывая в узком кругу об этой встрече, Борис Николаевич похвалялся, как ловко усыпил бдительность союзного президента.

И хотя Горбачев пишет, что, когда он узнал, кто в Минске готовит встречу (Бурбулис и Шахрай), ему «все стало ясно», похоже, он в очередной раз, как в августе, недооценил своих соперников, посчитав, что в Пущу «троица» отправилась только для того, чтобы «расслабиться». О том, что там произошло, он узнал вечером 8 декабря от С.Шушкевича, которому партнеры поручили позвонить Горбачеву и от имени «тройки» сообщить, что в Белоруссии он и его гости действительно «все подписали», правда, совсем не то, что намечалось. А чтобы тот понапрасну не хватался за телефонную трубку, его же проинформировали, что новый министр обороны Е.Шапошников «в курсе принятых решений» и что «Борис Николаевич поставил в известность президента Буша». Ельцин предпочел позвонить американскому президенту, а не Горбачеву не только для того,

чтобы избежать неприятных объяснений, а еще и потому, что в «разогретом» состоянии ему сподручнее было общаться с внешним миром через переводчика. Отвечая позднее начальнику Генштаба М.Моисееву на вопрос: «Зачем вам нужно было разваливать Союз?», Г.Бурбулис не скрывал своих эмоций: «Это был самый счастливый день в моей жизни. Ведь над нами теперь никого больше не было».

Миг действительного ликования для беловежской «тройки» наступил, однако, несколько дней спустя, когда они убедились, что на брошенный вызов Горбачев не захотел или не смог адекватно ответить. В ту же памятную ночь «пушцисты» изрядно нервничали — само место встречи выбирали с учетом близости польской границы, а на случай непредвиденных осложнений неподалеку стоял вертолет. О том, что нервы у них были напряжены, свидетельствует их поведение и в последующие дни. Крайне взволнованный Шушкевич, позвонивший утром 9 декабря руководителю президентской администрации Г.Ревенко, «почти всхлипывая», начал объяснять, что ему надо отоспаться и все осмыслить, поскольку все так неожиданно произошло. «Борис Николаевич все расскажет, но, если они с Михаилом Сергеевичем сочтут нужным, я готов немедленно прибыть в Москву». Другой телефонный разговор на следующее утро — Горбачева с Ельциным — состоялся в моем присутствии. На вопрос, когда он появится в Кремле, Ельцин ответил вопросом: «А меня там не арестуют?» Михаил Сергеевич даже опешил: «Ты что, с ума сошел?!»

В ту памятную ночь в Беловежской Пуще сотрапезники напрасно тревожились за свою безопасность. Даже если бы маршал Шапошников не изменил своему президенту и Конституции, Горбачев все равно не прибег бы к услугам армии или спецназа, чтобы арестовать заговорщиков. Хотя именно за то, что он не сделал этого, «не выполнив тем самым своего конституционного долга по защите союзного государства», его впоследствии яростно критиковали многие, в том числе и другие августовские путчисты — В.Крючков и Д.Язов, сами по необъяснимой причине не решившиеся арестовать Ельцина, когда интернированный в Форосе Горбачев не мог этому помешать.

На решительные же меры не пошел он вовсе не потому, что не располагал информацией или не имел достаточных сил и средств, — их требовалось не так уж много. А Лукьянов, сам, правда, находившийся в это время в Лефортово, утверждал: «Белорусские чекисты» своевременно проинформировали Президента СССР и готовы были «накрыть всю эту компанию». Г. Шахназаров уверен: если и не в ту ночь, то в последующие дни Горбачев еще мог бы восстановить в армии единоначалие, несмотря на то что маршал Шапошников переметнулся на сторону заговорщиков. Дочь Ирина тоже считает, «если бы отец захотел, он мог бы заварить большую кашу». Но именно «кровоавой каши», острого политического конфликта или, не дай бог, гражданской войны он и боялся больше всего и хотел избежать, начиная свои реформы. И уж, во всяком случае, не пошел бы на такой огромный риск ради сохранения власти.

Некоторые усматривают в недостаточно выраженном властном инстинкте слабость Горбачева если не как политика, то как государственного деятеля, непростительную особенно в условиях России. Наверное, он будет готов принять это обвинение, недаром не только неоднократно говорил, что видит во власти не самоцель, а исключительно инструмент для конкретного политического проекта, но и подтвердил это своим поведением. Очевидно, такой «утилитарный» подход к власти ставил его в заведомо проигранный позицию по сравнению с теми, кто, как тот же Ельцин, видел в ней главную цель. Видимо, по этой причине он оказался в итоге человеком более пригодным к тому, чтобы изменять и преобразовывать Россию, чем править ею. Спустя много лет после ставропольской школы партнеры по российской политике напомнили Горбачеву преподанный еще в юности безжалостный урок: на собрании, когда его выбирали комсомольским секретарем, Миша встал, чтобы отвечать на вопросы. В это время за его спиной кто-то выдернул из-под него стул, и, садясь, он приземлился на пол... «Хрущевский вариант», которого Горбачев счастливо избежал в августе, настиг его в декабре.

Несмотря на все тяжелые уроки жизни, вместо того чтобы спастись самому и спасти с помощью армии государство, он в

декабре 91-го попробовал было обратиться за помощью к вызванным им к жизни общественным силам и конституционным структурам, надеясь, что они поддержат и выручат его, как в августе. Однако в дни, следовавшие за беловежским переворотом, обнаружилось, что его покинул не только министр обороны, но и политическая армия. За последние годы «уставшие от Горбачева» и изверившиеся в перестройке люди лишней раз убедились, что в нашей стране свобода сама по себе не гарантирует счастья и может даже обернуться бедой. Воспользовавшись дарованным им «правом выбора», они готовы были вручить власть над собой тому, кто им больше посулит и сможет громче командовать.

Горбачеву не на кого было пенять, кроме самого себя и... России. В конце концов он и сам в своем прощальном выступлении 25 декабря сказал: «Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, — труднейшее и даже рискованное дело». Не предупреждал ли о рискованности, если не об обреченности его проекта один из великих исследователей непознаваемой для иностранцев «русской души», говоривший, что, даже получив возможность выбора, русский человек вовсе не всегда выбирает свободу? «Ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы, — словно предостерегал будущих российских реформаторов Великий Инквизитор из «Братьев Карамазовых» Достоевского. — Нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается... Накорми, тогда и спрашивай с них добродетель...»

Перестройка, увы, не накормила людей, и, хотя формально это не обещалось, они сочли себя обманутыми, тем более что дарованной всем свободой смогли воспользоваться и распорядиться лишь немногие. «Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо», — могли бы эти немногие повторить вслед за Инквизитором. Но даже когда Горбачев осознал, что ни послушные своим вождям республиканские парламенты, ни обиженный на него Верховный Совет, ни общественное мнение, безжалостное к проигравшим политикам, ни избавленная

от страха глумливая пресса не готовы поддержать его, он не капитулировал. Ему оставалось повести свой последний бой за то, чтобы его теперь уже неизбежный уход, как и все, что он сделал, находясь у власти, стал новым явлением в российской политике и осуществился в рамках закона.

Его настойчивые усилия, хотя бы задним числом, законодательно оформить беловежскую сделку «на троих» многие в эти дни, включая даже близких сотрудников, воспринимали как отчаянные, хотя и заведомо обреченные, попытки задержаться в Кремле. «М.С. никак не поймет, — читаем в дневнике А. Чернышева, — что его дело сделано, давно следовало бы уходить, надо беречь достоинство и уважение к сделанному им в истории... Каждый день «цепляния» за Кремль отдаляет тот момент, когда история поставит Горбачева на его место великого человека XX столетия».

Что ж, иногда даже близкие люди могут не до конца понимать друг друга. «Наша семья не была приспособлена к власти», — без сожаления констатирует Ирина Горбачева. Не Кремль держал президента, и не отнимаемая у него власть удерживала от того, чтобы хлопнуть дверью, а желание «сделать все цивилизованно» в нецивилизованной стране. «Вы же не с большой дороги», — пробовал объяснить он Ельцину, уговаривая дать возможность союзному парламенту принять официальное решение о самороспуске.

В своем заявлении 10 декабря, после беловежских событий, Горбачев писал: «Судьба многонационального государства не может быть определена волей руководителей трех республик. Вопрос этот должен решаться только конституционным путем с участием всех суверенных государств и учетом воли их народов».

Он предложил созвать Съезд народных депутатов СССР, чтобы придать легальную форму отмене Союзного договора и фактическому пересмотру результатов мартовского референдума, выдвинул идею проведения плебисцита по вопросу о судьбе Союза. Его призывы повисали в воздухе. Воспитанный «орготделовиками ЦК» первый демократически избранный Президент Российской Федерации был непреклонен: «Кто их знает, как они проголосуют...»

Не получил Горбачев ответа и на свое послание участникам встречи в Алма-Ате, где обсуждался вопрос о создании Содружества Независимых Государств, которое, как записано в декларации, «не является ни государством, ни надгосударственным образованием». Главный смысл этой загадочной формулы Содружества в форме бублика с дыркой вместо Центра сводился к тому, чтобы не сохранить в Кремле никакой, даже символической координирующей структуры.

Никто не обманывался насчет того, что именно стремление избавиться от него, а не желание «во что бы то ни стало сохранить Украину в Союзе», которым оправдывал Ельцин свой беловежский экспромт, было целью всей этой операции. По прилете в Алма-Ату российский лидер заявил: «Мы хотим, чтобы он аккуратно ушел в отставку. Президента страны нужно проводить на пенсию достойно». Первоначально условия этой отставки главы независимых государств, поблагодарив Горбачева «за его большой положительный вклад», предполагали определить коллективно, однако потом решили отдать его судьбу в качестве главного охотничьего трофея тому, кто «завалил»-таки Союз — Ельцину.

Пытавшийся соблюсти верность букве закона, а может быть, еще надеявшийся на чудо (ведь предложил же ашхабадский «контрсаммит» мусульманских республик созвать в пику славянским «зубрам» Госсовет под его председательством), Горбачев ждал официальных сообщений из Алма-Аты. Что касается отставки, он начал готовиться к ней до Беловежской Пуши, а именно после того, как очередное заседание Госсовета 25 ноября также закончилось безрезультатно. Именно тогда он попросил А.Черняева и А.Яковлева независимо друг от друга подготовить вариант его заявления об отставке. «Но об этом никому ни слова», поскольку сражаться собирался за Союз «до последнего патрона». После Алма-Аты патронов у него больше не осталось.

Первым из иностранцев, кому он 20 декабря «в предварительной форме» сказал, что готовится к отставке, был Гельмут Коль: «Если в Алма-Ате участники выйдут на ратификацию соглашения о Содружестве в том виде, в котором это предлагает-

ся сейчас, я уйду в отставку и не буду долго откладывать это решение. Я уже говорил, что не буду дальше участвовать в процессе дезинтеграции государства. Это ведь дело, которое я начал, поэтому я не хочу, чтобы процесс вышел из конституционных рамок, а само Содружество стало фикцией».

Сразу после того как Интерфакс распространил из Алматы экспресс-информацию «о прекращении существования СССР», первым дозвонился до Горбачева Ф.Миттеран. Быть может, желая загладить свой «прокол» в августе, когда поторопился расстаться с Горбачевым, заговорив на следующий день после путча о «новых советских руководителях». Он вел себя подчеркнуто предупредительно, что, кстати, отражало его искреннее восхищение политическим мастерством советского президента. Голос Миттерана, обычно величественно невозмутимого, на этот раз звучал взволнованно. Видимо, уже смирившийся с реальностью, на которую уже не мог повлиять, Михаил Сергеевич постарался его успокоить: «Я спокоен и действую так, чтобы происходящее было как можно менее болезненным». Когда французский президент спросил: «Как такое могло случиться, если была договоренность о заключении нового Союзного договора?», Горбачев, услышав вопрос через переводчика, только усмехнулся: «Вы вправе спросить, что у меня за партнеры, которые отбрасывают согласованные позиции и ведут себя, как разбойники с большой дороги!»

Это был, пожалуй, единственный момент, когда он позволил, пусть всего только в реплике, прорваться своим эмоциям. Во всех остальных разговорах с главами зарубежных государств, постоянно ему звонившими, чтобы выяснить ситуацию или выразить свои чувства, он не позволял себе расслабляться, не забывал просить «помочь России — на нее и на ее население ляжет сейчас весь груз реформ». Он не жаловался и сочувствия не искал. О своем будущем старался говорить бодро: «Из политики не уйду. В тайге не спрячусь», — заверил он Буша. «Не хочу прощаться, ведь повороты истории, даже самые крутые, еще возможны», — обнадежил Мейджора. Всех заверял, что будет и дальше «в любом качестве» действовать в интересах того «громадного, благородного дела, которое мы вместе начинали».

Не больше эмоций излил он и на осаждавшую его прессу. На встрече в Кремле с большой группой редакторов и тележурналистов в ответ на град вопросов только пожал плечами: «Что произошло, то произошло. Я должен признать случившееся реальностью. Буду уважать выбор представительных органов, другого себе не позволю. Но это не значит, что я не имею своей оценки, своей точки зрения. Я предложил обществу варианты, пусть люди размышляют. Вы знаете, что Горбачев способен идти на компромиссы, но есть вещи, через которые переступить нельзя».

На вопрос, не обратится ли он к армии, ответил категорично: «Считаю, что политик, использующий вооруженные силы для достижения своих политических целей, не только не заслуживает поддержки, но должен быть проклят. Армию надо использовать по ее прямому назначению. Политика, рассчитывающая пустить в ход танки, не достигает цели. Это тупик...»

Об отставке сказал, как о деле решенном и обдуманном: «Я сделал все, что мог. Придут другие, может быть, лучше сделают. Изменение условий жизни меня не пугает. Наша семья не избалована. И вообще, может быть, этот перелом в жизни мне даже необходим», — закончил он неожиданно бравурно, чтобы избежать новых сочувственных расспросов.

Настырные журналисты из американской Си-би-эс, не удовлетворившись, такой бравадой, поставили вопрос в лоб: «Вы не считаете, что Ельцин и другие лидеры республик вас унижают?» В ответ — демонстративная отрешенность, явно используемая для защиты раненого самолюбия: «Я оставляю это на совести этих людей. Мне приходится быть выше эмоций!»

Горбачев как будто предчувствовал, что в жизни, которая ждала его после отставки, еще не раз придется вставать «над эмоциями». Он, правда, не предполагал, что потребность в этом может возникнуть совсем скоро...

После алма-атинского блицсаммита не было никакого смысла оттягивать неизбежное. Сразу же по возвращении Ельцина они договорились о встрече для обсуждения условий «сдачи» Кремля. Она состоялась 23 декабря в Ореховой гостиной и продолжалась почти десять часов. За это время Горба-

чев и президенты, к которым в роли своеобразного секундан-та присоединился А. Яковлев, в неспешном мужском разговоре получили, казалось, возможность не только обсудить технические процедуры перехода государственной власти от Союза к России — передачу архивов Политбюро и личного так называемого сталинского архива Президента, а также ядерных кодов, — но и окончательно выяснить отношения. Договорились об условиях отставки Горбачева: президентская пенсия, дача, автотранспорт, охрана, помещение для «Горбачев-Фонда» в бывшей «Ленинской школе» для активистов из братских компартий. (Ельцин с подозрением отнесся к этой непонятной для него структуре, считая, что она может стать «гнездом оппозиции». Горбачев заверил его в том, что у него нет таких намерений.)

Обсудили планы российского президента по реформированию экономики — в первые же недели 1992 года скомпонованная Бурбулисом команда Гайдара предполагала «перейти Рубикон» и отпустить на свободу почти все цены. Ельцин, рассчитывавший на основании их заверений, что к осени экономика придет в себя после первого шока «рыночной терапии», попросил «хотя бы первые полгода его не критиковать». Михаил Сергеевич пообещал, что будет поддерживать его, «пока тот будет двигать вперед демократические реформы». Условились, что 25-го, сразу после выступления по телевидению с заявлением об отставке Борис Николаевич придет к нему в кабинет для передачи ядерных шифров. Горбачев на следующий день, позвонившись до Буша и распрощавшись с ним, сказал: «Можете спокойно отмечать с Барбарой Рождество. Завтра я уйду в отставку. С “кнопкой” все будет в порядке». Он пообещал до Нового года освободить свой кремлевский кабинет для нового хозяина. Ельцин не возражал, тем более что ждать оставалось недолго.

После того как все переговорили и делить вроде было больше нечего, кроме разве что будущего места в истории, около десяти часов вечера президенты распрощались. Порядком «нагрузившийся» Ельцин, как вспоминает А. Яковлев, преувеличенно твердо, словно на плацу печатая шаг по пустому кремлевскому коридору, отправился домой. Горбачева, который всю

мучительную операцию по передаче ключей провел «спокойно и достойно», он застал уже лежащим на диване в комнате отдыха за его рабочим кабинетом с красными глазами. «Вот видишь, Саша, вот так», — сказал он.

На следующий день, собрав свой аппарат в Кремле, Михаил Сергеевич постарался успокоить сотрудников: мол, состоялся «неплохой разговор» и новая власть обещала подумать о трудоустройстве людей. «То есть нас с вами, — невесело пошутил президент. — Он срезал мне пенсию и охрану, но это, в конце концов, неважно».

Свою версию этого же разговора дал на встрече с журналистами через пару дней Ельцин. Он утверждал, что бывший Президент СССР запросил «несуразную по размерам охрану, обслугу и несколько служебных машин», но он на это «не пошел» и посоветовал тому «вовремя покаяться в совершенных преступлениях», потому что «неприкосновенности у него не будет». (Об условиях своей собственной отставки он в тот момент, разумеется, не задумывался.) Российский президент сразу же потребовал изъять и опечатать архив Ставропольского крайкома партии, относящийся к периоду горбачевского правления. Этот архив, похоже, интересовал его больше, чем «сталинский».

...Наступило 25 декабря. Поначалу Горбачев собирался выступить с заявлением об отставке 24-го, «чтобы не тянуть», однако согласился с моим предложением отложить эту драматическую новость на день, «чтобы не портить рождественский вечер» для миллионов его почитателей на Западе. Когда за пару часов до выступления он уже в который раз перечитывал свой текст, внося какие-то поправки, по телефону из дома позвонила возбужденная Раиса Максимовна: к ней, оказывается, уже заявили люди из хозслужбы российского президента, чтобы поторопить «очистить служебное помещение». Отложив текст и энергично выразившись, еще не отставленный президент позвонил начальнику пока еще своей охраны, который старался выслужиться перед новым начальством. «Что вы себе позволяете? — загремел он, — это же дом, там люди живут». Выслушав сбивчивые объяснения, в сердцах бросил трубку. Потом, еще дыша негодованием, повернулся в мою сторону: «А знаешь, то, что они так себя ведут, убеждает меня

в том, что я прав». И эта неожиданная для него самого мысль помогла ему обрести столь необходимое для этого вечера внутреннее равновесие...

Свою речь перед телекамерами и телеэкранами всего мира он начал ровно в 19.00, заметно волнуясь. Но уже после первых фраз, прозвучавших убедительно и значительно, успокоился. В выступлении звучала одновременно и горечь, и гордость пророка, который, хотя и не смог привести свой народ «в землю обетованную», безусловно, вывел его из плена. Теперь, когда, опережая и отталкивая его, устремились вперед новые лидеры и вожди, увлекая за собой толпу, он вдруг оказался не нужен и, напоминая о том, что «покидает свой пост с тревогой», был вынужден возлагать надежды уже на чужую мудрость и силу духа.

Тэд Коппол, ведущий «энкормэн» — обозреватель американской телекомпании Эй-би-си, который, пожертвовав рождественскими праздниками, получил возможность снять последние дни советской власти, чьи первые 10 дней, потрясшие мир, были воспеты Джоном Ридом, уезжая из Москвы, сказал, что уход Президента СССР останется для него примером политического и личного достоинства. Видимо, именно это достоинство человека, который, даже уступая свое место другим, вынуждал их его догонять, вывело из себя Ельцина. Вопреки собственным обещаниям, он отказался прийти к низложенному президенту за ядерной «кнопкой», предложив тому принести ядерные коды к нему на нейтральную территорию.

Горбачев, которому в этот день и без того хватало стрессов, как мне показалось, даже с облегчением уклонился от еще одной встречи с российским триумфатором и отправил ему «кнопку» с министром обороны Шапошниковым, явившимся к нему в кабинет. Ему еще предстояло узнать, что красный флаг СССР было приказано снять с кремлевского купола обязательно до окончания его речи. Последний прощальный ужин он провел в Ореховой гостиной в окружении всего лишь пятерых членов его «узкого круга», не получив ни одного телефонного звонка с выражением если не благодарности, то хотя бы поддержки или сочувствия от тех политиков новой России или от

ныне независимых государств СНГ, которые были ему всем обязаны.

«Подниматься над эмоциями» пришлось уже на следующий день. Хозяйственники новой кремлевской администрации отвели ему три дня, чтобы освободить служебную дачу. И хотя одних книг в доме набралось на несколько машин, Горбачеву было сказано, чтобы на служебный транспорт не рассчитывал. Приехав на следующий день в Кремль, чтобы наконец-то основательно заняться разборкой бумаг и дать несколько обещанных интервью, Михаил Сергеевич выглядел мрачным: «С дачи гонят, машины не дают», — сказал он, когда я осведомился о самочувствии. Ирина рассказывала: когда комендант дачи сообщил ему о сроке, отведенном на эвакуацию, отец рассвирепел и начал шуметь: «Это позор». Грозился звонить Ельцину: «Ведь с ним по-человечески обо всем договорились!» А мама сказала: «Никому ни звонить, ни просить ни о чем не надо. Мы лучше умрем с Ириной, но упакуемся и переедем. Люди нам помогут». Переезжать на их старую дачу, выделенную для ушедшего в отставку президента, помогали ребята из охраны, те самые, которые остались с ними до конца в Форосе. Управляющий делами «Горбачев-Фонда» на своей машине объезжал пустые госдачи, набирая где кровать, где стол или шкаф, чтобы хоть как-то меблировать новое-старое жилье Горбачевых.

Прощальный прием для журналистов, организованный 26 декабря в Президент-отеле его пресс-службой, финансировался уже за счет Фонда. На следующее утро он собирался приехать в свой рабочий кабинет, чтобы закончить разборку бумаг и провести назначенную встречу с японскими тележурналистами. Рано утром его помощнику позвонили из приемной Ельцина: «Борис Николаевич занял свой кабинет в Кремле».

«Занятие» кабинета, разумеется, не для работы — в нем еще долго проводили ремонт и перепланировку — носило чисто символический характер и выглядело, как десантная операция. Рано утром 27 декабря передовая группа во главе с самим президентом, сопровождаемым И.Силаевым, Г.Бурбулисом и Р.Хасбулатовым, появилась на пороге приемной Горбачева. В кабинет их проводил один из дежурных секретарей, немало

повидавший за свою партаппаратную жизнь. Не исключено, что тот самый, о котором в свое время Горбачев говорил: «Так ведь он меня до сих пор иногда по привычке Леонидом Ильичом называет».

В кабинете Ельцин победоносно осмотрелся, потребовал открыть запертые ящики стола, хмуро ждал, пока дежурный связывался с комендантом, посылал кого-то за ключами. Ящики оказались пустыми. На самом столе тоже ничего не осталось. Новый хозяин неожиданно спросил секретаря: «А где прибор?» Тот не понял. «Чернильный мраморный». Почему он заговорил о приборе? То ли считал, что стол президента должен быть увенчан чем-то внушительным, то ли заподозрил, что Горбачев забрал казенное имущество домой. Секретарь начал объяснять, что предшественник чернилами не пользовался: каждый день дежурный клал ему на стол несколько ручек разного цвета. Видимо, утомившись от детальных объяснений, Ельцин жестом руки выпроводил секретаря за дверь.

Занятие этой заветной «Высоты» требовалось чем-то отметить. Водружать российский флаг в углу, где раньше стоял советский, не стали, тем более что никто не догадался его захватить с собой. Принесли другое — бутылку виски. Открыв ее в рассветный час в кремлевском кабинете, как в подворотне, четверо мужчин на свой лад «пометили» территорию, которая отныне становилась их полным владением. Медная табличка с надписью «Президент СССР Горбачев Михаил Сергеевич» была услужливо снята со стены еще до их прихода. Выгравированные на ней слова принадлежали уже прошлому, и потому сама табличка имела начиная с вечера 25 декабря лишь историческую и, вероятно, музейную ценность. Кто догадался «приватизировать» ее, по сей день неизвестно. Государство, не успевшее сменить название и изменить свою природу, распалось, не дожив пяти дней до своего 69-летия. А человек, который обещал и надеялся продлить ему жизнь с помощью начатой им реформы, пробыл на посту его первого и последнего президента чуть больше полутора лет.

...1991 год, оказавшийся роковым для коммунистического режима и Советского государства, заканчивался. С ним подо-

шел к концу и срок, отведенный Горбачеву для выполнения его исторической миссии. Он справился с ней успешно, и, по большому счету, несмотря на пережитые политические и личные потрясения, ему не о чем было жалеть. Конечно, в те декабрьские дни сам он так не думал. Два переворота — августовский и декабрьский, как два следовавших один за другим подземных толчка или сердечных приступа, казалось, безжалостно разрушили упорно возводившуюся конструкцию реформируемого и гуманного советского социализма. На самом деле их исторический смысл был в другом: они разбили стенки пробирки, в которой он собирался и дальше выращивать зародыш нового российского общества. Эти истлевшие двойные стенки — государственного социализма и централизованного государства — уже не могли сдерживать напор рвущихся наружу внутренних сил, которым Горбачев решил дать свободу. Но они же были для него теми рамками его проекта, за которые он не смог или не захотел выйти.

Горбачев был прав, когда еще на заре перестройки говорил, что советское общество беременно глубокими переменами. Он взял на себя роль акушера Истории — такое выпадает только великим политикам — и опроверг классиков марксизма, учивших, что только насилие может быть ее повитухой.

Глава 11 В ТЕНИ СОБСТВЕННОЙ СТАТУИ

ОСТЫВАЮЩИЙ РЕАКТОР

В наше время, к счастью для политиков, их жизнь не обрывается даже с кончиной государств, которые они возглавляли. «Нет, весь я не умру!» — как бы от имени Горбачева написал на первой странице, прощаясь с ним, в декабре 1991-го «Московский комсомолец». Прощались преждевременно. И те, кто, то ли раскаявшись, то ли прозрев, бросились бурно ему сочувствовать и о нем вздыхать, и те, кто не отважился позвонить ему в те трудные дни. Он устоял на ногах и пережил то, что тяжелее было перенести, чем изгнание из Кремля и отлучение от власти, — измену бывших соратников и разрушение, хуже того, компрометацию главного дела его жизни, оказавшегося теперь в чужих руках.

Несмотря на подчеркнуто недоброжелательное отношение новой власти, на внезапно замолкшие телефоны и статус «неприкасаемого», в котором в традициях советской номенклатуры пребывал отставной президент, он не уехал за границу (его настойчиво приглашали «отдохнуть» Коль и Буш, а Миттеран предлагал почетный пост профессора Коллеж де Франс) и не ушел из политики. На некоторое время просто замолчал. И не потому, что обещал какое-то время не критиковать Ельцина. Ему надо было не только отдышаться после шести с половиной изнурительных лет, но и разобраться в том, что произошло с

Перестройкой, с его страной, и понять, почему при том, что он хотел, как лучше, вышло, увы, как всегда. «В России, — сокрушался он, — мы почему-то ни одного дела не доводим до конца».

Надо было, кроме того, определить, что же представляет собой постперестройка, за которую он как инициатор процесса реформ не мог не чувствовать себя ответственным. «Если бы отец сказал: все, я умываю руки, после меня хоть потоп, поступайте, как знаете, — говорит Ирина, — мы бы на одни только гонорары за его книги и выступления спокойно и очень неплохо жили бы где-нибудь на Сейшелах. Но для него это было исключено».

Горбачев подтверждает: «Я не чувствую за собой вины в том, что кого-то обманул. О том, чего я хотел, всегда говорил открыто, постоянно апеллировал к людям, даже когда меня освистывали и проклинали. Некоторые даже говорят: надоел им проповедник Горбачев. Но то, что я ответствен, по крайней мере морально, за то, что проект оборвался, и за его нынешние последствия — это бесспорно».

На его отношение к ельцинскому этапу российской истории, конечно, не могли не повлиять нормальные человеческие эмоции: уязвленное самолюбие, обида, ощущение проявленной к нему несправедливости. Однако «роскоши» одних только эмоциональных оценок политик такого калибра себе позволить не мог. Скорее наоборот: проще всего ему было бы пренебречь отношениями с «Борисом и его командой» — достаточно только «встать над эмоциями», внушить себе: «если они так себя ведут, значит, я прав».

Куда сложнее обстояло с общей оценкой нового политического курса. Уравнять, поставить рядом два путча, августовский и декабрьский, несмотря на антиконституционный характер их обоих, Горбачев все-таки не мог. При том, что «беловежский сговор» разрушил столь дорогой его сердцу Союз, нельзя было назвать провозглашенную и проводимую Ельциным политику отрицанием перестройки, то есть реставрацией, по крайней мере поначалу. Более того, это означало бы, что он своими руками перечеркивал едва ли не главное свое достижение, которым гордился: необратимость перемен в советском (россий-

ском) обществе, произведенных его Перестройкой. Ведь он сам не раз говорил, что связал свою судьбу не с должностью, а с историческим процессом, что «эпоха Горбачева» поэтому не заканчивается с его отставкой, а только-только начинается. А если так, то все происходящее после него, — это продолжение судьбы Перестройки.

Первоначально его неоднозначное отношение к экономической реформе объяснялось и тем, что российское руководство решилось на то, на что он сам не отваживался, — на прыжок над пропастью в рынок. И хотя он не мог поддержать радикализма гайдаровской «шоковой терапии», его расхождения с радикал-реформаторами относились больше к тактике, чем к направленности предпринятых мер. Из-за этого на какое-то время он опять, почти как в августе 91-го, стал заложником позиции и поведения российского президента, был объективно больше заинтересован в успехе его политики, чем в ее неудаче.

Однако уже к маю 1992 года, оценив социальные и политические последствия избранной модели реформы и убедившись, что его опасения, связанные с развалом Союза, оправдываются, Михаил Сергеевич прервал молчание, авторитетно заявив, что новая российская команда двинулась «не туда». Чем дальше, тем больше своим ускоряющимся сползанием к авторитаризму, своим самодурством и хамством, проявляемым в том числе к нему самому, «царь Борис» облегчал Горбачеву освобождение от связи — скорее ностальгической, чем политической — с лагерем «демократов» и от чувства «должника» в отношении российского президента, спасшего его в августе 91-го политически, а может быть, и физически.

Первая ельцинская реакция на «заговорившего» оппонента была классически обкомовской: вопреки зафиксированным в документах условиям материально-бытового обеспечения ушедшего в отставку президента, у него по распоряжению «сверху» отобрали закрепленный за ним «ЗИЛ», срезали охрану, убрали с дачи садовника. Примерно так же в 1993 году он обошелся с другим отставным президентом, на этот раз американским, Ричардом Никсоном. Разъярившись на него за то, что тот, как и весной 91-го, приехав в Москву, встретился не только с царствующим президентом, но и с представителем оппозиции

А. Руцким, и, забыв, очевидно, что в роли Руцкого в то время выступал он сам, Ельцин лишил американского гостя выделенной ему машины.

Осенью карательные меры против незамолчавшего Горбачева приняли более впечатляющие масштабы: у его Фонда реквизировали здание у метро «Аэропорт». Операция была осуществлена с помощью внушительной группы вооруженных милиционеров и омоновцев, блокировавших на рассвете 13 октября центральный вход в здание, и прибывшими почти одновременно с ними пикетчиками РКРП анпиловской «Трудовой России». Приехавшего на работу Горбачева пикетчики встретили криками «предатель», милиция не пропускала его в «реквизированное» здание, а собравшаяся перед подъездом российская и мировая пресса с наслаждением интервьюировала бывшего президента, обращавшегося к ней с крыльца и вполне естественно вошедшего в роль политического диссидента и правозащитника. На вопрос журналиста, как он оценивает отношение к нему главы Российского государства, Михаил Сергеевич ответил без обычной дипломатии: «как дерьмовое». Конфликт в конце концов удалось урегулировать не силовым, а юридическим путем: в отобранном помещении Фонду было позволено снять несколько комнат для самого Горбачева, его сотрудников и, что ценнее всего, для его архива.

При том что Горбачев больше не стеснялся в оценках ельцинского политического курса, который чем дальше, тем явственнее означал «откат от демократических завоеваний и от перестройки, свертывание демократии и сползание к авторитаризму и диктаторству», — политика не была главным направлением его деятельности. Он не собирался, как и обещал Ельцину, превращать Фонд в «гнездо оппозиции». Да и комментировал политические события в стране либо когда к нему обращалась пресса, либо когда считал, что не может молчать: практически единственный из политиков демократического лагеря, он резко осудил вооруженный штурм российского парламента в октябре 1993 года... Основную же часть времени в первые годы после отставки занимала работа над мемуарами и давно откладывавшееся на потом чтение. По его собственным словам, за это время он сам «почувствовал, что поумнел».

Размышления, как и семейные беседы, вращались в основном вокруг все тех же щемящих сердце проблем перестройки: стоило ли ее начинать, и если «да», то: так ли надо было вести. В прошлом в пылу политических баталий и дебатов, под давлением обстоятельств и усугублявшегося кризиса ему приходилось отвечать на возникавшие вопросы с ходу, импровизируя, следуя интуиции, учитывая характер аудитории и т.п. Теперь же он мог, оглядываясь назад, если и не бесстрастно, то, во всяком случае, на холодную голову осмысливать и то, что произошло за эти годы, и то, насколько оправданы были те или иные его решения и поступки.

Как и у большинства людей, а тем более у политиков, первый естественный позыв найти оправдание и прожитой жизни, и содеянному. Однако он не был бы «человеком десятилетия», а может быть, и века, если бы все свелось к этой объяснимой слабости отставных политиков. Горбачев не стыдился признавать допущенные серьезные, даже роковые ошибки и не побоился, рискуя выглядеть ретроградом, подтвердить приверженность своим изначальным намерениям и убеждениям, которые его соперники, а с ними и политические приспособленцы давно объявили заблуждениями.

Так было со знаменитым «социалистическим выбором», о котором он, скорее всего неуместно, напомнил сразу по возвращении из Фороса. Тогда даже многие его искренние приверженцы восприняли это как оговорку, некую политическую оплошность человека, который хотя и сказал, что вернулся в «другую страну», но реально в полной мере не прочувствовал этих перемен. И только пронизательный антикоммунист К. Любарский, чуть ли не с восхищением, оправданным в устах того, кто привык уважать неортодоксальные мнения, написал в «Новом времени»: «Повторить сразу же после августовской революции слова о верности социалистическому выбору и необходимости дальнейшей реформы КПСС, после фактически уже состоявшегося распада империи продолжать заклинять о Союзе мог только очень убежденный человек».

Если в вопросе о смысле и содержании пресловутого «соцвыбора» Горбачев готов был уйти далеко за рамки традиционного коммунистического толкования и российского его вопло-

щения, то, что касается Союза, он и после крушения, как и положено Президенту-капитану этого погрузившегося в Лету государства, продолжал стоять на его мостике. Оборванный процесс плавных реформ и разгон Союза — вот главные его претензии к новым «постояльцам» в Кремле, которых он отказывался считать своими наследниками. «Нынешняя политика выбила страну с курса постепенных эволюционных перемен. И основное ее содержание — это разрушение союзного государства как главная причина, приведшая страну к трагическим последствиям, — говорил Горбачев в апреле 1995 года на заседании клуба «Свободное слово», посвященном десятилетию начала перестройки. То же, видимо, он повторит и сейчас.

Как в святости Союза, убежден он и в предопределенности, неотвратимости перестройки, в том, что, если бы не он, кто-то другой, занявший его место, вынужден был бы ее начать. «Реформы не были изобретением людей, которые в 1985 году пришли к власти и которых вдруг в одночасье осенило, — упорствует он и сегодня. — Потребность в них носила объективный характер. Мы увидели, что проигрываем исторически... Через большевистскую модель мы, по сути, исключили Советский Союз и Россию из общецивилизационного процесса... Еще раз хочу подчеркнуть — идею Перестройки нам никто не «подбрасывал», она родилась в той системе, в той партии и в том обществе, в котором мы жили». И отзываясь о себе отстраненно, то ли как об историческом персонаже, то ли как о поставленной на площади статуе, добавлял: «Горбачев не выдумал Перестройку, а выразил общественную потребность».

Ответив, по его мнению, убедительно, на первый вопрос: «Надо ли было все затевать?», он приступает ко второму, более трудному для себя вопросу, который задают ему простые люди: «Михаил Сергеевич, мы Вам верили. Но что же получилось, ведь мы живем хуже, чем тогда?» Убедительного ответа у Горбачева, кроме двух очевидных — «не дали довести до конца» и «развалили Союз», — не находится. Да и можно ли словами переубедить тех, кого сначала одна власть, потом другая отучили верить политикам, и кто в конечном счете все равно все меряет не словами, а тем, что приобретает и что теряет.

В действительности же ответ есть. И хотя одним он непонятен, другим неприятен, а третьи просто не хотят его слышать, за него Горбачеву не надо стесняться, ибо в нем — его историческое оправдание, его защитительная речь на Суде истории, последнее слово перед вынесением приговора. Роль его защитника берет на себя самый близкий после Раисы для него человек, дочь Ирина: «Почему вы все время говорите, не получилось то, не вышло это. Все получилось. Главное, люди могут говорить что угодно. Они получили право выбора. Как они пользуются этой свободой выбирать, что им делать и кто должен ими управлять, теперь уже их, а не его дело. И вообще перестройка продолжалась шесть лет. Мы все уже почти десять лет живем при другой власти, которую люди сами выбрали, а виноват по-прежнему во всем Горбачев!»

Все, конечно, не так просто. Это чувствует и сам Михаил Сергеевич, иначе не говорил бы о «моральной ответственности» за последствия перестройки, за «вновь наступившую эпоху Горбачева», не выдвигал бы свою кандидатуру на президентских выборах 1996 года. Ибо что другое может сделать политик, ощущающий свою ответственность за происходящее в стране, как не предложить свое служение людям?!

ГЕНСЕК И «ГЕНЗЕК»

Горбачев долго колебался перед тем, как принял решение идти на выборы. Советовался с помощниками в Фонде, зондировал мнение не столько столичных, сколько приехавших из глубинки ходоков, предлагавших начать его «раскрутку». На самом деле решение, видимо, для себя уже принял, потому что все московские советчики его отговаривали: «Шансов на победу никаких, а плохой результат для политической репутации человека, уже принадлежащего истории, хуже, чем никакого». Не была сторонницей выдвижения его кандидатуры и Раиса Максимовна, хорошо представлявшая, с какими новыми перегрузками может быть связана очень сомнительная по результатам избирательная кампания; и просто опасавшаяся за мужа. Кроме того, после августа 91-го она не только физически не пришла в себя от пережитого потрясения, но и не оправилась от более тя-

желого, психологического шока — предательства. «Даже в семье у нас после Фороса, — сказала она в одном интервью, — все как-то потускнело». Тем не менее она уступила, понимая, что для человека, считавшего себя «призванным в политику», уклониться от выборов — значило пожертвовать чем-то важным.

Действительно, для него психологические причины пойти на выборы были, может быть, больше важны, чем те политические резоны, которые он сам приводил: не дать аннулировать выборы, помешать Ельцину объявить о победе в первом же туре, содействовать созданию влиятельной «третьей силы», которая избавила бы многих избирателей от вынужденного выбора между Б.Ельциным и Г.Зюгановым. Ради формирования такого избирательного блока с участием Св.Федорова, Г.Явлинского и А.Лебеда Горбачев готов был заявить, что не претендует в нем на лидерство. С «третьей силой» не получилось. «Одних перекупил Ельцин, другие не смогли смирить личные амбиции», — резюмировал он.

Его самого участвовать в выборах толкала на этот раз не политика, а желание высказаться, выговориться, объяснить с теми, кто в свое время в него поверил. За несколько месяцев избирательной кампании он объехал больше двух десятков российских регионов, побывал в Санкт-Петербурге, в Волгограде, в Сибири. Объяснение с людьми часто получалось тяжелым. Конечно, были и провокации политических противников — коммунистов, пытавшихся сорвать его выступления, помешать говорить скандированием лозунгов и проклятий, как это случилось в Волгограде. Хмурил брови Кремль, давая понять местным властям, что экс-президенту не следует помогать в его избирательной кампании. В результате не только губернаторы, воспитанные в обкомовских традициях, но и записные демократы, чьи имена стали известны стране именно в эпоху правления Горбачева, вроде мэра Северной столицы А.Собчака, не отважившегося «из-за занятости» встретиться с ним, «брали под козырек», запрещая в последний момент использовать уже выделенные для его встреч с избирателями залы и отдавая команду местным средствам массовой информации не замечать его выступлений.

В Сибири дело дошло до опасной грани: когда Горбачев шел через враждебно гудевший зал к сцене, какой-то субъект, сделав вид, что тянется пожать ему руку, вдруг, опередив телохранителя, резким профессиональным движением изо всей силы ударил ребром ладони в затылок, в основание черепа. Нападавшего схватили, быстро увели из зала, а Горбачев, преодолевая головокружение и боль, все-таки поднялся на сцену и произнес получасовую речь. Но самым трудным испытанием для него была не враждебность откровенных противников или подосланных провокаторов, а общение с простыми людьми, ради которых он все и затевал и кто в нем разочаровался.

Отправляясь в свое донкихотское странствие по российским городам и весям, Михаил Сергеевич не представлял еще, что ему откроется уже другая страна — с остановленными заводами, заброшенными полями и потерявшим работу и надежду деклассированным населением. Страна, в чем-то напоминавшая ту, которую он обнаружил, отправившись в памятный послевоенный год из Ставрополя в Москву, с той разницей, что наступившая разруха на этот раз была не результатом жесточайшей войны, а, как считали многие, следствием перестройки. И потому встречи с ним проходили не как с очередным кандидатом на власть, которому достаточно было развернуть перед людьми веер очередных обещаний, а как с человеком, ответственным за их беды. Но эти же встречи, как правило, трудно начинавшиеся, доставляли ему наибольшее удовлетворение, потому что чаще всего заканчивались аплодисментами и пожеланиями успеха. «Когда мы приехали во время избирательной кампании на Алтай, — вспоминает Горбачев, — пошли с Раисой Максимовной на рынок. Там ее окружили женщины, кричат: «Вам хорошо, вы за границу уехали, а мы здесь». Раиса им говорит: «Да вы что, ни я с Михаилом Сергеевичем, ни наши дети и внуки никуда не уезжали». В Ивангороде досталось уже ему: «Иду через толпу, как сквозь строй, под шпигрутенами. Двадцать минут орала, оскорбляли, кричали «Иуда», «предатель», не давали открыть рта. Я им тогда говорю: «Вы ведь меня даже выслушать не хотите. Чего же вам надо? Распять меня? Распинайте! Вот я сам к вам пришел». Зал затих. Потом три часа говорили. Главный вопрос: почему допустил Ельцина

до власти? Не могли этого простить. Закончилось овацией. Об этом, конечно, как и о других моих выступлениях, газеты ничего не написали».

Некоторое время сопровождал президента Лиру в политических скитаниях по его разоренному королевству Андрей Синявский вместе со своей неразлучной спутницей супругой Марией Розановой. Один из первых постсталинских диссидентов «гензек» Синявский упрямо, несмотря на волгоградскую жару, поднимался вслед за бывшим генсеком на Малахов курган, как на Голгофу, под враждебные выкрики антигорбачевской маевки, развернувшей по соседству свои коммунистические транспаранты. По возвращении в Париж, где они обосновались после освобождения Андрея Донатовича из брежневского лагеря, «Абрам да Марья» (выражение Розановой) пришли в российское посольство голосовать за Горбачева. «Неважно, что у него нет шансов, — сказал потом Синявский, придя к нам на рю Николо отметить день выборов. — Я голосовал за него для себя, потому что Горбачев — единственный, кто хоть что-то сделал для страны».

Голосов Синявского и Розановой вместе с другими, кто думал примерно как они, по официальным данным, на президентских выборах 1996 года набралось 0,51 процента. Даже если их реально было минимум в 10 раз больше, как считает Горбачев, общий итог для него все же неутешителен. Это означало, что в обозримом будущем нельзя рассчитывать на возвращение в активную политику по условиям игры, которые он сам ввел. Если в 91-м, чтобы избавиться от него, сначала союзной, а потом республиканской номенклатуре пришлось отбросить политику и преступить закон, то через пять лет бывшего президента демократическим волеизъявлением отвергло уже изнуренное реформами совсем другой власти население, считавшее именно его перестройку первоисточником всех бед.

Конечно, он мог бы найти утешение в том, что самой возможностью свободно решать вопрос о своих правителях российское общество обязано именно ему, и поэтому, как и в памятные августовские дни, когда оно продемонстрировало, что может без него защититься от путча, имеет право продемонстрировать, что больше в нем не нуждается. Так, достаточно без-

жалостно, как это нередко бывает в истории, страна, освобожденная им от опеки прежней системы (хотя, быть может, теперь и попавшая под другую), высказалась вполне определенно, что считает его историческую миссию законченной.

Придя на следующий день после объявления результатов выборов в кабинет к Горбачеву, советник В.Кувалдин, сопровождавший его в таких поездках, поздравил: «Теперь, Михаил Сергеевич, вы свободный человек. Что вы могли сделать для страны, вы сделали. Вы отдали все долги и теперь не должны ничего никому, кроме собственной семьи». Конечно, это бодрое, хотя и вполне искреннее поздравление, было и утешением — Горбачев, не надеясь победить на выборах, рассчитывал все-таки на другой результат, который позволил бы ему и его сторонникам без оглядки на ненадежных и капризных союзников вернуться к идее политического течения или даже партии «третьего пути». Как показали выборы, время прежнего Горбачева, скорее всего, безвозвратно ушло, время «нового» — для общества, разделенного на неравные части последствиями неуклюжих реформ и пораженного общим кризисом безверия, еще не наступило. Вопрос, хватит ли ему отпущенной жизни, чтобы дождаться, когда его вновь услышат, остался открытым. Впечатляющее чествование Михаила Сергеевича в день его 70-летия, ставшее для многих не только поводом для его поздравления, но и запоздалого покаяния, позволяет ему на это надеяться.

«У НЕГО БЫЛА МАНИЯ ЕЕ ВЕЛИЧИЯ»

Зная Горбачева, трудно было даже предположить, что, обидевшись на «неблагодарную» страну и не пошедших за ним избирателей, он расстанется с политикой и «удалится в семью». Сам же В.Кувалдин справедливо характеризует его как «человека миссии», для которого главное — выполнять свое дело, стараться сделать для России и для мира то, на что он способен, «будучи Горбачевым»: «Михаил Сергеевич считает себя призванным в политику. Это его крест, и он идет по своей стезе, вполне трезво отдавая себе отчет в том, что вряд ли увидит плоды своих усилий». (Заметим все-таки, что некоторые, и

весьма существенные, результаты его трудов более чем различимы.)

Формула «вернуться к семье» для него была лишена смысла уже хотя бы потому, что еще со времени студенческой свадьбы никогда из нее не отлучался. Его союз с «Захаркой», — так он окрестил Раису, обнаружив в ней сходство с девушкой, изображенной на картине Венецианова под этим названием, — стал для обоих тем ядром, вокруг которого на разных орбитах вращались все остальные частицы, составлявшие личную и политическую вселенную Горбачева. Этот союз был не только счастливым браком от Бога, но и идейным, и рабочим. Недаром Михаил Сергеевич называл супругу «секретарем семейной партячейки». И хотя она ответственно, как и ко многим своим другим обязанностям, относилась к членству в партии — вплоть до августа 1991 г. сама ездила ежемесячно в райком платить членские взносы, — эту его шутливую формулу не надо принимать слишком всерьез. «Удерживать мужа через партбюро она во всяком случае бы не стала», — говорит он. На людях «Захарка» всегда подчеркнуто официально называла мужа по имени-отчеству, дома же у него было два прозвища «Ми» и «Ежик». Еще одним титулом Михаил Сергеевич наделил Раису в молодости, когда регулярно писал ей письма из командировок, — «министр иностранных дел», которому он доверял поддерживать дипломатические отношения с окружающим миром. И к этой своей должности Раиса относилась предельно серьезно, ревностно оберегая их семейно-личностные границы от любых вторжений извне. С учетом публичной роли и стремительной карьеры мужа это было непросто, поскольку большую часть времени Горбачев принадлежал не себе, а своим многочисленным функциям — возглавляемой им партией, коллегам, посетителям, зарубежным гостям и, прежде всего, своему замыслу, — он, как аккумулятор, подзаряжался в семье, от Раисы. Некоторые люди из его окружения недоумевали, почему Горбачевы почти никого не приглашают в свой дом (за исключением ритуальной ежегодной встречи 2 января на даче у генсека членов Политбюро с женами). Большинство видело в этом влияние Раисы, отваживавшей от мужа его друзей. На самом деле, особенно в ставропольский период, супруги вели отнюдь

не замкнутый образ жизни, продолжали кое с кем встречаться семьями и в Москве. Столичный круг их знакомых был в значительной степени навязан должностью Горбачева, и уже в силу этого общение с входившими в него людьми представляло собой то же продолжение работы. Когда хотелось отключиться от нее или «садились батарейки», Михаил Сергеевич звонил Раисе — за день набиралось 5—6 таких звонков. Раиса Максимовна, правда, вскоре после приезда из Ставрополя предприняла попытку завязать отношения с «кремлевскими женами», но, попав однажды на вечер, где дамы несколько часов провели за преферансом, быстро остыла к партийной светской жизни.

Нет смысла изображать отношения четы Горбачевых в виде буколических картинок — их удивительно гармоничный союз в этом не нуждается. У них случались размолвки, бывало, как рассказывает дочь, возвращались со своей неперменной вечерней прогулки порознь, входили в дом через разные двери. «Но долго быть в ссоре не могли»: слишком глубоко проникла в натуру обоих потребность всем делиться друг с другом. И непривычная по номенклатурным меркам ангажированность Раисы в проекте, ставшем не только для мужа, но и для нее делом жизни, и уважительное отношение к ее мнению Горбачева воспринимались многими как нарушение неписаных канонов власти, как какая-то слабость. Взгляд кремлевской обслуги на поведение главы государства выразил начальник президентской охраны В. Медведев в неожиданной, но верной формуле: «У Михаила Сергеевича была мания ее величия».

Сама Раиса Максимовна, ощущая поле напряженности вокруг себя, не могла ни понять эти провокационные выходки — «Что я им сделала, что они меня распинают?», — ни смириться с тем, что должна в угоду обывательской реакции и номенклатурным ритуалам менять устоявшиеся в их семье традиции. Для нее поездки в разрушенный землетрясением Спитак, в черномыльскую зону или в Мурманск, к морякам-североморцам — это отнюдь не желание лишний раз покрасоваться на телеэкране, а естественное стремление быть рядом с мужем не на одних только протокольных мероприятиях, а всюду, где могла понадобиться только ее незаменимая поддержка. Именно после поездки в районы Белоруссии, пораженные радиацией, она помогла

встать на ноги Международному фонду помощи детям, страдающим лейкемией, возглавив кампанию по сбору средств (сами супруги перевели в него 100 тыс. долларов от полученных ею и Михаилом Сергеевичем гонораров и Нобелевской премии).

Горбачев, как мог, старался защитить Раису от предубежденности и вражды, вызываемых ее непривычной для многих публичной ролью. «Слышать, как ее имя треплют досужие языки, — вспоминает бессменный горбачевский переводчик Павел Палащенко, — было для него мучительно». Но пока он был «при исполнении» своих официальных функций, его возможности заступиться за жену были весьма ограничены. Только после отставки, уже не скованные протоколом, они могли, наплевав на фотографов, ходить всюду, где хотели, держась за руки. И лишь в роковом сентябре 1991 года позволил себе Михаил Сергеевич ответить обидчикам Раисы и Ельцину, подхватившему сплетню насчет ее «золотой кредитной карты» (в те годы «Мабетекс» еще не имел доступа в Кремль), — всем, кто подозревал ее в том, что она за государственный счет шьет свои наряды у парижских кутюрье или получает зарплату в Фонде культуры. Так и не смог он за все годы, проведенные во власти, исполнить заветную мечту своей «Захарки» «обзавестись когда-нибудь домиком у моря, где можно было бы просто спокойно жить». Вся их интенсивная и завидная с точки зрения многих жизнь была не только вынужденно-прилюдной, но и казенной, проходившей под колпаком (если не под стражей) охраны и на территории, им не принадлежавшей. Когда жена Франсуа Миттерана Даниэль во время последнего заезда Горбачевых во Францию, увидев, что Раисе понравился мед с их домашней пачеки, хотела подарить ей улей, та только горестно всплеснула руками: «Но ведь нам негде будет его поставить. Сколько раз я говорила Михаилу Сергеевичу: «Давай вместо этих госдач заведем себе свой участок земли!»

Парадоксально, но именно отставка, освободив Горбачева от бремени государственной ответственности, могла позволить Раисе осуществить свою мечту. Но судьба распорядилась иначе. Внезапная фатальная болезнь, та самая, от которой она в меру сил старалась защитить детей Чернобыля, обрушилась, по словам Михаила Сергеевича, «как снег в августе». Острый лей-

коз буквально в несколько дней превратил моложавую, очаровательную, полную сил женщину в тяжелобольного, прикованного к постели человека. Счет отведенной ей жизни пошел на дни. Благодаря помощи зарубежных друзей (Управление делами российского президента отказалось ему помочь), приславших для срочной транспортировки специально оборудованный самолет, Михаил Сергеевич перевез жену в ФРГ, в клинику в Мюнстере, специализирующуюся на лечении лейкозов и трансплантации костного мозга. Почти два месяца он и Ирина не отходили от Раисы Максимовны (во время острой стадии болезни Раису, страдавшую от сильных болей, надо было поворачивать каждые 10—15 минут). Михаил Сергеевич разговаривал с ней все время, которое проводил в палате, даже когда она находилась в забытии или без сознания, — врачи уверяли, что она его слышит. Говорил, что ей «приказано выжить», напевал «Захарке» любимые романсы, вспоминал, как в студенчестве она угодила с ангиной в больницу, жарил в общепитии картошку и приносил ей в палату. И, конечно же, обещал, что у них обязательно будет «домик у моря». Она делала вид, что верит ему и врачам, не забывая всякий раз расспросить, во что он одет сегодня под медицинским халатом.

Несчастье, неожиданно постигшее Горбачевых, вызвало во всем мире беспрецедентную волну сочувствия. Клиника в Мюнстере, гостиница, где жил Михаил Сергеевич, помещение Фонда в Москве были завалены цветами, телеграммами, письмами с выражением поддержки и надежды на выздоровление — от глав государств и от тысяч простых граждан из разных уголков России и стран мира.

Несколько новорожденных девочек в разных уголках земного шара получили в эти дни имя Раиса. Кто-то присылал «проверенные» магические снадобья, кто-то делился собственным счастливым или горестным опытом. Сотни тысяч россиян, в том числе наверняка многие из тех, кто еще недавно не скрывал неприязни к советской «первой леди», восприняли горе дома Горбачевых, как свое собственное. Как с горькой иронией написала «Общая газета»: «Оказывается, мы ее любили». Когда Раисе Максимовне в редкие минуты облегчения читали обращенные к ней послания, на ее глазах выступа-

ли слезы: «Неужели я должна умереть, чтобы заслужить их любовь?!»

Чуда, в которое верили до последней минуты Михаил Сергеевич и Ирина и еще очень многие, не произошло. 20 сентября она скончалась. Российский вариант «Love story» в отличие от американской киномелодрамы, увы, стал реальной человеческой трагедией. «Ежик Ми» остался без своей «Захарки»... Подобно чернобыльскому реактору, радиация политики облучила жизнерадостную девочку из алтайского Веселогорска. Как считает Ирина, «только за то, что она открыто была рядом со своим мужем, мама расплатилась своим здоровьем». Студенческий друг Михаила и Раисы Рудольф Колчанов говорит определеннее: «Раю убил ГКЧП».

Побывав у Горбачева через несколько недель после «черного сентября» 1999 года, я впервые услышал от него то, что, как мне казалось, этот «неисправимый оптимист» просто неспособен произнести: «А жизнь-то, Андрей, прошла...» И грустно улыбнулся...

ШАНС ГОРБАЧЕВА (Вместо эпилога)

Жизнь прошла? Но какая из них, — ведь Михаил Сергеевич не раз говорил, что за годы перестройки прожил как бы несколько жизней. За пару дней до отставки он согласился побеседовать «за жизнь» с американцем Т.Копполом, снимавшим в Кремле агонию Советского государства и уход его первого и последнего Президента. Отвечая на вопрос: «Что сейчас происходит у вас в душе?», Горбачев рассказал притчу о царе, призвавшем мудрецов, чтобы сформулировали для него главную мудрость жизни. Те долго размышляли и уже перед смертью царя пришли к нему с одной фразой: «Человек рождается, страдает и умирает».

В те дни Горбачев подводил итог своей самой короткой жизни: Президента СССР. А ведь были и другие — комсомольского вождя, краевого партийного «воеводы», секретаря ЦК, генсека. Наступила и следующая — постсоветская жизнь экс-президента. Если их собрать, вложить одна в другую, получится целая матрешка. И только все вместе они составят образ того, кто, не перестав быть конкретным живым человеком, на наших глазах превратился в событие — в одно из самых неординарных политических явлений XX века.

Мудрецы не упомянули, что между рождением и смертью человек получает шанс: право расписаться в Книге Жизни, ос-

тавить свой след. Каждый распоряжается этим шансом по-своему. Но чем измерить след, оставленный политиком? После Горбачева, потомственного пахаря, в российской и мировой истории осталась глубокая борозда. Можно ли однозначно оценить сделанное им, ведь его фигура, как и личность, до сих пор остаются предметом споров и разноречивых толкований даже в среде его соратников.

В своих книгах, вышедших почти одновременно, один — бывший секретарь ЦК и изначально активный сторонник генсека В.Фалин пишет, что так называемая перестройка, вместо того чтобы стать «революцией в революции», превратилась в «импровизацию в импровизации», выродившись в «авантюру», другой — А.Черняев — называет ее невиданным историческим прорывом. Для одних Горбачев — «могильщик» великой державы и коммунистической мечты, для других — пророк социализма с человеческим лицом. Он продолжает бросать вызов и тем, кто убежден, что такого социализма не существует, и тем, кто считает, что реальный социализм в человеческом лице не нуждается. Одни вменяют ему в вину идеализм и романтическую веру в «автоматизм демократии», другие — что был недостаточно решительным и жестким лидером в стране, привыкшей к царям и тиранам. Кто ближе к истине?

Уходящих в историю политиков мерили разной шкалой ценностей. Когда А.Пейрефитта, бывшего французского министра и пресс-секретаря де Голля спросили, какое наследство оставил после себя ушедший в отставку генерал, тот ответил: «пример». В этом слове для него соединилось политическое и нравственное величие выдающегося французского и мирового лидера.

Советник другого президента Ф.Миттерана, нынешний министр иностранных дел Франции Ю.Ведрин считает: для оценки политика и государственного деятеля может существовать только один критерий — результат. Даже мораль политика измеряется не намерениями, а результатами: «Морально быть ответственным».

А вот человек, который никогда не был ничьим помощником, К.Любарский хвалит Горбачева не за намерения, а как раз за результат: «Хочется, прежде всего, сказать ему спасибо за то, что он сделал для нашей свободы больше, чем кто-либо иной, и

не только его вина, что мы не смогли ею в полной мере воспользоваться. Не важно, что Горбачев делал это не всегда сознательно, иногда даже с противоположными намерениями, — в истории в конечном счете оценивается лишь результат, а он превзошел все ожидания».

По мнению А. Черняева, «...как политик Горбачев проиграл. Останется в истории, как мессия, судьба которых везде одинакова». Однако Горбачеву-политику, а не мессии, неожиданно приходит на помощь другой выдающийся европейский политик Франсуа Миттеран. Он считает, что бывают ситуации, когда деятельность политика можно охарактеризовать как неудачу, но только если оценивать ее «с ограниченной точки зрения: Власти, а не Истории». Немаловажный нюанс.

Собственно говоря, именно уважительная оглядка на историю, стремление угодить ей, угадать ее, скорее, чем желание ее переломить, превращает Горбачева в политика больше западного стиля, чем традиционного русского «царя». В этом одно из объяснений, почему за рубежом легче понимали (и больше ценили) Горбачева, чем в его собственной, не привыкшей к таким правителям стране. Не случайны и приводимые западными политологами параллели между ним и своими политиками. Одна из них — опять-таки с де Голлем. Американец Саймон Серфати считает, что сближает этих двух, очень разных государственных деятелей именно способность вслушиваться в историю и с максимальной эффективностью использовать все возможности, которые она дарит. Называя их обоих «оппортунистами Истории», он заключает: «именно это качество превращает государственного деятеля в истинного революционера».

Вопрос о том, действительно ли это подслушанный «шорох Истории» и умение «ухватить ее за полу», которым скромно гордится Горбачев, или, как считает еще один его бывший помощник Н.Петраков, способность приписать себе задним числом «заслугу умысла», в конце концов, для самой истории не важен. Важно мужество не дрогнуть, не повернуть назад, даже если сталкиваешься с такими последствиями своего изначального выбора, которые не мог предвидеть.

Предоставим все-таки слово самому подзащитному: «Совесть моя чиста, — говорил Горбачев журналистам в самолете

во время ночного полета в Иркутск, его последней официальной поездки по стране в ноябре 1991 года, — впервые в истории страны была предпринята попытка ее цивилизованно очеловечить». Не было ли это его заявление косвенным признанием вины, вопиющей наивности человека, вознамерившегося реформировать Россию демократическими методами? Ведь единственные великие реформы, которые она знала до сих пор, будь то петровские или большевистские, осуществлялись откровенно варварским способом.

Горбачев же, хотя, естественно, предпочитал, чтобы его называли революционером, а не оппортунистом, с самого начала не замыслил создать новый мир и новую страну на месте старой, а лишь хотел помочь ей измениться. Избрав главными инструментами своего проекта реформы проповедь демократии и гласность, отказавшись вопреки совету Достоевского, от «тайны и авторитета» (зная к тому же, что «авторитет» правителя в России слишком часто завоевывается лишь неординарным злодейством), в глазах многих он превратился в «слабого», нерешительного лидера, которому оказалась не по плечу взятая на себя ноша.

Внешне, возможно, это так и выглядело: ведь начав в 85-м с того, что он «мог все», Горбачев закончил к декабрю 91-го тем, что фактически уже не мог ничего. Те, кто клеймят его за то, что «промотал» доставшуюся власть, не учитывают, что его первоначальное могущество было всесилием должности, опиравшимся на партийную диктатуру, и что именно ее разрушение было частью его замысла. «Он разорвал историческую преемственность тоталитарного самовластия — «власти как самоцели», составляющей, по Дж.Оруэллу, единственный смысл существования тоталитарного государства, — написала в десятилетнюю годовщину начала перестройки «Литературная газета». — Его неудача была его сознательным выбором. Его неуспех был его позицией». До сих пор многие упрекают его, что добровольно отдал власть, не обратившись к помощи армии. Что ж, тогда сегодня мы бы с сожалением вспоминали не о его отставке, а о том, что в декабре 1991 года Горбачев превратился в Ельцина. Слава богу, этого не произошло.

Власть не ушла, как песок или вода, из рук Горбачева — он начал сознательно передавать ее тем, кто был лишен доступа к ней, раздавать, как Христос свои хлебы, рассчитывая накормить ими всех. Но он не был Богом, и накормить всех, тем более властью, ему не удалось, к тому же произошло то, что обычно бывает при бесплатной раздаче: одни передрались, другим ничего не досталось. В результате число недовольных лишь увеличилось, и даже люди, поддерживавшие его в прошлом, не захотели простить ему не только плачевных итогов реформ, но и самого ее замысла.

И еще одно не прощают Горбачеву — что вместе с «растраниженной» властью он попробовал вернуть каждому личную ответственность, восстановить суверенитет человека по отношению к государству. И не только тем, что, разрушив большевистский абсолютизм, снял ответственность с партии, которая была до этого «за все в ответе», но и тем, как себя вел, каким был сам. В великом Реформаторе не было ничего величественного. «Он оказался таким, как все мы», — с упреком бросают ему те, кто привык видеть в правителе вождя, опирающегося в своей власти на «тайну и авторитет». Потому что коварная формула «он такой же, как мы» лишает «нас» оправдания за то, что мы не поступаем и не ведем себя, как «он». Такое не прощается.

Горбачев к тому же подливает масла в огонь: «Не хочу приписывать себе ничего героического... Я просто оставался самим собой, вел себя, как человек совести и морали. И никогда у меня не было ощущения, что я — над своим народом. Я и сейчас в нем не разочарован. Хотя и считаю, это беда, что он себя так ведет. Терпит то, что другие не стали бы терпеть. Может быть, это просто действует инстинкт самосохранения?» Эта защитительная речь Горбачева напоминает воображаемый диалог испанского короля Фердинанда VII, прозванного Желанным, с Франсиско Гойей — по версии испанского писателя Карлоса Росы в повести «Долина павших»:

«Гойя: Иллюзия, которой удастся увлечь целый народ — самая могущественная сила на свете, и такую возможность Вы держали в руках. Судьба Ваша сложилась столь необычайно, что Вы могли принести нам мир, согласие, работу и, главное,

надежду. А Вы оставляете ненависть, фанатизм, нищету и отчаяние. Если Бог не вмешается, то следом за вами придет гражданская война. Вы не можете с уверенностью сказать даже, кто унаследует трон.

Фердинанд VII: А тебе не кажется, что не спас я своего народа именно потому, что говорил на его языке, и сам — плоть от плоти его? Народ и я — все равно, что огонь и жар, который опалает. Загорались же мы и горим вместе».

Горбачев, конечно, знал, что при кремлевском дворе не положено говорить вслух то, «о чем молчат» все, но он решил нарушить правила абсурдной игры и, не задумываясь о последствиях, сообщил миру, что «мы имеем дело с авантюрной моделью социализма» и что, стало быть, король гол. Но то, что у власти в не вполне нормальной стране оказался человек с нормальными нравственными рефлексами и чувством здравого смысла, стало фатальным для сложившейся Системы и в конечном счете для государства. Кто же он тогда — наивный мальчик из сказки Андерсена или дилетант, «лишний человек» в мире политики, новый Печорин или Чацкий?

И как в таком случае этот «нерешительный», всюду и постоянно «опаздывающий» лидер ухитрился раньше многих войти со своими принципами и проектами в новый, еще только наступавший век, в будущее. Ведь именно в будущую, «возможную», с их точки зрения, Россию на самом деле эмигрировали Михаил с Раисой, не уезжая из своей страны. Как удалось ему, действуя больше словом, чем делом, и скорее примером (вспомним де Голля), чем принуждением, произвести всего за несколько лет, отведенных ему историческим случаем, такое потрясение, такой глубокий поворот в российской и мировой истории, что уже не только западные политики, признательные ему за разрушение Берлинской стены и «империи зла», но и недавние российские опросы общественного мнения начали называть Горбачева наиболее выдающимся политиком XX века.

Да и хорошо ли это, если не пророк, не политический мыслитель и не футуролог, а государственный деятель, по должности обязанный стоять обеими ногами на земле, больше связывает свою деятельность с будущим, чем с настоящим? И как

быть людям возглавляемой им страны, которым он предлагает себя догонять? Ответ не только за ним, но и за ними...

Сейчас, спустя более чем пятнадцать лет с начала перестройки, многие согласятся, что не только сам Михаил Горбачев, может быть, не лучшим образом распорядился выпавшим ему историческим шансом (о причинах этого уже сказано), но и тогдашнее советское общество, в особенности его политическая элита и интеллигенция, да и мир в целом не использовали в полной мере «шанс Горбачева».

Партийная номенклатура предпочла политическое саморазрушение августовского путча «дележу» власти с обществом, который он предлагал. Его формулу «мягкого Союза» отвергли национальные элиты, бросившиеся в передел «суверенитетов», природных ресурсов и военных арсеналов, решившие, что каждый выручит больше, торгуя ими на мировом рынке как «частник», чем как член союзного «колхоза». Интеллигенция, отступившаяся от него, за прошедшие годы разделилась на две неравные части: одна с облегчением вернулась в привычный статус обслуги «сильной власти», другая — разошлась по кухням, где продолжила свои пока еще дозволенные, но уже «нетелефонные» речи.

«Шансом Горбачева» пренебрег и Запад, получивший в итоге в партнеры хмурую и подозрительную, как в эпоху «холодной войны», Россию, угрожающую ему уже не ракетами (хотя и ими тоже), а распространением по миру грязных денег, отравленных отходов и нравов «Дикого Востока».

Романтический и грандиозный план поворота русла истории России в сторону сотрудничества с Европой и остальным миром, задуманный Горбачевым, в сущности, воспроизводил мечтания и надежды большинства предшествовавших ему российских реформаторов. Отличался он от них «только» тем, что предполагал готовность страны и ее политиков пойти за ним по эволюционному, а не революционному пути. Его расчет не оправдался.

«Горбачев пришел слишком рано», — говорит он, как бы отстраняясь от себя, как от независимой политической фигуры. Рано для чего? Чтобы быть услышанным и понятым? Или что-

бы увидеть плоды своих трудов? Но кто за него и кроме него мог бы для этого загодя посадить плодовые деревья? Впрочем, он и сам это понимает и не ждет ни пожизненного признания, ни исторической «реабилитации». Он считает, что «все равно когда-то, что-то должно было начинаться». Про себя говорит: «Надо было крест нести. Даже когда уже было неважно...» Никто не может упрекнуть его в том, что он не попытался использовать свой шанс для того, чтобы «что-то началось».

...По случаю 60-летия, которое он отмечал, еще будучи Президентом СССР, его сотрудники в поздравительном послании процитировали слова Авраама Линкольна: «Я делаю все, что в моих силах — абсолютно все, и намерен так действовать до конца. Если конец будет благополучным, то все выпадает против меня не будут иметь никакого значения. Если меня ждет поражение, то даже десять ангелов, поклявшись, что я был прав, ничего не изменят». Но Михаил Сергеевич не был бы тем Горбачевым, которого он часто все поминает, если бы ждал заступничества от ангелов.

Спустя пятнадцать лет после своего избрания генсеком ЦК КПСС, «постоянно неугомонный» Михаил Горбачев вновь стал партийным лидером — председателем Российской объединенной социал-демократической партии. И хотя на этот раз его избрание происходило не в мраморном склепе на территории Кремля, а в скромном здании учебного центра подмосковного совхоза, бывший Президент СССР не подает признаков уныния. «Люди уже начинают лучше понимать, что к чему. Так что на следующих выборах одними деньгами всего не решить», — говорит этот «неисправимый оптимист».

Нет, недаром «политзек» А.Синявский угадал в еще недавнем правителе второй мировой сверхдержавы родственную душу диссидента. Да и сам Горбачев, критикуя уже новую кремлевскую власть, говорит, что вдохновляется примером другого диссидента — второго из двух российских лауреатов Нобелевской премии мира — Андрея Сахарова. После падения «железного занавеса» в нескольких странах бывшие диссиденты стали президентами. В России произошло наоборот. Горбачева это не смущает: он считает, что и раньше был диссиден-

том, даже когда занимал официальные должности. А для того чтобы «быть Горбачевым», должность не нужна. Достаточно просто «делать свое дело».

А дело для себя он выбрал нешуточное: изменить Россию и примирить ее с миром. И здесь явно недостаточно одного человека и одной жизни. Как и положено реформатору — человеку, меняющему мир и заставляющему меняться людей, «Великий Горби», особенно после смерти Раисы Максимовны, обречен на одиночество. Что ж, в конце концов, это — привычное состояние бегуна на длинную дистанцию.

...Заканчивая одну из бесед с Михаилом Сергеевичем, я не удержался и задал давно занимавший меня вопрос: «Ну а вашим врагам, противникам, тем, кто изменил и помешал довести до конца задуманное, вы прощаете?»

Он улыбнулся: «Прощать, вообще-то, положено Богу. Но и я ведь уже почти... — он сделал паузу и закончил, — почти Там». И поднял глаза то ли к потолку, то ли к небу...

XXI ВЕК

Сценарий для России

*Ирина Стародубровская
Владимир Мау*

ВЕЛИКИЕ РЕВОЛЮЦИИ

От Кромвеля до Путина

В этой книге известные экономисты утверждают и доказывают, что в конце XX столетия Россия пережила одну из крупнейших в истории человечества революций, вполне сопоставимую с великими революциями прошлого и развивавшуюся по схожему сценарию. Эта концепция не только убедительно объясняет, что происходило в стране после 1985 года, но и позволяет предсказывать ход ее развития и управлять политическими процессами для вывода России из кризиса.

АНДРЕЙ СЕРАФИМОВИЧ ГРАЧЕВ

ГОРБАЧЕВ

РЕДАКТОР

В.Я.Грибенко

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Т.Н.Костерина

ТЕХНОЛОГ

С.С.Басилова

ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ

А.В.Волков

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА ПЕРЕПЛЕТА
И БЛОКОВ ФОТОГРАФИЙ

Д.Э.Назаров

КОРРЕКТОРЫ

Л.М.Хмельнова,

Е.Д.Рагулина,

Л.М.Анохина

Издательская лицензия № 065676

от 13 февраля 1998 года

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции

ОК-005-93, том 2:953000 —

книги, брошюры

Подписано в печать 23.05.2001

Формат 60x90/16

Гарнитура Миньон

Печать офсетная

Объем 28 печ. л.

Тираж 7 000 экз.

Изд. № 1594. Заказ № 1375

Издательство «ВАГРИУС»

129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1

E-mail — vagrius@vagrius.com

Книги почтой: 109390, Москва,

а/я 57 «ВАГРИУС»

Получить подробную информацию
о наших книгах и планах, авторах
и художниках, истории издательства,
ознакомиться с фрагментами книг,
высказать свои пожелания и задать
интересующие Вас вопросы Вы
сможете, посетив сайт издательства
в сети Интернет:

<http://www.vagrius.com>;

<http://www.vagrius.ru>

Новости «ВАГРИУСА» на сайте

<http://www.ONLINE.ru>

Оптовая торговля:

Эксклюзивный дистрибьютор

издательства «Клуб 36'6»

Тел./факс: (095) 265-13-05,

267-29-69, 267-28-33, 261-24-90

E-mail: club366@aha.ru

107078, Москва, а/я 245 «Клуб 36'6»

КОРФ «У Сытнина»:

125008, Москва,

пр-д Черепановых, д. 56

Тел.: (095) 156-86-70.

Факс: (095) 154-30-40

E-mail: shop@kvest.com

Фирменный магазин «36'6 —

Книжный двор»:

Москва, Рязанский пер., д. 3

(мелкооптовая и розничная торговля)

Тел.: (095) 265-86-56, 265-81-93

Интернет-магазин:

<http://www.24x7.ru>

В Санкт-Петербурге

и Северо-Западном регионе

России: «Невская книга»:

(812) 567-47-55, 567-53-30

Отпечатано с готовых диапозитивов
во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

